

Владимир Тендряков

Охота




Библиотека
журнала
ЗНАМЯ

84 Р 7
Т 33

Составление
Н. Асмоловой-Тендряковой

Т $\frac{4702010200-2322}{080(02)-91}$ 2322—91

ISBN 5—253—00228—6

© Асмолова-Тендрякова Н. Составление. 1991.

Владимир Тендряков

Охота

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1991

Чистые воды Китежа

Повесть

I

Кт. сказал, что главный град Китеж канул в Лету? Он живет и строится, выполняет и перевыполняет планы, берет на себя высокие обязательства, выпускает газету, сидит по вечерам перед экранами телевизоров, неустанно повышает свой культурно-массовый уровень.

Но порой, в особо ненастные дни, град Китеж словно опускается в вековечный покой,— с низкого неба сеет мелкий дождичек, большинство китежан прячется по домам, а те, кто вылезает на мокрые асфальтированные мостовые в непромокаемых синтетических кульках, вызывают невеселые мысли: как не похожи они на своих прославленных предков, которые в оны времена способны были и к братоубийству, и кровавой удали, к грехам и покаяниям. И недавно реставрированный купол древнего собора скорбно блестит, как лысина самого господа бога, недоумевающего, что за скучный мир он создал! И мокрый от дождя кирпичный фасад редакции местной газеты «Заря Китежа» неуловимо напоминает физиономию страдальца, изнемогающего от зубной боли.

В этом здании, в узком, как обрубленный коридор, кабинете, не зажигая света, сидел в философском столбнячке и взирал на мир божий ответственный секретарь редакции Самсон Попенкин.

О чем может думать в такой тягучий, невызревший осенний день истинный китежанин? Только об одном из двух: эх, а не напиться ли, или же — познай самого себя. И по тому, в каком направлении тут работает мысль, можно определить человека — духовно здоровый он по натуре или же рефлексирующий интеллигент.

Самсон Попенкин, увы, не пил горькую, значит, в ранних сумерках в унылом одиночестве познавал себя.

Ему скоро должно стукнуть круглых пятьдесят. На заре туманной юности он хотел стать поэтом, мечтал о славе, писал стихи, насквозь проникнутые жизнеутверждающей бодростью:

Трудности — не горе,
Жизнь крепка, как спирт!
По колено море,
Разум наш не спит.

Он рано понял, что стихами, пусть даже самыми жизнеутверждающими, не выбьешься в люди, и... поступил на службу.

Познай самого себя, а это всегда вызывает крайне противоречивое чувство: любит — не любит, к сердцу прижмет — к черту пошлет...

В общем-то Самсон Попенкин не последняя спица в колеснице, как-никак ответственный секретарь центрального печатного органа града Китежа. Ответственный... отвечает за собранный материал, за сроки выпуска, за качество набора, за разверстку, раскидку, за черт знает что! Казалось бы, давно можно потерять голову и место, но главные редакторы менялись, а он, Самсон Попенкин,— незыблем. Но порой эта незыблемость не столько радует, сколько угнетает, минутами кажется — жизнь не движется, буксует на месте. Вчера была сдача, сверка, выпуск, сегодня, завтра, послезавтра — до гроба ни с места. И как подумаешь, что вот так же в мокрое окно будешь провожать день за днем, то — ох, любит — не любит, к сердцу прижмет — к черту пошлет... И развернутый на столе лист последнего номера газеты вызывает нездоровые ассоциации с небом, до удушья низко висящим сейчас над градом Китежем. Любит — не любит, к черту пошлет...

И вдруг... Нет, нет, ничего не произошло, но Самсон Попенкин вздрогнул. Все так же моросил за окном дождичек, и город по-прежнему был придавлен небом, но невнятное настроение — любит—не любит—дало сбой.

Давно в городе Китеже никто не вытаскивал детей из пожара, не побивал производственных рекордов, не справлял юбилеев, не ожидалось завершения какого-либо крупного строительства, даже для футбольных и хоккейных матчей, волнующих души,— не сезон. Время льется, как масло, слишком бесшумно. Спокойствие так

давно копится, что оно, словно безобидный воздух, нагнетенный в стальной баллон, становится уже взрывчаткой.

Самсон Попенкин вздрогнул от сгустившегося спокойствия. Он вздрогнул и почувствовал себя ясновидящим: грядет нечто! В воздухе пахло взрывчаткой. Разряд, искра и — шум, дым, пламя, вихри враждебные!

И за окном уныло блестел лысый купол собора.

Весь подобравшись, Самсон Попенкин попробовал направить свое ясновиденье в одну точку: разряд, искра — откуда? Но лишь угрожающе плотная тишина сжимала его со всех сторон. Откуда-то должен грянуть гром, и разверзнутся хляби небесные. Откуда-то!.. Ясновиденье на этот раз было бессильно.

За стеной хлопнула входная дверь, в коридоре прозвучали знакомые суетливые шаги,— главный редактор Илья Макарович Крышев прогарцевал мимо кабинета Самсона Попенкина своей стеснительной боковой походочкой.

Самсон Попенкин вновь прозрел: искра!.. Кто ее занесет, как не главный! Должно быть, она сейчас уже жжет его ладони.

Попенкин не вскочил, не бросился опрометью к Крышеву. Надлежало выдержать ритуал. Сейчас, как всегда, раздастся телефонный звонок и знакомый голос пригласит: «Зайди на минутку».

Сейчас. Вот сейчас!..

Телефон зазвонил:

— Самсон Яковлевич, зайди на минутку.

2

Их обязанности были строго распределены — Самсон Попенкин руководил внутренней жизнью редакции, главный редактор Крышев взвалил на себя бремя внешних сношений. Самсон Попенкин выдавал граду Китежу шесть раз в неделю по четыре газетные полосы, Илья Макарович Крышев шесть раз в неделю — иногда и чаще — выезжал уточнять, утрясать, получать инструктивные указания.

Самсон Попенкин ждал, что главный приехал взъерошенный, как петух, который осмелился стать задом к ветру. Но Илья Макарович трудолюбиво сидел за

зеленым полем своего письменного стола, как всегда, гладко причесанный, благодушный, застегнутый на все пуговицы. Не похоже, чтоб его жгла искорка.

Кабинет Крышева никак не походил на узкий кабинетик ответственного секретаря — эдакую щель между забитыми (куча мала!) отделами. Нужно было сделать немало шагов от двери, чтоб приблизиться вплотную к рабочему столу главного редактора. И когда ты, преодолев пространство, в меру насыщенное чем-то особым, трепетно значительным, приближаешься, усаживаешься на указанный благожелательным кивком головы стул, то замечаешь, что на тебя уставились не одна, а сразу две физиономии — румяная, открыто простецкая Ильи Макаровича и стеклянно-мутная, загадочно непроницаемая телевизора.

Телевизор в кабинете! Нет, он поставлен не для того, чтоб смотреть увеселительные передачи «Голубого огонька» или хоккейные схватки. Телевизор в кабинете — знак высокой руководящей ответственности. Во всем граде Китеже можно перебрать по пальцам тех товарищей, кто восседает на работе в компании с безмолвствующим телевизором.

Илья Макарович Крышев только-только начал наливаться той добротной полнотой, которая означает, что данный товарищ растет уже не вверх, а вширь. Илья Макарович расстегнул папочку, неторопливо и уважительно разложил по зеленому полю нужные бумаги — привычный ритуал, завершающий удачную операцию очередных внешних сношений.

— Так вот, считают: неплохо, вовсе неплохо мы освещаем подготовку к зиме...

Привычный ритуал, привычные слова,— неужели ясновиденье подвело? Самсону Попенкину по-прежнему было тошнехонько от навалившейся тишины, душа требовала — шум, дым, вихри враждебные!

— И ничего больше? Никаких замечаний?

— Есть одно...

Самсон Попенкин чуть-чуть подался вперед, но узкое лицо бесстрастно и взгляд непроницаем.

— Мы, помнишь, как-то давали статейку о загрязнении речки Кержавки...

— И?..

— Нет, нет, все в порядке — прицел верный. Только робко мы кричим об этом. Родная природа уничтожа-

ется, а мы с эдакой укоризной, без напора, без запала...

И Самсон Попенкин уныло обмяк: загрязнение речки — тема мелкая, боковая, да к тому же с длинной бородой. А Илья Макарович вдохновенно поблескивал глазами:

— Тут надо, брат, во все колокола бить! Чтоб все услышали да встрепенулись. Набатную статью требуют! Понимаешь — набатную!

Но Самсон Попенкин не разделял воодушевления.

— И это все? — спросил он.

— Что еще?.. Всколыхнуть надлежит массы! Набатом! Тебе мало?

Натуре Ильи Макаровича свойственно: «А он, мятежный, ищет бури...» Только чтоб буря была не слишком — ну, не в стакане, конечно, и не в лохани, речка Кержавка как раз подходит.

И дождь, дождь за окнами. И намозоливший глаза купол собора. И небо обложное, беспросветное...

— Так я пойду, Илья Макарович.

— Набатную статью! Набатную! Во всю силу! Во все колокола! В ближайший номер!

— Ладно, набатная так набатная.

3

Фоторепортер Тугобрылев сунулся было к нему с мокрыми еще снимками передовой силосной башни, но Самсон Попенкин захлопнул перед ним дверь:

— Занят!

Сел за стол и, чтоб не видеть мутного окна, зажег свет, задернул пыльную гардину. Покоя не было в душе, зыбкое чувство ясновиденья — что-то будет, что-то неминуемое! — не рассеялось после разговора с главным редактором. А должно бы рассеяться. Загрязнение речки Кержавки... Из такой завалящей темы искру не высечешь. Шум, дым, вихри враждебные... Неужели стал стареть, чутье отказывает?

Вынь да положь колокольный набат, никак не меньше. Впрочем, это дело привычное: Самсону Попенкину приходилось подымать колокольный трезвон по мясу и молоку, яйценоскости кур и вывозке навоза, холодному выращиванию телят и горячей обработке металлов. Теперь вот о загрязнении речки Кержавки...

Набат? На такую тему?..

И Самсон Попенкин насторожился — тут что-то есть.

Этот набат кому-то не понравится. Кому? Да в первую очередь директору Китежского комбината товарищу Сырцову Каллистрату Поликарповичу. Дядя Каллистрат в граде Китеже ни перед кем не ломает шапку. За спиной дяди Каллистрата всесильные главки крупнейшего в стране министерства, поддержка самой Москвы!

Набат против него?..

Неужели нашелся такой удалец, который решился сразиться с китежским Ильей Муромцем?

Сразиться один на один?.. Э-э, в том-то и дело, что нет. Просит ударить в набат, поднять весь город, всколыхнуть массы!

Каждому китежанину хочется, чтоб речка Кержавка и озеро Светлояр, в которое она впадает, были чисты. Каждый китежанин наверняка откликнется на набатное слово.

Мелкая тема, ой ли? Она-то и способна поднять город. А с целым городом даже могучему Каллистрату Сырцову воевать тяжеленько.

Но тогда двинет силы курирующий главк, зашевелится министерство, вступится Москва!

Град Китеж против самой матушки Москвы?

У Самсона Попенкина по спине побежали холодные мурашки: такого еще на его памяти не бывало. И вспомнилось вдохновенное лицо Ильи Макаровича: «А он, мятежный, ищет бури...» Будет буря тебе, дорогой Илья Макарович, еще какая! Закачаешься на своем стуле.

«Может, предупредить?..» — подумал Самсон Попенкин. Он сработался с главным и, право же, не хотел, чтоб добрейшего Илью Макаровича повыдуло бурей из редакции.

Но тут же представил себе: буря не разразится, завтра будет походить на сегодня, сиди перед заплаканным окном, изучай лысый череп собора... У кого душа не просит бури, кому не хочется порезвиться. Илья Макарович ищет бурю весьма умеренных размеров, ну, а он, Самсон Попенкин, не прочь покачаться и на высоких волнах. Он полегче Ильи Макаровича, а потому понаплавистей.

Но кто должен ударить в набат? Любой и каждый на это не способен — нужен лихой человек.

В граде Китеже не перевелись отважные рыцари, умевшие орудовать пером ничуть не хуже, чем их достославные предки копьем и палицей.

Испокон веков по деревням и селам святой Руси встречаются недюжинные натуры, которых почтительно величают ухарями, сторонятся при встрече. Первым ухарем китежской печати по праву можно было назвать критика Петрова-Дробняка. Он пришел в литературу от сырой земли, наделен черноземной силищей, буйством нрава и столь выразительной откровенностью неприглаженного стиля — «И-эх, расшибу!» — что вызывал невольное содрогание у слабонервного читателя. Уж кто-кто, а Петров-Дробняк мог оглушить набатом, но все дело в том, что, взобравшись на колокольню, он не любил слезать вниз. Пробив в колокола, собрав народ, Петрову-Дробняку ничего не стоит закричать: «Бей их!» — и указать на тех, на кого у него давно горит зуб. Самсон же Попенкин не раз, случалось, перебегал дорогу старому ухарю. Петров-Дробняк не подходил.

Полной противоположностью этому полубылинному Василию Буслаю был Арсентий Кавычко, чье отточенное мастерство отличалось изяществом, характер — улыбчивостью, а душевной щедростью природа наделила его столь богато, что его натренированное перо умело выводить эпитеты лишь в превосходных степенях: «глубочайший талант», «тончайшее наблюдение», «проникновеннейший взгляд»,— так что у читателя от столь изысканной пищи порой появлялись низменные желания: «Селедочки хотца!» Арсентий Кавычко мог, конечно, ударить в колокола, но вместо набата у него наверняка получился бы лирическо-плясовой перезвон: «Ах, милашкин сын, камаринский мужик!..»

Жил в Китеже и небезызвестный Борис Моисеевич Чур — закаленный легионер, преданно служащий своим оружием всякому, кто его позовет. За многолетнюю службу он вытренировал себя в разных стилях и жанрах. Ему ничего не стоило обернуться «серым волком по земли, сизым орлом под облакы», он мог (если будет дозволено) ухарски крушить на манер

Петрова-Дробняка и сладкоголосо величать (коль настоятельно требуют) в духе Арсентия Кавычко. Набат — пожалуйста, Чур и это сумеет. Он и на колокольне не задержится, сразу спустится, скромненько встанет в сторонке. Но сложность в том, что каждому известно: доблестный Чур, как истинный легионер, действует не сам по себе, а по приказу. И конечно же, сразу станут искать: кто отдал приказ, по чьему наущению прозвучал набат? Чур первый же и укажет на Самсона Попенкина — он послал, на нем вся вина. Э-э, нет, чур меня! Самсон Попенкин вовсе не хочет, чтоб в него целились указующим перстом.

Град Китеж не беден людьми, умеющими держать перо в руках, но в кого ни вглядись — каждому рыцарю чего-то не хватает, каждый с изъянцем.

Самсон Попенкин начал было уже тихо отчаиваться, как вдруг его осенила гениальная идея: «А не поставить ли куницу на воротник!» Он даже на минуту-другую впал в столбнячок, сидел и очумело помаргивал.

Вот так находка!..

Впрочем, даже находкой-то назвать нельзя — лежало на самом виду. Человек, имя которого сейчас пришло в голову Самсону Попенкину и оглушило его, был более известен в Китеже, чем Петров-Дробняк, Арсентий Кавычко и Чур, вместе взятые. Но прежде стоило подумать, и крепко подумать, уже потому, что приходилось просить помощи у того, кто в ней всегда сам нуждался.

В тишине своего тесного кабинета Самсон Попенкин принялся мысленно взвешивать и ощупывать не кого-нибудь, а местного поэта Ивана Лепоту.

Любой поэт, как бы ни было мало его поэтическое поле, старается пожать с него посильные лавры. Иван Лепота умудрялся на своем поле выращивать только шишки. Дитя природы, он влюбленно умилялся всему, что попадалось на глаза. Видел, например, кочки в лесу и сразу же приходил в восторг. Одно то, что кочки не чужие, не занесенные со стороны, а свои, родные, китежские, давало ему право считать — лучшие в мире! Китежская рябина, как бы ни горька она была,— все-таки самая сладкая. Китежские грибы — самые ядреные. Китежские церкви — самые высокие... Казалось бы, честь и слава ему за такое любвеобилие, но... беда

в том, что Иван Лепота не умел остановиться вовремя,— начав умиляться всему, что попадает на глаза, он забывался и начинал умиляться тому, чего и видеть-то никак не мог. Например, ни с того ни с сего со всей своей умилительной силой он начал воспевать китежский колокольный звон, тогда как колокола в славном граде Китеже давным-давно были сняты с колоколен. Выходило, звонит то, что звонить уже никак не может. Или вдруг в порыве вдохновения Лепота восклицал: «В табуне горячего выберу коня!» А в то время горячих коней вокруг Китежа на зиму привязывали к потолочным матицам, чтоб не упали от бескормицы. Да и какие табуны коней, когда пашут, боронят, возят поклажу на тракторах да на машинах. Тракторам же Лепота упрямо не хотел умиляться. И потому его постоянно били за искажение китежской действительности, за очернение, а в одно время уличили в антипатриотичности, заклеймили как безродного космополита. На что сам Иван Лепота отозвался недоуменными стихами:

Хожу нестриженый, небритый,
Бываю раз в неделю сыт,
Зовут меня космополитом,
Какой же я космополит?!

И, конечно же, сразу получил по заслугам — за упаднические настроения, за гнилой субъективизм!

Такому-то человеку бить в набат! Казалось бы, мысль, по меньшей мере, несуразная — сам забит и затюкан. Но чем больше Самсон Попенкин вдумывался да вглядывался, тем сильней убеждался — лучшего звонаря не найти.

Да, Ивана Лепоту постоянно бьют и приговаривают: «Плохо пишет, бяка, не стоит его читать, дорогие читатели!» И получается что-то вроде запрета. А кому неизвестно, что запретный плод сладок? И дорогие читатели с жадностью набрасываются на разруганные стихи Лепоты. Давно уже все, что он ни напишет, вызывает острый интерес. Одно его имя достаточно шумно, чтоб способствовать набату. И если даже Лепота, набивший руку на стихах, в статье окажется не на высоте, то все равно читатель будет на его стороне. Не только потому, что читателю хочется купаться в чистой речке, ездить отдыхать на чистое озеро. В Китеже испокон веков симпатизировали блаженным и обиженным, а Лепота —

и блаженный, и обиженный, не от мира сего. Если звон его будет слабым, все равно услышат и всколыхнутся.

Но нужно ждать — Лепота справится со статьей. Он не раз славил костры на берегу реки, запах ухи, плакучие ивы, а это-то как раз и загрязняется. Должен же он вознегодовать хотя бы раз в жизни. Скорей всего за набатный колокол возьмутся нужные руки.

Обдумав все, Самсон Попенкин сразу же вышел из столбнячка, накинулся на телефон:

— Редакционная машина свободна?.. Не отпускайте — срочное задание.— Удар по рычагу, новый номер: — Тугобрылева мне... Пушкарь, у подъезда тебя ждет машина. Только ты можешь отыскать в городе Ивана Лепоту. Срочно! Срочно! Пожарное дело! Вылови да сам, смотри, не застрянь. Немедленно сюда — живым или мертвым. Заупрямится — скажи, что утешу.

Ответственный секретарь Попенкин умел поднимать на ноги нужных людей.

Спустя пять минут фоторепортер Тугобрылев уже мчался по городу, а еще через полчаса будущий набатчик был доставлен в редакцию.

5

Это был высокий, сутулый, нескладный человек с обезьяньими руками, болтающимися ниже колен. В молодецкой потехе — пригнуть к столу руку противника — он считался непобедимым среди китежских собутыльников. Раньше он часто воспевал свои русые кудри, которые «облетают, как желтый лист», нынче эту тему пришлось оставить, так как процесс облетания кончился — на месте вьющейся заросли образовалась мусорная пустошь. Лицо его, массивное, дремотное, могло бы казаться монументально покойным, сильным, если б не мелкие, угрюмые, подозрительные складочки в углах глаз, в углах губ — следы многолетних переживаний за нелицеприятную критику. Только глаза — зеркало души — глядели на белый свет все еще с голубой наивностью.

— Как жизнь, Иван? — поприветствовал поэта Самсон Попенкин.

— Как в аптеке, на фармацевтических дозах,— хмуро ответил Иван Лепота.

Хожу нестриженым, небритым,
Бываю раз в неделю сыт...

Тут поэт вряд ли был искренним, так как Ивана Лепоту не столько беспокоило всегда — «хлеб наш насущный даждь нам днесь», сколько — «веселие на Руси есть пити». Он даже уровень своей жизни мерил стандартными жидкостными мерами. «Как жизнь, Иван?» — «Нормально, до пробки». Или же: «Так себе, на четвертинку». Или: «На министерскую едва натягиваю» («министерская» — сто пятьдесят граммов). И самый пессимистический вариант: «Как в аптеке, на фармацевтических дозах».

— Есть серьезное дело, нужна твоя помощь,— без лишних предисловий объявил Самсон Попенкин.

— Стишата к празднику?

— Нет, статья.

— Зарезать начинающего стихоплета? — проявил проницательность Лепота.

— Ударить в набат, Иван.

— Чего ради?

— Ради святого лозунга: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!»

— Попроси пионеров, они в барабан ударят.

— Дело не пионерское, керосинцем пахнут чистые воды Китежа, не замечал, лирик?..

И Самсон Попенкин сжато, по-деловому объяснил задачу.

— Гм...— ухмыльнулся Лепота.— Одного не сказал: против кого же этот набат?

— А кто, по-твоему, керосинит? Кто тебе и другим портит лирику?

— Да ну-у! — округлил голубые глаза лирик.— Действительно не пионерское дельце — куси Каллистрата!

— Оробел, Пегас, перед крутой горкой?

Иван Лепота уставился на Самсона Попенкина почти с уважением:

— Каллистрат — дядя сердитый, вам от набата штаны того... сушить не придется?

— За наши штаны страдаешь?

— Ну да,— прозорливо хмыкнул поэт,— на меня же свалите все потом.

— Может, и свалим. Тебе-то не все равно?

— И то верно, я человек отпетый, мне терять нечего.

— Неужели не любопытно, как дядя Каллистрат на стенку полезет от твоего колокольного звона?

— Любопытно.

— Берешься?

— Для милого дружка — сережку из ушка. Выпиши аванс, пока бухгалтерия не закрылась.

— Нет, брат, аванс отразится на твоей работоспособности.

— Ну хоть пятерку одолжи!

— Ни рубля! Статья нужна завтра, даем зеленую улицу, так что — трезвость и усердие в течение одной ночи. Завтра получишь гонорар полностью: гуляй!

— Зеленая улица на Каллистрата Сырцова! Ну и ну!

Самсон Попенкин уважительно проводил Ивана Лепоту до дверей. У дверей же в коридоре стояла Полина Ивановна Кукушкина, заведующая отделом писем,— строгие очки в железной оправе, чопорная добросовестность в поблекших чертах.

— Самсон Яковлевич, можно взять письма?

Полина Ивановна появлялась в кабинете Попенкина два раза в день — утром, принося нужную (по ее мнению) читательскую корреспонденцию, и вечером, забирая ее. Это был заведенный издавна ритуал, не отражавшийся на редакционных делах. Занятый текучкой, Самсон Попенкин обычно читательских писем не просматривал, полностью доверяя Полине Ивановне — читать, отвечать, тасовать, хранить.

— Иван Степанович,— обратилась Полина Ивановна и к Лепоте,— есть письмо и вас касающееся.

— Что там? — с величавой небрежностью спросил поэт.

— Ничего особенного, обижаются, что наша газета редко печатает ваши стихи.

— Правильно обижаются.

Самсон Попенкин хлопнул поэта по плечу:

— «Лета к суровой прозе клонят!» Твоих почитателей, китежский Орфей, ждет приятная неожиданность!

На том и расстались.

Точная, как морской хронометр, Полина Ивановна нанесла свой вечерний визит, значит, рабочий день кончился, пора отправляться домой.

6

Как всегда, он шел домой не через Новый мост, парадно широкий, шумный, ярко освещенный, а напрямую, через Старый — бревенчатое, одряхлевшее наследие давно вымерших лихачей и ломовых извозчиков,— оставленный теперь только для пешеходов.

Каблуки громко стучали по деревянному настилу. Самсон Попенкин дошел до середины моста и остановился. Под мостом текла речка Кержавка, та самая, чью девственную чистоту обесчестил комбинат, возглавляемый могущественным Каллистратом Сырцовым.

Город кругом был погружен в сырость и тьму. Влажно расплываются уличные фонари, тепло светят сквозь цветные занавески окна домов, этаж над этажом, семья над семьей вокруг вечерних столов. Добрые китежане гоняют чаи и беседуют о разном: можно ли ждать премиальные к получке, купить ли старшему сыну ко дню рождения новый костюм, переворот в Чили, израильская агрессия, удержат ли хоккеисты ЦСКА в этом году первенство... Добрые китежане как-то забыли о текущей мимо них речке Кержавке, знать не знают, ведать не ведают, что скоро над ее обесчещенной водой раздастся набат, и все, кто сейчас мирно гоняет чаи, подымутся... Кто-то, наверное, будет и за Каллистрата Сырцова, но большинство против. Сила на силу — к сечи!

Течет внизу речка, нашептывает обесчещенная вода... Он, Самсон Попенкин, не числится в столпах, подпирающих основы града Китежа,— умеренно ответственный работник, сам по себе не семи пядей во лбу, никак не вождь по духу, не великий полководец, но от него сейчас зависит, подымется сила на силу, всколыхнется славный град Китеж или же все останется по-прежнему — тишина и покой, не вихри враждебные... Могуч дядя Каллистрат, но не в его власти двинуть или задержать армии... В эти дни станет командовать он, Самсон Попенкин, умеренно ответственный секретарь редакции.

Течет речка, и стоит над ней человек, ожидающий своего звездного часа. Погромыхивая каблуками о настил, прошел прохожий. Он и не подозревает, что в эту минуту был в двух шагах от воплощенного величия, распоряжающегося судьбами города.

Прохожий скрылся в темноте, заглохли его шаги, великий человек перегнулся через перила, чтоб вглядеться в свою союзницу, услышать заговорщический шепот воды. Но в нос ударил погребной, плесневелый запах, показалось, что заглянул в подземелье города, в его преисподнюю.

Самсон Попенкин вздохнул, отвернулся и застучал каблуками по мосту. Чем ближе он подходил к дому, тем меньше он думал о грядущих битвах, тем настойчивей наваливались домашние заботы: жена побаливает, надо ей выхлопотать путевку в Железноводск, дочь кончает десятый класс — ветер в голове у девки,— наклевывается обмен квартиры с доплатой, значит, опять влезай в долги... Шаг за шагом, ближе к дому Самсон Попенкин перерождался — великий вершитель судеб умирал в нем, «смертию смерть поправ», и воскресал тихий семьянин.

7

Быть или не быть эпохальному для града Китежа столкновению — сила на силу! — надо признать, зависело не только от одного Самсона Попенкина, но еще и от главного редактора Крышева. Как бы хорошо Попенкин ни организовал набат, Крышев мог его и не утвердить. Поэтому Самсон Попенкин старался держать до поры до времени в секрете свои приготовления, чтоб не вызвать преждевременный испуг Ильи Макаровича.

Они были почти ровесниками, и первое время Самсон Попенкин шел на шаг впереди Крышева по житейской стезе. Попенкин на год раньше Крышева окончил Китежский пединститут, раньше заявил о себе, напечатав несколько жизнеутверждающих стихотворений — «Трудности не горе, жизнь крепка, как спирт...»,— стал репортером в газете. В это время Илья Крышев только еще начал бегать по широким коридорам одного городского учреждения в качестве самого что ни на есть младшего сотрудника — боковой стеснительной рысцой, в несолидной душегреечке «жил-был у бабушки серенький козлик». Через много лет этот Илья Крышев все той же боковой стеснительной походочкой, но только в строгом костюме вместо душегреечки «бабушкин козлик» прошествовал мимо Самсона Попенкина в кабинет главного редактора газеты.

Судьба — крепость, не мечтай взять ее прямо в лоб. Она сдается лишь тем, в чьем характере от природы заложено нечто боковое, никак не прямолинейное.

Время от времени в кабинете Самсона Попенкина раздавался требовательный телефонный звонок:

— Ну, как наши дела, Самсон Яковлевич?

— Все в порядке.

— Статья уже заказана?

— Будет. Обещаю.

— Набат выдай. Набат!

— Сделаем набат, не беспокойтесь.

— Действуй, брат, действуй. Полностью на тебя полагаюсь. Звонили тут мне, интересовались...

Самсон Попенкин тщательней всего скрывал от главного, кто именно будет автором набатной статьи,— одно имя Ивана Лепоты могло поколебать решимость не терпящего никаких крайностей Ильи Макаровича.

А Иван Лепота в это время сидел перед Самсоном Попенкиным, потел, скорбел, стонал, ругался, время от времени сгребал исписанные листы, грозился хлопнуть дверью,— шла творческая работа над набатной статьей.

Нельзя сказать, чтоб Иван Лепота не справился с заданием, вовсе нет. Его статья начиналась величавым запевом о щедрой красоте китежской природы, о земле, гонящей сочные травы, о влаге, собирающейся в родниковые ручьи, о нежной борьбе этих ручьев, о том, как малые ручейки побеждаются большими, как разрастаются в реки... И этот запев, насыщенный трепетной лирикой, неприметно переходил в едкое самобичевание: «Не слушайте меня! Не верьте мне, люди!» Оказывается, он, Иван Лепота, лжет, когда славит свежие травы и чистые воды, дымок рыбацкого костра и запах окуневой ухи! Нет этого! Чистые воды отравлены, отравлена рыба — давно развеялся дымок рыбацких костров, не слышно счастливого смеха купающихся детей...

Вот тут-то Иван Лепота и кончил значительным многоточием.

Ничего не скажешь — прошибало прямо-таки до слез, но для набата никак не подходило. Скорей плач Ярославны в «Путивле городе на забрале», чем зовущий набат.

И Самсон Попенкин властно требовал от поэта Лепоты набатного обличения: Китежский комбинат при по-

пустительстве директора Сырцова в день выпускает столько-то тонн отравленных отходов в реку, в месяц столько-то, в год...

— Пусть звучит мотив неистового нарастания,— убеждал ответственный секретарь строптивого лирика, привыкшего к слезному умилению в творчестве.— Читатель должен быть смят и подавлен цифрами. Читателя должен охватить страх — нет, не только за обреченную речку Кержавку,— страх космический по размерам — вся наша планета в опасности!

Лирик, побунтовав, постонав, сдавался перед железной необходимостью. Но Самсон Попенкин не удовлетворялся победой:

— А теперь ты вызови у читателя негодование. Сообщи, что директору Сырцову неоднократно указывала на эту грозную опасность наша газета. Вот номера газет, названия статей. Перечисли их, пусть они звучат, как удары молота, вбивающего гвозди в гроб дяди Каллистрата!

Статья была закончена общими усилиями воплем оскорбленных и обманутых, прорвавшимся в одном лишь слове: «Доколе?!» Воистину титаническое крещендо, обрывающее набат.

Иван Лепота вытер с чела пот:

— Уф-ф!..— И с опасливой почтительностью поглядел голубым взором на своего редактора.— Ты, брат, еще тот Соловей-разбойничек... Неужели думаешь, что главный тут наложит «петлю на собаку»? Да для него это все равно что на самого себя петлю накинуть.

Вместо ответа Самсон Попенкин вызвал по телефону машинистку.

— Сейчас мы наш набатец перепечатаем по всей форме,— объявил он поэту.— А тебе, лирик, лучше испариться. Прячься подальше, я уж как-нибудь один.

— Ни пуха тебе ни пера, Соловей-разбойничек.

— К черту! К черту! Сгинь!

Через каких-нибудь полчаса перепечатанная статья лежала перед Самсоном Попенкиным — по всей форме, с «собакой».

«Собакой» на жаргоне газетчиков — столь непочтительно, к сожалению,— именовалось самое важное место любой рукописи, имеющей хождение внутри ре-

дакции. «Собака» — это фасад рукописи, ее лицо, ее официальный паспорт, куда заносятся все данные: кто редактор, по какому отделу, срок сдачи, исходящий номер. Без «собаки» всякая рукопись — Иван, не помнящий родства. Но и «собака» без наложенных на нее основополагающих резолюций, скрепленных авторитетными подписями,— пустое место.

Какие-то «собаки» Самсон Попенкин имел право украшать своей подписью — называлось «накидывать петлю»,— не согласуясь с главным редактором. К этой же «собаке» он не имел права, да и не хотел прикасаться — слишком велика ответственность.

Еще раз прочитав сверху вниз и пробежав снизу вверх всю статью, поправив кой-какие опечатки, Самсон Попенкин с минуту мечтательно сидел и наконец решительно поднялся:

— Ну, Илья Макарович! Иду на вы!

8

Едва статья легла на зеленое поле главредакторского стола, как сразу же вызвала замешательство:

— Что-о?.. Автор — Лепота!

Именно на это-то и рассчитывал Самсон Попенкин. Пусть Илья Макарович возмутится с ходу, еще не читая статьи. Проглоти он сразу всю статью вместе с фамилией автора — вряд ли сумеет тогда переварить. Для начала должен принять маленькую пилюлю.

— Лепота — автор!!

Самсон Попенкин и бровью не повел, спокойненько выжидал, когда замешательство главного редактора перерастет в возмущение.

— Поавторитетней человека не мог подыскать? Почему именно этого отпетого? Эту одиозную фигуру!..— Голос Крышева по своей природе не способен был звенеть гневной медью, он начинал жестяно дребезжать.

А Самсон Попенкин безучастно глядел в мутное, широкое око безмолвствующего телевизора.

— Это же может скомпрометировать столь важную тему!!

— Кого бы вы предложили? — тихим голосом, с невозмутимой вежливостью спросил Попенкин.

— Да любого, любого, кто пользуется у нас авторитетом. Если не Дробняка, так Кавычко. На худой конец,

того же Чура. Каждый, кого ни возьми, не столь одиозен, как этот Лепота!

— Вот именно — не одиозны, авторитетны,— согласился Самсон Попенкин.

И Крышев насторожился, как заяц, услышавший скрип шагов. Пора выкладывать аргументы.

— Если эти авторитетные, не одиозные товарищи помещают у нас в газете набатную — да, набатную!— статью, то любому и каждому становится ясно: набат согласован с вами. Вы — заказчик набата, его инициатор. Неужели кто-то поверит, что Чур или Арсентий Кавычко по своей инициативе ударят в колокола, решатся всполошить весь город. Какой дурак поверит, что они столь смелы и решительны? Вы хотите принять всю ответственность на себя, Илья Макарович?

Илья Макарович смутился — он меньше всего хотел выглядеть зачинателем набата. Смутился, но еще не сдавался:

— А Петров-Дробняк способен, так сказать, по собственному желанию. Ему-то нельзя отказать в решительности.

— А вы убеждены, что, если этого Дробняка-набатчика возьмут за загривочек и спросят, он не укажет на вас?

Илья Макарович промолчал, полной уверенности он тут отнюдь не чувствовал. Самсон Попенкин продолжал напирать:

— Набат-то может и сорваться. В этом случае я не хочу подставлять ни себя, ни вас.

Главный редактор озадаченно кашлянул:

— Кхм!.. Но не поверят и Лепоте, что сам, без нашей помощи...

— Иван Лепота есть Иван Лепота. Не авторитетен, одиозен, больше того — отпетый. От него можно ждать любого, даже набатного, трезвона. Он нам предложил свою статью. Тема назревшая, больная, мы и раньше ее касались. Никого не должно удивлять, что мы приняли статью. А переборы — да, есть. Так это же Иван Лепота звонит. С него и взятки гладки. Мы даже пытались его причесать, он не соглашался. Словом, мы не зачинщики набата, звонарь сам зазвонил.

— Кхм!.. А знаешь, тут что-то есть...

Самсон Попенкин пожал плечом, предложил с полным равнодушием:

— Впрочем, вы можете связаться с Петровым-Дробняком. Он, пожалуй, охотно согласится.

— Нет, нет! Ты прав — Лепота больше подходит. Он — в набат?.. Да по собственной инициативе!..

Первое сражение выиграно, Самсон Попенкин бросил вызов ко второму сражению, решающему:

— Да вы, Илья Макарович, статью-то читайте. Там такой набат, что закачаешься.

И Крышев погрузился в чтение.

Вначале он удовлетворенно кивал головой, лик его разгладился, даже вырвался срывающийся от обилия чувств возглас:

— Талантлив, сукин сын! Ничего не скажешь.

Самсон Попенкин понимал, что Илья Макарович читает сейчас «плач Ярославны» о сочных травах и чистых водах.

Но вот Крышев как-то опечалился, затем весь подобрался, потом окаменел и наконец резко отодвинул от себя рукопись, метнул, словно ядро, веское:

— Нет!

Самсон Попенкин пожал равнодушно плечом:

— Что ж... Набата не будет.

— Помягче! Помягче надо!

— Помягче — обычный трезвон, не набат.

— Набат! Но без указаний на лица. Я не намерен хвататься за грудки с Каллистратом Сырцовым.

— А мне это и подавно не с руки,— охотно согласился Самсон Попенкин.

— Вот-вот! Изымем, подправим, чтоб и следа не осталось. Ник-какко-го следа!

Снова равнодушное пожатие плечами:

— Пожалуйста. Не мне отвечать, а вам.

— Это как так... отвечать? — Дрогнувший голос, округлившийся неприязненно глаз.

— Мы и раньше не раз трезвонили о Кержавке... Без указаний на лица.

— Ну и что?

— И вам выразили, кажется, недовольство. Не так ли?

— Ну, выразили.

— Вас просили пробить в набат?

— Но никто меня не просил тыкать пальцем в сторону... в сторону товарища Сырцова!

— Тыкать? Пальцем? Что вы!.. Такого богатыря пальцем не свалишь. Потребовали оглушить набатом, поднять против него массы. И, должно быть, есть большая необходимость в этом, раз предлагают начать столь решительные действия. Вы, конечно, можете сделать вид, что не поняли этой необходимости, до вас не дошло... Но, Илья Макарович, работать-то нам придется не с дядей Каллистратом, а с теми товарищами, кто вынашивал... вплоть до столь крайних мер, как набат.

Самсон Попенкин счел нужным выразиться «нам работать», но Илья-то Макарович прекрасно понимал — работать с теми товарищами придется ему одному. Он, и только он, главный редактор Крышев, занимался в газете внешними сношениями, ему, и только ему, никак не Самсону Попенкину, влетит за недопонимание.

Крышев минуту-другую немотно взирал на своего ответственного секретаря.

— Ты так считаешь?..— обрел он дар слова.

— Дай-то бог, чтоб я ошибался.

— Н-да-а...

На порозовевшем лице главного редактора отразились те острейшие диалектические противоречия, которые народная мудрость вмещает в два слова: «И хочется, и колется».

— Н-да-а... Мне как-то в голову не ударило.

И вдруг в мгновение ока рукопись оказалась в папке, а Илья Макарович преобразился — взведенно решительный, готовый тотчас окунуться в привычную сферу деятельности.

— Сейчас же съезжу, покажу статью — обсудим, согласуем, поставим точки над «и».

Самсон Попенкин холодно остановил:

— Не делайте этого.

— То есть как так?

— Вы ждете, что вам дадут прямые указания — бейте с размаху заматеревшего дядю Каллистрата по загривку?

— Должен же я получить точные указания!

— Да если б там могли точно указать, значит, дело пошло в отрытую. Тогда, сами посудите, зачем к нам обращаться? Куда проще поставить о Каллистрате вопрос, вынести соответствующее решение и — баста! Нет, набат-то потребовали, а имя Сырцова, по кому

набат должен ударить, даже не упомянули. Спроста это?.. Представьте, как вы будете выглядеть, требуя прямых указаний.

— Нич-чего не пойму!

— А по-моему, все ясно: имя Каллистрата Сырцова должно само собою всплыть в грязных водах речки Кержавки.

— Само собой... Ишь ты.

— Иван Лепота вынес его наверх.

— Н-да-а... Вот ведь задачка.

— Я свое дело сделал — набатная статья готова. Ваше дело — давать ее или выбросить.

— Не дадим — припомнят.

— Вот именно.

— Дадим — можем в заваруху попасть.,

— Не исключено.

Самсон Попенкин всем своим видом выражал — моя хата с краю, а Илья Макарович поеживался от диалектических противоречий — и хочется, и колется. Он снова расстегнул папку, достал рукопись, оглядел ее и с лица, и с изнанки, со вздохом протянул Самсону Попенкину.

— Надо давать,— сказал он уныло.— Сдавай в набор.

— Это как — сдавай? — удивился Самсон Попенкин.— Без вашей подписи?

— А ты что, один до конца дело довести не можешь?

Рукопись статьи с «собакой» висела над зеленым столом, протянутая Самсону Попенкину. Господи! До чего наивный расчет: сдай статью, сам поставь на «собаке» подпись, в случае чего могу вытащить из архива и документально доказать — не причастен, не приложил руку, Самсон Попенкин, ответственный секретарь, наколобродил, по шее его! Ну нет, дорогой товарищ Крышев, Самсон Попенкин стреляный воробей, на мякине его не проведешь.

Попенкин поднялся:

— Если вы не можете решить, Илья Макарович, то я и подавно не возьму на себя такую ответственность.

— В кусты прячешься?

— Отнюдь. Вынесем на обсуждение редколлегии, и если там мне поручат довести это дело до конца — доведу. А иначе меня потом упрекнут — превышаю свои обязанности, прыгаю через вашу голову.

Ответ с достоинством, и честный прямой взгляд в глаза Ильи Макаровича, в самые зрачки.

Вынести на редколлегию, обсудить... Да после такого обсуждения дядя Каллистрат через полчаса будет знать все, подымется на дыбы. И тогда... Тогда-то и загремит набат на бедную голову Ильи Макаровича Крышева.

Рука, протягивающая рукопись с «собакой», опустилась.

— Ладно,— сказал невесело Илья Макарович.— Пусть статья останется у меня. Подумаю.

— Подумайте, Илья Макарович, подумайте. Но дорого яичко к Христову дню.

— Зайди через час.

Через час кончался рабочий день.

Был вечер, обычный осенний, с мелким дождичком за окном. Мокрая тьма скрывала голый купол собора.

Илья Макарович, должно быть, все-таки созвонился кое с кем, должно быть, обиняком выудил подтверждение, что Христово яичко сейчас как нельзя более кстати. Он возвышался над зеленым полем своего стола, озабоченный и недовольный, перед ним лежала злополучная статья.

— Ну так вот...— начал он и не договорил, потянулся к стакану с заточенными карандашами, с привычной тренированностью вытащил толстый красный карандаш, самой фабрикой «Сакко и Ванцетти» нареченный «Деловым».

Рука Крышева сотворила размашистую петлю на «собаке», открыла путь статье Ивана Лепоты в неприступную зону печатного слова.

— Возьми! — подтолкнул Крышев рукопись Самсону Попенкину.

Должно быть, в тишине осеннего вечера раздался неуловимый скрип — колесо китежской истории совершило поворот.

9

Он снова проходит через Старый мост, снова останавливается над шепчущей в темноте речкой Кержавкой.

Сейчас уже крутится верно служащая Китежу ротационная машина, гонит газетные полосы. Остановить ее торопливую работу почти невозможно. Завтра утром

почтальоны побегут из дома в дом с сумками, набитыми свежими газетами, со статьей Ивана Лепоты, зовущей в защиту обесчещенной речки Кержавки. И гневный набат обрушится на гордую голову Каллистрата Сырцова.

Могуч дядя Каллистрат, богатырские подвиги творит он в граде Китеже. Это он со своим комбинатом помог проложить широкое асфальтированное шоссе, соединяющее Китеж с остальным миром. Это он выстроил в центре города просторный, светлый Дворец культуры. И стадион поставил тоже он. А если б не комбинат во главе с Каллистратом Сырцовым, то разве выросли бы целые районы новых жилых домов, с новыми магазинами, новыми кинотеатрами, новыми детскими садами — китежские Черемушки? И отцы города часто с протянутой шапкой идут к дяде Каллистрату: помоги!. Подбрось на переустройство канализации, подбрось на газификацию, на прокладку теплоцентрали, на ремонт жилья, на озеленение. Без тебя, гой еси Каллистрат свет Поликарпович, совсем бы увязли в нуждишке.

Дядя Каллистрат бросает в шапку от своих щедрот, но иной раз и отказывает: бог подаст, шапка-то, отцы, у вас без донышка. Раз к богу послал, другой — и... Богатырь-то богатырь — спору нет, а помнить должен, под чьим небом живет, в чью землю корни пустил. Славный муж Илья Муромец и тот у Владимира Красное Солнышко в глубоком погребе сиживал.

История показывает, что нет такого богатыря, у которого бы не было слабого места. Греческий добрый молодец Ахиллес, например, в пятке свою слабину прятал, и то ущупали да свалили. У дяди Каллистрата слабое место — фильтрация. Трубы его комбината распускают по воздуху рыжие «лисьи хвосты», от которых скрючиваются листья на деревьях, из цехов в речку стекает такое, что рыба дохнет, вода воняет — и не только в самой речке, но и в озере. А град Китеж испокон веку славился своими чистыми водами, о них сказки складывали, в песнях пели. Получалось: все могущество Каллистрата Сырцова опиралось на ахиллесовы пятки, по ним-то и наносился удар.

Ротационная машина гонит газетные полосы. Шепчет внизу под мостом обесславленная вода Кержавки. Готовится ко сну град Китеж. Стоит на мосту человек, бросающий город в атаку. Вчера он, Самсон Попенкин, еще

мог остановить лавину. Мог, но не захотел. Теперь лавина двинулась. Еще никто не слышит ее грозного шевеления, никто не подозревает, что завтра она обрушится — шум, дым, вихри враждебные! Двинулась! И ни Самсон Попенкин, ни кто другой уже не удержит.

Сила на силу! Кто победит в этом вздыбленном городе?

Самсон Попенкин открыл войну дяде Каллистрату, но он вовсе не собирается ринуться с головой в ряды противников директора комбината. Богатырски силен Каллистрат Сырцов, еще неизвестно, кто победит. Охота ли быть биту.

Самсон Попенкин стоял на мосту, слушая шепот текущей речки, не то чтобы взвешивал и прикидывал, а просто наслаждался минутой — в нем сейчас град Китеж обрел пророка, способного предсказать скрытое для простых смертных завтра.

На мосту раздались суетливые шажки, из темноты вынырнула щуплая фигура, наткнулась на Самсона Попенкина, созерцающего в отрешенном одиночестве загадочное завтра.

— Ой!

Очки в железной оправе, бледное испуганное лицо.

— Это вы, Самсон Яковлевич! Как вы меня напугали!

Полина Ивановна, хранительница читательских писем, дважды в день навещающая Самсона Попенкина по долгу службы.

И Самсон Попенкин вынырнул из пророческого транса:

— Куда это вы, Полина Ивановна, на ночь глядя?

— Как — куда? Домой. Я же здесь рядом живу, на набережной.

— А-а. Покойной ночи, Полина Ивановна.

Они разошлись, чтоб завтра вновь встретиться дважды.

Самсон Попенкин сразу же забыл о Полине Ивановне. Должно быть, пророческий дар в нем исчез в эту минуту, иначе бы он узрел, что эта тихая, незаметная женщина тоже попадает под колесо истории. Самсон Попенкин приближался к своему очагу, к домашним шлепанцам, к остывшему ужину, к озабоченной жене, и великое вновь умирало в нем, «смертью смерть поправ», рождался благонамеренный отец семейства.

Забыла тут же о Самсоне Яковлевиче и Полина Ивановна. У нее-то и вовсе ничего не шевельнулось в душе, не родилось никаких предчувствий. Откуда?.. Она же не обладала пророческим ясновиденьем.

10

В давние бесхитростные времена все происходило до умиления просто. Какой-нибудь Иванко Кривой или Мотька Малый, науськанный «смысленными», лез опрометью на колокольню, повисал на веревках и...— все прыгали с печей в катанки, рвали с гвоздей полушубки, бежали на площадь. Потом, криком и кольями согласовав поставленный ребром вопрос, шли дружно в подворье какого-нибудь родовитого посадника, вытаскивали его за бороду, рубили ему голову, громили его дом и службы, пускали красного петуха и расползались по своим печам с сознанием исполненного общественного долга. До нового набата... Оперативно, без какой-либо бюрократической волокиты, а главное — демократично.

Но это было в давние времена...

Стоит глубокая затяжная осень, и новый день начинается не утром, а старой ночью, оставшейся от прожитого «вечера».

В темноте под фонарями пробежали почтальоны с набитыми сумками, прямые потомки тех Иванков Кривых и Мотек Малых, что в древности подымали сполох. Они навещают дверь каждого подписчика, втискивают в жестяные щели почтовых ящиков набатное слово. А на площадях и автобусных остановках открылись киоски — сверни, прохожий, на несколько шагов, брось мелкую монету, получи взамен все тот же набатный призыв. Ни звона, ни сполошного крика, ни суеты — всего-навсего газетный шелест.

Газеты шелестят за утренним чаем, шелестят в автобусах, шелестят на работе... Массовый читатель любит входить в печатное слово не с парадного входа, а с черного,— открывает газету с последней страницы, рассчитывая наткнуться на какое-нибудь происшествие. Но в граде Китеже стоит глухая пора, даво уже никто не вытаскивал детей из пожара, не находил старых кладов, не побивал рекордов, даже футбольные и хоккейные матчи по осеннему времени не проводятся,

а значит, и не освещаются. Поэтому массовый читатель с задворочной страницы быстро переходил на внутреннюю и тут-то натыкался на статью Ивана Лепоты.

Нет, массовый читатель не вздрагивал, не вскрикивал, не вскидывался, не бросал все свои дела, он, сосредоточенно посапывая, прочитывал статью до последней строчки, кончающейся набатным крещендо — «Доколе?!»,— тщательно прятал газету и оглядывался кругом в надежде найти собеседника, излить ему свое просвещенное читательское мнение.

В этот день в граде Китеже знакомый, встречая знакомого, после «здравствуйте» (иногда даже вместо) нетерпеливо спрашивал:

— А вы читали?..

— Как же, как же! Каллистрату — гвоздь по самую шляпку.

— Нет, вы подумайте только!..

— Думай не думай, а ежели так пойдет, он нас всех эдак годика через три... отравит.

— От Кержавки, простите, теперь как из сточной канавы...

— Она и есть сточная.

— Помню, пескарей было в ней... Мы ребятишками их штанами ловили.

— Озеро гибнет, летом отдохнуть негде.

— А вы замечали, что лысых стало в городе куда больше, чем прежде?

— Ну, ну, какое отношение имеет Каллистрат Сырцов к лысинам?

— Да самое что ни на есть прямое! Вы думаете, он просто так пачкает водичку, он ее — стронцием, стронцием! Первый признак радиоактивности — волосы выпадают. Оглянитесь на Японию, там в Хиросиме и мужчины и женщины — все как коленка. Сначала волосы долой, потом кровь из красной белой становится, и... крышка нам всем, братцы, крышка!

Никто не рвался на площади, не кричал в голос, не хватался за колья, и голову рубить прославленному Каллистрату Сырцову никто не собирался. Но шли разговорчики под газетный шелест, город начинал бродить, словно котел с хмельным пивом. И в этом хмелю незаметно, исподволь начиналось перерождение. Какой-нибудь Петр Петрович, один из массовых читателей, скромный инкассатор или преуспевающий сотрудник си-

стемы бытового обслуживания, никогда еще не чувствовал себя дерзким и сильным. И вдруг он во весь голос расправляется — и с кем?! — с самим Каллистратом Сырцовым! Это ли не признак лихой отваги? Это ли не проявление подспудных сил?! В Петре Петровиче проявляется нечто царственно-львиное, он перерождается.

Много значило имя, стоящее под статьей,— Иван Лепота! Одни этого поэта уважали за кроткое умиление перед китежскими брусничными кочками и гроздьями рябины. Другие уважали его за то, что бывал бит чаще, чем кто-либо.

— Как что, так его, аж кровью сердце обливается.

— За битого небось двух небитых дают.

— Раз бьют, значит, за правду стоит, кто ловчит да подлаживается, того ласково гладят.

— От кого нам еще и ждать, как не от него, поддержки!

— Ну, Каллистрат Сырцов, налетел, голубчик!

В захмелевшем Китеже к дяде Каллистрату час от часу растет глухой гнев, к Ивану Лепоте — признательность и восторг. Сырцов чуть ли не отравитель, Лепота — спаситель. Голиаф и Давид, Идолище поганое и Алеша Попович, страшилище Челубей и Пересветинок!

Но в хмельном городе, заполненном преобразившимися царственно-львиными петрами петровичами, продолжали оставаться и трезвые натуры, не затронутые всеобщим сполохом.

Одним из таких был Кукушев Адриан Емельянович, муж Полины Ивановны, верной сотрудницы Самсона Попенкина.

11

Кукушев служил в местном обществе «Знание», так сказать, способствовал распространению научного прогресса. По примеру неунывающих философов прошлых веков он свято верил: все к лучшему в этом лучшем из миров. И когда в этом «лучшем из миров» кто-нибудь не особенно щепетильный выколупывал нечто неприятное, Адриан Емельянович выходил из себя — кричал о нытиках, маловерах, очернителях, порочащих нашу действительность.

Он преклонялся перед Каллистратом Сырцовым, считал его чем-то вроде Прометея, принесшего китежанам огонь индустриализации. И этого-то гиганта хотят связать по рукам и ногам! Разумеется, Иван Лепота в глазах Адриана Емельяновича сразу же превратился в ту легендарно-кровожадную птицу, которая клюет печень героического благодетеля града Китежа.

Досталось от мужа даже Полине Ивановне за то, что она служила беспринципной газете, порочащей Прометея-Каллистрата. Полина Ивановна кротко сносила упреки, а вот сын...

Еще в одном из древнейших египетских манускриптов будто бы сказано: «Нынче дети перестали слушаться своих родителей». И если, шутка сказать, дети не слушались родителей несколько тысячелетий назад, чуть ли не во времена первых фараонов, то можно представить себе, как они, благодаря столь долгой тренировке, преуспели в наши дни.

Кукушев-сын разительно не походил на Кукушева-отца. Отец был юношески гладкощек, сын — дедовски бородат, отец франтовато носил отутюженный костюм, сын — неглаженые, нестираные, с тщательно оберегаемой рваной бахромой джинсы, отец был наивно восторжен, сын — умудренно скептичен, отец уважал авторитеты, сын — только самого себя. И, уж конечно, сын не считал, что «все к лучшему», напротив, склонялся, что мир скоро должен полететь в тартарары. Отец не уставал огорчаться сыном, сын без огорчения принимал отца — на то он и предок, чтоб быть отсталым.

После газетной статьи столкновение отца с сыном было неизбежно. И оно произошло в конце дня, когда вся маленькая семья собралась за ужином.

Отец предался неосторожным воспоминаниям, каким заштатным городом был Китеж до того, как в нем построили комбинат,— ни центрального отопления, ни газа, ни телевизора, даже бани хорошей,— а теперь вон плавательный бассейн, и какой-то стихоплет смеет...

— Отец,— непочтительно перебил сын,— Иван Лепота поймал за руку жулика.

— Кто-о?! Кто жулик?!

— А разве не жульничество — сунуть бассейн и отнять реку с озером?

— Хватит вам — сейчас сцепитесь,— попробовала образумить Полина Ивановна, но ее трезвые остережения никогда еще не спасали мира в семье.

— Сырцов обжуливает, Лепота одаривает?! Да твой честный Лепота простой мышеловки не подарил людям!

— Лепота — совесть Китежа! — не без пафоса объявил сын.

— Чья, чья совесть? Таких, как ты. Тебе скоро двадцать один год, я в твое время...

— Извини, я это уже знаю наизусть: ты в мое время героически спасал своей грудью страну. Прошу не повторяться.

— Да, да! Я в твои годы уже досыта нахлебался фронтовых щей. Я прополз на брюхе через всю Европу! Я глядел смерти в глаза! А тебя сразу из школы сунули в институт — учись, мальчик, на всем готовеньком. И ты учишься? Да нет, лоботрясничаешь! Тянешь за собой хвосты! Оглянись, кто ты? Паразит-захребетник! И у таких-то Лепота тревожит совесть. Да он сам паразит по духу! Рука руку моет...

— Адриан! Ради Бога! — воскликнула Полина Ивановна, но было уже поздно.

Сын вскочил с места:

— Изумительно! Кол-лос-сально! Я — паразит! Потребляю чужие харчи, просиживаю в институте штаны, купленные на деньги своих благоверных родителей! Да еще смею иметь свое мнение. Не буду, не буду! Тунеядец приносит свои извинения и хочет исправиться. Оревуар и сэнк-ю! Ухожу из дома проводить в жизнь святой лозунг: кто не работает, тот не ест!..

— Владик! Ради бога!

— Не бойся, мать, не бойся. Куда он денется. Голод — не тетка, не таких упрямых козлов делает ручными.

— Вот именно, в этом доме уважают только ручных животных. Предпочитаю пастись на свободе.

Сын вышел, хлопнув дверью.

В общем-то ничего сверхъестественного не случилось, обычная сцена, от какой не гарантирована ни одна семья. «Нынче дети перестали слушаться своих родителей» — во всех землях с древнейших времен до сего дня. Важно лишь отметить, сколь глубоко раскололо набатное слово град Китеж — до семейных устоев.

Сын хлопнул дверью, а Адриан Емельянович спустился этажом ниже к своему старому знакомому, персональному пенсионеру Панкрату Панкратовичу Шишкину, которого обычно все называли за глаза Пэпэша, имея при этом в виду не только счастливое сочетание инициалов, но и некоторые свойства характера.

Нет, Пэпэша не был единомышленником Адриана Емельяновича Кукушева, он вовсе не считал, что живет сейчас в лучшем из миров. Вот в то время, когда он, Пэпэша, был бодр, деятелен и влиятелен,— действительно мир, без дураков, пребывал в наилучшем состоянии. Тогда он имел железного хозяина, железную дисциплину, тогда уважалась сила и презиралась всяческая слабость, нытики молчали, а славословцы вещали.

Пэпэша, конечно же, был недоволен кутерьмой в городе, недоволен распустившейся прессой, недоволен распоясавшимися болтунами, которые обсасывают злоумышленную статейку, недоволен Каллистратом Сырцовым, на которого нет управы, недоволен Лепотой — знай, сверчок, свой шесток! Как всегда недовольный всем и вся, Пэпэша сердито выпаливал:

— Стрелять их надо! Стрелять! Не цацкаться!

Когда-то это у него выходило грозно — мороз по коже! — теперь получалось сварливо и невнушительно.

И странно, нисколько не сходясь со своим приятелем во взглядах, Адриан Емельянович, однако, слушал его негодования и обретал душевное равновесие — всем плохо, не тебе одному.

12

Главный редактор Крышев усиленно занимался внешними сношениями, исчезал из редакции и возвращался, вновь исчезал и вновь возвращался. Боковая походочка с мелким прискоком, по ней было видно — человек не в себе, хотел бы куда-то удрать, спрятаться, да служебное положение не позволяет.

Самсон Попенкин навещал его после каждого возвращения. В кабинете главного безмолвствовал телевизор, сам хозяин был ненамного красноречивее, уныло маячил над зеленым полем своего стола, разводил руками, ронял со вздохом:

— Ничего.

После третьего выезда удалось кое-что выжать.

— Каллистрат Сырцов приезжал, час целый сидел...

— И что?

— И ничего. За закрытыми дверями был разговор.

«Ничего» — результат явно плачевный. Раз уж был заказан набат и он получился на славу, то, наверное, надо было срочно пользоваться им: хватать дядю Каллистрата, обличать по горячим следам. И ничего...

До Самсона Попенкина доходили известия о событиях в городе, взбудораженном набатной статьей.

Некое Общество охраны природы, неприметно существовавшее в Китеже (настолько неприметно, что даже всеведущий Самсон Попенкин и не слыхал о нем), собралось на внеочередное собрание, как всегда, в подвальном помещении при здании Охотсоюза. Много лет тишайшее общество заседало здесь, и никто не обращал на него никакого внимания. Сейчас вдруг разнесся слух: Общество-де собирается только затем, чтоб возбудить судебное дело против Каллистрата Сырцова. И возле Охотсоюза сразу же собрался любопытствующий народ. Обеспокоенный участковый Тришкин — как бы чего не вышло! — вызвал срочно наряд в лице постового Лелюшко, сняв его с соседнего перекрестка.

Студенты биофака Китежского пединститута написали возмущенную петицию в защиту биосферы с пространной научной аргументацией и не менее пространными учеными цитатами — петиция пошла по рукам, стала собирать подписи. Подписывались и те, кто слыхом не слыхал о биосфере, не представлял, что это такое.

Кандидат медицинских наук Малышев, приглашенный в студию местного телевидения, прочитать очередную лекцию о здоровье, сообщил многим тысячам телезрителей свежую мысль, что здоровье любого и каждого зависит от чистого воздуха и чистой воды. Он, Малышев, показал телезрителям фотографии — отравленные химией леса и забросанные разной пакостью водоемы... находящиеся в Америке. Град Китеж никогда еще не походил на Америку, но в телестудии начали раздаваться частые телефонные звонки, зрители обличающими голосами указывали на прямое сходство.

Росла час от часа слава Ивана Лепоты. Китежу, оказывается, не хватало своего Козьмы Минина, он появился — Лепота, поднявший ополчение в защиту чистых вод.

А с Каллистратом Сырцовым — ничего... Руководит комбинатом, ведет переговоры при закрытых дверях.

Да было ли намерение свалить этого Илью Муромца китежской промышленности?

Так ли уж можно уязвить его через фильтрацию?

Может, ахиллесова пята дяди Каллистрата вовсе и не тут?

Тогда надо ждать — директор Сырцов со всей своей богатырской размашистостью нанесет ответный удар.

Илья Макарович Крышев поставил свою подпись на «собаке» набатной статьи, его фамилия стоит и под газетой, он дважды виновен перед Каллистратом Сырцовым.

Илья Макарович осунулся, побледнел, глаза затравленно бегают, и голос с ощутимой дрожью:

— Ничего...

Самсон Попенкин тоже встревожен, но не так чтобы очень. Он знал, что после набата подымется сила на силу, но вовсе не был уверен, чья возьмет, а потому вел себя предусмотрительно — поперед батьки в пекло не лез.

Илья Макарович подозревал это, поеживался и смотрел на своего ответственного секретаря с явным недружелюбием.

— Сунул ты меня, братец, в хорошенькую историю.

— Я — вас? — удивился Самсон Попенкин.

— А то кто же?

— Да разве вы от меня указание о набате получили, а не я от вас?

— Ладно, ладно, а все-таки не надейся за мной укрыться — статью-то ты готовил к печати, я лишь передоверился, подмахнул ее.

Ругаться было и преждевременно, и бессмысленно, поэтому Самсон Попенкин примиряюще сказал:

— Рано паниковать, Илья Макарович. Поживем — увидим.

— Вот-вот, того и хочу, чтоб ты, дружок, тоже глядел в оба, не благодушествовал. Одной веревочкой связаны — помни — и рубить не пытайся.

Это уже почти угроза — один не утону, с собой потащу! А ведь чем черт не шутит, когда бог спит.

13

Раз тебе угрожают: «Рубить не пытайся!» — значит, руби, особо не мешкай.

Но Самсон Попенкин был не из тех, кто, зажмурившись, с маху рубит. Нет, надо прежде оглядеться. Вдруг да рано еще рубить концы. Необходимо точно узнать, как себя чувствует сейчас дядя Каллистрат? Может, и он охвачен паникой?

Необходимо проникнуть в стан противника.

Нет, для этого не нужно ждать темной ночи, вооружаться отмычками, перевоплощаться в разведчики типа неуловимого Исаева-Штирлица, заворожившего своей ловкостью всех китежских телезрителей. И вообще нет нужды покидать свой обжитой тесный кабинет, стоит снять лишь телефонную трубку, набрать соответствующий номер.

Как любой уважающий себя руководитель, Каллистрат Сырцов держал перед собой заслон в лице секретарши.

— Кто говорит? — суховато спросил женский голос.

То ли Вольтер, то ли Бисмарк поучал: если не знаешь, что сказать, говори правду. И Самсон Попенкин последовал этому совету:

— Из редакции газеты «Заря Китежа».

Короткое осуждающее молчание.

— Одну минуточку.

Минуты не прошло, как в трубке раздался глубокий баритон самого дяди Каллистрата:

— Чем обязан?

— Я — ответственный секретарь газеты Попенкин.

— Вам поручили высказать покаянные извинения?

— Увы, Каллистрат Поликарпович, газета пока не собирается каяться.

— Так какого лешего вы мне надоедаете?

— А вы думаете, что в газете сидят лишь одни ваши враги, Каллистрат Поликарпович?

— Уж не друзья ли на меня эту разудалую статейку навесили?

— Нет, не друзья. Ваши друзья были против ее опубликования. И можете поверить, я в числе их.

— Предположим. Так что вам нужно от меня, верный друг?

— Твердых данных.

— Каких данных?

— Оправдывающих комбинат в целом и лично вас в частности.

— Оправдывающих?.. А я, друг любезный, оправдываться и не собираюсь. Упрекаете, что речку вашу занюханную пачкаю... Да, пачкаю! Спросите: буду ли продолжать пачкать? Отвечу: буду! Потому что и рад бы не грешить, но нужда заставляет.

— А эту нужду не раскроете мне... поподробней.

— Как вы думаете, друг далекий, во сколько круглых миллиончиков обошелся для государства наш комбинат?

— Не знаю, но полагаю, что очень много.

— Вот именно! А фильтрационные установки, которые бы вернули вашей жалкой речонке ее родниковую чистоту, обойдутся чуть ли не во столько же... Да, да, почти в стоимость всего комбината. И то еще бабка надвое гадала — то ли будет прежняя родниковость, то ли нет. Фильтрация промышленных отходов — должны бы без меня знать, любезные,— слабое место всей современной техники. Все индустриально развитые страны стонут от этой слабинки. Представьте себе, не один Китеж.

— Ну, хотя бы не идеальную фильтрацию, Каллистрат Поликарпович, хотя бы какую-нибудь иметь.

— У нас есть, и не какая-нибудь — поля фильтрации на добрых два десятка гектаров. И, как видите, помогают неэффективно.

— И ничего больше нельзя сделать, Каллистрат Поликарпович?

— Почему нельзя... можно — закрыть комбинат.

— Все ясно. Благодарю вас, Каллистрат Поликарпович.

— Не за что. Втолкуйте это другим моим верным друзьям.

Самсон Попенкин осторожненько положил трубку на телефон.

14

А главный редактор Крышев в эти самые минуты от отчаянья решил тоже действовать. Надо вооружаться на тот случай, если его вызовут и спросят: «Что вас,

дорогой товарищ, заставило, какие мотивы?..» Не ответишь же с невинным видом: мол, вы и заставили, от вас пошло — дай статью, и непременно набатную! Не-ет, сразу отрезвят: «А разве мы это имели в виду? Вольно вам так понимать. С больной головы на здоровую! Не выйдет, товарищ Крышев!» Надо иметь под рукой хоть какую-то оправдывающую документацию, чтоб когда спросят: «Что вас?.. » — открыть папочку и выложить: «Вот что». Факты, сведения, наглядные доказательства, попробуйте-ка закрыть глаза. И чем нагляднее, тем лучше.

Илья Макарович нажал кнопку:

— Тугобрылева ко мне!

Тугобрылев, старейший мастер китежского фоторепортажа, был способен почтенного старца запечатлеть на фотобумаге пылким юношей, какое-нибудь производственное бригадное собрание — героической сценой а-ля Давид «Клятва Горациев».

Он явился, тучный, красный, с сипотцой дышащий, вооруженный короткой фотопушкой, готовый ринуться по приказу — одна нога здесь, другая там.

— У вас в ваших запасах есть снимки, по которым бы можно увидеть во всей наглядности нашу гибнущую природу? — с ходу спросил Илья Макарович.

Тугобрылев оскорбился:

— Гибнущее, Илья Макарович? Да что я, бракодел какой! Или я чутья лишен начисто? Если уж я, скажем, лес снимаю, то он у меня — ай-люли! — пышненький, если озеро — так душа радуется. Гибнущее, Илья Макарович, не мое амплуа — только цветущее!

— А надо отобразить.

— Гибнущее?

— Да. И во всей убийственной наглядности!

Тугобрылев озадаченно поскреб лысину:

— Ну, а что именно?

— Ну, леса умирающие, без листвы. Ну, грязную воду речки. Потоки промышленных отходов... Да найдите, найдите! Что я вам, пальцем указывать должен. Вы мастер, а не я.

— Леса без листвы... Гм!.. Так они теперь все без листвы — осень.

— Придумайте что-нибудь, придумайте!

— А грязную воду, да помилуйте!.. Можно в воде дохлую собаку снять или старую бочку, а грязь...

— Да, грязь! Да, промышленную! Никаких дохлых собак!

— Абсолютно не фотогенично.

— Добейтесь!

— Не смогу, Илья Макарович.

— И не одну фотографию, а много, много! Чтоб волосы дыбом, чтоб за голову схватились!

— Илья Макарович, я всю жизнь стремился к идеальному, к прекрасному, а тут грязь... Не невольте!

— Надо, Тугобрылев! Надо!

— Да еще чтобы волосы дыбом! Помилуйте!

— Надо, Тугобрылев! Надо!

— Всю жизнь стремился воспеть...

— Наступи, Тугобрылев, наступи на горло собственной песне. Слышать не хочу отговорок. Старейший мастер, опытнейший и — пасует, руки опускает перед трудностями! Стыд-но!..

Начался большой главредакторский разнос. Тугобрылев клонил долу обширную лысину и слушал.

Без обычной прыти — одна нога здесь, другая там — выскочил он из кабинета Ильи Макаровича и наткнулся на озабоченного Самсона Попенкина, не удержался, чтоб не поплакаться:

— Самсон, ты же меня знаешь, я всю жизнь к прекрасному лицом. А тут... меня, Тугобрылева!.. На грязь!..

Самсон Попенкин выслушал, посочувствовал:

— Ничем тебе не могу помочь, пушкарь... Но ты на всякий пожарный случай не забудь и комбинат снять во всей красе и величии. Пригодится.

— Да это я с фанфарами! Это я так возвеличу — не комбинат, а соната получится! Чтоб дыхание перехватывало!

— Там у них поля фильтрации большие, на много гектаров. Их еще никто не снимал. Возьми на прицел, пушкарь.

— Без грязи?

— Уж постарайся, чтоб выглядели чистенькими. Кому приятно на грязь любоваться.

— Эт-то пожалуйста! Эт-то за милую душу. Поля фильтрации! Да сиять будут, как начищенные!..

Самсон Попенкин с невольной жалостью представил себе Крышева, сгибающегося над зеленым полем своего письменного стола: «Ну и ну, картинками спасти себя хочет. Дошел». Нужно брать управление в свои руки, повернуть круто редакционный корабль — кормой к вздыбленному набатом городу, носом к дяде Каллистрату.

15

Обычно Полина Ивановна навещала ответственного секретаря Попенкина, сегодня он сам к ней явился.

В конце длинного редакционного коридора — комната, стесненная шкафами. Это сокровищница. Сюда со всех концов китежской земли стекаются вести в проштампованных конвертах. Тут можно познакомиться и с высокими порывами какой-нибудь периферийной поэтической души, и с горячими жалобами на местные непорядки, и с различными предложениями — делового характера, нравоучительного, кляузного, просто невразумительного. Вести слетаются, сортируются, нормируются и в конце концов прячутся в монументальные шкафы, запираются уже на века. На то это и сокровищница, чтоб ревниво хранить, а не пускать по ветру.

Большинство писем адресуется главному редактору Крышеву, но читает их только Полина Ивановна. Наверное, нет на свете скучнее обязанностей, чем по долгу службы читать чужие письма, потому-то на лице Полины Ивановны отпечаталась покорная, непроходящая унылость. И подслеповатые очки в железной оправе, и жидкие волосы, которые, казалось, кто-то с небрежной торопливостью завязал для памяти в узелок на затылке, и общее впечатление — вся Полина Ивановна припорошена пыльцой, не проветрена.

Кроме того, у Полины Ивановны — чего Самсон Попенкин не мог знать — очередные неприятности в семье, отец поносит сына, сын не ночует дома, а этажом ниже кричит пенсионер Пэпэша: «Стрелять! Стрелять!» И это тоже действует на нервы, усугубляет унылый вид Полины Ивановны.

— Полина Ивановна, покажите мне все читательские отклики на статью Ивана Лепоты,— потребовал Самсон Попенкин.

— Я вам уже показывала.

— Когда?

— И вчера, и сегодня. Каждое утро ношу. Вот еще два письма пришло только что.

— Гм...— Самсон Попенкин за свою многолетнюю практику как-то не привык обращать внимание на то, что приносит ему Полина Ивановна.— А не помните, было что-нибудь интересное? Эдакое боевое против Лепоты?

— Нет,— равнодушно отозвалась Полина Ивановна.— Да и не может быть, я думаю.

— Почему же?

— Да потому, что вот уже пятнадцать лет я ношу вам письма, а вы еще ни одно не напечатали. Ни одно.

— Все-таки соберите сейчас мне все, что касается Лепоты. Еще раз внимательно просмотрю. Читатель — это народ, дорогая Полина Ивановна. На-род! А откуда еще нам и черпать существо дела, как не из народной гущи.

Через пятнадцать минут Самсон Попенкин шагал к себе, унося под мышкой папку.

Стоит задача — развернуть идущий корабль! Набатная статья нацелена против дяди Каллистрата. Так что же—поместить иную статью, подписанную иным автором, нацеленную уже в иную сторону—не «против», а «за». Но тут-то живенько заметят: вчера вы так, сегодня эдак, пели за упокой, теперь за здравие, и нашим и вашим за копейку спляшем — явная беспринципность! Новая статья никак не подходит, а прежним курсом идти дальше опасно. Какой выход? Да самый простой, самый проверенный — читательское письмо! Читателю не возбраняется думать по-всякому — и «за», и «против», соглашаться с редакцией и возражать ей. Почему бы не прийти письму, решительно возражающему Ивану Лепоте,— за дядю Каллистрата, никак не против. Почему бы и не опубликовать его. Выходит, что газета читательским голосом громит то, что прежде утверждала статьей,— курс изменен, корабль развернут! Вчера так, сегодня эдак — беспринципны? Ан нет, наоборот, не зажимаем рот читателю, распахиваем двери перед любым честным мнением — сугубо принципиальны, сверхобъективны. Кто смеет думать иначе?

Самсон Попенкин нес к себе папку с читательскими письмами.

Он сел за стол, с примерным усердием раскрыл папку, взял первое письмо. В нем некая Катя Колбасина, ученица восьмого «А» класса, крупным почерком признавалась в своей любви к стихам Ивана Лепоты: «Лепота — наш китежский Есенин». Самсон Попенкин посидел мечтательно над письмом и со вздохом отодвинул всю папку. Ворошить все эти бумаги — мартышкин труд. В своей газетной практике Самсону Попенкину еще не удавалось выловить золотую рыбку из почтового потока. Стоит задача сокрушить набатную статью, а она, что ни говори,— своего рода шедевр. Клин вышибается клином, шедевр можно сокрушить только шедевром! Рассчитывать, что нужный шедевр лежит в готовеньком виде в этой папке,— утопия. Не теряй времени зря. Думай, как родить.

Есть старый бесхитростный путь, истоптанный газетчиками,— организовать нужное читательское письмо. Сначала подыскивается подходящий человек, не из литераторов, не из штатных газетчиков — из широкой читательской массы. Потом ему втолковывается, что именно следует написать. Потом это написанное доводится «до кондиции». Хлопотно, трудоемко и ненадежно — можно оскользнуться. Кто гарантирует, что на автора не обрушатся с упреками, он не выдержит напора, не примется оправдываться: я-де тут ни при чем — нажали, заставили. «Кто заставил?» — «Да вот он!» Перстом на виновника, полный конфуз.

Самсон Попенкин не любил истоптанных дорог, да еще столь скользких. Куда проще самому... Да, да, от лица имярек — все что нужно, с должным накалом. Клин вышибается клином, шедевр — шедевром.

Но подтасовка? Подлог?

Нет, высокое творчество!

Кто осмелится упрекнуть великих писателей, что они подсунули миру никогда не существовавших во плоти чичиковых, раскольниковых, холстомеров, каштанок? И можно ли упрекать тогда Самсона Попенкина в том, если он одарит град Китеж вымышленным глубокомысленным читателем с сугубо реальными взглядами и чаяниями.

Готового письма нет, и Самсон Попенкин придвинул к себе лист чистой бумаги, углубился в творчество.

«Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар, который, вырвавшись со страниц вашей газеты, кружит сей-

час не в меру горячие головы?..» Перо забегало по бумаге.

Обычной жизнью жила редакция — где-то звонили телефоны, шли споры о строчках, не влезающих в колонку, стучали пишущие машинки, галопчиком по коридору пробегали курьеры, а здесь, в тесном, узком кабинете, свершалось великое таинство перевоплощения — ответственный секретарь Попенкин исчез на время, вместо него сидел за столом некто, добропорядочный гражданин города, скромный труженик, активный подписчик газеты, болеющий за выполнение планов, осуждающий израильскую агрессию, горячо желающий родному городу мира и процветания.

Перо бегало по бумаге:

«Угаром охвачен наш город! Человек, который, как птицу Феникс, поднял из праха величественный промышленный комплекс, оказывается вдруг злоумышленником. Угар столь велик, что вот-вот раздадутся надсадные вопли: «Распни его!» Но во имя чего, спрашивается? Да во имя дыма костров, запаха ухи, которые столь трогательно оплакивает лирик Лепота, получивший в Китеже странную, ничем не оправданную известность...»

Эти строки должны сильно не понравиться Кате Колбасиной, юной читательнице газеты, пребывающей в восьмом «А». И не только Кате — многим, ой многим!

Но перо бегало по бумаге, язвило Ивана Лепоту:

«Очнемся же! Оглянемся! Удивимся на себя! Что на что мы меняем? Величественный комбинат на запах ухи! Промышленный прогресс на слезливые эмоции подозрительного поэта! Назад к первобытным кострам — стремление питекантропов!..»

Перо само вывело разящее слово — пи-те-кан-тро-пы! Многие же взвоют от него — все почитатели Ивана Лепоты, все противники дяди Каллистрата.

И под конец глубокомыслящий читатель решает сразиться с поэтом Лепотой его же оружием. В защиту Каллистрата Сырцова он выдает следующие вдохновенные строки:

Мы вас любим, мы вас ценим,
Нет вопроса — нужен ли?
Так парную ценит баню
Пропотевший труженик!

Самсон Попенкин отложил перо в сторону. «Были когда-то и мы рысаками!» Как жаль, что ни Иван Лепо-

та, никто из китежан, бескорыстно любящих настоящую поэзию, не узнает истинного автора этих возвышенных строк! Но мед, выпитый тайком, не становится менее сладким.

В письме не хватало одного — авторской подписи. Какую поставить фамилию? Нужно нечто обобщающее, массовое — Иванов, Петров, Сидоров? Да будет так — пусть явится миру, скажем, некий Иван Петрович Сидоров.

И Самсон Попенкин снова поднял отложенное перо, подмахнул внизу: «И. СИДОРОВ». И опять, должно быть, в сутолоке дня проскрипело колесо китежской истории.

Как ни прозорлив был Самсон Попенкин — прозорлив временами до ясновиденья! — но все-таки он наивно полагал, что родил всего-навсего честное читательское письмо, подбросил, так сказать, новое поленце в костер. Тогда как в эти минуты родился — нет, даже не новая историческая личность, а нечто большее — дух, наделенный таинственной силой!

16

Полина Ивановна с полнейшим невниманием отнеслась к неожиданному интересу ответственного секретаря к читательским письмам, тем более что папка с письмами была ей возвращена, Самсон Попенкин походя бросил:

— Все в порядке. Кое-что выловил.

Ну, выловил так выловил. Полина Ивановна упрятала письма в шкаф — на вечное хранение. Вообще-то она с самозабвенной честностью относилась к своим обязанностям. За многолетнюю службу у нее не пропало ни одного читательского письма. Ни разу она не позволила себе прийти на работу на пять минут позже, уйти на пять минут раньше, даже не могла в служебное время думать о чем-либо, кроме классификации и хранения писем. Но в последние дни мысли ее были заняты семейными неурядицами,— сын по-прежнему не ладил с отцом. Словом, Полина Ивановна в данный момент утратила бдительность.

В тот вечер ее томило какое-то предчувствие, едва дождавшись конца рабочего дня, она заторопилась домой.

И предчувствие не обмануло: семейный очаг походил на огнедышащий вулкан,— явился блудный сын и выяснял отношения с отцом.

Они сошлись. Вода и камень
Стихи и проза, лед и пламень...

Отец в шлепанцах, в домашней потертой вельветовой курточке, обихоженная лысина нежно розовеет от родительского гнева. Сын, мятый, взъерошенный, в чужом свитере с разодранными локтями.

— Когда?.. Когда я тебя обманывал?! — теноpистым петушком наскакивал отец на сына.

— Ты мне всю жизнь обещал лучший из миров,— простуженно сипел сын.

— Обещал? Да я тебе его добыл! Завоевал! Горбом выколотил!

— Спасибо. Только что я имею?

— Ты сыт, ты одет, обут, в тепле живешь, на чистых простынях спишь. Чего еще? Какого рожна?

— Не хочу чистых простынь. И сытости тоже... Свободы хочу!

— Это как понимать?

— А так... Тут даже улицу не перейдешь, где тебе нравится, сразу милиционер засвистит. Кругом запреты — хорош твой мир!

— Ишь чего захотел — улицу в недозволенном месте. Разохотишься на недозволенное, не остановишь тебя.

— И не смей останавливать — уважай мою личность. Требую!

— Хе-хе! А можно ли тебя уважать? Ты ведь такой — палец протяни, руку откусишь. Ты тогда ко мне всякое уважение потеряешь. Нет, братец, тебе доверять нельзя, держать за воротничок надо, чтоб из рамок не вышел.

— Лучше смерть, чем рамки.

— Вот именно, вот именно! Без рамок, без законов и будет тебе смерть. Захочешь перескочить улицу в недозволенном, а тебя шофер — тюк! Без рамок, без законов, без порядка — какая жизнь?

— А я, может, хочу такой мир, где никаких шоферов.

— Это как так?

— А так — без машин, которые воздух портят, без заводов, без никакой техники — самолетов, танков, бомб.

— И что же останется?

— Солнце, воздух и вода да земля зеленая.

— А питаться это — воздухом и водичкой?

— Жили же люди раньше без всякой техники, и ничего...

Отец схватился за дозревшую до апоплексической спелости лысину:

— Слушай, мать! Смотри! Кого мы с тобой вырастили? Рутинера? Консерватора? К обезьянам ему хочется! Назад к обезьянам!

Полина Ивановна, не сняв ни пальто, ни берета, стояла, прислонясь к косяку дверей. Она-то надеялась — сын образумится, и все пойдет по-старому. Увы! И в том ли дело, что непослушный сын поскандалил с отцом, нет, тут какое-то сумасшествие, какая-то эпидемия занесена в тихий град Китеж!

Полина Ивановна не читала древних египетских манускриптов: «Нынче дети перестали слушаться своих родителей...» Ей казалось, что все это небывалое, чудовищное — странный мир портит сына...

17

Самсон Попенкин на этот раз решил не утруждать Илью Макаровича, сам «накинул петлю на собаку», распахнул письму читателя Сидорова дверь в зону печатного слова: «Добро пожаловать!»

Еще не появились из типографии влажные оттиски читательского письма, а уже вся редакция настороженно зашумела:

— Читали?

— Да-а, глубокий вираж.

— Опять паленым запахнет.

— Напротив, напротив — хар-рош-шая бадейка халлодной водички на разгоревшийся костер.

— Ну, дыму и треску будет!

Стены редакции, обычные на вид, добротно кирпичные, имели удивительное свойство выпускать наружу каждый более или менее значительный звук. Вечером, до того как новый номер газеты был окончательно сверстан, по улицам и переулкам града Китежа пошел невнятный говорок. Очень невнятный и невразумительный. Сосед бежал к соседу и объявлял:

— Слушок есть, Ивана Лепоту того...

— Что — совсем?..

— Ну, совсем не совсем, а душу повытряхнут. И осведомленный сосед бежал к другому соседу:

— Ивана Лепоту, слышали... Совсем, похоже, того...

— С милицией?

— Пока неизвестно, но ясно — Кузьмой Мининым в наши дни долго не разгуляешься.

И ахи, и охи, и глухое возмущение, и — что принято называть — в «зобу дыханье сперло».

Кирпичные стены редакции были звукопроницаемы, а вот дверь кабинета Ильи Макаровича Крышева — нет. Он узнал о рождении честного читательского мнения Сидорова, лишь развернув типографски запашистый номер газеты. Прочитал, посидел оглушенный и накинулся на телефон:

— Попенкин, ты?.. Сейчас же сюда!

И Самсон Попенкин послушно появился в кабинете главного, занял насиженный стул напротив безмолвствующего телевизора — взгляд не виляющий, вдумчивый, узелок галстука туго затянут, пиджак застегнут на все пуговицы.

— Что это значит? — Крышев ткнул рукой в развернутый газетный лист.

— Читательское письмо, как видите.

— Это что, вроде сюрприза на именины? Почему со мной не согласовали?

— Разве о Каллистрате Сырцове есть что-нибудь новенькое?

— При чем тут Каллистрат Сырцов?

— Да при том, Илья Макарович, что вас могут упрекнуть: набат подняли и тут же на попятную.

— Вот именно! Именно! На попятную! Кто вас просил соваться с этим письмом?

— Хочу, чтоб вы в любом случае остались главным редактором,— когда Сырцова победят и когда он победит. В первом случае у вас заслуга — набат подымали против Сырцова, во втором случае заслуга у вашей газеты — выступила в защиту.

Илья Макарович разглядывал своего невозмутимого помощника растерянно и подозрительно.

— Ловчишь, братец! Благодетелем прикидываешься. Выходит, я в Каллистрата стрельнул, ты его прикрыл.

Сохраняя невозмутимость, Самсон Попенкин поднялся со стула:

— Да, прикрыл с тылу. Впрочем... снимите письмо. Лежит набранный материал о доярке Капустиной. Не поздно, тираж еще не начали выдавать.

И главный редактор Крышев в одну минуту был обезоружен. Снять читательское письмо, когда оно уже заверстано,— значит вызвать суды и пересуды, значит выставить себя открытым врагом неуязвимого Каллистрата Сырцова. И хочется и колется — ох уж эта диалектика!

Самсон Попенкин, четко отстукивая каблучками, с навешенным затылочком, отмаршировал из кабинета.

Ничто уже не могло остановить входящего в мир читателя с сугубо массовой, народной фамилией — Сидоров.

18

Устойчиво слякотное утро над градом Китежем. Мокрый от дождя фасад редакции с его неуловимой страдальческой перекошенностью.

Две застекленные витрины сбоку от подъезда.

Одна хранит в себе покоробленные выцветшие фотографии на тему — проведение весеннего сева. Сейчас вокруг града Китежа простирается глубокая осень, но фотографии отражают весенний сев, возможно не нынешнего, а прошлого года. Скорей всего они просуществуют благополучно до нового сева, обретут свою актуальность.

Вторая витрина хранит наисвежайший, только что испеченный номер газеты «Заря Китежа».

Из жидкого, но неиссякаемого потока прохожих всегда находятся охотники задержаться у последней витрины. Обычно — три-четыре склоненные головы, сегодня — толкучка. Обычно — академическое спокойствие, каждый из читателей в одиночку переваривает газетные новости и, ни с кем не поделившись, удаляется. Сегодня распахнутые печатные полосы рождают трибунов.

— Это-то на кого он замахивается? Эт-то он на нас, братцы! Пи-те-кантропы мы! Чуете?.. Я, значит, пи-те-кантроп, то есть вроде большой обезьяны... Эт-то что же, братцы, по рылу нас, а мы утирайся! А?!

Витийствует трибун-самовыдвиженец — кепка мокрая, как вынутый из рассола груздь, небритая измятая физиономия, незастегивающееся пальто, руки энергично засунуты в надорванные карманы, и голос, словно специально созданный для убеждения случайных встречных на улице, голос, в котором чувствуется глубинная интонация: «Повякай мне!»

Спешившая на работу Полина Ивановна не без робости обошла стороной трибуна, вскользь бросила на него смятенный взгляд. А тот взывал к скопившимся читателям, будил в них совесть:

— На Лепоту, братцы, навалился!.. Я этого Сидорова в гробу видел в белых тапочках, а вот с Лепотой знаком. Удостоился! На троих как-то раздавили. Стихи нам читал. Пронзительной силы человечек! А тут Сидоров какой-то...

Трибун раздувал ноздрю, раздвигал плечи,— вот, мол, какой крупный овощ в окрошку рублю!

Полина Ивановна, не дождавшись последнего сокрушительного удара по Сидорову, нырнула в редакционный подъезд, по обшарпанной лестнице вбежала на второй этаж и... попала прямо в объятия старейшего мастера китежского фоторепортажа Тугобрылева.

— Полина Ивановна, голубушка! Вас, вас сторожу! Специально пораньше пришел. Адресочек мне, не в службу, а в дружбу.

— Какой адресочек, Осип Осипович?

— Как — какой? Сидорова! Через вас он прошел, через ваши руки!

— Сидоров?.. Ничего не пойму.

— Не темните, Полина Ивановна, голубушка, не темните! Откуда Самсон выудил это письмецо? Могло ли оно — хе-хе! — мимо вас пройти? Уж не темните.

— Не знаю никакого Сидорова,— растерянно ответила Полина Ивановна, вспоминая трибуна, витийствующего у подъезда.

— Полина Ивановна, вы войдите в положение: кто такой Осип Тугобрылев? Стрелок! Тем только и занимается, что знаменитостей на мушку берет. Балерина выше других прыгнет — на мушку ее! Бык-производитель выдвинется — тоже на мушку... Сейчас вот Сидоров! Бальшу-ую славу от него жду. Не может быть, чтоб он при письме адреска не указал, хотя бы на конвертике. Ась?

— Сидоров... Я только сейчас его имя услышала, когда в редакцию подымалась.

— Ну, Полина Ивановна, ну-у! Шутница вы, право.

— Ничего не знаю, Осип Осипович. Честное слово. Не невольте.

Мелкие продувные глазки на обширной круглой физиономии Тугобрылева по мере возможности распахнулись, обрели некую квадратность.

— Це-це-це! — процокал наконец мастер фоторепортажа.— Вот, оказывается, какие пироги! Не невольте... Засекретить приказано. Це-це-це! Сидоров-то, он, может, совсем и не Сидоров! Мне, старому дураку, такое и в голову не ударило... Молчу, Полина Ивановна, молчу! Не буду неволить. Нет!..

И лихой мастер фоторепортажа слоновьим галопчиком ринулся в ближайшую по коридору комнату, где уже собрались, но еще не приступили к своим обязанностям сотрудники.

— Мраком, братцы, покрыто! Мраком! — выкрикнул с порога Тугобрылев.

— Пушкарь что-то принес.

— Читатель — ха! А его личность в тайне держат, не подступись.

— Ты о ком?

— О ком еще, как не о Сидорове. Никаких сведений о нем не выдается. Засекречен.

— Эге, не среднего размера, выходит, фигура.

— Да и видно зверя по следу.

— Не дядя ли Каллистрат под псевдонимчиком?

— Если наши Каллистрата подмочить не испугались, то уж мокренького-то зачем пускать на порог.

— Крупней самого Каллистрата!!

И все на минуту притихли, кто-то подавленно обронил:

— Ну и автор к нам залез, мать честна!

Слух о таинственном величии Сидорова молниеносно распространился по редакции, выплеснулся за ее пределы.

А в это время Полина Ивановна, как всегда тихой отшельницей уединившись в своем отделе писем, развернула свежую газету и впервые познакомилась с письмом

читателя Сидорова. Бродившие вчера вечером по редакции разговоры не добрались до тихой отшельницы.

Сидоров... Письмо... Нет, она не помнит такого письма и такого читателя. Не было. Но вот оно налицо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар, который, вырвавшись со страниц вашей газеты...» Самсон Яковлевич Попенкин брал письма, вернул их со словами: «Все в порядке. Кое-что выловил». Ничего себе, кое-что... Не могла же она проглядеть.

Полина Ивановна ринулась к нужному шкафу, нужной полке, достала все письма, которые отдавала Самсону Попенкину, и на целый час утонула в них, придирчиво проглядывая каждое. Ничего похожего. Странно. Но — «Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар...».

Ей пришла в голову отрезвляющая мысль: раз письмо Сидорова прошло в печать, то не может оно храниться среди этих возвращенных за ненадобностью, его наверняка отправили в другие архивы... Мысль трезвая, но не успокаивающая.

Загадка — как она могла его проглядеть? Если б был наплыв писем. Не часто, но на памяти Полины Ивановны случалось — газету захлестывало половодье читательских мнений. В последний раз, дай бог памяти, оно произошло лет семь тому назад, когда все того же Ивана Лепоту ударили за умиление перед несуществующими китежскими колоколами. Читатель ринулся в бой, решая обоюдоострый вопрос — хорошо или дурно поступили в свое время, лишив град Китеж колокольного звона? Но и тогда Полина Ивановна умудрялась проглядывать каждое письмо. Сейчас наплыва не было, читатель не успел раскачаться, со скромным ручейком эпистолярного жанра справиться не представляло никакого труда.

Письма не было — письмо налицо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет...» Год за годом, изо дня в день Полина Ивановна перебирала письма и ждала... Незатухающая искорка надежды из года в год, изо дня в день — вдруг да среди этой сырой породы наткнется на алмаз, добудет его, покажет всем. И все удивятся, все придут в восторг, заговорят о Полине Ивановне. И вот оно — случилось! Раскрытая на столе газетная полоса, читательское письмо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет...» Говорят, волнуются, Тугобрылев ищет

автора письма, видит в нем будущую знаменитость... Тот самый алмаз, о котором мечтала! Единственная во всю жизнь удача!

И как ни напрягает она память, а вспомнить не может. Больна? Невменяема? Старость подходит?..

На Полину Ивановну навалился тревожный страх. Она больше не могла сидеть в своей тихой комнате, ей, как и Тугобрылеву, захотелось непременно узнать, кто и что этот Сидоров, как его принимают. Полина Ивановна вышла в коридор и через несколько минут узнала, что Сидоров не из простых читателей, что «видно зверя по следу»,— за ним кто-то прячется. Полина Ивановна сразу почувствовала облегчение: уж если он не простой читатель, то и его письмо, наверное, попало в редакцию не простым путем, не по почте. Удивительно ли, что оно миновало ее руки.

Каждое утро она заглядывала к ответственному секретарю по долгу службы, заглянула и сегодня, неся пару совсем незначительных писем. Самсон Попенкин находился в обычной запарочке — ворошил какие-то гранки, отчитывал кого-то по телефону за неоперативность. Увидя Полину Ивановну, он сразу же бросил трубку, возбужденно потер руки:

— А наше письмецо, Полина Ивановна, работает. Как еще работает!

— Наше?..— упавшим голосом переспросила Полина Ивановна.

— Наше, Полина Ивановна! Наше! Золотую рыбку мы с вами нынче выудили.

Полина Ивановна ничего не ответила, постояла, смятенно поблескивая очками, и вышла, даже не положив на стол ответсекретаря приготовленные письма.

19

Главный редактор Илья Макарович Крышев только тем, собственно, и занимался, что ждал, ждал чего-то. А результат один — ничего! Угрожающе молчали на его столе телефоны, никто никуда его не вызывал, никто у него ни о чем не справлялся — полное забвение, никому не нужен. Если бы... Но забвение невозможно. Не настолько мелкая фигура он в городе, чтоб забыть о нем в смутное время. Да и смуту-то эту вызвал он, накинув

собственноручно «петлю на собаку». Нет, о нем, конечно, помнят, имя его где-то постоянно повторяют...

Ничто в жизни так не обессиливает и не выматывает, как ожидания. Жизнь в неподвижности — бессмыслица, жизнь — только деятельность, только движение. Ожидание останавливает жизнь. Даже ожидание поезда, приходящего по расписанию,— несносно. А ожидание не знай чего, неведомого — и вовсе невыносимая пытка.

Илья Макарович коченел в неподвижности, а вокруг него все бурлило. Письмо Сидорова, неспокойная толкучка прохожих перед газетной витриной у входа в редакцию, охающий, покрякивающий, шушукающийся редакционный коридор. Илья Макарович не выдержал, вышел из окоченелости, поднялся из-за зеленого поля своего рабочего стола, покинул упрямо молчащие телефоны, вылез в коридор...

Боковой стеснительной походочкой он вплотную приблизился к своим сотрудникам. Рядовые сотрудники сперва несколько смутились от этой неожиданной вылазки, но, когда Илья Макарович с наигранной бодростью заговорил с ними — «Как настроение? Что новенького слышно?» — сразу освоились и насели:

— Сидоров, Илья Макарович, это псевдоним?

— Можно ли рассчитывать, что он раскроет свое инкогнито?

Илья Макарович в считанные минуты проникся общим убеждением, что Сидоров вовсе не простая птица. Да и как тут не проникнуться, когда нервы взведены, ждешь, ждешь и не можешь ничего дождаться. Кроме того, не в натуре Ильи Макаровича Крышева было отрываться от масс — верил всегда в то, во что все верили, думал так, как думают все.

Сидоров — маскировочка под простого читателя! Вот этого-то он и не предполагал, а следовало бы! Обстоятельство — чрезвычайной важности...

Илья Макарович боковой походочкой ринулся было искать Самсона Попенкина, чтоб прижать, дознаться до сути, но он не успел сделать и шагу, как из приемной вырвалась секретарша.

— Илья Макарович!..— Придушенный крик, свалившийся сразу же к столь же приглушенному шепоту: — Вас!..

О нем вспомнили, его звали!

В одно мгновение он оказался в своем кабинете у телефона, прижал потной рукой трубку к уху:

— Слушаю вас.

— Вопросик один возник, товарищ Крышев. Этот Сидоров... Э-э.. Кто он, собственно?

Вопрос в лоб без пристрелки. Там тоже интересовались личностью Сидорова, мало верили в его простой читательский облик.

Илья Макарович замялся. Ответить: не знаю — он не мог, на то мгновенно будет резонное возражение: «А кто должен знать?» И вовремя пришла спасительная идея.

— Минуточку,— ясным, без особой дрожи голосом сказал Илья Макарович.— Я вызову человека, через которого прошел этот материал. Он вам все скажет, кто и что...— Оторвался от трубки, кивнул секретарше: — Попенкина! Живо!

Самсон Попенкин незамедлительно явился, от дверей к столу чеканными шажками, на лице вежливая готовность и никакой растерянности, никакого страха — ну и выдержка у этого сукина сына! Принял из руки Ильи Макаровича отсыревшую трубку, сказал бодро:

— Ответственный секретарь редакции Попенкин слушает... Да, я. Да, через меня... Пришло к нам самым обычным путем — через отдел писем... Извините, но столь важные вопросы, мне кажется, требуют объективного подхода. Мы посчитали нужным опубликовать и такое мнение... Спасибо... Спасибо... Я не сомневался, что вы одобрите... Ах, насчет самого автора. Я уже сказал: Сидоров отрекомендовался нам как читатель, и только... Из окружения Каллистрата Поликарповича, хотите сказать? Возможно, но, на мой взгляд, маловероятно... Почему? Да потому, что мы много раз заказывали работникам комбината разные статьи, и если сравнить — не тот стиль. Комбинатовцы бы непременно оперировали цифрами, а тут, как вы заметили, несколько иное... Не знаю, не знаю... Возможно, вполне возможно... Да, да, и я склонен считать, что товарищ Сидоров куда более прав, чем Иван Лепота... Рад, что мои взгляды сходятся с вашими. До свидания.

Самсон Попенкин положил трубку, многозначительно поглядел на своего главного редактора, все еще пребывающего в почтительной стоечке.

— Выступление Сидорова... одобряют.

Илья Макарович отозвался, как эхо:

— Одобряют...

— Я вам больше не нужен, Илья Макарович?

— Нет... То есть — да. Да, нужен. Сообщите по отделам — созывается срочная летучка. Немедленно все ко мне!

Выступление читателя Сидорова одобряют, значит, ему, Илье Макаровичу Крышеву, тоже надо одобрить. И так, чтобы все слышали. И не медля ни минуты, чтобы никто не успел подумать — он колеблется.

Самсон Попенкин кинул на своего главного понимающий взгляд, кивнул обкатанной головой.

— Хорошо.

20

Ничто в жизнь града Китежа не вошло так широко и прочно, как собрания. Собраниями отмечаются праздники, собраниями переполнены будни. В самом зеленом возрасте, переступив порог школы, еще не получив права гражданства, китежанин уже знает, что вся его жизнь пойдет от собрания к собранию. Собранием же она и закончится: «Спи спокойно, дорогой товарищ...»

Коллектив редакции периодически воодушевляется тремя видами собраний: летучками, которые собираются по любому поводу и без повода чуть ли не каждый божий день; собственно совещаниями, проводимыми куда реже, и, наконец, редакционными коллегиями — своего рода высоким ареопагом, собирающимся от случая к случаю.

Илья Макарович издал клич — на летучку!

За длинным столом, крытым бильярдным сукном, поближе к главному редактору и безмолвствующему телевизору, основательно, с удобствами — одна пепельница на двоих — расположились заведующие отделами, люди степенные, добросовестные, болеющие за газету. Рядовые же сотрудники устраивались в анархическом беспорядке, кому где вздумается, предпочтительно поближе к дверям.

— Я не задержу вас, товарищи,— начал Илья Макарович ритуальной фразой, которая, как правило, не соответствовала действительности.— Кто бы не хотел из нас, товарищи, чтоб наш славный Китеж омывался чи-

стыми водами, шумел листвой густых крон, звенел соловьиными песнями...

Существуют два вида деловых выступлений, которые можно определить как обличительные и как спасительные. Первые всегда начинаются за здравие и кончаются за упокой, вторые же, наоборот, за упокой начинаются, а за здравие кончаются. В обоих случаях переход из одного состояния в другое происходит с помощью простого, однако весьма содержательного союза «но».

Илья Макарович начал за здравие:

— Но, товарищи! Можем ли мы менять соловьиное пение на промышленный прогресс?..

И добрые четверть часа Илья Макарович волевым голосом доказывал, насколько промышленная индустрия дороже соловьиного пения. Волевым и воинственным! Ибо застенчивый Крышев, который даже по коридору вверенной ему редакции ходил бочком по стеночке, в своих выступлениях часто был непримиримо агрессивен.

— Мы, товарищи, объективны. Мы не намерены никому зажимать рот. А поэтому наша газета предоставила место и тем, кто защищает сладкоголосых соловьев, и тем, кто отстаивал развитие нашей китежской промышленности,— Ивану Лепоте и товарищу Сидорову! И вот теперь, когда обе стороны сказали свое слово, мы должны спросить себя: с кем мы?.. Да, с кем мы, товарищи?! Думается, тут двух мнений быть не может...

Голос Ивана Макаровича стал вдруг неправдоподобно громким и торжественным, потому что в кабинете наступила тишина.

— Мы целиком и полностью... Да, да! Полностью с товарищем Сидоровым!.. Товарищ Сидоров нас учит... Слово товарища Сидорова нам освещает путь... Ценные указания товарища Сидорова...

Тишина придавила все, кроме славящего голоса Ильи Макаровича. Каждый из присутствующих ощутил некий почтительный ознобец по коже — вон оно как даже! Все и прежде догадывались, что читатель Сидоров, осчастлививший газету своим письмом, не простой читатель, не массовый, но никто не предполагал, насколько он значителен: он учит, он освещает, он дает ценные указания... Выше некуда. Главный редактор Илья Макарович Крышев, занимающийся в газете внешними сношениями, а значит, широко осведомленный и глубоко

чувствующий, открывает сейчас всем глаза на ту пропасть, которая лежит между простыми смертными и тем, кто скромно назвал себя рядовым читателем Сидоровым.

Люди втягивали в плечи головы, а голос Ильи Макаровича, как стальной прут, гнулся и распрямлялся, бил по головам, славя товарища Сидорова. Сам Илья Макарович Крышев был в эти минуты велик его величием.

Самсон Попенкин, сидевший во главе тесной когорты заведующих отделами, уважительно думал: «Однако ловок, умеет выскочить из клещей». Но и он тоже, как все, невольно втягивал голову в плечи.

Наверное, больше всех была поражена Полина Ивановна, скромно примостившаяся возле двери. Вот кто прошел мимо ее рук! Не в потопе, не в потоке — в скудном ручейке проплыла незамеченной столь крупная рыба! И каждое упоминание Сидорова заставляло ее бледнеть и холодеть, сердце срывалось на перебои.

Крышев кончил и опустился в свое кресло:

— Кто хочет высказаться, товарищи?

Конечно, желающие найдутся, будут так же славить товарища Сидорова, будут клеймить Ивана Лепоту, еще вчера возведенного до уровня Козьмы Минина, всеобщего китежского ополченца, но это будет уже жалким повторением. Илья Макарович сделал все, что было в человеческих силах,— никто теперь не усомнится, что главный редактор одобряет позицию Сидорова целиком и полностью.

Выходили из кабинета главного редактора не шумя, не толкаясь, в степенном молчании, несколько подавленные. Никому и в голову не приходило, что в эту минуту вместе со всеми вышел... Нет, не некая авторитетная личность, а дух. Дух читателя Сидорова, недосягаемо великий, наделенный непомерной мощью. Вышел и сквозь стены редакции шагнул на городские улицы — будоражить умы, менять судьбы человеческие.

21

Одну судьбу он, дух, изменил сразу же, не успев даже выбраться из кабинета.

— Осип Осипович! — окликнул Илья Макарович фоторепортера Тугобрылева, чуть замешкавшегося из-за своей толщины в дверях.— На минуточку... Тут я в

прошлый раз, Осип Осипович, просил вас запечатлеть кое-что...

— Грязь, Илья Макарович. Грязь просили запечатлеть.

Илья Макарович поморщился: не очень-то тактичен этот Тугобрылев, должен бы понимать, что сейчас вот так, открытым текстом, не к месту и не ко времени.

— Забудем это дело. Не было такого задания. Грязь... Действительно. Как вы тогда сказали?..

— Не фотогенична, Илья Макарович.

— Вот именно.

— Я больше на мотивах прекрасного практикуюсь.

— И чудесно, Осип Осипович. Нужно во всей красе комбинат... Во всей красе и во всем величии.

— Будет сделано, Илья Макарович. Там поля фильтрации, говорят, на много гектар. Никак еще не отражены.

— Только без грязи, Тугобрылев, без всякой нечисти. Ясно?

— Пальчики оближет читатель.

— Действуйте.

И Тугобрылев ринулся к двери действовать.

В это самое время прославленный поэт Иван Лепота был в гостях у не менее прославленного китежского критика Петрова-Дробняка.

Наверное, любому и каждому из многочисленных читателей Лепоты это могло показаться очень странным, ибо чаще других обрушивал критическую дубинку на голову знаменитого поэта именно Петров-Дробняк. И вот нате вам — в гостях, за столом, за раскупоренной бутылочкой, в мирной беседе... Непостижимо!

И не в первый раз они сходились вот так, с глазу на глаз, почти любовно — беспощадный критик и многотерпеливый поэт, сокол и голубь, коварный барс и трепетная лань. Они были связаны друг с другом, увы, давно и самыми тесными узами. Не кто иной, как Петров-Дробняк, открыл в свое время поэта Лепоту, разругав его первое стихотворение. Разругав, а значит, заставив читателя обратить на него внимание. Не кто иной, как Петров-Дробняк, обычно начинал усиленно хлопотать об издании нового сборника стихов Ивана Лепоты, всячески помогая, проталкивая сквозь редакци-

онные рогатки. Иначе кого бы он тогда сокрушал и развенчивал. Поэт Иван Лепота давал постоянную пищу критику Петрову-Дробняку. Критик Петров-Дробняк, услуга за услугу, неустанно ковал славу поэту Лепоте. Один без другого не мыслились, а потому нужно ли удивляться, что они время от времени сходились за дружеским застольем.

Петров-Дробняк внешне так же мало походил на коварного барса, как и Иван Лепота на трепетную лань. Петров-Дробняк скорей смахивал по облику на ту историческую конягу, которая, как утверждают, была введена когда-то в римский сенат,— монументально важен, но в то же время нескладен, лицо массивно-удлиненное, голос сытый с переливами «Ио-го-го!».

— Слушай, колобок! — оглушал переливами своего голоса хозяин немного осоловевшего Ивана Лепоту.— Все это мне очень не нравится, колобок. Прямо говорю. Ты знаешь, я человек прямой.

— Хватит, серый волк, моим телом питаться, попасись на травушке,— с той же похвальной прямотой отвечал Иван Лепота.— Нынче я высоко закатился, не укусишь.

— Не хвались, еще скатишься. Тебя уже толкают с высотки, колобок, толкают. Вон уже выпустили на тебя собачку. Хе-хе! В сегодняшней-то газетке... Это какой такой Сидоров, чтой-то не слышал?

— Самсон Попенкин крутит то сюда, то туда. Его работка.

— А Самсонку ты бойся — зверек мелкий, но зубастый, живенько жилу прокусит. Я еще никак не разберусь, какого веса он камешек выбрал. Может, и тяжеленьким быть этот Сидоров.

— Поздно. Весь город за меня. С городом любого перевешу.

Петров-Дробняк то ли с сомнением, то ли с уважением покачал лошадиной головой:

— Одначе...

Он не успел договорить, в соседней комнате зазвонил телефон, и Петрову-Дробняку пришлось, кряхтя, подняться со стула.

Минут через десять он вернулся, показывая в улыбке все свои крупные пожелтевшие зубы. Иван Лепота скинул осоловелость, распрямился — хорошее настроение Петрова-Дробняка никогда не сулило добра.

— Ну, колобок, кончилась твоя песенка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...»

— Новенькое что-нибудь?

— Га! Еще какое! Сидоров-то, оказывается, не из мелкой породы. Га! Сейчас только в любви ему Крышев клялся перед всеми: товарищ Сидоров учит, товарищ Сидоров указывает!.. Чуешь, колобок, чем это для тебя попахивает?

— Н-да,— огорчился Лепота.— Соловей-разбойничек этот Самсон.

— Похоже, тут не Самсонкино дельце, выше бери...— Петров-Дробняк потер мосластые красные руки.— Ну, шарахнем по последней — да в разные стороны... Мне работать надо, руки чешутся. Такую кашу заварили, а Петрова-Дробняка в сторонке оставили. Не выйдет! Эх и растрясу я тебя нынче в статье, колобок, посыплется мучка! Как товарищ Сидоров учит, как он указывает!..

22

Если газета откачнулась от Ивана Лепоты, то в местной студии телевидения тоже было от кого откачнуться — от кандидата медицинских наук Малышева, утверждавшего перед многотысячным телезрителем, что загрязнение воздуха и воды пагубно отражается на здоровье. И кандидат медицинских наук, согласно указаниям товарища Сидорова, был на студии во всеуслышание объявлен весьма отсталой фигурой, сиречь — питекантропом...

На биофаке Китежского пединститута тоже спохватились — ходит по рукам петиция, собираются под ней подписи в защиту биосферы, с обличением Каллистрата Сырцова. Тут уж питекантропов и вовсе было не трудно вывести на чистую воду,— всякий, кто поставил свою подпись, сам себя объявил недостойным звания homo sapiens (здесь пользовались только сугубо научной терминологией). Среди питекантропов оказались, увы, даже несколько профессоров.

Дух читателя Сидорова шагал по городу, будоража умы, меняя взгляды и судьбы.

Но этот могучий дух встретил вдруг достойного противника. В лице кого бы вы думали?.. В лице все того же Петра Петровича, представителя широких масс гра-

да Китежа, подписчика местной газеты, скромного служащего, кто регулярнейше слушает последние известия, смотрит телепередачи, выпиливает по вечерам портсигары из плексигласа, любит порассуждать о внутреннем и международном положении. Он, массовый Петр Петрович, только что с лихой отвагой расправлялся с самим могущественным Каллистратом Сырцовым, он обрел в своем характере нечто царственно-львиное, а потому не устрашился и духа читателя Сидорова. Петр Петрович рассуждал: он — читатель, я — тоже, почему его мнение должно быть важней моего? Какое право имеет Сидоров обзывать меня питекантропом? И почему я должен молчать, утираться? Не желаю!

Сосед сходился с соседом, высказывал свое возмущение беспардонностью Сидорова.

Общество по охране природы, несколько дней назад микроскопически незаметное, теперь же получившее широкую известность, вновь собралось на совещание. Был поставлен вопрос: отказаться ли от охраны природы и сохранить Общество или по-прежнему настаивать на охране и распустить Общество? Дело в том, что товарищи из Охотсоюза, которые милостиво предоставляли помещение Обществу, вдруг решительно встали на точку зрения читателя Сидорова и заявили ультиматум: если вы не поддержите нас, буем вас считать питекантропами, выставим из помещения. А какое Общество, когда негде заседать.

Члены Общества бурно совещались, взвешивали и «за» и «против», а на улице вновь собралась толпа, сплошь состоящая из петров петровичей обоего пола, каждый из которых был недоволен Сидоровым, славил Ивана Лепоту. И разумеется, среди них объявились трибуны — нахлобученные на глаза кепки, небритые подбородки, в голосах глубинные интонации: «Повякай мне!»

И все бы сошло благополучно — Общество дозаседало бы до конца, самораспустилось бы или отказалось от охраны природы; толпа бы рассосалась, трибуны бы стушевались,— но, на беду, оказался сторонний прохожий, пенсионер по виду, подвижник по духу. Не испугавшись многочисленной толпы, он начал во весь голос и даже с надрывом всячески корить собравшихся:

— Распоясались! Управы на вас нет! Железную дисциплину забыли! Стрелять вас! Стрелять!

И как только он произнес эти слова, сразу же его тесно обступили. Один из трибунов с внушающим уважение подбородком, похожим на каблук армейского сапога, неосторожно взял подвижника за воротник, с седой головы свалилась шляпа.

— Повякай мне, старый легаш!

Милиционер Лелюшко, наблюдавший за порядком, решительно спас негодующего подвижника вместе с его помятой шляпой от неминуемого самосуда, нескольким разгневанным петрам петровичам во главе с трибуном, внушавшим уважение волевым подбородком, предложил прогуляться до ближайшего отделения, где им твердо пообещали по пятнадцати суток за нарушение общественного порядка.

Деятели мирной организации Охотсоюза в благородном негодовании спустились к заседавшему Обществу охраны природы и предложили очистить помещение:

— Где хотите, там и заседайте, только не у нас. Сплошное беспокойство.

Быть или не быть Обществу — решилось само собой, без голосования.

Дух читателя Сидорова шагал по городу.

23

Полина Ивановна пришла из редакции домой раздерганная, изнемогающая. Весь день ее преследовал призрак Сидорова. Весь день только и слышно кругом — Сидоров! Сидоров! Сидоров! Особенно поразило Полину Ивановну выступление главного редактора на летучке: поступать так, как учит товарищ Сидоров, как он указывает... А на пути к дому она зашла в магазин купить сыру и колбасы к чаю, и там в очереди в кассу она услышала:

— Сидоров-то не китежский вовсе.

— А чей же?

— Каллистрат Сырцов специального человека из Москвы вызвал.

— Да бросьте вы — из Москвы! Я этого Сидорова знаю, на бывшей живодерне живет, по забегаловкам шляется.

Сидоров! Сидоров! Сидоров... Тихий ужас охватывал Полину Ивановну. В глубине души она никак не могла

себя заставить поверить, что есть такой Сидоров на свете. А весь город верит, весь город сходит по нему с ума: Сидоров! Сидоров! Сидоров!.. Все кругом сумасшедшие, одна ты — нет. Такого быть не может. Сидоров! Сидоров!.. Жуть!

Она пришла домой и застала торжествующего мужа.

— Наконец-то! — возвестил он, увидев ее на пороге.— Наконец-то в нашем Китеже появилась светлая голова.

И Полина Ивановна сжалась, сразу поняв, о чем речь.

— Светлая голова и неподкупная совесть! Не побоялся сказать всем прямо в глаза: вы угорели, граждане славного Китежа!..

Полина Ивановна молчала.

— Как припечатал! Пи-те-кан-тро-пы, останавливающие прогресс! Сидоров — это явление, скажу тебе! Сидоров — настоящий идеолог!... Сидоров...

— Перестань! — не выдержала Полина Ивановна.

У них в семье строго распределены, так сказать, сферы влияний: Адриан Емельянович покорно подчинялся Полине Ивановне во всем, что касалось домашних дел,— купить, отремонтировать, как провести отпуск,— зато уж он полностью диктаторствовал в масштабных вопросах общеполитического характера: осудить ту или иную агрессию, оценить новое постановление, признать, что именно может осчастливить страждущее человечество! Тут уж он возражений не терпел. Только сын в последнее время стал выступать против диктаторства отца, Полина Ивановна всегда молчаливо соглашалась. И вот на резкое и непочтительное «Перестань!» Адриан Емельянович даже не обиделся, только безмерно удивился:

— Ты... Ты противница Сидорова?

— Сидоров! Сидоров! Сидоров! И дома от него не спрячешься!

— Нет, нет, не верю! Чтоб ты, Поля... Ты — против моих взглядов, против принципов! Или тебе хочется, чтоб в нашем городе разжигали нездоровые страсти разные там недозрелые лирики вроде Лепоты?.. Тебе хочется того, что противно моим взглядам!

— Мне хочется заткнуть уши и не слышать: Сидоров! Сидоров! Сидоров!

— Не верю! Не верю! Нет!! Моя жена хочет заткнуть уши, не слышать, избавиться!.. От кого?.. По-твоему, Сидоров — демагог, нытик, маловер? Или он борец за прогресс? Кто он? Отвечай!

— Не знаю! Не знаю! Не знаю! Отстань от меня!

— Полина! Мы живем с тобой двадцать три года вместе и до сих пор... Да, да, до сих пор у нас были единые взгляды. Что случилось, Поля?

— Я не хочу ничего слышать о Сидорове!

— Не пойму! Нет, не укладывается в голове: чем он тебе не нравится? Лично в меня он вселяет надежду и уверенность...

— В меня — страх.

— Поч-че-му?

— Не верю в него. Он мне кажется пустым местом.

— Поли-на! Чудовищно! Пустым местом!.. Даже его противники считаются с ним. Весь город гудит, а ты...

— Весь город, весь город!.. А я не верю! Не верю!

Адриану Емельяновичу стало не по себе. Совсем недавно сын восстал против него, сейчас вот жена... Его добрейшая, кроткая Полина Ивановна, с которой он прожил душа в душу двадцать три года! Защитить Сидорова для Адриана Емельяновича стало уже не просто отстаиванием своих принципов — семья раскалывается, катастрофа! — вопрос самоспасения! И Адриан Емельянович в отчаянье закричал на жену:

— Топчи мои взгляды! Уничтожай все, чем я жил всю жизнь! Уничтожай! Издевайся! Отвернись! Брось меня! Останусь один, забытый, заброшенный! Но не отступлюсь! Не от-ступ-люсь!

— Ради Бога, не надо!

— Не надо?.. Молчи! Меня в родном доме ни в грош не ставят! Самые близкие, самые дорогие люди! И сын! И жена! Нету сына! Нету жены! Только враги кругом!

— Ради Бога, успокойся!.. Я больше ни слова не скажу, только не упоминай о нем. Прошу...

— Вот! Вот! Молчи! Не упоминай! Прячь свое! Скрывай!..

В самый разгар семейного скандала вошел сын — мокрыми косицами висят волосы, лицо тоже мокрое, синюшное, угрюмое. И отец, увидев его, закричал с новым неистовством:

— Вот он — враг мой! Теперь и ты!.. Ты!.. Идейный противник!..

— Ради Бога!..

— Гоните! Выживайте меня на старости лет!

Сын ошеломленно молчал. Он даже забыл, что сам явился домой с дурной вестью: в институте у него неприятности, грозятся исключить — ходил с петицией, собирал подписи, восхвалял Ивана Лепоту. И все Сидоров со своим письмом...

Велик и вездесущ дух Сидорова. Мой дом — моя крепость. Для Сидорова крепостей нет.

Адриан Емельянович спустился этажом ниже к своему старому знакомому Пэпэша.

Время было раннее, но Пэпэша лежал в постели, тепло укрытый до подбородка одеялом. Он встретил гостя ненавидящим взглядом.

— Вот оно твое... Вот — все к лучшему! — простонал Пэпэша.— Любуйся. На улицу не выйди, слова не скажи — одичал народ! Чуть не разорвали... Один даже за горло меня... Морда разбойничья... Умирать буду — не забуду!..

И Пэпэша, постанывая в натянутое одеяло, принялся желчно повествовать, как целой толпой на него набросились у здания Охотсоюза. Каждую фразу он перебивал выкриками с горловой спазмой:

— Стрелять сукиных детей! Стрелять всех! Стрелять!..

Стрелять руководителей — отцов города, стрелять интеллигентиков-сочинителей, стрелять зажиревших Каллистратов, стрелять милицию,— похоже, Пэпэша готов был остаться один на всем белом свете.

Адриан Емельянович понимал: плохо сейчас Пэпэша, совсем сорвался с предохранителя. Но — слаб человек — испытывал невольное успокоение: не только себе солоно, и другим тоже. На миру и смерть красна.

24

Узкий, словно обрубленный коридор, кабинет, в единственном окне маячит лысый купол собора, моросит осенний беспросветный дождичек, спешат по мокрой мостовой прохожие, упрятанные в непромокаемые синтетические кульки. С виду все как было, из окна кабинета кажется, что град Китеж по-прежнему пребывает в ти-

шине и покое. Но Самсон Попенкин знал: покой — видимость, гуляет по городу выпущенный дух читателя Сидорова, волнует умы, меняет судьбы.

Это Самсон Попенкин породил всесильный дух. Казалось бы, он, Самсон Яковлевич, должен торжествовать, но нет — чувствует, напротив, некую беспокойную неуютность.

Джинн выпущен из бутылки, у джинна слишком самостоятельный характер. Черт-те что ему вздумается, вдруг да он ненароком шарахнет своего освободителя — чего доброго, останется мокрое место. Неуправляемая силища... Н-да!

Самсон Попенкин правил редакционные дела и ломал голову, как бы приручить слишком вольного джинна.

За дверями в коридоре послышался стук палки, и Самсон Попенкин поднял голову, навострил уши: слишком знакомый звук, давненько не раздавался он в стенах редакции.

Дверь открылась, на пороге вырос Петров-Дробняк с физиономией пожарной лошади, только что попарившейся в бане. Он показывал в улыбке все свои крупные зубы.

— Здорово, зверек бумажный. Как живешь, кого грызешь?

У Петрова-Дробняка хорошее настроение никогда не было признаком благожелательности. Самсон Попенкин насторожился вдвойне.

— По чью душу пришел, старый Вельзевул? — ответил шуткой на шутку.— Садись.

Петров-Дробняк тяжело опустился на стул, вынул из папки отпечатанные на машинке листы:

— Вот. Хе-хе! Куй железо, пока горячо.

— Новый топорик?

— Секира, братец мой, острая секира, которую подъемлю я во славу принципов товарища Сидорова.

Этого нужно было ждать. Велик дух читателя Сидорова, должны же к нему кинуться доброхоты, отпихивая тех, кто не успел подскочить первым. И нет ничего более опасного, если всесильного духа оседлает такой вот рубака. Уж тогда-то он разгуляется, уж примется рубить направо и налево, захрустят черепа, полетят головы — спасайся, пока не поздно! Получается: ты выпустил могучего джинна, а пользоваться им станет этот апробиро-

ванный ухарь — ради своей славы, на твою же беду. Ну нет, допустить нельзя!

— Посмотрим, посмотрим, что ты тут выковал.

Самсон Попенкин придвинул статью к себе и углубился в чтение.

И в самом деле, топор, выкованный Петровым-Дробняком, на этот раз был тяжел. Статья начиналась в духе старых традиций китежской литературной критики — с осуждения Ивана Лепоты,— но дальше она круто сворачивала с избитой стези.

«Есть два взгляда на животрепещущий вопрос — взгляд поэта Лепоты и мудрый, прозорливый взгляд товарища Сидорова. Два взгляда — два полюса, два противоположных непримиримых лагеря, третьего не дано. Или — или!..»

Столь недвусмысленный вывод давал право автору обрушиться на всех — буквально на всех! — литературных деятелей града Китежа только за то, что они молчат. Молчит Арсентий Кавычко, молчит Борис Чур... И грозный автор патетически вопрошает: «Почему молчат мастера китежской культуры?»

А так как мастера, разумеется, в данную минуту ответить не имеют возможности, на них обрушивается разящая секира:

«Только два лагеря, два полюса, третий противоестествен! Кто не с нами — с кем он?»

Самсон Попенкин распрямился над карающей статьей.

Петров-Дробняк сжимал коленями увесистую палку и открывал от скулы до скулы желтые зубы в застывшей улыбке а-ля «веселый Роджерс».

— Ну как?

— Здорово! Одним махом семерых убивахом.

— Гони в набор.

— Не в моей власти, храбрый портняжка. Эти вопросы теперь сам решает.

— Не петляй, зайка, перед старым лисом. Мне ли не знать: сам-то лает так, как ты ему голос поставишь. Или, может, ты хочешь со мной потягаться? Ей-ей, не советую. Я, зверушка, сейчас на пару с товарищем Сидоровым тяну.

Самсону Попенкину грозили Сидоровым. Петров-Дробняк считал могучий дух уже своей собственностью.

Самсон Попенкин не дрогнул бровью:

— Нет, портняжка, на этот раз нам с тобой придется соблюдать табель о рангах. Я скажу о тебе свое похвальное слово не раньше, чем меня попросят об этом.

— Выходит, зря к тебе заходил?

— Мне было приятно видеть старого рыцаря в боевой форме.

Петров-Дробняк подгреб к себе свою рукопись, поднялся:

— Я-то думал, что мы договоримся без посторонних.— И застучал палкой к выходу.

Как только он закрыл за собой дверь, как только стук палки известил — сделан первый шаг по коридору, Самсон Попенкин живенько снял трубку с телефона:

— Илья Макарович, к вам идет Петров-Дробняк. Очень опасно! Пытался договориться со мной через вашу голову. Как выпроводите, сразу звоните — буду у вас.

Самсон Попенкин водворил трубку обратно, откинулся на спинку стула, стал терпеливо ждать, когда за дверями вновь простучит палка и главный редактор позовет к себе.

Ну и ну, Петров-Дробняк распоряжается Сидоровым. Вольный дух может стать рабом этого грубого и отнюдь не щепетильного человека. Берегись, Самсон Попенкин, твое детище сомнет тебя, и очень просто.

Этот Петров-Дробняк в общем-то неудачник в жизни. Уж слишком он тяжел на руку, слишком наглядно выпирает из него черноземная силища — берегись, расшибу! — поэтому любого и каждого здравый смысл заставляет его остерегаться. Петрова-Дробняка всегда почтительно обходили, не облекали доверием, не выдвигали в руководство, не выбирали в почетные комиссии. Ему предоставили лишь одно поле деятельности — ухарски расправляться с Иваном Лепотой, уж тот как-нибудь снесет, парень ко всему привычный. Но рассудить, что за противник Лепота для такого отважного бойца. Неизрасходованные силы оставались втуне. Теперь они могут вырваться наружу. И они в сто крат будут умножены мощью прирученного духа. Кровь стынет в жилах при одной мысли, что Петров-Дробняк может стать господином положения. И невольно заранее начинаешь ощущать себя жалким пигмеем...

Самсон Попенкин сидел и ждал стука палки за дверью. Ответственнейшие минуты — от них зависит судьба многих почтенных людей града Китежа.

Наконец палка простучала по коридору, но не мимо. Стук оборвался, двери распахнулись от резкого толчка. Петров-Дробняк преподнес свою улыбку веселого Роджерса:

— Слушай, зверек, мы обо всем договорились.

— Отлично.

— Но ежели Крышев вдруг от ворот поворот сделает, тогда знай: буду считать, что это ты... ты выкрутил. Больше некому. И уж тогда на всю жизнь ты мне враг, уж буду стеречь минуту — в крупу истолку. Помни!

И Самсон Попенкин не успел даже ответить — дверь захлопнулась, палка застучала к выходу.

Телефонный звонок вывел Попенкина из небытия.

25

— Что я ему мог ответить, сам посуди. Он хотел нести свою статью прямо наверх. Покажет, пожалуется: мол, Крышев зажимает. А Крышев и так уже под прицелом... Зажимает прямых сторонников Сидорова! Ну нет, мне лучше не связываться.

У Ильи Макаровича вылинял румянец с круглого лица и под глазами скорбная просинь, он досадливо морщился, избегал встречаться взглядом с ответственным секретарем.

— Черт с ним, дадим откупного — напечатаем статью. Не нас же с тобой он там прикладывает, пусть чешутся Арсентий Кавычко с Чуром.

Самсон Попенкин поигрывал пальчиками на зеленом сукне.

— Нет, Илья Макарович, Кавычко с Чуром мы не откупимся,— сказал он тихо.— Они ему нужны, чтоб под ноги себе подбросить, повыше подняться. Велика ли с них корысть, сами посудите.

— А кто ему нужен? — Вопрос упавшим голосом.

— Вы!

— Не пугай, не пугай! Нечего там...

— Столкни Кавычко и Чура, что после них останется? Да ничего. Они никаких высоких стульев не зани-

мают. А вот если Петрову-Дробняку вас удастся спихнуть... После вас окажется свободным стульчик. Вот этот, на каком сидите.

— А нельзя ли полегче, дружок? Без выражений!

— Прошу прощения. Приходится говорить открытым текстом.

— Уж так и подставят этому громиле мой стул.

— Он и не рассчитывает, что подставят,— силой взберется.

— И взвалит на себя ответственность, хлопоты. Зачем они ему? Так он вольный казак.

— Какой казак не мечтает стать атаманом. А главный редактор газеты — должность атаманская.

— Но каким же манером он меня — за шиворот, что ли, стянет? По рукам дадут...

— Вы забыли старую сказочку о лисе, которую пустили переночевать на приступочку, а она с приступочки-то на прилавочку, с прилавочки на припечечек... Сегодня он указывает, что Кавычко с Чуром из тех, кто не с нами... Завтра он укажет на нас... Старый лис спит и во сне видит теплый припечечек. Берегитесь!

— А ты!.. Ты!..— В голосе Ильи Макаровича проступила вдруг подозрительная старушечья сварливость.— Ты о моей беде так печалишься, дружок? С какой бы это стати?

Самсон Попенкин усмехнулся:

— О себе пекусь. Себя спасаю.

— Да тебе-то не все ли равно, кто будет на моем месте сидеть?

— А вы сравните себя с Петровым-Дробняком. С кем, полагаете, мне легче работать?

— М-да-а...

— Петров-Дробняк сапоги себе чистить заставит.

— М-да-а.

— Я боюсь его грубости, он, похоже,— моей сноровки.

— Но что же нам делать, Самсон Яковлевич, дорогой?

— Верните ему статью.

— Он же жаловаться побежит. Он же раздует — не расхлебаешься.

— Выбирайте, что страшнее: его жалобы или приступочка к вашему припечечку?

— А он же названивать может о моей подписи к статье Лепоты!

— Пока он всего-навсего старый неудачник, к его слову не слишком-то прислушиваются. А вот если ему удастся Кавычко с Чуром уложить, то уже не неудачник, уже — первое лицо среди китежских литераторов, не хочешь, да считайся с его словом. Выбирайте: нынче ему на вас пожаловаться или потом?

— М-да-а... А ведь ты прав, Самсон Яковлевич: нынче без должного эффекта пройдет.

— Нынче он вымаливать будет, потом — требовать.

— Ты прав. Возвращаю статью. Нечего раздувать нездоровые страсти. И почему, почему, спрашивается, мы должны вместе с разудалым автором бить по головам известных литераторов? Кавычко — доктор филологических наук, профессор! Это вам, извиняюсь, не баран чихнул!

Илья Макарович постепенно разогрел себя до такого накала, что в его решительности можно было уже не сомневаться.

Петров-Дробняк придет в бешенство — выкрутил-таки в обратную сторону! — конечно, он будет видеть в Самсоне Попенкине лютого врага. И конечно, нельзя не холодеть от одной мысли: враг рядом — и какой! Смертельный! Но трусы в карты не играют, еще посмотрим, так ли уж страшно твое копыто, старый Пегас,— сами с зубами, можем прокусить жилу.

У Самсона Попенкина не было иного выхода, как принять вызов, и он его принял не дрогнув. Важно не дать завладеть джинном, вырвавшимся на свободу. Все-таки не Петров же Дробняк, а Самсон Попенкин породил его.

К барьеру!

26

Ночью на град Китеж выпал первый снег.
Снег покрыл деревья кружевом.
Снег на плечах древних церквей.
По снегу бродят голуби. Снег им по колено.

Снег лежит на карнизах. Дома подпоясаны, у них озабоченно-решительный вид. Дома, словно паломники, собрались в дальний путь, стоят и ждут, что кто-то произнесет: «Пора».

Старый город в юном снегу.

Самсон Попенкин, беспокойно спавший, поднявшийся с постели в дурном настроении, почувствовал сейчас, как оттаивает. Его охватила непривычная расслабленность, и странные мысли без усилий забродили в мозгу.

Вот ты сейчас идешь по пуховому, податливому, даже еще не научившемуся хрустеть снежку и несешь в себе решительное, собранное, как бойцовский кулак, желание — подставить ножку Петрову-Дробняку, чтоб тот рухнул, гремя старыми костями. Должен рухнуть, иначе рухнешь ты сам. Ты всегда от кого-то защищаешься, на кого-то нападал — боролся. «И вся-то наша жизнь есть борьба!» Свято верил в это, гордился этим...

Город в первом снегу, привычный, прискучивший, иногда даже постылый, но и родной, и, право же, любимый, порой вот так, как сейчас, с тихой голубиной нежностью, порой — со стоном, с проклятием, с болью! До чего красив бывает твой город! Старый город в юном снегу. Странные мысли нашептывает он...

«И вся-то наша жизнь есть борьба». А не признак ли это неустроенности жизни? Вместо того чтобы дружно, чувствуя плечо друг друга, взяться: «Эх, дубинушка, ухнем!» — постоянно оглядывайся, постоянно примеряйся, кого бы стукнуть по черепу. А ведь, право, хорошего в этом мало.

Снег на карнизах — перепоясанные снегом дома. Свежий снег — свежие мысли. Да мысли ли? Скорей счастливые мечтания. Хочется наивно верить — вот-вот набредешь на ответ, на извечно недоуменное: что есть истина?.. Вот-вот, уже кажется, близко, уже под рукой. протяни и возьми!.. Отстаиваешь свою правоту ценой чужого черепа. Не пробьешь — не докажешь. И ты пробивал, пробивали тебе, страдал от обид, обижал сам — жил суетно и нечисто. Хорошо бы стряхнуть с себя весь житейский мусор и понять простое — пробитый череп может испытывать лишь боль, ему трудно родить даже бесхитростную мыслишку, только злобу и ненависть, а уж постичь истину... И найдется ли более важная истина, чем — не следует проламывать, люди, друг другу головы, храните их в целости!

Самсон Попенкин взошел на Старый мост, тоже запорошенный снегом. В молодом снегу, источавшем бодрый свет, были и берега, еще вчера угнетавшие своей неопрятностью. И только речка Кержавка угрюмо-

черна. Течет речка, кипят в городе страсти. Но странно, все забыли обесчещенную речку, до нее ли, когда идет борьба, кому нужда вспоминать о водичке. Кержавка — сама по себе, страсти — сами по себе.

Черная вода среди ослепительных берегов отрезвила Самсона Попенкина. Сладко мечтать о праведности, отмякать душой, но такого-то обмякшего, захмелевшего от благородства и сбивают с ног. Сегодня он столкнется с бешенством обманутого Петрова-Дробняка. Всю долгую жизнь, едва ли не с отрочества до седых волос, первый ухарь китежской печати жаждал вырваться на высокий пригорок, откуда — эх, раззудись, душа, развернись, плечо! — сподручно бить по макушкам — каждого, кто стоит ниже. Всю жизнь рвался и почти дорвался, но Самсон Попенкин ухватил его за ногу — стяну! Старый ухарь жаждет крови, твоей крови, прекраснодушный мечтатель! Содрогнись, стряхни с себя хмель, собери в кулак всю свою волю,— земля горит под твоими ногами! «И вся-то наша жизнь есть борьба!» От этого, видать, никуда не спрячешься.

Самсон Попенкин оторвал взгляд от почерневшей речки, вздернув плечи, чеканными шажочками двинулся к редакции. Он уже не видел юного снега, не замечал омолодившегося города — только опасность впереди. Самсон Попенкин прошел мост, и мечтатель умер в нем, «смертью смерть поправ», родился боец.

27

Если б еще такой боец родился в это светлое утро и в Илье Макаровиче Крышеве. Увы! Увы! Илья Макарович, ходивший по грешной земле боковой походочкой, не создан был для ратных подвигов.

Он панически боялся, что Петров-Дробняк с отвергнутой статьей ринется в соответствующие инстанции, но до этого дело даже не дошло. Петров-Дробняк справился своими силами.

Старый рубака явился утром, без приглашения опустился на стул, принял свою обычную монументальную позу коняги, восседающего в римском сенате, спросил с грубой прямотой:

— Ты давно клялся, божился, всех призывал — поступать так, как товарищ Сидоров учит, как он указывает?

— Я позиций товарища Сидорова и сейчас придерживаюсь — полностью и неуклонно.

— Полностью и неуклонно... А это что? — Петров-Дробняк тряхнул злополучной рукописью.— Лепоту поддерживаешь или Сидорова?

— Перегибчики там у тебя, перегибчики, ась? Ты там на Кавычко, на Чура — и за что? За то только, что они молчат пока.

— Молчат. Разве не достойно осуждения? Ну да ты-то парень отважный — не молчишь, действуешь! Да, против трезвых доводов Сидорова! Да, тайком, исподтишка, крича при этом на весь город, что полностью, неуклонно!..

Илья Макарович попробовал было возмутиться, взял на ноту выше:

— Что за голословные упреки, дорогой товарищ Дробняк? Когда, где я против Сидорова?..

— Га!..— от всей души удивился Петров-Дробняк.— А Лепоту-пташку на публику не ты выпустил? А сейчас кто его спасает? Не ты?.. Линия! Не прикидывайся младенцем и других дураками не считай!

И главный редактор Крышев был прижат к стенке. Петров-Дробняк не страдал великодушием, обычно добивал придавленного со всей беспощадностью.

— Ну, скажи, скажи, что ты сделал в помощь Сидорову? Чем ты его поддержал?

Молчание.

— Нечего сказать. Так какого рожна ты еще дергаешься?

Молчание.

— В руках ты у меня или не в руках? Ась?

Молчание.

— Вот ты где, голубчик! — Петров-Дробняк наглядно показал свои красные мослаковатые лапищи, сжал их в кулак.— Не выпущу, не мечтай. Кавычко с Чуром выгораживаешь — прекрасно! Мне, может, это и надо. Сам себя выводишь на чистенькую воду.

Петров-Дробняк стукнул по полу увесистой палкой и поднялся во весь свой внушительный рост.

— Прощай. И помни, что Сидорова и покрупней тебя птицы не клюют.

— Послушай, Василий Спиридоныч...

— Что? Готов по рукам ударить — дай статью и замолкни? Ась?

— Больно уж ты крут, Василий Спиридоныч.

— Прям, братец, прям! Не люблю вилять. И сейчас тебе прямо скажу: статью забираю и просто так не верну, только с выкупом!

— Что за торговля, Василий Спиридонович, полно-ка...

— Я же знаю, кто тебя накручивает. Этот хорек газетный, Попенкин твой. Вон как запутал тебя, бедного, хоть голыми руками бери перепелочку.

На растерянное и доброе лицо Ильи Макаровича легла тень. Петров-Дробняк попал в самое сердце. И в самом деле, во всем виноват ответственный секретарь — он подсунул статью Лепоты, он откопал и выпустил письмо Сидорова, он вот столкнул лбами его, Илью Макаровича, с этим громилой. В силках, воистину!

— Ты прав, пожалуй... Опутал кругом, не скрою.

— Так вот — бери статью, и давай пораскинем мозгами: как хорька придавить, чтоб не путал — ни тебя, ни меня, никого больше. Раз и навсегда!

Петров-Дробняк снова опустился на стул.

...А Самсон Попенкин, как всегда, сидел в своем узком кабинете, подгонял текущие дела. Он знал, что Петров-Дробняк сейчас объясняется с главным, подозревал, что у добрейшего Ильи Макаровича не хватит характера выдержать натиск, вовсе не исключал — подымет в панике руки, сдаст позиции. Но Самсон Попенкин твердо рассчитывал: Илья Макарович непременно вызовет его к себе, как только старый ухарь удалится восвояси. Будут, конечно, жалобы и стоны, будут упреки, даже угрозы — не впервой. Самсон Яковлевич верил в свои силы — уж как-нибудь... Слишком очевидна опасность для Ильи Макаровича со стороны рвущегося к власти Петрова-Дробняка. Самсон Попенкин крутил колесо редакционной жизни и терпеливо ждал...

Наконец по коридору прогромыхала палка, неуютный гость промаршировал к выходу. Самсон Попенкин ждал...

Телефон на столе позванивал, но то звонили из отделов — верстка, сверка, правка, сокращения, дела обычные.

Самсон Попенкин ждал...

Телефон зазвонил в очередной раз. Нет, не главный — Сонечка, его секретарша:

— Самсон Яковлевич, Илья Макарович собирает сейчас срочное совещание.

И только тут Самсон Попенкин, всегда ясновидящий, запоздало понял — Петров-Дробняк одержал победу.

28

Собраниями отмечаются праздники, собраниями переполнены будни...

Как всегда, все расположились на своих местах — зав. отделами тесной когортой поближе к главному, остальные в анархическом беспорядке.

Сам Петров-Дробняк удалился, дабы никого не смущать и ничему не мешать. Он удалился, значит, уверен: расправа состоится.

Илья Макарович поднялся над зеленым полем своего рабочего стола — лоб прорезает морщина, глаза без блеска, плечи расправлены, грудь вперед. И голос, усиленно спокойный, но прочувствованный, таким голосом напутствуют безвременно ушедшего товарища.

Речь, как и положено, начиналась с общего вступления:

— ...Должны прислушиваться к голосу масс... Желания и помыслы широкого читателя... Глубокое и яркое читательское письмо товарища Сидорова, взволновавшее и вдохновившее... Кто не с товарищем Сидоровым, тот против масс... Весь наш здоровый коллектив полностью солидаризируется... Но, товарищи!..

Вступительная часть кончилась, панихидные интонации сменились гремяще жестяными, что в голове Ильи Макаровича Крышева заменяло взывающую медь: «Будь бдителен — враг повсюду!»

— Но, товарищи! Все ли из нас солидарны? Оглянемся попристальней! Вот передо мной рукопись статьи, где говорится, что даже замалчивание взглядов товарища Сидорова — позиция враждебная. Правильно это или нет, я вас спрашиваю? Даже замалчивание!..

По кабинету пронеслось что-то вроде одобрительного мычания, достаточно красноречивого, чтобы служить ответом. И вот тут-то Илья Макарович грудью повернулся к Самсону Попенкину:

— Ну, а ты как считаешь, Самсон Яковлевич?

Нет, боковая походочка не единственное достоинство Ильи Макаровича Крышева, он умел при случае и загонять в угол. Вопрос брошен, десятки глаз впились в твое лицо, десятки ушей ждут ответа. И совсем нужно быть самоубийцей, чтоб ответить: «Нет, неправильно!» Против общего мнения, один против всех! Ответь послушно: «Да». Но именно этого-то ждет от тебя Крышев, тут-то он и приготовил ловушку, нехитрую, но безотказную. Ты видишь, как она опасна — смертельно опасна! — и все-таки суешь в нее голову.

— Самсон Яковлевич! Мы ждем ответа!

И Самсон Попенкин ответил:

— Да.

— Считаете правильным: замалчивать взгляды товарища Сидорова — враждебный акт?

— Да.

Ловушка захлопнулась. Главный редактор Крышев принялся свежевать пойманного Самсона Попенкина.

— Тогда зачем ты... ты нажимал на меня: зарежь эту статью?

Самсон Попенкин попробовал защищаться:

— Я — противник Сидорова? Помилуйте! Не я ли открыл дорогу его письму?

— А кто открыл дорогу статье Лепоты?

— Вы сами подписали ее в печать, Илья Макарович,— сидя в ловушке, лучше уж не показывать зубы.

И Крышев с жестяным скрежетом в голосе обрушился на Попенкина:

— Каюсь, оказался не до конца бдителен! Не раскусил тогда тебя!.. Позавчера ты открыл путь Лепоте, вчера — путь Сидорову; сегодня готов душить честных сторонников Сидорова. А что предпримешь ты завтра?.. Начнешь исподтишка кусать самого товарища Сидорова? Мышь — слона! Не выйдет! Заступимся.

Самсон Попенкин молчал. Показывать зубы, где уж. Любое слово, любой жест будет сейчас понят как выпад — нет, нет, не против главного редактора Крышева, не против Петрова-Дробняка, а против незримого духа Сидорова. Дух ополчился на своего родителя! Самсону Попенкину ничего не оставалось, как мысленно сетовать: «Эх, знал бы я!..» Неслышимый миру стон. «Знал бы, где упасть, подстелил бы соломки!» — извечный стон человеческой неосмотрительности.

Самсон Попенкин клонил голову, а Илья Макарович

упоенно, до жаркого пота, бичевал. И он знал — не мог не знать! — каждое бичующее слово — шаг к собственной гибели! Хоронит Попенкина — вливает убойные силы в Петрова-Дробняка, остается один на один с этим ухарем. Знал и бичевал, был не волен, не принадлежал уже сам себе.

Великий дух командовал судьбами.

29

Вечер. Мост. Шепот речки внизу. Забытой речки...

Самсон Попенкин на мосту в одиночестве.

Давно ли он здесь мыслил двинуть силу на силу, поднять на дыбы город... И двинул! И поднял! А теперь вот не надо быть ясновидящим, чтоб узреть свое ближайшее будущее. Хорошо, если — «по собственному желанию»...

Трудности — не горе,
Жизнь крепка, как спирт...

А что, собственно, творится? Чем все-таки берет этот незаконнорожденный тип?

Откуси себе язык, еретик! Даже в мыслях не смей кощунствовать. Велик дух читателя Сидорова и славен!

Люди наивно считают, что над ними господствуют другие люди, более удачливые, более решительные и талантливые. Блажь! Господствуют духи, которых они же и создают.

Жил ли вообще на свете Христос? Если даже и жил — допустим,— то был наверняка обычным человеком, слабей многих. Нищий бродяжка, толкавший простакам речуги, неспособный даже защитить себя. И не стоило труда схватить его, без суда, без особых угрызений совести казнить, как казнили рабов и всякую мелкую сволочь. Людей уважаемых на кресте не распинали.

Гнусная жизнь, с враждой и злобой, от которой некуда было деться, заставила людей возвеличить бродячего нищего. «Над вымыслом слезами обольюсь». Вымысел — сила! Он-то и создает всемогущих духов.

Христос-человек позорно умер на кресте, а дух, принявший его имя, начал тысячелетнюю жизнь. И самые могущественные короли падали перед ним на колени,

униженно вымаливая помощи и прощения. Нищие и короли — одинаково превратились в рабов духа Христова. И те, кто хоть чуть-чуть осмеливался сомневаться в его могуществе, жарились на кострах. И слуги духа преуспевали, сами становились господами. И поэты славили его в стихах, и армии во имя его лили реки крови. Духи господствуют над людьми, их власть страшна, порой нет ей предела.

«Над вымыслом слезами обольюсь». Самсон Попенкин вымыслил дух читателя Сидорова, пришла пора обливаться слезами.

Но почему дух выбрал в жертву родителя, а не кого-то другого, примазавшегося со стороны? Того же Петрова-Дробняка хотя бы?

Не потому ли, что дух читателя Сидорова побаивается своего создателя? «Я его породил, я его и убью!» Эти слова уже звучали в истории, и никто не воспринимал их как нечто аморальное.

Дух побаивается. Он, похоже, еще не окреп, еще не все в городе преклоняют перед ним колени. Если и решаться, то теперь, немедля, пока он, дух, не совсем заматерел.

Откуси себе язык, еретик! Даже в мыслях не смей!.. Велик дух и славен!

Но он творение твоего ума. Создатель не может быть мельче своего творения.

И обидно же — свое, кровное вышло из повиновения...

И терять тебе уже нечего: повис, как паук на сквозняке,— вот-вот сорвешься.

«Я его породил, я его и убью!» На минуту перехватило дыхание. Никогда еще Самсон Попенкин не был убийцей.

Ночь. Старый мост над шепчущей речкой. Самсон Попенкин на мосту в одиночестве. И зреющий в душе заговор...

Никогда не был убийцей...

Да и случалось ли кому подымать руку на духа? За духами слава — они бессмертны!

Ой ли? Все, что рождается, должно рано ли, поздно умереть!

Зреющий в душе заговор... Ночь. Старый мост над шепчущей в темноте, забытой городом, обесчещенной речкой.

30

В это самое время неподалеку от места, в доме на набережной, человек почтенного возраста и незапятнанной биографии занимался как раз тем, что открывал заговоры.

Добрейший Адриан Емельянович Кукушев все-таки жалел своего приятеля Пэпэша — потерпел за взгляды, за принципы. Жалел... и напрасно.

Говорят, святой подвижник Феодосий Печерский в оны времена выходил из своей кельи на большую дорогу и ругательски ругал встречных за слишком малое усердие в вере, с нетерпением ждал, что из многих встречных хотя бы один не вынесет поношений и воздаст по мордам, а значит, святой Феодосий удостоится — лишний раз потерпит за веру.

Пэпэша тоже был из святых подвижников. И для него, как и для незабвенного Феодосия Печерского, получить по морде — своего рода награда.

Нельзя сказать, он, Пэпэша, удостоился сполна — по морде чтоб, нет, не дошло, сбили только шляпу. Но и это уже влило свежие силы, повернуло жизнь, открыло, так сказать, новые горизонты.

Сначала он жестоко страдал, даже слег от огорчения, метался в постели, взывал со страстью: «Стрелять! Всех стрелять!» Потом вдруг почувствовал непреодолимое желание действовать. Выйти на улицу и исполнить свое заветнейшее желание — «стрелять всех!» — он, разумеется, не мог, да, кстати, в жизни не держал в руках никакого оружия, кроме — некогда — авторучки. Но в муках и стенаниях скопившийся заряд энергии толкал к действиям.

Вот тут-то Пэпэша и ринулся в бой, схватился отвыкшими пальцами за авторучку.

Нет, нет, Пэпэша при всей своей подвижнической святости не верил в силу слова. «Сначала было Слово. И Слово было Бог». Нет, нет, Пэпэша свято верил в силу бумаги. Клочок бумаги, соответствующим образом заполненный, может стать всепробивающим снарядом. Умей только им выстрелить.

Многие неискушенные сразу же пытаются попасть в яблочко, то есть по самому большому на видимом обозрении начальнику, прилагают все усилия, чтобы выстраданная бумага непременно попала на высокий стол. Наивное заблуждение — бить прямо в яблочко! Могуще-

ственный начальник глянет краем глаза на упавшую со стороны бумагу, и наверняка в данную минуту на его высоком столе будет лежать целый ворох более важных, более неотлагательных бумаг. И начальник скорей всего небрежно подмахнет на твоей выстраданной бумаге нежелательную резолюцию: «Не принимать во внимание!» — или отодвинет локтем в сторону, а то и вовсе смахнет ее в мусорную кучу. Могущественному начальнику и такая небрежность прощается.

Никогда не бей прямо в яблочко, не стреляй бумагами по высокому начальству — непременно промахнешься. Бей вообще, с допуском, с охватом — в нужное учреждение.

Да, твоя бумага попадет на самое дно — к делопроизводителю или девице-секретарше с легкомысленными крашеными ноготками. Эта девица не доросла, чтоб самостоятельно решать — то-то важно, а то-то нет. Для нее все бумаги одинаково важны, каждую обязана пронумеровать и занести в книгу. Бумаге со входящим номером, бумаге, оставившей след в учетных книгах, которые бережно хранятся, в которые время от времени запускается взыскательное око ревизора, дана путевка в жизнь. Ее уже не смахнешь небрежно в корзину, не похоронишь, ее надлежит рассмотреть, на нее отреагировать.

И реагируют — передают дальше. Всего чуть дальше, чуть выше секретарши, человеку, наверняка не облеченному большими правами. Он, конечно, нужным образом отреагировать не может, как не может и пренебречь, отмахнуться. Он пишет к твоей бумаге свою и передает еще дальше. Твоя бумага медленно — наберись терпения! — но уверенно ползет вверх, обрастая по пути другими бумагами, пометками, резолюциями, размашистыми подписями.

Дойдет ли она сразу, с первого захода, до того заветного, наибольшего начальника? Маловероятно. Скорей всего она наскочит где-то на полпути на некого сноровистого, который возьмет да и отреагирует на свой страх и риск не лучшим образом, но не отмахнется, не похоронит, даст ответ.

Тогда ты пиши новую бумагу, повторяй свое, упрекай, что не разобрались, укажи, где, в каком месте твоей первой бумаге дали обратный поворот, пожалуйся на того, кто это сделал. И твоей бумагой, вновь прону-

мерованной и занесенной в нужную книгу, будут вынуждены заняться снова.

В конце концов, всегда можно добиться при долготерпении, что твоя бумага ляжет на самый высокий стол. Но в каком виде! Не жалким клочком, а солидной папкой, со свитой других бумаг, отражающих длинное путешествие по трудным канцелярским дорогам. Кто осмелится смахнуть папку в корзинку для мусора? Не найдется храбреца.

Пэпэша прожил долгую, незапятнанную, службистскую жизнь, сиживал и в начальниках, пусть не в головокружительно высоких, но в достаточных, чтоб познать силу входящей бумаги.

Сейчас он решил использовать эту силу, не хватало дня, сидел ночами, отрывая время от сна, сочиняя входящие бумаги: «Считаю своим долгом сообщить...»

...В городское управление милиции — на Охотсоюз: приютил некую организацию, устраиваются подозрительные собрания.

...В редакцию китежской газеты — на милицию: утратила бдительность, бездеятельная, разложилась, покрывает явных нарушителей порядка и тайных заговорщиков.

...В курирующие печать органы — на газету: раздувает в народе нездоровый ажиотаж, сеет идейный разброд и шатания, не злонамеренно ли сие, не попахивает ли идеологическим заговором?

...И на курирующие органы то же — «считаю своим долгом сообщить...». Есть куда! Есть о чем!

С Пэпэша сбили шляпу — вернули жизнь, вернули молодость! Что толку бессильно кричать в пустоту: «Стрелять! Стрелять! Всех стрелять!» Зреют заговоры! Раскрывай! Действуй!..

И что удивительно — Пэпэша не столь уж и ошибался. Один заговор зрел, совсем рядом, в каких-нибудь трехстах шагах от его дома, на Старом мосту. Одинокий человек вынашивал его сам в себе.

31

Пэпэша усиленно бодрствовал, а этажом выше добропорядочное семейство Кукушевых видело первые сны.

И верно, эти сны были не из радужных, Адриан Емельянович беспокойно ворочался, даже постанывал.

Его разбудил среди ночи дикий крик Полины Ивановны:

— А-а-а!!

Адриана Емельяновича выбросило из-под одеяла, дрожащими руками долго шарил по стенке, наконец нашел выключатель, зажег свет.

Полина Ивановна сидела на кровати, лицо, лишенное очков в железной оправе, казалось плоским, безглазым, на нем только раскрытый, черный, хватающий воздух рот.

— Поля! Поля! Что?.. Что случилось?

— О-он!

— Кто — он? Что с тобой?

— Опять он...

— Проснись, Поля!

Она передернулась всем телом и, похоже, пришла в себя.

— Дай мне очки.

— Зачем? Надо спать.

— Дай мне очки, я ничего не вижу.

Очки преобразили Полину Ивановну — тревожные, бегающие глаза, блеклые тонкие губы в ниточку и нет привычно «дневного» выражения уныния.

— Вот и все,— тихо объявила она.

— Что — все, Поля? Что — все?! — Адриан Емельянович начал уже сердиться.

— Я попала.— Тем же тихим голосом, обреченно, убежденно и даже как-то по-особому вдумчиво.

— Не разводи среди ночи! Спать! — прикрикнул Адриан Емельянович, стараясь показать, что в любое время суток он — глава и повелитель. Но это у него не очень-то получалось — трудно обрести повелительность, будучи облаченным в незабудочно-голубые трикотажные подштанники.

— Я ночью от него прятала, он и тут меня нашел.

— Кто нашел? Что ты мелешь, Поля?

— Он... Сидоров.

— Ты спишь до сих пор!

— Раньше он только с утра накидывался... толпой на меня.

— Кто толпой?.. Сидоров?

— Да он. Толпой... Тысячи писем... Китеж взбесился, все пишут, и только о нем: Сидоров! Сидоров! Сидоров! Толпы Сидоровых — и все на меня.

— Так сейчас-то хоть забудь его!

— Забудь?.. Я каждый вечер, уходя с работы, запираю свой кабинет на ключ и говорю себе: Сидоров под замком, до утра не вырвется, забудь его. Запираю, прячу ключ, выхожу на улицу и... встречаю его.

— Поля, давай спать.

— В автобусе — Сидоров, Сидоров, Сидоров! В магазине — Сидоров, Сидоров, Сидоров! Я сломя голову бегу домой, чтобы спрятаться от него.

— Поля, ну хватит же! Хватит!

— А дома?.. Он, этот Сидоров, словно горох сыплется из тебя. Он, как из засады, выскакивает на меня из сына. И только ночью я наконец-то пряталась от него... в сон. Туда он не мог пробраться. И я отдыхала, я отдыхала...

— Поля!

— Он пробрался туда! Слышишь?!

— Поля! Поля! Какая ерунда! Пойми же — тебе приснилось.

— Он всегда был невидимкой, сейчас я увидела его! Он — маленький, тощенький, седой, у него квадратная голова и мешочки под глазами. У него больная печень...

— Очнись, Поля! Ты видишь меня. Поля! Это я! Поля! Это я-я! Очнись же!

— Он не страшный. Нет! Но с ним так неуютно!.. Я боюсь задохнуться... Мне душно!.. Душно!.. А утром... О господи! Он там, запертый толпой... Куда спрятаться?! — Полина Ивановна бормотала, вся дрожа, и вдруг, изламываясь в спине, закричала негодующе звонким голосом: — Он здесь!.. Он следит!.. Адриан! Адриан! Он здесь, мне душно! Прогони!..

И Адриан Емельянович выплясывал возле жены в незабудочных подштанниках, пытался обнять за плечи, успокаивал:

— Поля! Поленька! Ради бога...

Она выгибалась, кричала:

— Душно! Душно!! Гони его! Го-ни!!

На крик из соседней комнаты выполз сын, всклокоченный, опухший, таращащий сонные глаза.

— Чего она?..

— Поленька! Поля! Успокойся... Ты перебудишь всех соседей...— Адриан Емельянович обрушился на сына: — Не стой столбом! Матери плохо. Найди в ящичке валерьянку!..

Через полчаса, напоенная валерьянкой, Полина Ивановна лежала под одеялом и время от времени сильно вздрагивала.

Сын убрался в кухню, хмурый и озадаченный, курил сигарету за сигаретой.

Отец сидел в своих незабудочных кальсонах над засыпающей женой и сосал таблетку валидола.

Однако утром Полина Ивановна, одетая, как всегда, в костюм со старомодной — слишком длинной для мини, слишком короткой для макси — юбкой, с небрежно завязанным узлом жидких волос на затылке, со строгим блеском подслеповатых очков, отправилась на работу. Только зелень в лице напоминала о ночном происшествии.

32

А утро над градом Китежем вновь вызрело серенькое, невнятное. Снег, выпавший недавно, сошел весь. Мокрота проникла в глубь асфальта, в стены домов, стволы и ветви деревьев траурно черны, воздух кисельно густ от влаги. А небо... Небо настолько ровно и бесцветно, что задирай голову, гляди не гляди, ничего не увидишь — просто отсутствует. И день обещает быть столь же невнятным. Тысячи жителей в окоченевшем от сытости городе проживут его, не заметив, и уж никогда потом не вспомнят. Такие дни рождаются, чтоб сразу, навсегда спрятаться в складках прошлого. Нельзя и представить даже, что в этот сумеречный кусок времени может полыхнуть озаренная гением мысль или кто-то загорится желанием совершить подвиг.

Но именно в глухоте и невнятности, когда никто не ждет ничего озаряющего, и рождаются преступления.

В это утро Самсон Попенкин вынашивал план воистину нечеловеческой дерзости.

Даже волшебные сказки не допускают, что нетленный дух можно убить. Однако нынешняя действительность невероятнее сказок. Старый газетчик Попенкин постоянно утверждал это, теперь пришло для него время доказать слова делом.

Он, что называется, исходил от противного. Чтобы убить человека, надо выпустить дух из бренного тела.

А чтобы убить бесплотный дух, следует... втиснуть его в чье-то тело, не иначе.

Легко сказать: дух — в тело! Если вдуматься — задача грандиознейшая, до сих пор она по плечу была лишь самому господу богу. И вот Самсон Попенкин, не пасуя перед масштабами, замахивается на богово!

Правда, всевышний сперва создал тело человека, а уж потом вдохнул в него дух. Самсон Попенкин решил воспользоваться готовым материалом — каким-нибудь здравствующим жителем града Китежа. Нет смысла самому лепить сосуд, когда можно, так сказать, нагнуться, поднять его, использовать по назначению. Самсон Попенкин тут несколько облегчал себе задачу.

Господь бог сотворил человека в один день. В общем-то Самсон Попенкин всегда осуждал любую поспешность,— не потому ли человечество страдает крупными недостатками, что было состряпано второпях. Но, наверно, у бога были свои веские причины действовать в сжатые сроки. Были они и у Самсона Попенкина,— с Петровым-Дробняком медлить нельзя, чуть завозишься — живо съест. Поэтому Самсон Попенкин решил, по примеру всевышнего, провернуть операцию в один день.

В этот самый день, который начинался столь невыразительно.

Какими методами и вспомогательными средствами пользовался бог — священная история умалчивает. К услугам же Самсона Попенкина было испытанное, никогда не подводившее его средство — телефон!

Закрывшись в своем тесном — должностная щель! — кабинетике, Самсон Попенкин, не снимая пальто, набрал номер справочной:

— Барышня, необходим точный адрес некоего Сидорова, проживающего в нашем городе... Что известно о нем? Да ничего, кроме того, что его имя начинается на букву «И»... Мало ли что Сидоров не точный, а адресок-то извольте точнейший отпустить... А вы продиктуйте мне адреса всех И. Сидоровых, а я запишу...

Принято считать, что самая распространенная фамилия на Руси — Ивановы. Петровым принадлежит второе место, Сидоровым — третье. Но статистические, сугубо научные данные опровергают это всеобщее заблуждение. Первенство держат Смирновы, за ними следуют Кузнецовы, Ивановы, дай бог, на третьем, если не дальше. А Сидоровы вообще оттеснены за пределы десятка.

Поэтому улов И. Сидоровых оказался небогатым. Из многонаселенного города были выужены всего три адреса. Один Сидоров с инициалом «И» жил рядом с редакцией — в Старо-Соборочном тупике. Второй не близко и не далеко — на Конармейской улице, бывшей Живодерке. Третий — у черта на куличках, на Девичьем полустанке, в китежских Черемушках.

Самсон Попенкин скорбно вздохнул над коротеньким списочком, сунул его в карман, надел шляпу и вышел на охоту. Бренное тело Сидорова должно стать усыпальницей великому духу читателя Сидорова.

33

Он побывал по всем трем адресам, даже на Девичьем полустанке, в китежских Черемушках.

Один И. Сидоров оказался чем-то вроде номинальной штатной единицы — в списках числился, на деле отсутствовал. Он давно уже учился в Москве, в Китеж, похоже, даже и не собирался наезжать.

Другому И. Сидорову на днях должно исполниться девяносто лет — лежал пластом, не мог двигаться, был почти слеп и совершенно глух, к тому же он и в годы молодости не отличался грамотностью — умел выводить лишь свою фамилию. Явно не тот.

Пришлось остановиться на И. Сидорове, который проживал на бывшей Живодерке.

Нельзя сказать, чтоб и этот идеально подходил для высокой усыпальницы. Не могло же не насторожить Самсона Попенкина, что отыскал-то он свою жертву не дома, не по месту работы (автотранспортная контора номер пять), а в пивном баре напротив, где Сидоров Иннокентий Павлович, по прозвищу Кешка Гусь, проводил большую часть рабочего дня.

В старом пальто с надорванными карманами, в кепке, надвинутой на глаза, не то чтобы с хмурым, но несколько недоверчивым, себе на уме лицом, отягощенным излишне твердым, как каблук армейского сапога, подбородком, с сутуловатой выправочкой, красноречиво выражавшей: «Ну, чего тебе?»

Другой бы на месте Самсона Попенкина, пожалуй, впал в панику — уломать такого громилу, прячущего в надорванных карманах увесистые кулаки! Да еще каких взглядов придерживается этот Сидоров-Гусь? Скорей всего его идейные убеждения крайне противополож-

ны тем, которые собирается внушить ему Самсон Попенкин.

Но Самсон Попенкин еще в молодые годы, в бытность репортером, умел, как никто, мастерски совершать так называемые интервью со взломом. Его направляли на самые неприступные, на самые замкнутые объекты, к подозрительным личностям с двойным дном, кому было что прятать. И всегда Самсон Попенкин находил отмычку, вскрывал, раскалывал, вламывался в тайники человеческой души, заставляя показывать укрытое.

И сейчас он наметанным глазом уловил трещинку в монолитном объекте с излишне волевым подбородком. Этот Сидоров-Гусь боится его, представителя известной газеты, за ним — можно поручиться — существуют грешки, которыми интересовалась даже милиция. Трещинка есть, а уж расколоть ее дальше — зависит целиком от умения. Самсону Попенкину нравились рискованные операции, больше того — они вызывали у него трепетное вдохновение. Эх, если б не подпирало время, он, Самсон Попенкин, провел бы предварительную разведочку, уточнил, чем именно грешил этот Гусь, сколько раз попадал на прицел блюстителей порядка. Но времени, увы, нет, действуй без подготовки.

И Самсон Попенкин начал действовать — с располагающей улыбкой, воплощенная любезность.

— Иннокентий Павлович, я нисколько не сомневаюсь, что вы внимательно следите за нашей газетой.

— Не безграмотный. И газетки почитываем, и все прочее.

Не столь опытный репортер непременно поставил бы под сомнение ответ Сидорова-Гуся: «Заливай, сукин сын, так, мол, я тебе и поверил. По морде видать, как ты начитан». Но Самсон Попенкин хорошо знал, сколь обманчива бывает человеческая внешность. Этот Сидоров-Гусь свои духовные силы растрачивал вовсе не на слесарно-ремонтные работы в автотранспортной конторе номер пять, а вот в таких, более чем скромных, забегаловках за кружкой пива. А нельзя проводить целые дни напролет за пивной кружкой и молчать. Без приятной беседы — известно всякому — не тот вкус пива и никакого удовольствия от проведенного времени. А беседа приятна только тогда, когда ты оглушаешь собеседников своими знаниями, своей осведомленностью. Их черпают в первую очередь — из газет, и не только из газет.

Никто не подсчитал, сколько по забегаловкам скрывается незримых миру знатоков? Кто не сталкивался с завсегдатаями, со стоном читающими не только «Русь кабацкую» Сергея Есенина, но и всего этого поэта «насквозь». Но бывают и уникумы. Например, года три назад в китежских пивных еще можно было столкнуться с человеком неприметной наружности и неопределенных занятий, который шпарил наизусть не Есенина и не старозаветного «Луку», а солидного философа-идеалиста Шопенгауэра, познавшего секреты «Житейской мудрости»,— где он только такого выкопал? Его — от корки до корки! Из слова в слово! Ну, а знатоков международного положения, кладущих на лопатки и Никсона, и Помпиду, и Голду Мейер — господи! — да чуть ли не каждый такой, кто сдувает на пол пивную пену. Это уж, так сказать, тот политминимум, без которого за версту обходи места, откуда тянет бражным душком. А Иннокентий Сидоров-Гусь наверняка по-забегаловски образован. Скорей всего даже высоко.

— И о письме читателя Сидорова вы, конечно, многое можете сообщить.

— Свое мнение имею.

— А именно?

— Ну да, так я его вам и выложил.

— Э-э, я пива заказать забыл. Пропустим по кружечке?

— Не в пиве дело — в прынципах! У вас оне загнулись не на ту сторону.

Как и следовало ожидать, Сидюров-Гусь оказался закаленным бойцом забегаловок.

— Неужели ваши личные взгляды, Иннокентий Павлович, отличаются от тех, что высказаны в письме? — Вопрос с изумлением и смиренностью.

— Сравнили «Московскую» с квасом.

Настало время нанести удар.

— Иннокентий Павлович! — с нужной торжественностью произнес Самсон Попенкин.— Что заставляет вас быть столь двуличным?

У Сидорова-Гуся дрогнул излишне волевой подбородок.

— Виляете, Иннокентий Павлович! Не знаю только — зачем?

Но Сидоров-Гусь быстро пришел в себя:

— Вы меня на понт не берите! Не из таковских, не испугаюсь!

— У нас есть веские основания считать, что ваши взгляды, Иннокентий Павлович, полностью... пол-ностью!.. совпадают с письмом, опубликованным нашей газетой.

— Эва!

— И вы прекрасно знаете почему!

— Чего вы со мной в жмурки играете? Говорите уж напрямки.

— Нет, Иннокентий Павлович! Нет! Ваша очередь говорить прямо.

— Ишь, ловчила. Сам чегой-то выплясывает, а на меня пальцем кажет. Разберись поди.

— Вспомните, Иннокентий Павлович, кто автор того нашумевшего письма?

— Ну, помню. Тоже какой-то Сидоров. С нашей фамилией только собаки по городу не бегают.

— Ошибаетесь. В нашем городе всего три И. Сидорова.

— Ну и что? Мне-то какое дело.

— Один из этих Сидоровых живет в Москве, здесь только числится. Второй — древний старик, второй год не подымается с постели, грамоты почти не знает, газет не читает...

— Мне-то какое...

— А третий И. Сидоров — это вы! — с металлом в голосе объявил Самсон Попенкин.

— Слушай, ловчила,— рассердился Сидоров-Гусь.— Что ты от меня хочешь?

— Истины!

— Чего-о?..

— Иннокентий Павлович, у нас есть все основания подозревать, что вы автор знаменитого письма.

Сидоров-Гусь минуту-другую стоял с отвалившейся — столь волевой! — челюстью, стоял и завороженно помаргивал, наконец подал слабые признаки жизни:

— Ну-ну, дела-а!

— Учтите, Иннокентий Павлович, мы пользуемся только проверенными сведениями.

— Я, как его... автор! Н-ну, забавники...

— Может, вы укажете нам на другого, скрывающегося Сидорова?

— Да идите вы!.. Не знаю и знать не хочу никаких скрывающихся!

— Вот и мы так считаем — других нет, вы единственно возможный Сидоров.

— Считайте. Только не писал я... В жизни не случалось. Эва, навесили!

— Отказываетесь?

— Отказываюсь!

— Решительно?

— Да уж само собой.

— Тогда...— Самсон Попенкин посуровел.— Нам придется кой-кого попросить, чтоб выяснили.

— И выясняйте себе... Без меня.

— В первую очередь выяснять будут, Иннокентий Павлович, кто вы такой, чем вы дышите?

Самсон Попенкин не ошибся: Сидоров-Гусь носил в себе трещинку, сейчас она с хрустом подалась, раскалывая этот кряжистый характер. Некоторое время Сидоров-Гусь темнел лицом и молчал, затем попробовал вильнуть в сторону:

— Да, может, вовсе никакой не Сидоров написал вам, может, кто-то Сидоровым подписался?

— Тем более следует выяснить.

Что можно на это возразить? И так — выяснение, и — эдак. А именно их-то и хотел избежать Сидоров-Гусь.

— Но не писал же!.. Не писал ничего!.. Не наговаривать же на себя, когда не было!

Самсон Попенкин, поскучнев лицом, взял шляпу со столика:

— Упрямы вы, однако... Всего хорошего.

— Стойте!

Сидоров-Гусь окончательно треснул — и вдоль, и поперек.

— Да или нет? В последний раз!..— сердито спросил Самсон Попенкин, держа на весу шляпу.

— Вот и знай, где влипнешь...

— Я спрашиваю вас: да или нет? Мне некогда, товарищ Сидоров, толочь воду в ступе.

— Ну, скажу — да, тогда что?

— Ничего. Покажетесь вместе со мной в редакции, вернетесь обратно целым и невредимым. Важно знать, что вы есть вы. Больше нам от вас ничего не надо.

— А вдруг да тот Сидоров объявится?..

— Какой — тот? — Самсон Попенкин охладил строгим взглядом.— О чем вы?

И Сидоров-Гусь увял. Собственно, «интервью со взломом» на этом победно закончилось.

Самсон Попенкин вежливо приказал:

— Зайдем сейчас к вам домой. Вы побреетесь, наденете свежую сорочку, галстук. Неудобно в таком непотребном виде знакомиться с главным редактором.

34

А тем временем главный редактор Крышев, как это ни невероятно, занимался примерно тем же, что и Самсон Попенкин,— готовил бомбу... да, да, чтоб убить дух читателя Сидорова! Правда, добрейший Илья Макарович и не подозревал, что собирается свершить убийство.

Он был охвачен паническим ужасом. Петров-Дробняк с его помощью становился хозяином положения. С приступочки на прилавочек, с прилавочки на припечечек... Старый ухарь, размахивая именем Сидорова, как дубиной, уже сейчас держит его в страхе божьем, станет держать до тех пор, пока он, Илья Макарович Крышев, не освободит хозяйское место. С приступочки на прилавочек...

Сидоров... До сих пор Илья Макарович старательно прятал от самого себя лезущие сомнения, Сидоров... Он как-то вдруг выплыл из небытия, подозрительно неожиданно и подозрительно вовремя; его письмо появилось, как по заказу, в нужный момент, написано хлестко и сноровисто, не каждый-то газетчик, набивший руку на сочинительстве, такое выдаст. И подлинника письма никто и в глаза не видел,— перед Ильей Макаровичем это письмо легло уже в оформленном виде, с редакционной «собакой»...

Сидоров... Подозревать его — можно обжечься. Он с ходу стал авторитетен, а тут уж сомневаться и вовсе опасно, наоборот — спеши превознести, успей поклясться в верности. Но сейчас Илья Макарович затравлен, терять ему нечего, и, как красный зверь, обложенный со всех сторон, он чувствовал прилив безумной храбрости, решил броситься на охотника. Сидоров... Им размахивает Петров-Дробняк. Надо доказать — помыслить жутко! — нет Сидорова, пустота, подлог!..

Это бомба, взрыв которой сотрясет весь Китеж сверху донизу, контузит Петрова-Дробняка.

Конечно, в другое время Илья Макарович поостерег-

ся бы,— бомба не игрушка, сам можешь оказаться под обломками. Но — с приступочки на прилавочек, с прилавочка на припечечек...— не смей медлить!

Илья Макарович решился на террористический акт— бросить бомбу!

Он снял трубку, набрал нужный номер.

— Полина Ивановна, Крышев говорит... Да, Крышев. Зайдите ко мне сейчас... Да, да, вы! Да, да, сейчас, немедленно!

Изумленная Полина Ивановна воевала с Сидоровым, утопая в читательских письмах.

И вот звонок... Она пятнадцать лет трудилась в отделе писем, за эти годы сменилось немало главных редакторов, и никому из них не приходило в голову приглашать ее к себе на беседу. Не на совещание через секретаршу, не в компании с другими сотрудниками —персональное приглашение: «Сейчас! Немедленно!»

С красными пятнами на помятых щеках, с остекленевшими под железными дужками очков глазами Полина Ивановна предстала пред Крышевым.

— Садитесь,— вежливое, но настораживающее.

На нее уставились две физиономии — невеселая, с подсиненными подглазницами Крышева и широкая, мутно гладкая, таинственно невозмутимая никогда не загорающегося телевизора.

— Мне срочно нужен оригинал письма товарища Сидорова,— с ходу, без обиняков, с устрашающей простотой и любезностью заявил Илья Макарович.

Полина Ивановна молчала, цвела красными пятнами, слышала каждое слово и не смела верить тому, что слышит. Мутное око-физиономия угрожающе бесстрастно взирало на нее из-за плеча любезного до сердечности Ильи Макаровича Крышева.

— Вы слышите, Полина Ивановна? Оригинал...

— Слышу.

— Он у вас?

— Нет.

— Где же?

— Не знаю.

— А кто должен знать?

Полина Ивановна не глядела на Илью Макаровича, ее топил своим взглядом, дымчатым до угара, телевизор. И тяжело дышалось, и стул под ней слегка покачивался, словно лодка на морской волне.

— Может, он у Попенкина? — подсказал Илья Макарович.

— Не знаю.

— Вы его видели, это письмо?

— Не знаю.

— Как это понять?

— Не помню никакого письма.

— У вас ведется учет приходящих писем?

— Да.

— Принесите мне книгу регистраций приходящих писем и укажите, где оно зарегистрировано.

— Нет...

— То есть как это нет?

— Нет этого письма...

Чадный взор телевизора окутывал ее, и легонько качало, словно в море на малой волне.

— Прекрасно. Не помните, нет, не зарегистрировано! Напишите мне подробное объяснение: письмо Сидорова вам в отдел не приходило, приложите к объяснению соответствующие выписки из регистрационной книги. И к концу рабочего дня вы мне... Мне! Не через секретаршу!.. Из рук в руки!.. Идите, Полина Ивановна.

А Полине Ивановне не хотелось вставать, от чадного взгляда телевизора у нее начала болеть голова, болеть и кружиться.

— Полина Ивановна! Время не ждет. Идите!

И она с усилием поднялась, пошатнулась, но удержалась, волоча ноги, послушно двинулась к двери. У дверей она задумчиво обернулась:

— Илья Макарович...

— Что? — подобрался Крышев.

— Вы не замечали — письма похожи на людей...

— Н-не понимаю.

— Я знаю, как выглядит письмо Сидорова. Честное слово. Хотя в жизни его ни разу не видела. Маленького роста, с квадратной головой, мешочки под глазами... У него больная печень, Илья Макарович.

— О чем вы, право? Н-не пойму.

— Он даже стал приходить ко мне ночью, Илья Макарович...

— Полина Ивановна, на вас лица нет. Что с вами?

— Я устала... Я так устала...

Полина Ивановна толкнула дверь и вышла.

Илья Макарович не успел еще прийти в себя, как из коридора донесся дикий вопль.

35

Самсон Попенкин ввел в стены редакции побритого, повязанного галстуком, конфетно пахнущего туалетным мылом «Земляничное» Сидорова-Гуся в тот самый момент, когда Илья Макарович Крышев вызвал к себе Полину Ивановну.

Нет, Самсон Попенкин не повел новоявленного автора сразу в кабинет главного редактора — рано! Для начала высокий гость должен был посетить одну из самых больших достопримечательностей редакции — окошечко кассы при бухгалтерии.

— Вам выписан скромный гонорар за вашу публикацию,— пояснил Самсон Попенкин.

— Но...— начал Сидоров-Гусь, давно уже лишившийся былой самоуверенности.

— Опять — но? — ледяным голосом оборвал Самсон Попенкин.— В вашем распоряжении две минуты. Выкладывайте! И не советую повторяться.

Однако и этих двух жалких минут уже не имел Сидоров-Гусь. Он уже стоял перед окошечком кассы. За ним сидела почтенного вида женщина, широко известная среди китежских журналистов Зоя Митрофановна — многолетний кассир газеты.

— Паспорт разрешите,— коротко потребовала она.

Зоя Митрофановна — живое олицетворение законности и порядка. Зоя Митрофановна, никогда и никому не верящая на слово — только документам. Зоя Митрофановна никогда не ошибалась, ибо кассир, как сапер, ошибается в жизни только один раз.

Она вгляделась в протянутый паспорт, доверчиво протянула чек, изрекла:

— Распишитесь: сумма прописью, число, фамилия.

И перед товарищем Сидоровым, в чьей подлинности ни на йоту не усомнилась сама Зоя Митрофановна, легли деньги. Нет, нет, очень скромные — тринадцать рублей и тридцать две копейки.

Сидоров-Гусь всю жизнь жестоко страдал самой распространенной в мире болезнью — хроническим безденежьем. Вся жизнь его была заполнена одним стремлением, одним неизменным и страстным желанием — сорвать лишний рубль, выколотить лишний гривенник. Даже прозорливый Самсон Попенкин, похоже, не догадывался, что эта неистребимая страсть толкала порой

Сидорова-Гуся — увы, не на подвиги — на попрошайничество: «Эй, парень, одолжи пятачок на автобус, на мели оказался!» К прохожим на улице, к тем, у кого рожа попроще, глаза подобрей. С четырех лопухов по пятачку да две копейки свои — кружка пива! И вот даже этот Сидоров-Гусь, не брезговавший пятачками, невольно отклонился от предложенных денег:

— Но...

Сидоров-Гусь отклонился и встретил чистый, открытый вопрошающий взгляд Зои Митрофановны.

— Что-нибудь не так? — спросила она.

— Нет! — хрипло ответил Сидоров-Гусь.— Все верно, мамаша.— И дрогнувшей рукой вынужден был подгрести деньги.

А как можно от них отказаться? Подойти к кассе, вынуть паспорт, расписаться в получении и... не взять деньги. Возможна ли вообще такая нелогичность поведения? Бывал ли на свете когда подобный случай? Поступи так Сидоров-Гусь, честнейшую Зою Митрофановну, наверное, хватил бы апоплексический удар.

Сидоров послушно спрятал деньги и понял: дело вовсе не в тринадцати рублях с копеечками, а в его подписи. Своей подписью он сейчас удостоверил не только настырного газетчика Попенкина, не только пожилую симпатичную кассиршу, а всю великую державу, что он — не кто иной, как тот самый Сидоров, автор нашумевшего по городу читательского письма.

Свершилось! Великий дух читателя Сидорова окончательно сросся с бренной, весьма заурядной по размерам и достоинству человеческой плотью. Беспристрастнейшее лицо, исполняющее государственную службу, кассир Зоя Митрофановна, документально скрепила это знаменательное бракосочетание. Самсон Попенкин был заинтересованным свидетелем. Поздравления и торжественные речи отсутствовали.

В вековой бурной истории града Китежа постоянно происходили убийства — на плахах, на дыбах, в каменных мешках, ножом от руки брата, кистенем на темной дороге, подушкой в княжеских палатах — нет числа их многообразию. Но никогда еще не случалось столь чистенького, никоим образом не кровавого, изящного убийства. Погиб могучий дух, остался всего-навсего читатель Сидоров, нисколько не таинственный, отнюдь не могучий — слесарь-ремонтник из пятой автотранспортной

конторы, увлекающийся посещением заведений «Росглавпива». Кому теперь придет желание размахивать столь ординарным именем. У грозного рыцаря Петрова-Дробняка выбито из рук оружие.

Но духи, как и люди, погибают не сразу, а в корчах и конвульсиях.

Новоявленный автор спрятал в карман полученные деньги...

А в это время Полина Ивановна, толкнув дверь, вышла из кабинета главного редактора...

А по редакционной лестнице ступенька за ступенькой подымался с одышечкой человек, почтенно пенсионного вида, с лицом самосожженца,— Пэпэша, несший в редакцию одно из своих заявлений: «Считаю своим долгом сообщить...»

36

Полина Ивановна вышла из кабинета, вся натянутая, с очками, нацеленными в некую даль, с горячечными пятнами по всему лицу. Она вышла и наткнулась на Самсона Попенкина.

— Полина Ивановна, познакомьтесь,— с тонкой победоносной улыбочкой остановил ее Самсон Попенкин.— Это товарищ... Сидоров. Да, да, тот самый.

Полина Ивановна споткнулась. Полина Ивановна замерла, она странно вспыхнула, затем начала бледнеть, распахнутые глаза за стеклами очков стали медленно наливаться тяжелым погребным мраком. Перед ней стоял дюжий муж с навешенным квадратным подбородком, слегка подзадушенный коротким галстуком, карамельно благоухающий земляничным мылом. И Полина Ивановна откачнулась, издала вопль.

— Н-н-ет!! Н-не-ет!!

Вопль потряс стены редакции, и все двери отделов пришли в движение.

— Н-не-ет!!! Не-ет!!! Спасите меня!!

Самсон Попенкин кинулся к Полине Ивановне, но та с силой оттолкнула его, закричала надрывнее:

— Н-не под-хо-ди-те!! Не он!! Не похож-ж!!

Из всех дверей выскакивали люди и застывали немотно-недоуменными вопросительными знаками вдоль коридора. Маленький, верткий Самсон Попенкин наскакивал на Полину Ивановну, но каждый раз отлетал в сторону. Полина Ивановна продолжала кричать:

— Вы подменили-и!... Подмени-ли-и!.. Не он!! Не Сидоров!!

Выполз из своего кабинета и сам Крышев Илья Макарович, прижался бочком к спасительной стеночке.

— Ищите Сидорова... Не он!!

На помощь к отчаянно наскакивающему Самсону Попенкину двинулись молодые, дюжие литсотрудники, стиснули Полину Ивановну, а та вырывалась и вопила:

— Не он... Тот прячется!.. Берегитесь!! Берегитесь!! Берегитесь!!

А Сидоров-Гусь, только что ставший читателем Сидоровым, багровый и потный, полузадушенный галстуком, с отвалившимся волевым подбородком, убито сутулился, навесив к коленям тяжелые руки.

И тут открылась входная дверь... Дверь открылась, и в переполошенный коридор вступил Пэпэша, скромный пенсионер, жаждущий подвижничества. Никем не замеченный, он сделал несколько шагов и остановился, узрев сутулящегося Сидорова. На морщинистом челе страстотерпца Пэпэша угрожающе набухла вена, темная старческая кровь ударила в лицо, оно стало сине-багровым, глаза яростно побелели. Он вскинул узловатый палец на Сидорова, и в крики обезумевшей Полины Ивановны врезался его визгливый вопль.

— Вот о-он!! Во-от!!

— Не тот! Не тот! Не он!! — билась в крепких литсотруднических руках Полина Ивановна.

— О-он!! — надрывался Пэпэша.— О-он!! Хулиган! Бандит!..

— Пустите меня! Пустите!! Ищите настоящего!!

— Здесь не место. Не место хулигану!! Прочь! Прочь гоните!!

— Это не тот!! Настоящий прячется! Ищите! Ищите!

— Он настоящий!.. Да, да, бандит! Рукоприкладствует на улицах!!

— Спасайтесь от Сидорова!! Спасайтесь все!!

— Он меня чуть не задушил! Свидетельствую!! Гоните его!!

Два голоса одинаково надрывных — дружный дуэт сумасшедшей и подвижника.

Духи, как и люди, умирают в конвульсиях...

И среди раздавшихся воплей никто не смог услышать, как вновь вкрадчиво скрипнуло колесо китежской истории.

На этот раз колесо истории, похоже, крутануло в обратную сторону.

Полину Ивановну увезли на вызванной по телефону машине «скорой помощи». Сгоряча хотели туда же впихнуть и впавшего в подвижнический раж Пэпэша, но он успел прорваться в кабинет к главному редактору и стал самозабвенно доказывать, что Сидоров — известный хулиган, недавно получивший пятнадцать суток за рукоприкладство... Пэпэша успокоили и выпроводили подобру-поздорову.

После этого наступила удивительная, освобождающаяся тишина. Все начало мало-помалу становиться на прежние места.

Сидоров-Гусь, с таким шумом ставший читателем Сидоровым, раньше всех смылся из редакции... в ближайшую пивную, чтобы там перевести дух и философски осмыслить пережитое.

О нем навели справки в милиции и выяснили, что действительно — был приводим, и не единожды, получал по пятнадцать суток. А уж после этого упоминать имя Сидорова в любом виде просто даже неприлично, следовало делать вид — такого вообще нет и не было. Не было Сидорова, значит, не было и проблемы загрязнения речки, не существовало и статьи Лепоты на эту тему.

Петров-Дробняк, так лихо вскочивший на приступочек, целившийся скакать и дальше, должен был отступить.

Колесо истории крутануло вспять.

Кто знает, получил ли Илья Макарович Крышев нарекания и выговоры, если и получал, то строго конфиденциально, и это не отразилось на его служебном положении. Он с прежним усердием несет в газете нелегкое бремя внешних сношений, а колесо внутренней жизни, как и раньше, крутит Самсон Попенкин. Если надлежит забыть Сидорова, то логично предать забвению заблуждения и опрометчивые поступки всех, кто был с ним както связан.

Кто старое вспомянет — тому глаз вон! Воистину так.

Дым, шум, вихри враждебные — все развеялось, улеглось. Жизнь потекла в прежнем русле, как течет попрежнему и речка Кержавка через славный град Китеж к озеру Светлояру.

1977

Рассказы

Пара гнедых

Лето 1929 года...

Я подымаю его почти со дна моей памяти. Есть воспоминания, лежащие и глубже, даже в глухих слоях младенчества. Но это случайные следы в незрелом мозгу, капризы неопределившегося бытия.

Например, я отчетливо помню: мать ведет меня за руку, я, наверное, только-только учусь ходить, и земля не держит меня, она коварно неровна — в ямах, буграх, предательских уклонах. Но вот я оторвал от нее взгляд и поднял вверх голову, открыл близкое серенькое небо и недоступный скворечник — мир, существующий помимо меня. Отчетливо помню... Но эта ранняя картина ни с чем не связана. Я не знаю, что было до нее, что после нее,— кратковременная вспышка во мраке.

К 1929 году мне исполнилось пять лет, тут я уже помню в с е, не клочками, не вспыхивающими звездами, а сплошным потоком... Незабвенный первый пескарь, вытащенный на удочку у моста, сразу же раздвигает мир: вижу сбегающий к реке бурьянистый косогор, черные баньки, покоящиеся в крапиве, избы, сладко пахнущие по утрам свежеиспеченным хлебом, мужиков, тревожно рассуждающих о коммунии...

Подымаю с самого дна моей памяти... Но памяти надежной, за которую я готов нести прямую ответственность. По детским следам иду сейчас, сорок с лишним лет спустя, иду зрелым и весьма искушенным человеком. А потому пусть не удивляет вас трезвая рассудочность моего изложения.

Итак, лето 1929 года.

В воздухе висит нагретая пыль, скрип несмазанных колес, выкрики: «Шевелись, дохлая!» По единственной улице села тащатся груженые возы — навстречу друг другу. В ту и другую сторону везется житейский скарб:

полосатые, вожделенно пухлые перины и залежанные, негнущиеся холстинные матрацы, громоздкие сочленения ткацких станин и неумытые самовары, окованные сумрачные сундуки и нехитро расписанные шкафцы, хлопающие на ходу дверками, вылинявшие, затхлые подушки, штабеля подшитых валенок, нагромождения овчины и тряпья, «робячьи» люльки, опростанные и с младенцами, венские стулья — зажиточный шик, сломанные салазки, прялки, голики, бочки, пестери, горшки, лохани... Из темных чердаков, из подпольных голбцев, из забытых камор и памятных потайных мест — все, что копилось поколениями, что лежало без нужды многие десятилетия, даже века, вытащено сейчас наружу, везется навстречу друг другу.

Иногда над горшками и лоханями возвышаются усохший старик или старуха, покорные судьбе, глядящие вперед замороженным взглядом...

Скрипят несмазанные колеса. Село поднято, село переезжает!

Переезжают не все. У дороги, чуть в стороне — разомлевшая на солнце кучка мужиков: топчут пыльную травку дегтярными сапогами, берестовыми ступнями, босыми пятками, потеют, благоухают луком, жадно ощупывают глазами каждый воз и обсуждают:

— Мирошка-то, гляньте, цинково корыто везет.

— А еще в бедняках ходит.

— Цинково корыто — вещь!

— А вон и Пыхтунов едет!

— Ну, у этого-то добра хватает.

— Два самовара у него, а что-то не видать их.

— Укрыл, зачем глаза-то мозолить.

— Два самовара — вещь, это не цинково корыто...

Тут же у дороги стоит и мой отец — вместе со всеми и как-то наособицу. На его широкой спине скрещиваются взгляды мужиков. Отец чувствует их, плечи его борцовски опущены, бритая, сизая голова склонена вперед, на загорелой крепкой шее морщинистый шрам — след белогвардейского осколка.

Это он поднял село, вывернул наизнанку, заставил переезжать.

Справедливость... Я родился в воспаленное время и очень рано услышал это слово.

Еще совсем недавно было худо на белом свете — богатые обжирались и бездельничали, бедные голодали и работали. Не было справедливости во всем мире!

За справедливость, за «кто не работает, тот не ест!» поднял народ Ленин. А вместе с ним поднялся мой отец. Вот он стоит и смотрит, как идут возы по улице.

Сейчас богатые мужики переезжают из своих богатых домов в избы бедняков. Бедняки же едут жить на место богатых. Мирошка Богаткин, хоть имеет оцинкованное корыто, но голь, беднота. Мирошка едет занимать пятистенок Пыхтунова Демьяна. А Пыхтунов с семьей и двумя своими самоварами едет в Мирошкину развалюху.

Не было в мире справедливости — она есть! И устанавливает ее здесь в селе мой отец. Устанавливает не по своему желанию, его послала сюда партия. Мы здесь приезжие.

За нашими спинами раздался глуховато-монотонный голос:

— Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны милостливые, ибо помилованы будут...

Опустив в валенки вечно мерзнущие — даже в такую жару! — ноги, сидит под оконцами избы старый Санко Овин, бубнит ввалившимся, затянутым бородкой, словно паутиной, ртом, глядит вдаль сквозь всех голубенькими размыленными глазками.

— Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими...

И мужики обеспокоились, разом заговорили:

— Блаженны алчущие?.. Выходит, что по-божески нынче забирают.

— А милостивые блаженны, как тут понять?

— Эй, дедко, растолкуй: бог твой за нонешнюю власть али против?

— Все равны перед богом,— пробубнил дед Санко сквозь волосяную паутину.

— Ишь ухилял, старый черт!

— Нет уж, скажи, Овин: нынешняя-то власть божеское равенство устанавливает али какое?

— Божеское?.. Активисты-то! Сказанул!

— А вот мы спросим. Эй, Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Дополни ты нам Овина: божеское у вас равенство али какое?

Мой отец, как всегда, обернулся не сразу. Сначала взвесил — хорош или плох вопрос. А обернувшись, сощурился с невнятной ухмылочкой. Это значит, вопрос понравился, с охотой ответит. При неприятных вопросах он каменел губами и скулами, отвечал глухим нехорошим голосом.

— А вот как понять — все равны, все братья, а кесарю кесарево отдай, не греши? Вроде так сказано в святом писании.— И отец повел прищуренным глазом на мужиков. Те посапывали со вниманием.— Выходит, равенства держись и царя-кесаря признавай над собой. Неувязочка. Бог-то у Овина вроде меньшевика или левого эсера — одни пузыри о равенстве пускает. Соглашатель.

Бог Санко Овина — это мужицкий бог, тем не менее кто-то из мужиков охотно хохотнул, кто-то прокряхтел, кто-то без убеждения, слабодушно поддакнул:

— Оно, пожалуй...

А отец, запустив руки в карманы, развернув грудь, поглядывал на всех с победной ухмылочкой.

— Именем бога тыщи лет словеса плели, а мы действуем... Вон!..— Отец кивнул подбородком в сторону дороги.— Поглядите, как выступает. Хорош? Слов нет. А вон этого хорошего без лишних слов с плохим Ваней Акулем поравняли. Не речи о равенстве толкаем, а делом занимаемся.

Все поглядели туда, куда показывал мой отец. По улице двигался высокий воз, две гнедых, небрежно попирая пыль хрупкими ногами, тянули его. Рядом прямо вышагивал человек, рукава полотняной, не по-деревенски белой рубахи засучены, высокие сапоги начищены, шляпа на затылке,— Антон Ильич Коробов.

Он был не бедней Пыхтунова — кулак! Никакого сомнения! Он имел две лошади. Таких коней не было ни в нашем селе, ни в соседних селах, да были ли лучше на всем свете? Лучших и представить нельзя.

Они лоснились так, что казались выкупанными. По спинам и крупам, на выпуклостях, они отливали глубинно тусклым золотом. У них, гладких,— тощие морды с пугливыми ноздрями и крупными, влажными, горячими глазами. У них широкие, бронзово литые крупы, а под ними сухие, до невольного страха тонкие ноги,

кажется, вот-вот под тяжестью крупов хрустнут у бабок. На передних ногах одной — белые носки, и даже копыта у нее розовые...

Я тайно и безумно любил этих коней — каждую их лощеную шерстинку, каждое их богоподобное движение, позвякиванье их сбруи, призрачный стук их невесомых копыт на рыси. Я никогда не мог досыта на них наглядеться...

Я временами любил — ничего не мог с собой поделать! — их хозяина Антона Коробова, когда тот ласкал своих коней, говорил с ними с шутливой небрежностью, за какой взрослые обычно прячут свою нежность к детям. Его смуглое лицо в эти моменты было таким, что хотелось подвернуться под его руку, чтоб осчастливил — погладил по голове.

Я любил его и тогда, когда перед закатом, сквозь золотую пыль лучей низкого солнца он проезжал по селу на своей паре. Всегда это случалось внезапно. Они возникали посреди улицы — громадные, переливисто лоснящиеся, победно сильные, столь одинаково выгнувшие шеи, столь согласованно попирающие землю ногами, что казалось — бежит не пара зверей, а одно-единственное до ужаса великолепное существо. А позади него, выкинув вперед руки, величаво откачнувшись назад,— он, повелитель, он, бог! Как бы я хотел походить на него! Бога нельзя не любить!

Его любили дети и собаки, да и прочие животные тоже. Рассказывают: однажды он подошел к рассвирепевшему быку, только что разбившему телегу, ранившему лошадь. Подошел, почесал его, как собаку, за ухом, взял его за кольцо в носу и отвел в стойло.

Его не любили взрослые. Не только мой отец, но и мужики, богатые и бедные без разбора: «Тонька Коробов — хват. С ним на палочке не тянись — руки до плеч выдернет, и все с улыбочкой — простачок».

Был он женат на единственной дочери местного купца-богатея Игнашихина и должен бы стать его наследником. После революции старик Игнашихин с сумой на плече ушел куда-то на сторону, жить у зятя не стал — неспроста... Антона же Коробова тогда не тронули, даже одно время почтительно величали «культурным хозяином».

Он остановил воз, сунул вожжи за грядку, бросил лошадей прямо на дороге, направился к нам.

А лошади мотали головами, взрывали копытами пыль, им хотелось двигаться, хотелось в подмывающем содружестве и дальше тянуть этот посильный воз, но — умны же! — хозяин отошел, надо ждать... И копытят пыль на дороге.

У Антона Коробова на смуглом лице светлые глаза и светлая, ровно подрубленная бородка. Он был не особо высок ростом, но держался столь прямо, словно все на голову ниже его.

— Здоровы будем, мир честной,— приветствовал он.

— Здоров, коли не шутишь,— отозвался доброхот.

— Выглядываете, кто сколько горшков нажил?

— Чай, любопытно.

— И вам, Федор Васильевич, тоже?..— Антон Коробов нацелил бородку на моего отца.

— Да,— сухо ответил отец.

— Чужие горшки любопытны?..

— Событие, которое сейчас идет. Иль тебе, Антон, оно любопытным не кажется?

— Может быть,— с готовностью согласился Антон.— Вот только куда любопытное нас развернет?..

— Ко всеобщему равенству.

— М-да-а... Всеобщее, значит. Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Ване Акуле равны?

— Не нравится?

— Нет, почему же. Я-то готов, да ты, Федор Васильевич, все сердито подминаешь. Ты наверху, я внизу — равенство.

— Не наш класс в эти подминашки первым играть начал.

Антон Коробов блеснул улыбочкой:

— Ах, вон что! Вам старые ухваточки приспособить не терпится.

Из кучи мужиков кто-то несдержанно выдохнул с радостной откровенностью:

— Гы!..

Они стояли друг против друга — мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами, взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются. А Коробов — хоть бы что, задирает перед отцом бородку — легкий, статный, ворот именинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестят твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми-ка

меня за рубь двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне — трын-трава!

И кони в стороне гнули шеи, рыли дорогу точеными копытами...

В это время, гремя пустой телегой, подкатил Мирон Богаткин, уже сваливший свое добро вместе с оцинкованным корытом возле нового жилья.

— Тпр-р-у! — Мирон соскочил с телеги, подсмыкнул сползающие с тощего брюха портки.

Он и всегда-то был дерганый — все с рывка да с тычка, а сейчас весь переворошен — глаза в яминах блестят, как вода из колодца, во всклокоченной бороде солома, ворот холщовой рубахи расхлюстан, а тощие черные щиколотки чем-то сбиты до крови.

— Петро, ты тута?

— Тута,— ответил хозяин лошади Черный Петро, всегда пугавший меня улыбкой: и так уж страшен в своей смоляной бороде, а тут еще в этой бороде вдруг вспыхнут крупные зубы.

— Спасибочки за лошадь, Петро.

— Чего быстро управился?

— У меня всех тяжестев — камень под порогом, так я его новому хозяину оставил.

— Не прибедняйся: баба тебе портки в цинковом корыте стирает.

— Сменяем корыто за лошадь, ежели пожадовал.

— Гы!

— Эй, Мирон! Чтой-то ты вроде не в себе?

Мирон скребанул неразгибающейся, очугуневшей от работы пятерней по груди.

— Муторно, братцы!

— Дом новый не хорош?

— Хорош-то хорош, а как ни ступи, пятки жжет.

— Что так?

— Полы крашены... Не привык я по крашеному-то ходить.

— Привыкай, коли власть требует.

— Э-эх! — Мирон снова скребанул по груди.— Вот ежели б мне советска наша власть лошадь помогла огоревать... С лошадью я бы и сам дом поднял, чужого не надо.

— Зачем тебе лошадь, Мирон? — со своей тонкой улыбочкой вступил в разговор Коробов.— Федор Васильевич тебе стального коня обещает — трактор!

Мирон проблестел на Коробова недобрым глазом.

— Стальное-то мне не к рукам. Ногти о стальное-то обломаю. Мне бы обычное — костяное да жиляное, я б с энтим в землю по уши въелся.

— А не опасно это, по уши-то? А? — Коробов краем глаза ловил выражение моего отца.— Въешься в землю — зажиточным станешь, чего доброго, второго коня заведешь, дом железом покроешь, тут-то и кончится твоя масленица.

— Уж не завидуешь ли мне, Тонька? — спросил Мирон.

— Гы! — показал в страшной бороде страшные зубы Черный Петро.

— Завидую, брат. Ты теперь в ласке, а я в опаске. Нынче у меня дом отняли, завтра коней, а послезавтра...— Коробов круто, на каблуках повернулся к моему отцу: — А вдруг да не остановитесь, Федор Васильевич?

— На полдороге не остановимся, не мечтай.

— Слышал, Мирон? Потому и готов я сейчас же пролетарием стать.

— Гы!..— гыкнул Черный Петро.

— Дело нехитрое,— произнес Мирон.— Отдай мне коней. Я пролетарием-то всю жизнь, поднадоело.

— Гы!.. Гы!..

— А ты примешь, ежели отдам? — спросил Коробов.— Не откажешься?

Мирон сглотнул слюну, побежал глазом в сторону, в сторону, пока его глаз не уперся в коробовских коней на дороге.

— Попробуй проверь,— сказал он.

— По нонешним временам такие кони ой горячи, Мирон! Шибко они меня припекают. Спроси-ка Федора Васильевича, уж он-то лучше моего тебе растолкует.

— Зачем? — с пренебрежением отозвался мой отец.— Еще товарищ Карл Маркс отмечал: ни один мироед-собственник добровольно не отказывался от своей собственности.

— А кто говорит, что я добровольно от коней отрекаюсь?.. Нужда, Федор Васильевич, заставляет. Я их, лапушек, на руках выносил заместо детей. Дороги они мне...— Антон Коробов положил руку на сердце.— Вот тут лежат, с мясом отрывать придется.

— Сам не оторвешь, классовая жадность пораньше тебя родилась, Антон.

— А ежели смогу?

— Ежели б смог, то в наших рядах давно бы был,— ответил отец.

Коробов улыбнулся своей тонкой, скользящей улыбкой.

— А я того и хочу, Федор Васильевич,— в ваших рядах. Хочу вот отдать своих коней, зато чужих брать, дом свой, который бревнышко по бревнышку клал, забыть, чтобы других из домов выселять... К понятию пришел: музыка нынче новая, так по-новому и танцуй.

Отец в ответ улыбнулся презрительно и жестко.

— Лиса в капкан попала — лапу себе отгрызть хочет. Нет, Антон, не примазывайся — разоблачим.

— Разоблачите?.. А что?.. То, что я ваши мысли приму, ваши законы признаю?.. За такое, Федор Васильевич, по голове не бьют, а как раз гладят да приговаривают: досужий мальчик, послушливый — сердце радуется.— Антон Коробов, прямой, остроплечий, задирал на отца бородку, светленько ласкал глазами. Отец, широкий, тяжело давящий сапогами пыльную землю, встречал исподлобья этот ласковый взгляд.

Мирон Богаткин слушал их, выбирал негнущимися пальцами из бороды солому, и его рука заметно дрожала, глаза, прятавшиеся в глазницах, теперь выбрались наружу, они были бутылочно-зеленого цвета и беспокойны — перебегали с моего отца на Коробова, с Коробова на отца, а лицо напряжено, морщины на нем стянуты.

Кони же, о которых шла речь, чуть поуспокоились, грызли удила, судорожили атласной кожей, отгоняя мух. И тем наглядней было их недеревенское совершенство, что ближе к нам в обморочной дреме стояла запряженная в расхлюстанную телегу лошадь Петрухи Черного — пыльно-шерстистая, с прогнутой обильным брюхом спиной, тупоногая, с громадной понуренной головой, с распущенными губами, облепленными мухами.

Мирон снова через силу сглотнул слюну и сказал ссохшимся голосом:

— Слышь, Тонька: чур, я первый!

Коробов повел в его сторону светлым глазом:

— Вынесешь ли, Мирон?

— Мое дело.

— Двоих разом отдаю. Держать-то их в хозяйстве можно только парой. Поодиночке в плугу или на извозе надорвутся.

— Знамо — тонкая кость.

— Тогда что ж... Считай — заметано.

И Мирон, распахнув зеленые глаза, затравленно заоглядывался:

— Чё это?.. Ужель вправду он?.. Че это, ребяты?..

А «ребяты» — кучка мужиков-хозяев из «твердой середки», те, что и сами имели коней, но не смели облизываться на «коробовских лебедок»,— попритиснулись друг к другу, замерли, раскрыв окосмаченные бородами рты, таращили глаза, громко сопели и потели. Только Петруха Черный показал из бороды страшные зубы, изрек:

— Чудно!

— Очнись, простота! Покупают тебя по дешевке,— сердито сказал отец.

— Безопасность себе покупаю, Мирон,— спокойно добавил Коробов.

— Неужель вправду коней отдаешь за это?

— Дешевле-то не получается.

— А ведь я соглашусь, Антон Ильич, любый. Меня — на коней?.. Покупай! Соглашусь!

— Не ты, так другой — кто-то найдется.

— Найдется, паря, найдется. Но и я готов... За твоих коней да хоть душу черту... Готов, Антоша.

— Подумай о чести бедняцкой! На дешевку клюешь! — Голос отца был сухой, нехороший.

— О чести?.. О бедняцкой?..— Мирон вывернулся боком, перекосил плечи, выгоревший до рыжины, закопченный до черноты, изрезанный морщинами, в холщовой серой рубахе, в крашеных линялых портах, черные сбитые щиколотки торчат из разношенных берестяных ступешек.— Я, Федор Васильевич, сорок осьмой год живу на свете и все выглядываю, как бы из энтой чести выскочить подале... Бедняцкая честь, да катись она, постылая!

Мой отец схватил Мирона за выломленное костистое плечо, сильно тряхнул.

— Проснись, глухота! Ликвидация начинается! Слышал: кулака как класс... Хочешь, чтоб вместе с этим классом и тебя, беспортошного, ликвидировали?

Мирон досадливо освободился от отцовской тяжелой руки, нос его заострился, темное лицо посерело, как его заношенная холщовая рубаха, а глаза травянисто цвели.

— Ты, Федор Васильевич, из мужиков-то, видать, выскочил, не поймешь... Коней бери!.. Ни у отца мово, ни у деда такого случая не было, а я пропущу...

— Дура темная! Он спасается, а ты, баран, под обух лезешь!

— Такие кони... Уж знамо, что задешево не достанутся. Кто б мне в другое-то время таких коней посулил?.. Ты, Федор Васильевич, уже не мужик. Мужики-то, эвон, меня поймут...

Мужики, сбившись в жаркую кучу, дышали и молчали, молчали и глазели, завороженно, жадно, и, похоже, не очень-то понимали.

Мой отец обреченно махнул рукой:

— Баран!

Антон Коробов приподнял мятую шляпу:

— Доброго здоровья, мир честной... Мне пора.

Он двинулся к своим коням молодцевато-легкой поступью, прямой, с занесенной вверх бородкой — взведен! Не дойдя до воза, обернулся к Мирону, стоявшему раскорякой:

— Я не шучу, но и ты обдумай, время есть. Федор Васильевич дело говорит. Мне-то все равно кому...

Мирон только негодующе тряхнул замусоренной бородой.

Коробов не спеша разобрал вожжи, тронул коней с сочным причмоком. А они, легкие, дружно и гибко качнулись, повели дышлом. Воз, тесное нагромождение тучных узлов, расписных сундуков, берестяных коробов, величаво зашатался, ошинованные колеса беззвучно стали давить в пыли четкие колеи.

— Нынче мужик землей наелся... И лошадей мужик скоро выгонит в леса — живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божии не сеют, не жнут — сыты бывают... Сыты и веселы...

Дед Санко Овин вглядывался в даль, сквозь людей, размыленно голубым взором, и солнце сияло на его апостольской лысине.

Ему отозвался Петруха Черный:

— Птицы божии... Гы!..

Едва коробовский воз скрылся за бывшим пыхтуновским пятистенком, как раздался радостный выкрик:

— Гляньте-ка: Ваня Акуля едет!

И все сразу встряхнулись, зашевелились, заулыбались, потянулись поближе к дороге.

— Чтой-то лошадей не видать?

— Под шапкой-невидимкой оне.

— Зачем Ване лошади, когда и своих ног у него в хозяйстве много.

— Энти не надсядутся переезжаючи.

По дороге пылило шествие. Впереди — ребятня. Только старший из акуленков был в штанах, на каждом шагу мерцал в прореху голым коленом. Старшего звали странно — Иов, остальных — Анька, Манька, Ганька, Панька. Эти даже ростом мало отличались друг от друга — в рубахах из старой домотканины до колен и ниже, с одинаковыми рябыми головами, стриженными ступеньками бараньими ножницами, с одинаковыми ошпаренными солнцем, облезшими носами, как один по-мышиному быстроглазые. Они рысили за Иовом, несли кто что успел ухватить — узелок, кочергу, щербатый заступ. Самому младшему, Паньке, ничего хорошего нести уже не досталось, он нес полено.

За ними в туче пыли с громоздким пестерем за спиной вышагивал сам знаменитый по селу Ваня Акуля. Он в лохматой зимней шапке, но бос, у него сорочье быстроглазое лицо, руки его, длинные, тонкие, как лапы паука-сенокосца, прижимают к паху закопченный чугунок. Ваня Акуля знает, что над ним зубоскалят, потому издалека, на подходе уже начинает выделывать паучьими ногами коленца: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..»

За ним отрешенно двигается его медлительная, водянистая, неряшливая жена. Она прижимает обеими руками к груди квашню. Квашня обмотана никогда не стиранной завеской-фартуком, по всему видать, переносится на новое место прямо с тестом — священный сосуд, дарующий жизнь.

Нет беднее в селе семьи. Акуленки даже жили не в избе, а в бане, банный полок служил им на ночь вместо полатей — бок к боку свободно умещались все семеро. Но сейчас они перебирались в дом Антона Коробова, один из самых — если не самый! — лучших в селе. Пятистенок под железной крышей, внутри крашеные полы, в отдельной светелке — особая печь-голландка, об-

ложенная белыми, как молоко, гладкими, как лед, плитками.

Пылят акуленки, выплясывает сам Акуля с громадным, но не тяжким пестерем на спине, из которого торчат обкусанные валяные голенища. Акулькина баба прижимает к груди тяжкую квашню. Движется племя к новой жизни.

Антон же Коробов, что минуту назад откатил на паре гнедых с рискованно качающимся возом — смех и грех! — должен разместиться в акуленковской баньке с банным полком вместо полатей и, конечно же, некрашеными полами. Но сколько лет он, Антон Коробов, и его бездетная жена ходили по крашеным полам, жили под железной крышей! Свершилось — идет Ваня Акуля!

И мой отец, борцовски опустив плечи, наблюдает за передвижением акуленковского племени.

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!..— кричит не доходя Ваня Акуля.— Честной компании — мир и почтеньице!.. Федор Васильичу как вождю нашему и руководителю докладаю: Иван Семенихин, по прозванию Акуля, задание партии выполняет. Да здравствует братство да равенство! Ур-ра-я!

— Иди, короста! — толкает его квашней жена.

— Ур-ра-я, граждане! Братству да равенству!..

И граждане веселятся.

— Кому-кому, а энтому от братства и равенства прямая польза!

— Верно сейчас дедко Овин сказал о птицах божьих — не сеют, не жнут, а веселы...

— Адам безгрешный, портки б только снять.

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!..— Ваня Акуля вскидывает над головой закопченный чугунок.

— Иди, тошнотное! — качая жидкими телесами, сонная, хмурая, прошествовала мимо жена Акули. Руки ее бережно прижимали к груди заряженную квашню — сосуд жизни.

Антон Коробов со своим возом не остановился возле акуленковской баньки, а проехал из села на станцию. Жена его еще раньше ушла пешком туда же к знакомым. Коробов пропадал три дня, вернулся с пустой теле-

гой, завернул сразу во двор бывшего пыхтуновского дома к новому хозяину Мирону Богаткину.

Мы, мальчишки, битый час торчали у забора, жались к штакетинам, ждали, когда выйдут Коробов с Мироном смотреть коней и бить по рукам.

Битья по рукам не случилось. Из избы неожиданно выскочил Мирон, как всегда в своей несменной длинной холщовой рубахе, как всегда выгоревшие до рыжины волосы встрепаны, двигался сейчас с непривычной юркостью, даже, казалось, стал меньше ростом.

Он скатился с крыльца к лошадям, а на крыльцо вышел Антон Коробов в парусиновой городской куртке с нагрудными карманами, в парусиновом картузе, сбитом на затылок, в своих высоких, по самое колено сапогах с твердыми, словно надутыми голенищами. На его смуглом с пепельной бородкой лице цвел вишневенький румянец. Коробов сосал толстую папиросу и жмурил светлые глаза на Мирона. А тот бегал вокруг лошадей, запинался, путался в ремнях — мальчишески усердный и мальчишески неумелый. Только один раз Коробов подал голос:

— Удило-то вынь, лапоть!

Мирон освободил от упряжи коней, с куриным прикудахтыванием: «Родненькие... Красавчики...» — утянул в темные распахнутые ворота сначала одного, потом другого. Кони шли за ним неохотно, вскидывали головами, храпели, пытались оглянуться на стоящего на крыльце хозяина.

— Родненькие... Красавчики... Золотые!..

Последний, тот самый, у которого были белые носки на передних ногах и розовые копыта, коротко и нежно проржал. Антон Коробов выплюнул папиросу и тут же достал вторую, но спички ломались в его руках, никак не мог раздобыть огня.

Мирон долго копался в конюшне, наконец выскочил наружу — юркий серый заяц,— быстро завел створки ворот, навесил замок, защелкнул его и с ключом, запеченным в коричневом кулаке, с землистым лицом, встрепанной бородой и глазами, что цвелая водица, двинулся на Коробова.

— Может, возьмешь все-таки деньги? — хрипло спросил он.— Все, что есть, отдам.

Коробов не сразу ответил, усиленно дышал дымом, сказал раздраженно:

— Какие твои деньги...

— Мотри! Станешь просить коней обратно — не выйдет!

— Чего зря воду толочь. Я же тебе бумагу дал. Твое! Владей! Пока владей, скоро отберут.

— Костьми лягу.

— Костьми...— сплюнул Коробов.— По твоим костям пройдут и хруста не услышат... Прощай. Будет круто, не поминай меня лихом.

— Небось...

Коробов отбросил папиросу, скользяще глянул в Мирона, сказал почти уважительно:

— А ты рисковый... Вот не чаешь, в ком смелость найдешь.

— Вовек не был смелым,— отозвался Мирон.

Тяжело ступая по ступенькам, Коробов спустился с крыльца и на последней споткнулся — из-за дощатых глухих ворот донеслось тоскующее нежное ржание. На холщовом лице Мирона враждебно зеленели глаза, он сжимал в кулаке ключ.

— Слышь, об одном прошу...— хрипло заговорил Коробов,— не бей их за-ради Христа, а лаской, лаской... Я их в жизни ни единова не ударил.

— Мои теперя — лизать буду, уж не сумневайся.

И еще раз прозвучало тоскующее ржание. Антон Коробов дергающейся походкой вышел со двора, не обратив на нас, мальчишек, никакого внимания.

Мирон проводил его настороженными рысьими глазами, и его взведенные костлявые плечи обмякли. Он постоял минуту, словно отдыхая, потом встрепенулся, кинулся к стае, прогремел замком, приоткрыв створку, пролез внутрь, закрылся, застучал деревянным засовом, запираясь вместе с конями от нас, от села, от всего мира.

До сих пор у Мирошки Богаткина самой большой ценностью в хозяйстве было оцинкованное корыто.

Оцинкованное корыто — вещь, а коробовским коням никто в селе цены дать не мог.

Презренный металл не осквернил эту небывалую сделку. Наверно, в тот год советский закон еще признавал права за хозяином частной собственности — хочешь, продавай, хочешь, так отдавай, хочешь, съешь с кашей. Умирал, но еще не умер совсем нэп, коллективизация только начиналась, новорожденный лозунг «Ликвидиро-

вать кулачество как класс!» еще не воспринимался со всей беспощадной буквальностью. Сумел ли бы через месяц Антон Коробов отделаться от своих коней? И принял ли бы через месяц Мирон Богаткин этот бесценный и злой подарок? Жизнь тогда менялась с каждым днем — что было законно на прошлой неделе, становилось преступным сейчас.

Меня тогда, разумеется, никак не трогали эти вопросы, однако хорошо помню, что почти все село осуждало Мирона:

— С огнем играет... Икнется ему кисло...

За полями, где кончается земля, холм, поросший лесом, походил на заснувшего медведя. Каждый вечер садившееся солнце выжигало на его спине дремучую шерсть.

В последние дни село по вечерам переживало сумасшедший час — висит красная пыль в воздухе, коровы, козы, овцы мечутся по улице, мычание, блеяние, остервенелые бабьи голоса:

— Марья! Гони ты мою от себя за-ради Христа!

— Пеструха! Пеструха! Пеструшенька! Сюды, любая, сюды! Мы с тобой нонче здеся живем!

— У-у, недоделанная! Каждый вечер ей вицей постановляю — все на старое воротит!

Возвращающаяся после выпасов скотина никак не может внять, что в селе произошло переселение.

Мужики в этой игре в салки участия не принимают. Они, как всегда, вылезают на крылечки, развязывают кисеты, палят табак. Мой отец тоже утверждается на своем крыльце, тоже вынимает кисет. Я пристраиваюсь у него с одного боку. С другого бока подруливает кто-то из мужиков, тянется к отцовскому кисету, завязывает разговор:

— Керосину в лавках нету и мыла. Нету спичек. Бабы ловчат, одну спичку вдоль щепают на четыре части...

— Историю на дыбки подымаем, а ты о спичках скулишь!

В тот вечер к отцу неожиданно подошел Антон Коробов в светлой куртке с карманами, в светлом картузе на затылке, со светлой улыбочкой в подстриженной бородке.

— Проститься пришел, Федор Васильевич.

Отец подвинулся:

— Садись.

Над улицей висела красная от заката пыль, бабы гонялись за скотиной, ругались и причитали.

— Радуйся, Федор Васильевич, нету больше зажиточного земледельца Антона Коробова, есть свободный пролетарий.— Свободный пролетарий протянул отцу надорванную пачку аппетитно толстых папирос «Пушка», отец не заметил их, взялся за свой кисет.— Был я у самого председателя РИКа товарища Смолевича Льва Борисовича. У товарища Смолевича забот полон рот. Ему, к примеру, в этом году нужно устроить сиротский приют, или — по-нынешнему — детдом. Вот я все, что нажил,— все, окроме дома, который ты у меня отобрал,— при самом товарище Смолевиче отдал обществу «Друг детей», получил за это членскую книжку друга, значок с образом Ленина во младенческих годах и еще бумагу, в которой черным по белому прописано, что чист, ничего не утаил, скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности.

— Ловко.

— Обществу «Друг детей» не понадобилась скотина да справа. Товарищ Смолевич объяснил: молочный и тягловый скот, равно как и сельхозинвентарь, должны остаться в селе, так как вскорости здесь организуется артель. Все в целости, Федор Васильевич: инвентарь, какой был, я оставил при доме, Ваня Акуля теперь над ним хозяин — доглядывайте. Корову женка отвела к бабке Ширяихе, а кони... кони у Мирона.

— Ловок, но и мы ведь не простаки.

— И еще по совету товарища Смолевича Льва Борисовича я написал письмо, в котором все как есть от души объяснил, почему я расстаюсь добровольно с презренной частной собственностью. И смею заметить, товарищ Смолевич Лев Борисович назвал мое письмо «пронзительной силы документ»! Он его посылает в газету и требует немедленного напечатания.

— Та-ак! — протянул мой отец.— Та-ак! Спасибо, что сообщил.

Коробов вежливенько улыбнулся своей тонкой улыбочкой:

— Ничего у тебя не получится, Федор Васильевич.

— И на Смолевича найдем управу!

— Товарищ Смолевич — ленинец, Федор Васильевич. Ленин тоже навстречу нашему брату шел — нэп утвердил.

Отец опустил крупную голову, произнес глухо:

— Ох и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит.

Коробов ласково щурился в висок моему отцу и не отвечал.

Висела над улицей красная пыль, колготились бабы, мычали коровы, за огородом в бурьяне неистово кричал дергач.

Над уличной неразберихой вознеслось победно-въедливое:

— С-сы дороги!.. Мы на горе всем буржуям!..

По самой середине закатно-красной дороги, приседая на длинных, ломких ногах, размахивая длинными, угловатыми руками — ни дать ни взять поднявшийся торчком паук-великан,— вышагивал Ваня Акуля.

— С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!..

Лохматая шапка наползала на нос, острокостистый, в цыплячьем пуху подбородок задран, портки коротки, открывают голени, босые ступни гегемона корявы и растоптаны.

— Нынче я хозяин! Беднея меня нету! Мне нова власть служит!.. Дор-рогу Иван Макарычу!.. Вот она, наша родима нова власть! Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Глянь сюды — гигемон пришел!

Гегемона качало посреди дороги.

— Новоселье праздную! В честь всех вождей нынче выпил! Да здравствуит!..

— Где деньги взял? — спросил отец.

— Кофик... Конфик-ско-вал!..— Ваня Акуля узрел Коробова.— Мироеду и кровопийцу! Наше вам с заплаточкой!.. От передового класса!..

— Что продал, передовой класс? — напомнил Коробов вопрос отца.

— Не жил-лаю буржуем быть! Брезгаю!..

— Уж не из инвентаря ли что?.. Смотри, Федор Васильевич, растащит он инвентарь, не соберете потом.

— Крышу я продал!.. Жылезо! Я хоть и первый ныне, но простой... Все живут под деревянными, а я под жылезной — не жил-лаю!

— Эге! — весело удивился Коробов.— Сколько хоть дали-то?

— Я простой!.. Ставь четверть — бери жылезо!.. Не жил-лаю!..

— Кому? — спросил отец.

— Коней завел! Жылеза захотел! А я презираю!

— Уж не Богаткину ли Мирону?..

— Ему! Жылеза захотел! Презираю!

— Пропал дом,— без особой жалости, пожалуй, даже с торжеством произнес Коробов.

— Не хочу кулацкого! Хочу бедняком! Потому что честь блюду! Потому что... вышли мы все из народу! Дети семьи трудовой!.. А хошь, повеселю партейного человека?.. И ты, мироед-кровопийца, смотри — разрешаю!..

И-их, лапти мои —
Скороходики!..

Ваня Акуля, развесив по сторонам руки-грабли, начал месить черными ногами дорожную пыль.

Все мы вышли из семьи —
Из народика!

И давно уже сбежались мои приятели-ребятишки. И бабы бросили загонять коров, и кой-кто из мужиков, кряхтя, сполз с крылечка, подчалил поближе.

Рожь в версту, овес с оглоблю
На плеши родился!
Я советску власть люблю,
Не на той женил-си!

— Федор Васильевич кровь свою проливал, чтоб Ванька, кого за назем считали, во главу... Ги-ге-мон! Мы на горе всем буржуям мировой пожар... Тебя, Тонька Коробов, сковырнули — меня выдвинули! Во как!..

Коробов расхохотался. Мой отец, пряча лицо, глухо, с угрозой произнес в землю:

— Ступай, шут, проспись!

— Иду, Федор Васильевич, иду... Сею менуту!.. Но не спать!.. Не-ет!.. Да здравствует наша родная советска власть!

Он зашатался вдоль улицы на подламывающихся ногах, развесив длинные руки, неестественно большеголовый от напяленной лохматой шапки,— нескладное насе-

комое. И к накаленно закатным крышам возносился его голос:

— Мы на горе всем буржуям!..

Мой отец сутулил плечи, смотрел в землю. Антон Коробов, ухмыляясь, выуживал из надорванной пачки новую папиросу «Пушка».

Люди, посмеиваясь, расходились. Мои приятели-ребятишки удрали за развеселым Ваней Акулей. Я не тронулся, не хотел бросать своего отца, почему-то мне было его жаль сейчас.

— Ох-хо-хо! И вышла из дыма саранча на землю, и дадена была ей власть, кою имеют скорпивоны...— В длинной, до колен, белой рубахе, сам длинный, прямой, бестелесный, но с тяжелым кирпичным черепом, стоял в стороне Санко Овин.— Царем над собою саранча поимела ангела бездны по имени Аваддон... И сказано дале: энто только одно горе, аще два грядет... Ох-хо-хонюшки! Аще два ждите...— Дед Санко постоял, качнулся раз, отдохнул немного, качнулся другой раз, с натугой переставил тяжелый валенок, пошел, опираясь на сучковатую клюку.

Лиловые сумерки обволакивали село.

Коробов первым нарушил молчание:

— «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...» Когда что-то горит, акулькам весело — уж они, верь, доведут до пепла...

Отец не ответил, сидел словно каменный.

— Товарищ Смолевич поумней тебя будет.

Отец пошевелился и сказал негромко:

— Акулька много не спалит, а вот ежели б тебе волю дать...

— Мне б волю дать, я бы... великую Россию досыта накормил.

— И стал бы царем — на руках носи.

— Могёт быть.

По небу разлилось зеленое половодье, в нем стылым серебряным пузырьком висела блеклая звездочка. Село угомонилось, продолжал надрывно кричать дергач — таинственная птица, которую каждый слышит и никто не видит.

Коробов отбросил папиросу и встал:

— Прощай, Федор Васильевич. Мы еще усядемся вместе за красный стол... Хотя... ты прям, как дышло,

такие не гнутся, да быстро ломаются. За красным столом я уж, верно, с товарищем Смолевичем посижу.

Коробов легко спрыгнул с крыльца, промаячил в темноте светлым кителем и растаял, но долго еще звучали в тишине прозрачно-звонкие, четкие шажочки. И по сей день я слышу их, и встает перед глазами статная, прямая фигура в летящей походочке — кулак, увильнувший от раскулачивания.

Отец зябко передернул плечами, тяжело поднялся:

— Пойдем в дом, Володька... Холодно что-то.

Шаги стихли. Кричал дергач.

На другой день по селу разносился громкий стук молотка о железо. Мирон Богаткин, босоногий, острозадый, ползал на карачках по крыше дома Антона Коробова и отдирал купленное у Вани Акули железо.

На другой стороне улицы стоял досужий люд, задрав головы на залатанный Миронов зад, судил:

— Неделю как и всего-то цинково корыто у него было.

— Растет репей.

— Прополют, нонче долго ли.

Самого Вани Акули средь досужих не было. Он после вчерашнего веселья отсыпался дома под грохот Миронова молотка. Во дворе на бревнышке, так, чтобы можно было видеть работающего Мирона, сидела серьезная жена Вани Акули, равнодушно лускала тыквенные семечки. Акуленковская ребятня, похожие друг на друга Анька, Манька, Ганька, Панька, тут же толкалась, радовалась — вон сколько собралось народу возле их дома! Старший, Иов, был диковат, от людей прятался.

Кто-то радостно возвестил:

— Партия сюды идет!

— Сейчас объяснит Мирошке на пальцах.

— Эй, Мирон, гость к тебе — встречай!

Мой отец подошел вплотную к дому, задрал голову и, когда Мирон появился с очередным листом на краю крыши, приказал:

— Слазь, Мирон!

Мирон с грохотом сбросил лист, деловито высморкался, вытер черные пальцы о портки, ответил с достоинством:

— Некогда мне, Федор Васильевич, слазить. Говори уж так.

— Разговор-то крупный, Мирон, и не для всех.

— Чего таиться, чай, не за воровство журить меня собрался. Купленное забираю.

— Детей, дурак, без отца оставишь.

— Жалеешь!

— Жалею.

— Тогда и заступишься.

— Не смогу заступиться. Ни я, ни кто другой.

— Слабак, значится. Ну и не путайся. Я, может, денек первым человеком в селе пожить желаю.

— Сам же недавно кулаков клял, теперь в клятые лезешь.

— Нынче другое звание мне вышло — не нищеброд.

— Дом отымем, коней отымем и накажем по закону!

Мирон распрямился на крыше во весь рост, снова презрительно высморкался. Снизу под оттопыренной рубахой был виден его голый тощий живот.

— Отымете?.. Эт пожалте. Только помни, Федор, я убью тебя, когда ты руку к моим коням протянешь. Я не Тонька Коробов, я без хитростев... Ничегошеньки не боюсь.— Мирон повернулся спиной, стал на четвереньки и полез наверх.

В это время из сеней выполз Ваня Акуля, должно быть, проснулся от наступившей после грохота тишины. Без знакомой шапки на голове, с протертым острым темечком, опухший, трупно-зеленый, с затравленно бегающими глазками, он двинулся по двору, мучительно морщась, бережно неся на весу свои дрожащие руки.

— Ми-иро-он! — плачущим, детски слабеньким голоском позвал он.— Миро-он!

— Чего тебе? — недовольно отозвался Мирон с высоты.

— Дай еще на полдиковинки, Мирон.

— Допрежь надо было торговаться.

— Ми-ир-он! Жылезо заберу... Полдиковинки, Мироша-а.

Мирон ожесточенно загремел молотком.

Ваня Акуля при каждом ударе вздрагивал опухшими губами и щеками, мучительно морщился, глядел на всех просительно увлажненными глазками. А все смеялись, советовали:

— Лезь на крышу, там ближе к богу.

— За ногу стяни.

— Смерть моя, братцы-ы! — стонал Ваня.

Вместе со всеми визгливо смеялись над отцом Анька, Манька, Ганька, Панька, а со стороны серьезно и невозмутимо поплевывала тыквенной шелухой жена, наблюдала.

— Федор Васильевич! — Ваня двинулся к моему отцу.— Будь защитником! Ограбил меня Мирошка!.. Я ж ему за дешевку!.. Реквизуй, Федор Васильевич! — Он шел на пригибающихся ногах, тянул к отцу длинные трясущиеся руки. А наверху, под синим небом, гремел железом Мирон.— Фе-е-дор Василь-ич!

Отец резко повернулся и пошел прочь — тугая широкая спина ссутулена, голова пригнута, почему-то мне опять до боли, до крика стало жаль отца.

Ваня Акуля проводил его долгим тоскующим взглядом, потоптался, снова обернулся к людям и вдруг с неожиданной силой и страстью заломил над головой руки:

— Братцы-ы! Смилуйтесь!.. Братцы-ы! Полдиковинки всего... Заставьте изверга миром, войдите в положение!.. Тош-не-хонь-ко! Бра-а-ат-цы!

Все глядели на него и покатывались, стонали от смеха. Анька, Манька, Ганька, Панька плясали, путаясь в длинных рубахах. Даже невозмутимая жена Вани Акули, не переставая выплевывать тыквенную шелуху, раскисала в улыбочке. Смеялся и я.

— Бра-ат-цы-ы! Тошне-хонь-ко!

В небе победно гремел железом Мирон.

Отец часто стал повторять одну фразу.

Сидел на крыльце вечером, слушал дергача, курил, вдруг встряхивался:

— Что-то тут не продумано.

Читал после обеда газеты, откладывал их, морщил лоб:

— Что-то тут не совсем...

Рассказывал матери об очередном собрании, обрывал себя на полуслове, задумывался:

— Что-то тут у нас...

Антон Коробов исчез из села в тот же вечер, сразу же после разговора с отцом. Он уже не слышал, как Мирон гремел железом на крыше его дома. Никто из наших больше не слышал об Антоне Коробове. Отец не сомневался: «Этот устроится... Что червяк в яблоке».

Во время дождей ободранная крыша коробовского пятистенка пропускала воду, как решето. Ваня Акуля, кляня кулацкие палаты, вместе с ребятишками, верной женой, прихватив квашню — сосуд жизни, перебрался обратно в свою баньку.

Несколько раз Мирон выезжал на своих конях. Гнедые кони по-прежнему лоснились, словно выкупанные, скупо отливали золотом. Мирон был темен лицом, расхлюстан, размахивая концами вожжей, он пролетал со стукотком из конца в конец — черноногий Илья-громовержец на колеснице. Мой отец ему больше не мешал: «Пусть... пока... Придет время, приведем в чувство».

Мирону, конечно, передавали эти слова, и он визгливо кричал: «Зоб вырву! Я нонче человек отчаянный!»

Отцу не довелось приводить в чувство Мирона. Его срочно перевели в другой район на более ответственную работу. Мы уехали из села.

Но уехали недалеко. На конференциях и областных совещаниях отец встречался с работниками старого района. Никто из них не вспоминал о Мироне Богаткине — шла сплошная коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами.

Нет, никому он не вырвал зоб, никого он не испугал, иначе вспомнили бы.

Отобрали ли у Мирона его оцинкованное корыто?..

Коней-то уж отобрали. Они вместе с брюхастой лошаденкой Петрухи Черного попали в колхозные конюшни... А какие кони были!

* * *

Позволю себе, когда это будет возможно, напрямую обращаться к документам. Не хочу и не могу давать развернутого обоснования, они отяжелили бы и занаукообразили мой литературный труд. Самое большее, на что я способен,— бросить лишь документальную реплику по ходу дела.

Итак, первая документальная реплика.

По данным «Истории КПСС», изданной Госполитиздатом в 1960 году (стр. 441), с начала 1930 по конец 1932 года было выселено 240 757 кулацких семей. Есть основание считать эту цифру сильно заниженной, хотя умиляет ее точность — не 240 тысяч и не 241 тысяча, а именно 240 757, ни больше, ни меньше, извольте ве-

рить, старались, считали, не закругляли. К слову сказать, и это уже всепланетный рекорд. Крестьянские семьи из пяти человек не считались большими. Помножив на пять указанное число высланных семейств, получаем более миллиона двухсот тысяч человек. До того времени история еще не знала столь массово грандиозных репрессивных кампаний [1].

Однако неопубликованная инструкция ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1930 года предлагала подвергнуть выселению свыше миллиона кулацких семейств, подразделяя их на три категории.

Первая. Самые непримиримые, совершающие террористические акты, подбивающие на восстания. Таких предположительно было чуть больше 60 тысяч. Инструкция требовала наказывать их вплоть до расстрела, а членов семей высылать в отдаленные районы.

Вторая. Кулаки наиболее богатые, но в терроризме не замеченные — около 150 тысяч хозяйств. Выселять с семьями, и подальше.

Третья. Умеренно богатые кулаки, а значит, и умеренно активные. Нетрудно подсчитать, что к этой категории относилось около 800 тысяч хозяйств. Выселять в места не столь отдаленные — в пределах того района, где проживали, на земли, не занятые колхозами. Следует заметить, что таковых земель — неколхозных — при сплошной коллективизации, увы, не оказалось, были лишь земли необжитые на окраинах нашей великой страны.

Выходит, что высокая инструкция так и не была полностью выполнена? Тогда чем объяснить громкие упреки в перегибах, высказанные самим Сталиным в громогласной статье «Головокружение от успехов»? Их повторяли и другие: например, журнал «Большевик» в 1930 году (№ 6, стр. 20) писал, что в одном из сельсоветов некоего Батуринского района постановили раскулачить (а значит, и выслать) тридцать четыре хозяйства, при проверке же выяснилось — существует лишь три действительно кулацких семейства. Пример, показывающий, что инструкция выполнялась в десятикратном размере — за счет ареста середняков и бедняков.

---

[1] По данным специальной проверки комиссии ВЦИК ВКП(б) за 1930—1931 годы была выселена 381 тысяча кулацких семей («Вопросы истории КПСС», 1975, № 5. С. 140).

Уинстон Черчилль в своей книге «The second world war» («Вторая мировая война») вспоминает о десяти пальцах Сталина, которые тот показал, отвечая ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных — брошенных в тюрьмы, высланных на голодную смерть крестьян разного достатка, мужчин и женщин, стариков и детей.

Историк Рой Медведев, у которого я позаимствовал здесь основные документальные сведения, приводит и свидетельскую картинку поэтапного крестьянского выселения: «Старый член партии Э. М. Ландау встретил в 1930 году в Сибири один из таких этапов. Зимой в сильный мороз большую группу кулаков с семьями перевозили на подводах на 300 километров в глубь области. Дети кричали и плакали от голода. Один из мужиков, не выдержав крика младенца, сосущего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево».

1969—1971

Хлеб для собаки

Лето 1933 года.

У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком — сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться — если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.

Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вме-

сте с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль».

Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьими широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал — вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и... затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей — пообезьяньи сжимали деревья.

Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.

Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной — «смотри ты у меня!».

— Никто не выполз? — спрашивал он у начальника станции.

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.

Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика — ни на перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.

Начальник станции — «красная шапочка» — однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:

— Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
страна встает со славою
на встречу дня...

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стек-

лянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки на дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.

А я стоял в стороне и — нет, не ревел вместе с ней — боялся, надо мной засмеются прохожие.

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре...

На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:

— Кто хочет?!

— Мне шматочек,— отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.

— И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..

Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.

— Всем не хватит! — Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.

— Мне! Мне! Корочку!..

Я отламывал всем по кусочку.

Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошлось по кускам, раздавило их.

— Пахорукий! — выругал меня Пашка.

И отошел. За ним все поползли в разные стороны. На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял — она голодна тоже.

— Это кто ж такой сытый?

И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:

— Володька Тенков сытый! Он это!..

Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.

— В прошлый раз мы проходили правописание...— И замолчала.— В прошлый раз мы...— Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб.— Володя Тенков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кроткопечальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала...

Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня,— враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж... попали в березняк.

Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником.

Дыбаков — первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рубленo прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.

В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной

толченым кирпичом дорожке. Мы, ребятишки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп на грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах.

Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:

— Поговорим, начальник.

Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога,—
Сапогов не много надо
И портошина одна.

— Аль боишься меня, начальник?

Из-за спины Дыбакова вынырнул райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:

— Мал-чать! Мал-чать!..

Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.

— Поговорим. Спрашивай — отвечу.

— Перед смертью скажи... за что... за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос.

— За это,— спокойно и холодно ответил Дыбаков.

— И признаешься! Ну-у, заверюга...

— Мал-чать! — подскочил опять товарищ Губанов. И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону

— Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?

— Что мне ваш чугун, с кашей есть?

— То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

— Не хотел.
— Почему?
— Всяк за свою свободушку стоит.
— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.

— Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? — сказал он.

— А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

— Кто знает.

— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.

Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.

Он лежал перед нами, мальчишками,— плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. «Если враг не сдается...» Здорово же его отделал Дыбаков.

И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить:

Враг-вражина,
Куркуль-кулачина
Кору жрет
Вошей бьет,
С куркулихой гуляет —
Ветром шатает.

Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена... И под горло подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь,— уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:

— Заелись! С жиру беситесь!..

«С жиру бесился» я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих — меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел — «за ушами трещит».

— Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.

О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то все и начиналось...

Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью — Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?

Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. «Если враг не сдается, его уничтожают!» А это «уничтожают» вот так, наверное, и должно выглядеть — черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза.

Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого — взрослые, старики, дети. Даже грудные дети... Про них-то уж никак не скажешь: «Если враг не сдается...»

Я сыт, очень сыт — до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью — врагов или не врагов?..

А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был — да! — но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе...

Я съел весь свой обед сам и ни с кем не поделился.

Есть мне приходится по три раза в день.

Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая «овечка». Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному — бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», как серебряные яички.

И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту — существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует — как это прекрасно! «Кукушка! Кукушка! Сколько мне!..» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Щедра без устали.

В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..

И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовский конюх Абрам едет «собирать падалицу». Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих — жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Гремит и стихает.

После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего... Но странно — нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..

Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! — Сильный, с вызовом баритон.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! — повторил мальчишеский альт.

Это тоже высланные куркули — отец и сын. Отец — высокий, костляво-плечистый, бородатый, сурово-важный, сын — жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.

Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.

Я не должен есть свои обеды один.

Я обязан с кем-то делиться.

С кем?..

Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.

Кто — самый?.. Как узнать?

Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все — самые, самые, иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение — разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним — можно свершить только тайком от других, только воровски!

Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-

рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело — на тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда — днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых — семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом — не самый...

Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их... Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой — еще не самая.

Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого Зильбербрунера раньше, то, как знать, возможно, решил — тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.

Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке — грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедля!

— Дяденька...

Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.

Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом — какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до трупной синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности,— подушка.

Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.

Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными, несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.

— Спасибо, хлопчик,— сказал фистулой слон.

Я выложил ему все, что у меня было.

— Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-нибудь еще...— пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... На этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.

— Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..

Ко мне.

Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто — плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! И спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.

Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:

— Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней!.. Вы когда-нибудь

видели обиженное богом существо?..— Она подмигивала и наступала на меня, я пятился.— Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын... Я — мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить... Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза... Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.

— Готова встать перед вами на колени. У вас такое доброе... у вас ангельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.

— Это я обещал...

Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:

— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын — мы гибнем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой — эх, спляшу! — еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная набок, как тонущая лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады — да и с голода тоже,— не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и... ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог — вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..

А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежевспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке,— недвижим и башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил...

У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.

— Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй никого. Ни сына нэма, ни дочкы.

Я и без него об этом догадывался — Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.

— Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та грэбуе... Ой, лыхо, лыхо.— Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк.— Ой, лыхо мни, лыхо...

Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешены бровями — спокойное, усталое лицо.

Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:

— Ты дал ему хлеба?

— Дал.

И он снова вглядывался вдаль.

Я люблю своего отца и горжусь им.

О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!

Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.

Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым — не на памятнике.

Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого ревполка.

У него на шее рубец от колчаковского осколка.

Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»

Но он тихо спросил:

— Почему этому? Почему не другому?

— Этот подвернулся...

— Подвернется другой — дашь?

— Н-не знаю. Наверное, дам.

— А хватит ли у нас хлеба накормить всех?

Я молчал и смотрел в землю.

— У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок.— Отец легонько подтолкнул меня в плечо.— Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и... слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:

— Ма-а-льчик! По-ми-раю!..

И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.

На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я те-

перь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех недостанет.

Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:

— Еще один шкилетник к Володьке приполз!

Мать ругалась:

— Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, ироды!

Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.

Мать приказала:

— Вот кувшин — за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!

Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.

Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетникам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный — никак не витаминный морс,— потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежачие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:

— Хлопчик, хлебца...

— По крошечке...

— Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть...

— Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..

Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

— Хле-ебца-а...

— Корочку...

— Хошь, руку свою?..

И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:

— Молодой человек! Молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:

— Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться без спешки, вяло.

А я не мог остановиться, кричал рыдающе:

— Уходи-те!!

С инструментом на плечах подошли работяги — бородатый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавшихся куркулей:

— Шакалы.

Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакальей игры.

Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг — и вспышка, шаг — и вспышка.

Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы.

Мать ахала и охала — ничего не ем, худею, синячищи под глазами... Она трижды на день устраивала мне пытку:

— Опять уставился в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посмей только отвернуться!

Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленым яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.

Гремела утренняя телега...

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня...

Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать — жалею своих врагов!

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

— Что это у нее шерсть так растет? — спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

— Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака... Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась... Но

краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки — пусто, без выражения.

— Иди... Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал — не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделывали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шап-

ке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Документальная реплика.

В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: «сделаем колхозы большевистскими», «сделаем колхозников — зажиточными».

Самые крайние из западных специалистов считают — на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Рой Медведев использует данные более объективные: «...вероятно, от 3 до 4 миллионов...» по всей стране.

Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство СССР» (М. 1936, стр. 222) поразительную статистику. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году — 48,3, в 1931 году — 51,8, в 1932-м — 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна!»

«Сделаем всех колхозников зажиточными!»

1969—1970

Параня

Лето 1937 года...

Наш небольшой железнодорожный поселок осоловел от жары, от пыли, от едкого дыма шлаковых куч, выброшенных паровозами.

На площади перед районной чайной, в просторечии — тошниловкой, с утра до вечера звучно и бодро кричит со столба радио:

Побеждать мы не устали,
Побеждать мы не устанем!
Краю нашему дал Сталин
Мощь в плечах и силу в стане...

Кричит репродуктор. Скучают у изгрызенной коновязи колхозные лошаденки. Двое парней-шоферов мучают ручкой не желающий заводиться грузовик. Поперек крыльца чайной-тошниловки сладко спит облепленный мухами самый развеселый человек в поселке — Симаха Бучило.

В нашем сердце это имя,
На устах у всех наш Сталин...

Кричит репродуктор, а под столбом, посреди площади, обычное увеселение — поселковая ребятня окружила дурочку Параню.

— Параня! Параня! Кто твой жених?

—Уд-ди! Уд-ди!.. — гудит Параня и судорожно вертится в хохочущем колесе, подставляя то зад, то бок под щипки и тычки.

Муравьиная толчея, легкая давка, ликующий визг, привлекающий даже взрослых. Несколько почтенных отцов семейств заинтересованно топчутся возле дурочки, похохатывают, подзуживают:

— Ты, Парасковья, не таись, ты, девка, откройся нам...

— Кто твой жених, Параня?!

Парни из деревень, кого не назовешь ни большими, ни малыми, увальни в смазанных сапогах, с младенчески наивным восторгом на опаленных физиономиях, хозяева лошадей, дремавших у коновязи, тычут в Параню кнутовищами.

— Парань! Эй!
— Уд-ди!
— Чтой тебя уж и тронуть нельзя, цяця?
— Дык засватана.
— Га! Дай-кось я...
— Уд-ди! Уд-ди!

Мимо — в белых парусиновых брючках и рубашке апаш — идет Андрей Андреевич Молодцов, холостой инкассатор, человек приятной наружности, культурного поведения, прекрасно исполнявший на мандолине «Светит месяц». По виду можно бы уловить — он презирает и осуждает. Можно бы, но трудно. И Андрей Андреевич Молодцов скрывается за углом, никем не понятый.

А баба из деревни с корзиной, увязанной платком, из-под которого высовывается голова петуха с бледным, свалившимся набок гребнем, не вытерпела, проста душа, и осуждения своего не скрыла:

— Ох бессовестники! Ох злыдни! Чем вам, ироды, помешала убогая?

— Тетка, спроси сама, кто жених-то... Никак не добьемся.

— Добром скажет — отстанем.

— Любо же знать...

— Гы-гы-гы!..

— Тьфу! Ошалелые! Креста на вас нет!

— Параня, кто твой?..

Параня ревет сильным сиплым мужским басом и по-детски размазывает черным тощеньким кулаком слезы и слюни.

— Ужо... Ужо... Зорьке Косому скажу, он вас ножиком зарежет...

А Зорька Косой сидит рядом, в тошниловке, у открытого окна любуется на веселье — лицо узкое, бледное, черная челочка ровненько подрублена по самые брови, скрывает лоб, глаза трезвые, скучноватые.

Говорят, что он убил двоих, но сумел открутиться, отсидел только год в тюрьме. Зорька может выскочить на крыльцо, прикрикнуть тенорком: «Эй, вы-и! Шабаш!» И все разойдутся. С Зорькой не шути, он благороден, но не часто... Сегодня сидит, скучновато посматривает.

Параня сипло ревет, трет костистым кулачком лицо, дрожит под мешковиной своим грязным, тощим, перекошенным телом.

— Уд-ди! Уд-ди!

И муравьиная толчея вокруг нее, и ликующие вопли, и звенящий детский смех, и короткое басовитое похохатывание взрослых...

И величание из репродуктора новым голосом, уже не просто бодрым, а проникновенным:

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Параня появилась в поселке года три тому назад и первое время на вопрос «кто твой жених?» простодушно отвечала:

— А сын божий Иисус Христос, вот кто.

С дико запутанной, густой, жесткой, как конская грива, шевелюрой, со щетинистыми, угрожающе угольными бровями, босоногая зимой и летом, в платье, сметанном из клейменого мешка, она сразу же вошла в пейзаж поселка, а имя ее — в незатейливый местный фольклор: «Хитрожоп, как Параня... Форсист, как Параня...»

Ей постоянно приходилось искать заступников. Сначала она провозглашала лишь имена добросердных поселковых баб:

— Ужо вот Анне Митриевне нажалуюсь... Бабушке Губиной ужо скажу...

Но добрые бабушки не в силах были спасти Параню от ребятни и изнывавших от безделья досужих взрослых, приходилось искать иных защитников:

— Вот Ване Душному скажу...

Ваня Душной, он же Савушкин,— милиционер, надзирающий за порядком, человек серьезный, положительный, с кем даже Зорька Косой считается. Ваня Душной ради порядка раз или два пробовал защищать Параню, но над ним стали смеяться:

— Ты, Иван, того... подходишь... Тебя, слышь, Параня-то женихом величает. Прежде у нее был Иисус Христос, нынче ты на замену. Ты ведь мужчина в соку, а потом — форма, светлые пуговицы. Юродивые светленькое-то любят...

И Ваня Душной стал исчезать с улицы, как только появлялась Параня.

В поселке у всех на языке было имя Дыбакова — наистарший средь районного начальства, даже пешком по улицам не ходил, ездил на единственной в округе легковой машине — тонкоколесом «газике» с брезентовым верхом.

— Дыбакову нажалуюсь — в тюрьму вас засадит.

Но посадили самого Дыбакова, на поверку оказалось — в красных перьях черная птица. И поселковая дурочка Параня выбросила его из числа своих почетных защитников.

— Зорьке Косому... Он вас ножиком...

Зорька Косой туманно смотрит из оконца чайной, не вмешивается — не в том настроении.

— Параня, посватайся за меня...

— Га-га-га!

— Гы-гы-гы!.,
— Уморила Параня...
— Уд-ди! Уд-ди!..

Со Сталиным вольно живется на свете:
Как ясное солнце он греет и светит,
Пути пролагает к великой победе,
Чтоб радостней было и взрослым и детям...

— Уд-ди!.. Я вот Сталину... Вот ужо ему... Ужо он вас... врагов народа...

Какой-то мальчонка резано взвизгнул: «Сталин — жених Парани!» — и получил по шее от протрезвевшего взрослого. Гагакнул один из парней с кнутом, но сразу же подавился нескромным смешком — сам допер, без доброжелателя.

Все видят его соколиные очи
И в светлые дни и в ненастные ночи.
Он вытер нам слезы, он счастье упрочил...—

кричало с высокого столба радио. Параня дрожала в своем клейменом платье, затравленно озиралась.

— Вот ужо...

Только что была плясавшая, паясничавшая карусель, только что стеной потные, оскаленные мальчишечьи лица, руки, руки со всех сторон, визг и стоны, голоса, голоса, захлебывающиеся, ласковые, вкрадчивые...

И тишина. Лишь тяжелое прерывистое дыхание да радио в небесах:

Он пишет законы векам и народам,
Чтоб мир осветился великим восходом...

Тишина, оглушающая больше, чем крик, визг, бесноватость. Глаза Парани дико косили, один в толпу, другой — куда-то вдоль улицы.

— Вот ужо...— Она пятилась.

Шоферы, крутившие заводную ручку грузовика, бросили возню, распрямились, недоуменно вглядываясь: что же случилось? И Зоренька Косой оперся локотком на подоконник, высунулся из окна.

— Вот ужо... Сталину... Родному и любимому...

Тесный круг разорвался, почтительно расступились перед дурочкой, и та бочком, бочком вышла из плена, остановилась, повела раскосмаченной гривой в одну

сторону, в другую, смятенно торопливо косящими глазами... И вдруг сорвалась мелкой рысью, тряся мешковинным задом, стуча толстыми черными пятками... Споткнулась, упала, мешковина задралась, открыв тощие голубые ляжки. Параня съежилась, ожидая веселой бури, но буря не разразилась, никто не засмеялся...

Тогда она поднялась и, прихрамывая, торопливо ушла.

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Наверное, у нее нашлись наставники, так как на следующий день она держалась уже совсем иначе: на копотно-смуглом лице фатоватая озабоченность, глаза блестят истошно и сухо, косят сильней обычного, походочка мелкая, острым плечом вперед, с каким-то непривычным для нее напорцем.

Увидев прохожего, Параня останавливалась, принималась сучить ногами — черной заскорузлой пяткой скребла расчесанную до болячек голень, глаза на минуту останавливались — провально-темные, с диким разбродом, один направлен в душу, другой далеко в сторону. При первом же звуке сиплого голоса глаза срывались, начинали суетливую беготню.

— Он все видит!.. Он все знает!.. Ужо вас, ужо!.. На мне венец! Жених положил... Родной и любимый... На мне его благость... Ужо вас! Ужо!..

Слова, то сиплые, то гортанные, то невнятно жеванные, сыпались, как орехи из рогожи, пузырилась пена в углах синих губ.

— Забижали... Ужо вас... Он все видит... Родной и любимый, на мне венец...

Все сбегались к ней, сбивались в кучу, слушали словно в летаргии, не шевелясь, испытывая коробящую неловкость, боясь и глядеть в косящие глаза дурочки и отводить взгляд.

— Великий вождь милостивый!.. Слышу! Слышу тебя!.. Иду! Иду!.. Раба твоя возлюбленная...

Любой и каждый много слышал о Сталине, но не такое и не из таких уст. Мороз продирал по коже, когда высочайший из людей, вождь всех народов, гений человечества вдруг становился рядом с косоглазой дурочкой. Мокрый от слюней подбородок, закипевшая пена в углах темных губ, пыльные, никогда не чесанные грива-

стые волосы, и блуждающие каждый по себе глаза, и перекошенные плечи, и черные, расчесанные до болячек ноги. Сталин — и Параня! Смешно?.. Нет, страшно.

Со всех сторон спешили, чтобы упиться этим преступным страхом. Слушали и молчали. Боже упаси обронить даже не слово, а вздох, дрогнуть хоть бровью. Боже упаси выделиться из остальных. Молчи и слушай, ничего не выражай лицом, кроме каменности.

— Вижу! Вижу! Свет ангельский!.. Свет! Свет! Светоч!.. Вождь и учитель... Венец принимаю!.. Ужо вам! Ужо! — Параня начинала дергаться, пена гуще вскипела в углах вывернутых губ.

Ваня Душной, придерживая кобуру нагана, припечатывая на каблук, подошел, озабоченно сопя, раздвинул плечом сборище, встал перед дурочкой. Та грозила в воздух немытым кулачком:

— Ужо вам!

— Ты!.. Тоже за агитацию?.. Сматывай, недоделанная, чтоб руки не пачкать! — Развернулся кругом, лицом к народу.— А вы!.. По какому случаю стянулись на митинг? Топай по домам, покуда я добрый!

Но из толпы подали голос:

— Высоко берешь, Ванька. Не сорвись. Она тут товарища Сталина хвалит, ты ей рот затыкать...

И Ваня Душной осекся, переступил с сапога на сапог.

— Но кто ее уполномочил?.. Что это будет, коль каждая шалава на вождя набросится, пусть даже с хвальбой?..

Посовестил, однако крутых мер не принял, рванул за инструкцией в отделение к товарищу Кнышеву.

Начальник районного отделения милиции Кнышев, человек пожилой, многосемейный, страдавший дамской болезнью мигренью, любил прибедняться: «Мы люди маленькие, высокий замах не для нас. Пьяницу скрутить иль жулика сцапать — вот наш скромный вклад в дело социализма».

Люди с высоким районным замахом вроде Дыбакова, наверное, сейчас уже рубят лес где-то в холодной Сибири, а Кнышев как сидел, так и сидит на своем месте, рассчитывает сидеть и дальше.

Он схватился за голову, когда узнал о том, что поселковая дурочка Параня выдает себя за невесту товарища Сталина. Сразу же позвонил в одно место, в другое, во время разговоров сильно потел, сто раз говорил «виноват», наконец положил трубку и решительно приказал Ване Душному:

— Бери!

И вот через весь поселок Ваня Душной, время от времени прикладываясь коленом к тощему мешковинному заду, провел хнычущую невесту великого вождя всех народов в предварилку.

Параня не первая. Многих за вождя взяли в поселке и в прошлом году и в нынешнем, возмущаться — да боже упаси! — в голову не приходило. Наоборот, Симаха Бучило, после того как забрали Дыбакова, обличал его без просыпу трое суток:

— Он в очках ходил! И в галстуке! Простой народ нонче должон властвовать! Тот что без галстуков!.. Я — за!.. Я за расстрел голосую!..

И голосовал перед прохожими сразу обеими руками.

Симаха Бучило обличал бы и дальше, да Ваня Душной перебил — утащил в милицию на всякий случай, чтоб не докатился до перегибчиков.

Но странно — поселковые массы восприняли вдруг арест Парани неодобрительно. На улицах начались гадания не слишком потаенные, даже не шепотом, даже порой на басах.

— Она же товарища Сталина хвалила, не Троцкого.

— Зазорно вроде товарищу Сталину-то с ней женихаться...

— Что тут зазорного? Прежде всегда ушибленных девок считали — Христовы, мол, невестушки.

— Сравнила, кума, шильце с рыльцем. Одно дело там Христос, другое — сам товарищ Сталин...

— А чего бы не сравнить? Христос богом был, куда уж выше, тыщу лет на него молились.

— Нет, как ни кинь, по-старому или по-новому, а промашечка вышла — хвалила, а ее цап!

— Промашечка? Ой, братцы, не тем пахнет! Не-ет! За любовь к отцу и учителю — в холодную? Не-ет, братцы, тут не промашечка, умысел ищи!

Находились и такие, кто даже Параню брал под сомнение: будь бдителен, враг повсюду, отцу родному не верь, почему нужно оказывать доверие какой-то дурочке?

— А что, ежели она того... замаскированный агент из какой-нибудь Англии?

— Вроде ты не знаешь, из какой такой она державы иностранной...

— Знать-то знаю, но все-таки... Могли и завербовать: притворяйся убогенькой, сообщай тайные сведения...

— Тайные-то сведения не на улицах валяются, они, простота, по учрежденьицам лежат. Вот если б она проникла куда, хоть в контору «Утильсырье», тогда подозревай, слова не скажу.

— Не замечено за Параней — чиста.

И общий возмущенный клич по поселку:

— Так за что ее, братцы, губят? Живая душа как-никак!

Никто другой из арестованных — тот же Дыбаков хотя бы — такой защиты не вызывал: «Живая душа гибнет!»

Шумел поселок, и ходил сторонкой в парусиновых брюках инкассатор Молодцов Андрей Андреевич, человек приятной наружности, культурного поведения — себе на уме...

— Писать надо, писать самому...

— До самого, поди, не долетит — высоконько. Лучше кому следует нужное словечко подпустить...

Нужное словечко было подпущено, и без промашки, кому следует.

Через несколько дней начальнику милиции Кнышеву позвонили:

— Ты, такой-рассякой, свихнулся?!

— Виноват...

— Думаешь, мы все с тобой за компанию отправимся петь в один голос «Солнце всходит и заходит»?

— Виноват, не пойму.

— Нет уж, пой ты, пташечка, мы послушаем...

— Виноват. Узнать позвольте, в чем дело?

— На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Виноват!

— Не отвертишься. Сигнальчик поступил, что ты, провокатор, за сердечное выражение любви и преданности к товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу людей в холодную сажаешь!..

Кнышев имел слабую голову, подверженную деликатной болезни, но достаточно крепкое сердце — удар снес и понял, что нужно срочно изобличить и обезвредить

истинного виновника диверсии, иначе обезвредят его самого.

Он вызвал к себе Ваню Душного. Тот встал у дверей — приземистый, в выгоревшей до невнятного воробьиного цвета гимнастерке, просторный в плечах, ноги в неуклюжей косолапой стоечке, лицо губастое, простодушно-суровое и готовность на нем: кого, товарищ начальник?..

— А разреши-ка, Савушкин, проверить мне твое личное оружие... Как отдаешь, лапоть?! Как отдаешь?! Начальству оружие вместе с поясом и кобурой подают. Вежливенько!.. Вот так-то!.. Посмотрим, посмотрим... Ты им гвозди вбивал, что ли?

— Не гвозди — замок. У самогонщицы Глашки Плетухиной... Нет, говорит, ключей, и все тут. Пришлось сбить замок.

— А патроны куда использовал?

— Сроду их не бывало. Сами знаете — для красы носим эти штуки.

— Не в порядке оружие, не в порядке. Спрячем его...— И Кнышев сунул пояс с кобурой в свой письменный стол, а затем — как подменили вдруг человека — с замогильной угрозой: — На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Чего?

— На чистых советских людей поклепы возводишь?

— Чего?

— Они сердечно выражают любовь и преданность нашему вождю, а ты, провокатор, за шиворот их да в холодную!

— Да чего?.. Вы ведь сами...

— Сами?! Рассчитываешь, что я с тобой за компанию «Солнце всходит и заходит» петь отправлюсь? Нет, соловушка, пой один!..

Кнышев с рук на руки передал арестованного Ваню Душного дежурному Силину, а сам сел писать сопровождение: «Обманным путем вынудил дать соглашение на арест... терроризировал простых советских людей... прямая диверсия против Генсека...»

Параню выпустили.

Ее успели накоротко остричь. С грязно-серым, острым, как колун, черепом, угольно-пыльные косматые

брови выглядят теперь еще более угрожающими, в знакомой клейменой мешковине — вовсе не знакомая Параня, даже походка изменилась, не просто дерганно вихляющаяся, а с судорожным прискоком, словно ежеминутно кто-то кричал у нее над ухом. Но прежнее косоглазие и прежняя блуждающая оглядка по сторонам.

Ее успели не только остричь, но, наверное, и допросить. Новый мотив зазвучал в ее несвязных речах... И новые слова:

— Свирженье-покушенье!.. Свирженье-покушенье!.. Ножики точут! Ножи-ножики! На родного и любимого... Вжик! Вжик! Чую! Чую! Свирженье-покушенье!.. Вжик!.. Венец вижу! Кровь на венце!.. Осподи милостивец! Спаси и помилуй!.. Отца нашего и учителя... Свирженье-покушенье!.. О-оспо-ди!..

И жители поселка снова сбегались к Паране со всех сторон, слушали и обмирали от ужаса.

— Острое! Острое!.. Спаси и помилуй отца и учителя!.. Венец вижу! Кровь на венце!..

Толпа, теснясь, сопя, потея, окружала Параню, внимала ей в гробовом молчании.

Но ни начальник милиции Кнышев, ни те из ответственных товарищей, за которыми скромный Кнышев признавал право большого замаха, не успели прийти в беспокойство: сборища же, черт возьми! Незапланированные демонстрации! А потом — речи... Голов не сносить. Никто даже не успел подумать о своих головах, как...

Напротив чайной (а как ни кружи поселком, рано или поздно вернешься сюда, районная тошниловка — центр, местный пуп!) под столбом, с которого репродуктор бодро развивал тему «жить стало лучше, жить стало веселей», Параня утомленно бормотала о «венце», «ножах-ножиках», «свирженье-покушенье». Но вдруг она замолчала, одичавшие глаза разбежались в разные стороны, мокрогубый рот перекосился. Параня вскинула грязный, тонкий, как куриная кость, палец, нацелила его в толпу и завизжала:

— Ви-и-ижу! Ви-и-ижу-у! Во-о-о! Во-о!.. Он! Он! На родного и любимого!.. О-он!.. Свирженье-покушенье!.. О-он! Наскрозь вижу!..

Толпа качнулась, и под тощим пальцем оказался Гена Пестерев, инструктор Осоавиахима, он же преподаватель физкультуры, он же капитан местной футбольной команды, он же баянист Дома культуры. Гена Пестерев, или Генка Девочка, так как имел привычку обращаться ко всем, будь то старухи или старики, парни-одногодки или совсем юная поросль школьников, «девочки»: «Девочки, не лезьте без очереди», «Девочки, а не погонять ли нам мяч...» Высокий, крепкошеий, с чубом — льняная волна, выпуклую грудь обтягивает майка-футболка, увешанная значками ГТО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок», сейчас он стоял под Параниным пальцем и бледнел.

— О-он!.. На родного и любимого! О-он!.. Ножи-ножики!.. Ви-ижу-у!..

— Девочки, что же это? — Гена криво улыбнулся и стал оглядываться, а все разномастные «девочки» пятились от него. С приклеенной улыбкой попятился и Гена.

— О-он!..— стонуще визжала Параня.— О-о-он! Держи-ите!.. Свирженье-покушенье!.. На родного и любимого!..

Держать Гену Девочку никто не стал, все разбежались от Парани, оставили ее одну под кричащим столбом.

Но поселок сразу же забурлил от догадок.

— А уж не учуяла ли чего Параня?

— Да полно вам, в жизнь не поверю. Чтоб Генка Девочка да того... Чтоб это он на самого... Да в жизнь не поверю!

— Ой, что-то ты спасаешь его. Ой, что-то неспроста...

— Да я же не о том... Мне Генка — тьфу! Не сват, не брат — седьмая вода на киселе.

— А спасаешь. Вроде и о бдительности никогда не слыхал. Вроде и задачи партии — твоя хата с краю...

— Не партийный я. Могу и ошибаться в чем-то...

— Ишь сиротинушка казанская. Я вот тоже беспартийный, но коммунист. Бдительность чту!

Кто-то петухом наскакивал. Кто-то распускал перья, с кого-то сходил холодный пот, и похаживал инкассатор Молодцов мимо разговоров, мимо людей. Наверное, и не он один, попробуй разгляди таких, когда молчат,

в глаза не бросаются... не они стране, не страна им. Антиобщественны.

Шумел поселок, судили Генку Девочку, гадали про Параню — треплется ли зря от убогости или же просто-напросто проницательна? Но на глаза Паране уже не лезли — кто знает, что в тебе разглядит убогая? Судили о ней да поглядывали издалека. С почтением.

А она шаталась по улицам — маленькая, колуном голова, грозные бровищи, просторное платье из мешка, походочка с судорожным прискоком. Какое-то время за ней на почтительном расстоянии держались ребятишки. Не дразнили, нет, просто глазели, но матери и бабки криком, угрозами отзывали их:

— Васька! Пашка! Домой, пащенки! Вот я вицей здоровой накормлю...

Дольше других торчали два брата Бочковы да рыжий Санька, сын пьяницы Симахи Бучило,— этих хоть с кашей съешь, родители не почешутся.

Как ни сторонился поселковый народ Парани, но к полудню она нашла-таки кого уличить.

Возле станции стоял ларек, в котором толстая Надька Жданова торговала морсом. Морс этот назывался витаминным, варился артелью инвалидов из еловой и сосновой хвои, но — секрет фирмы! — был бледно-розового цвета. Пить его просто так никто не осмеливался — им запивали. Надька тут же продавала в розлив водку, теплую на жаре и запашистую не хуже витаминно-хвойного морса. Клин вышибался клином, на стакан водки — стакан морсу, по крайней мере дешева закусочка — всего две копейки. И дела в ларьке шли хорошо, Надька перевыполняла план, считалась лучшей стахановкой средь торговых точек поселка, была поперек себя толще.

Вот к ней-то и притопала Параня.

— Паранюшка, хочешь морсику? — ласково спросила Надька и щедро нацедила в пивную кружку.

Параня дрожащей рукой поднесла ко рту мутно-розовую влагу... и кружка затряслась, витаминный морс расплескался на землю. Пуская пузыри, дергая острой головой, Параня закричала:

— На-аскрозь ви-ижу!.. Я-ад крысиный!.. Свирженье!.. Нареченного моего!.. Отца нашего любимого... Свирженье!..

Надька не Генка Девочка, так просто ее не смутишь, за словом в карман не полезет.

— У-у, недоделанная! — заголосила она.— Невестушка толстопятая! Яд!.. Тоже мне, откудова таких слов набралась? Вот я кружкой тебе по каторжной башке! Яд! Это лечебный-то морс! Его весь поселок пьет да хвалит!..

И пошла, и пошла, и начисто забила Параню. Та в страхе отступила, но недалеко, стояла в стороне, тыкала тощим пальцем, бормотала:

— Ви-ижу! Она... Свирженье-покушенье... Нажалуюсь...

И опять суды да пересуды.

— Ишь ты кого Параня унюхала.

— Давно бы пора толстомясую!

— Яд... А что, очень даже может... Я сам давно замечал: морс-то у нее розовый, а меня почему-то с него зеленым рвет.

Но наутро веселье примерзло. Утром по всему поселку разнеслась весть — Генка Девочка и толстая Надька арестованы. Без промашки те, на кого указала перстом Параня. Значит, неспроста она кричит, значит, вправду насквозь видит — вот тебе и убогая, вот тебе и дурочка, посомневайся-ка в ней теперь, когда солидные органы верят и свою веру делом доказывают.

У каждого появился холодок под сердцем — вроде сам ты свят и чист, но один бог без греха.

Параня шаталась по улицам — черные босые ноги пропахивают пыль, сплюснутое клином темечко жарит солнце, косые глаза гуляют под бровями...

Параня шаталась по улицам, и встречные издалека поворачивали обратно, простоволосые матери выскакивали из домов, хватали детишек, тащили с дороги, окна захлопывались, ларьки срочно закрывались: Параня идет!

Но магазины-то не закроешь перед Параней.

Она, бормоча, поднялась в лавку райпотребсоюза. Очередь за перловой крупой сразу же растаяла, покупатели один за другим, прижимаясь к стенке, повыскакивали на крыльцо. Отбежав, остановились кучкой, принялись жадно вслушиваться: что-то там сейчас?..

Обе продавщицы остолбенели при виде дурочки. Та, что постарше, бросилась к ящикам, стала хватать горстями пряники и конфеты:

— Паранюшка, на... Паранюшка, возьми гостинчик...

И Паранюшка взяла, стала грызть черствый пряник, мирно бормоча под нос:

— Венец... Благодать его... Нареченный... Родной и любимый... Светоч...

— Истинно, Паранюшка, истинно! Ты, милая, лучше конфетку пососи — сладкая! Для тебя нам ничего не жалко. Любим мы тебя...

Наконец, подергиваясь под мешковиной, Параня уже направилась к выходу, но тут случайно увидела в руках второй продавщицы, обмершей от страха молоденькой Тоси Филимоновой, огромный нож-хлеборез. Параня взвопила и забилась:

— Но-ож! Нож!.. Во-о! Нож!! Ой, свирженье!! Ой, покушенье!! Нож! На родного!.. Спаси-и!..

Ее крик вырвался на улицу, скучившиеся покупатели, ждавшие этого крика, двинулись было ближе к крыльцу, но тут же шарахнулись в разные стороны — на крыльцо выскочила беснующаяся Параня.

Через каких-нибудь полчаса весь поселок уже знал, что указана Филимонова Тося.

Неужели и тут Параня не ошиблась?

А вот завтра узнаем — ошиблась ли, нет ли...

Утром Тося Филимонова была арестована.

Антип Федорович Рыгун, десять лет проработавший продавцом магазина-дежурки, построивший в центре поселка дом на кирпичном фундаменте, да так чисто, что не растратил ни единой государственной копеечки, первым вывесил над замком объявление: «Закрыто на переучет!» А уж за ним решили переучитываться и другие магазины...

«Параня идет! Параня идет!» — по улицам шепот, как ветер.

Параня идет! Пустеют улицы.

Известный всему поселку золотарь Никита исполнял свое дело, вез в бочке груз, заполняя воздух производственным ароматом. Впереди показалась Параня, одна на всей улице — походочка бочком, с прискоком, че-

реп — словно колпак, подбитый бровями... Никита попробовал завернуть лошадь, но та от дряхлости была нерасторопна, несла золотаря прямо на Параню. И тогда Никита скатился с бочки, по-куличьи приседая на бегу, рванул по боковой улочке, бросив лошадь, бросив груз... Лошадь с полным грузом подошла под окна чайной-тошниловки и встала, вызвав ложные слухи: «А случаем, Никиту того... не обезвредили?..»

В поселковом скверике проводился пионерский сбор. Старшая вожатая перед строем детишек читала доклад «Лучший друг советских детей».

В скверике появилась Параня, и со старшей пионервожатой сделались судороги, девочки в строю заплакали, все стали разбегаться...

Вечером в Доме культуры сорвался показ кинокартины «Мы из Кронштадта». Параня села отдыхать на клубное крылечко, в кино никто не пошел. Готовы были пойти только братья Бочковы да Санька рыжий, сын Симохи Бучило, но их не пустили: «Даешь билеты!»

Кто она? Чем берет? Почему персту Парани подчиняются даже те, кого до смерти боится сам начальник милиции товарищ Кнышев?

Одни шептали:

— Сам-то, когда в ссылку ехал в Туруханский край, в деревне Бродах задержался, жандармы, видите ли, недоглядели... Вот когда только всплыло. Перед Параней держи под козырек, исполняй что скажет.

Другие возражали:

— Чтоб чрез нас да в Туруханский край — это какой надо крюк делать. Не-ет, просто в Паране дар большой раскрыт, потому органы ее в штат взяли, крупно платят. Мы еще, братцы, увидим Параню в гимнастерочке да ремнях, с петличками, где кубари комсоставские... Параня — тайна сия велика есть, непонятное чудотворство!..

Эту тайну знал начальник милиции Кнышев.

Вовсе не Параня была главным виновником арестов, а... Ваня Душной, сидящий ныне под крепким замком. На него, Ваню Душного (по паспорту — Савушкин Иван Васильевич), завели дело, его обличали как агента им-

периализма, пробравшегося в ряды советской милиции. А какой агент действует в одиночку? Должны быть сообщники и у Вани Душного. Кто они?..

Вот тут-то легко встать в тупик. Ваню Душного знали все в поселке, стар и мал. Всех забрать просто нельзя. За перегибчики тоже наказывают. Но кого-то взять нужно. И наиболее подозрительных. Кто подозрителен? Не знаешь — прислушайся к массам.

Параня указывала?.. Нет! Поселковая дурочка для бдительных органов не авторитет. Но вот если массы начинают склонять имя того или иного жителя поселка, то на голос масс не реагировать просто преступно. Поэтому чутко прислушивались и... вылавливали. Правда, сами-то массы прислушивались к Паране, и, конечно, это было известно органам, но все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается! Кто смеет думать иначе?..

Кнышев знал и хранил, не открывал даже своей жене. Тайна сия велика есть — государственная тайна! Будь бдителен — враг повсюду! Болтун — находка для шпиона!

Параня идет!

Магазины закрыты на переучет или по болезни продавцов. Поторговывать снова начал лишь Антип Рыгун, но с черного хода.

Параня идет!

Однако жители поселка так ловко научились избегать с нею встреч, что аресты прекратились.

Параня идет — прячься!

И все-таки нашелся отчаянный, который не только не стал прятаться от Парани, а пошел ей навстречу.

Симаха Бучило почти каждодневно переживал моменты неудержимого энтузиазма — по поводу и без повода. Энтузиазм этот требовал большого расхода сил, а значит, и длительного отдыха. Места же для отдыха Симаха выбирал крайне неожиданные — поперек крыльца весьма посещаемой тошниловки, посреди дороги, богатырски раскинувшись в пыли, заставляя объезжать стороной конный и механизированный транспорт, на перроне вокзала, подгадывая ко времени прихода пассажирского поезда. Едва отдохнув, он сразу же начинал готовить себя к новому энтузиастскому взрыву.

Параня идет!..

Все попрятались, остался посреди улицы энтузиаст Симаха, которого покидывало из стороны в сторону. Сперва он безуспешно попытался ловить убегавших.

— Стой! Стой! Куд-ды?!

И тут увидел Параню.

Она шла посередине дороги, как Христос, возвращающийся из пустыни после сорокадневного поста,— спеченное от черноты личико, голова-дынька подставлена под палящее солнце, мешковинное платье-хламидка едва прикрывает усохшее тело.

— Паранюшка! — изумился Симаха Бучило и распахнул объятия.—Паранюшка! Родная душа!—И с раскрытыми объятиями двинулся на нее, не по прямой, а со сложными загибами то на одну сторону, то на другую, но все-таки упрямо приближаясь к цели.

Параня, от которой все в ужасе бежали, Параня, под чьим пальцем исчезали люди, эта Параня попятилась от бесстрашного Симахи.

— Уд-ди! Нажалуюсь!

Но не тут-то было, Симаха Бучило обхватил ее и облобызал в мокрые губы.

— Паранюшка! Люблю! Паранюшка! Уважаю! Преданна! Верна! До самого что ни на есть корня! Гению! Вождю! Светочу!.. Ур-ра-а!..

Он крепко взял за руку Параню, повернулся к отчужденно замкнутым бревенчатым домишкам и закричал:

— Да здравствует Параня, верный и преданный соратник!..

Дома слепо взирали наглухо захлопнутыми окнами.

— Да здравствует великий и мудрый товарищ Сталин!

Симаха потащил Параню по молчавшей, опустевшей улице, время от времени подымая ей руку, как судья на ринге победившему боксеру.

— Да здравствует Параня!

Выдвинутая нижняя челюсть, обросшая медной щетиной,— и плаксивое лицо Парани.

— Да здравствует великий Сталин!

Сжатые руки возносятся над головами.

На пути им повстречался случайно подвернувшийся инкассатор Молодцов, как всегда, в отутюженных парусиновых брючках и рубашке апаш. Он остолбенел, он

побледнел, он съежился — один на всей улице, заметят, привяжутся, припутают, невольный свидетель, тут-то и возьмут на заметку, тут-то и заставят говорить. Однако Симаха Бучило и Параня прошли мимо, словно и не было этого Молодцова. Привыкли, что незаметен, неразличим, и есть вроде и нет его — пустое место, человек-невидимка. Прошли мимо...

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует великий и мудрый!..

На площади у тошниловки их встретил сумрачный Силин, пожилой, толстый милиционер, заменивший обезвреженного Ваню Душного.

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует...

Силин схватил Симаху за шиворот, деловито тряхнул:

— Пойдем!..

— Да здравствует великий Сталин!..

— Ид-ди, рвотное! — Силин оторвал Симаху от Парани.

— Да здравствует Параня! Верный и преданный...

Бенц по шее!

— Да здравствует великий Сталин!

Силин поднял кулак, но подумал и не ударил.

— Да здравствует Параня!

Удар!

— Да здравствует Сталин!

Пропуск удара.

— Да здравствует Параня!

Снова удар.

И так, под перемежающиеся удары и патриотические лозунги, ушел из жизни Симаха Бучило, развеселый человек.

Он не раз, сопровождаемый аккомпанементом по шее, уходил в милицию, но всегда быстренько возвращался. Теперь не вернулся, должно быть, попал в число сообщников Вани Душного. Что в общем-то верно — Симаха Бучило и Ваня Душной общались часто и энергично.

Бучило был последней жертвой Парани.

Кончилось все это неожиданно и печально.

Опять все на той же площади перед тошниловкой, под столбом, увенчанным неумолкающим громкоговорителем, Параня наткнулась на Зорьку Косого.

Все боялись Зорьки в поселке, но даже он, Зорька, сворачивал за угол, когда видел Параню. И вот случилось...

Параня, должно быть, вспомнила, что когда-то стращала им: «Ножиком вас зарежет...» Вспомнила про нож и подняла на Зорьку Косого пляшущий грязный палец:

— Во-о!.. Во-о!.. Виж-жу! Виж-ж...

И больше ничего не сказала. Зорька прыгнул, как петух на кошку.

— Заткнись, курва!

Коротко стукнул свинчаткой по острому стриженому темени.

Параня не вскрикнула, она только закружилась, развевая вокруг тощих расчесанных ног клейменый подол. И упала плашмя, ударилась плоским затылком об утоптанную землю, из-под изумленных бровей глаза уставились вверх на столб, на репродуктор.

А бодрствующий репродуктор на этот раз настойчиво славил Человека, не избранного, не гения из гениев, не великого средь малых, а просто Человека:

«Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости их низвергает...»

Словно из-под земли, из-за углов, из калиточек стали выползать люди. Помятенькие, завороженно притихшие, испуганные и сгорающие от любопытства, они окружили Параню.

Та лежала, раскинув тонкие руки, бестелесно плоская, хрупкая — уже готовые мощи с невинным лицом девочки и старухи. Бросались в глаза огромные ступни ног, разбитые вширь, с коряво торчавшими изувеченными пальцами, с чугунно твердыми подошвами. Ноги, не знавшие обуви ни зимой, ни летом. Натруженные ноги исполина, носившие по грешной земле истощенное тельце нищенки. И щетинистые брови, изумленно вскинутые, и мутнеющий взгляд, нацеленный на репродуктор в синем небе.

А репродуктор славил с высоты неба:

«Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, идет свободный, гордый Человек...»

Зорька Косой пришел в себя и рванул на груди рубаху:

— Граждани-и! За чи-то она меня? Чи-то ей сделал Зорька Косой? Граждани-и! Будьте свидетелями-и!..

Граждане молчали и глядели не на Косого, а на чугунные исполинские ступни ног.

Зорька рванул на груди рубаху, а репродуктор перекрывал его рыдающий голос, внушал великое:

«Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед и выше, все — вперед и выше!»

В стороне же, на отдалении, стоял инкассатор Молодцов и плакал. Оплакивал Параню? Да нет. Молодцов — культурная личность — умел ценить высокое слово, да еще вовремя сказанное. А как нельзя более кстати напоминал репродуктор о мятежном Человеке, идущем вперед и выше. Плакал Молодцов тайком, не умел иначе. И, конечно же, слез его никто не заметил.

Зорьку Косого судили. На вопрос: «Что заставило вас совершить убийство?» — он отвечал:

— Да как же, граждане судьи, она ж меня по крайней умственной отсталости под статью пятьдесят восемь подвести могла, во враги бы народа Зорьку Косого записали! Никак не согласен! Уж лучше смертоубийство — статья сто тридцать шесть, милое дело...

За чистосердечное признание к нему снизошли — судили по статье сто тридцать шесть как убийцу, а не как презренного врага народа.

Документальная реплика.

Повально знаменитое в свое время фото — Сталин с девочкой в матроске. Подпись под ним: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Имя этой девочки — Геля, дочь наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардана Ангадыковича Маркизова.

27 января 1936 года в Кремле происходил прием руководителями партии и правительства трудящихся Бурят-Монгольской АССР. Делегацию из шестидесяти семи человек возглавляли секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) М. Н. Ербанов, председатель Сов-

наркома Бурят-Монголии Д. Д. Доржиев, председатель ЦИК республики И. Д. Дампилон. Присутствовал, разумеется, и отец Гели.

Во время торжественного заседания шестилетняя Геля поднесла букет цветов Сталину, и тот взял ее на руки. Этот момент и был запечатлен на снимках, облетевших всю страну, ставших плакатом.

— Что ты хочешь получить в подарок — часы или патефон? — спросил Сталин.

— И часы и патефон,— ответила Геля.

Действительно, на следующий день она получила золотые часы и патефон с набором пластинок. На том и на другом подарке было выгравировано: «Геле Маркизовой от вождя народов И. В. Сталина».

Отца Гели среди других наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Вскоре его арестовали и расстреляли вместе с Ербановым, Доржиевым и другими. Мать Гели сразу же после этого погибла при невыясненных обстоятельствах — на ночном дежурстве в городской больнице, где она работала врачом.

Геля осталась сиротой, долго жила в нищете и безвестности, хранила подарки Сталина.

1969—1971

Донна Анна

Лето 1942 года...

На небе чахнет смуглый закат, через всю сумеречную степь потянуло ветерком, по-ночному свежим и настойчиво горьким, полынным. Где-то на краю земли, под самым закатом — веселые, что треск горящего хвороста, выстрелы.

В одном месте, под закатом, перестрелка гуще, время от времени в той стороне слышатся удары, словно кто-то бьет черствую степь тупой киркой,— рвутся снаряды. Там, напротив одинокой птицефермы, окопалась пятая рота лейтенанта Мохнатова.

Чахнет закат, наливаются сумерки, война впадает в полудрему. При зыбком затишье во всех уголках фронтовой степи начинается движение, делаются дела и делишки, которым мешал дневной свет. Гудят тягачи, какие-то батареи перебираются на новые позиции. По степи без дорог расползаются машины с потушенными фарами, ощупью везут боеприпасы. Полевые кухни, начиненные неизменной пшенной сечкой, подъезжают к самым окопам, куда днем можно пробраться только ползком.

Не для дневного света, видать, и это дело, хотя и называется оно — показательное. Нас вызвали сюда из всех подразделений — рядовых, сержантов, даже из среднего комсостава.

Мы сидим на щетинистом, прогретом за день склоне пологой балки, свежий, горьковатый ветерок обдувает нас.

Внизу остановилась крытая машина, из нее один за другим выскочили несколько солдат, плотно сбитых, стремительных, в твердых тыловых фуражках, похожих друг на друга и совсем не похожих на нас, вялых, грязных окопников. Они деловито помогли вылезти серенькому, расхлюстанному — гимнастерка распояской, ботинки без обмоток — солдатику.

Этот солдатик, смахивающий на помятого собакой перепела,— главное «показательное» лицо. Для него в десяти шагах от остановившейся машины на дне балки уже приготовлен неуставный окопчик с пыльно-глинистым бруствером — могила.

Командир, такой же плотный и стремительный, как и его подчиненные, стянутый туго портупейными ремнями, вполголоса, но энергично отдавал приказы, солдаты в фуражках действовали... И человек-перепел оказался на краю могилы в нательной рубахе с расхлюстанным воротом, в кальсонах со спадающей мотней. Сами же солдаты выстроились напротив в короткую шеренгу, развернув плечи, приставив к ноге винтовки.

И тут появился полный, вяловатый мужчина в комсоставском обмундировании, но с гражданской осаночкой. Он вынул из планшета бумагу, нашел нужный разворот, чтоб быть повернутым и к нам, зрителям, и к осужденному и чтоб тускнеющий закат бросал свет на лист...

Мы уже всё знали, даже больше, чем написано в его бумаге. Тот, кто сейчас стоял в исподнем спиной к могиле, был некто Иван Кислов, повозочный из хозтранспортной роты. В наряде на кухне он рубил мясо и отрубил себе указательный палец на правой руке.

Это случилось еще ранней весной, на формировке. Теперь уже разгар лета, наш полк неделю назад занял здесь, посреди степей, оборону. За два первых дня мы потеряли половину необстрелянного состава, но остановили рвущегося к Дону немца. Кажется, остановили...

А за нами сюда, на фронт, везли, оказывается, этого Кислова... Для показательности.

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал!..

Уличенный в умышленном членовредительстве Кислов стоит внизу в просторных казенных кальсонах, в сумерках не разглядишь выражение его лица.

А вчера утром у меня было два друга — Славка Колтунов и Сафа Шакиров, бойкий, звонкий, маленький, что подросток, башкирец. Вчера утром мы втроем хлебали сечку из одного котелка. Славку убило наповал на линии, а Сафу всего часа два тому назад я отправил на грузовике в санбат — пулевое в живот, тоже неизвестно, выживет ли.

— ...следствием установлено, что четырнадцатого марта тысяча девятьсот сорок второго года рядовой Кислов Иван Васильевич, находясь в очередном наряде на кухне...

Чахнет закат. Стоят с отработанной выправочкой парни в фуражках, маячит напротив них нелепая домашне-постельная фигура. Могила приготовлена за ее спиной.

А Славка Колтунов, наверное, и сейчас лежит где-то посреди степи, некому выкопать для него могилу.

То, что через минуту на моих глазах пятеро вооруженных парней убьют шестого, растелешенного и безоружного, меня не волнует. Еще одна смерть. А сколько я понавидался их за эту неделю! С Иваном Кисловым из хозтранспортной роты я никогда не ел из одного котелка. Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли его врачи?..

— Зачем показывают нам этого ублюдка?..— Вопрос сердитым шепотом. Рядом со мной сидит командир химвзвода младший лейтенант Галчевский.

Мы познакомились по пути на фронт в эшелоне. Я дежурил у телефона в штабной теплушке. Была ночь, высокое полковое начальство, получив извещение, что до утра не тронемся, ушло спать. Возле денежного ящика сопел и переминался часовой. За шатким столиком при свете коптилки сидел дежурный из комсостава — юнец с белой девичьей шеей, курсантской стриженой головой, на тусклых полевых петлицах по рубиновой капле лейтенантских кубариков. Он писал что-то, углубленно и взволнованно, должно быть, письма домой, часто отрывался, пожирающе глядел широко распахнутыми глазами на огонек коптилки, снова ожесточенно набрасывался на бумагу, и перо его шуршало в тишине, словно стая взбесившихся тараканов.

Я валялся прямо на полу, на раскинутой плащ-палатке, возле телефона, время от времени испускал в пространство дендрологический речитатив:

— «Акация»! «Акация»!.. Я — «Дуб»!.. «Клен»! «Клен»!.. «Рябина»!.. «Пихта»! «Пихта»!.. Уснул, дерево?.. Я — «Дуб». Проверочка.

Дверь вагона-теплушки была приотворена, в щель глядела ночь. Влажная сырая темень плотна, хоть протяни руку и пощупай. Где-то в ней прячутся дома с занавесками на окнах. Там люди по утрам собираются на работу, там переживают заботы — раздобыть сена корове, купить дров... Выскочи сейчас из вагона в ночь, и, наверное, за каких-нибудь десять минут добежишь до такого рая с занавесками на окнах. Десять минут — как близко! И недосягаемо! Для меня сейчас ближе неведомый, лежащий за сотни километров отсюда фронт. Стоит ночь над землей, и щемяще хочется не поймешь чего: или простенького — пройтись босиком по чисто вымытому домашнему полу, или невероятного, невиданно красивого... Чего-то такого, перед которым даже война померкнет.

Мне пришло время произнести свое заклинание: «„Акация"! „Акация"!..» Но вместо этого я с вызовом продекламировал:

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

И грохнул откинутый стул, и огонек коптилки захлебнулся, впустил на секунду ночь в теплушку. Часо-

вой у денежного ящика вытянулся, замер по стойке «смирно», а младший лейтенант, вскочив за столом, глядел на меня провально темными глазами.

— Вы!.. Вы!.. Вы любите Блока?..— задохнувшись.

Я любил, что знал, а знал что-то из Блока, что-то из Есенина, из Маяковского, любил Григория Мелехова и деда Щукаря, д'Артаньяна с друзьями и несравненного Шерлока Холмса. Младший же лейтенант кой-кого испепеляюще ненавидел, например Есенина:

— Мещанин! Люмпен! Кабацкая душа! Быть нытиком во время революции!

Но он также любил и Блока, и Дюма, и Конан Дойля. А особенно любил кино — не комедии, а революционные и военные фильмы. Он бредил сценой расстрела моряков из «Мы из Кронштадта». Подавшись на меня всем телом, он с дрожью говорил:

— Вот бы так умереть — чтоб в глаза врагу, чтоб смеяться над ним!..— Лицо узкое, с мелкими чертами и тонкие губы в капризном изломе.

К кино я относился сдержанно, к военным картинам тем более. Войны хватало с избытком и без кинокартин. И умирать я не хотел, пусть красиво, пусть геройски глядя в глаза врагу. Впрочем, я стыдился признаться в этом даже самому себе.

«Дева Света! Где ты, донна Анна?..» Солдаты говорили о бабах. О бабах и о жратве — извечные, неиссякаемые темы. О жратве, пожалуй, говорили чаще, так как наши военные пайки были скудны, а старшины и повара без зазрения совести еще рвали от них, мы всегда были голодны, тут, право, не до баб.

Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Мы наткнулись друг на друга, и он чуть ли не каждый день стал появляться перед нашим вагоном, вызывал меня, чтоб переброситься парой слов. Он разыскивал меня, когда я дежурил по ночам у телефона, просиживал часами, если все вокруг спали, рассказывал мне о своей маме:

— Более святого человека, поверь, на земле нет...

И зрачки его дышали, и губы его мученически изгибались, и я вместе с ним, страдая, любил его удивительную маму... А потом долго изнемогал от воспоминаний — о доме, о своей матери, об отце, который раньше

меня ушел на фронт. Вот уже скоро год, как от отца пришло последнее письмо: «Подо мной убило лошадь. Жаль ее, свыкся... Видел воздушный бой...» Мой отец прошел через две большие войны — первую мировую и гражданскую,— но воздушный бой видел впервые в жизни.

Я не знал — благодарить ли мне Галчевского за эти воспоминания или проклинать его.

— Ради бога, зови меня просто Яриком, как звали дома...

Я был младшим сержантом, он — младшим лейтенантом, в армейском субординационном здании находился на целый этаж выше меня. Я постоянно чувствовал себя перед ним виноватым — не умею ответить ему тем же. Я напряженно следил за собой, чтоб не оступиться, не совершить нечаянно такое, что может не понравиться моему другу. И почему-то пугал меня капризный излом его губ.

Всю эту неделю, которую мы на фронте, я с ним не встречался. За эту неделю я пережил больше, чем за всю свою предыдущую жизнь.

Он увидел меня здесь, сел рядом, долговязый, тощий, с трогательной детской шеей.

— Зачем показывают этого ублюдка?.. Чтоб напугать нас?! Нас?.. Смертью?.. Смешно! — И мученический изгиб тонких губ. Кажется, и он хлебнул лиха за эту неделю...

Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли там его?..

Раздалась короткая резкая команда:

— Товсь!!

Приезжие парни в необмято-новеньких фуражках вскинули свои винтовки.

В невнятной темной степи стоял перед ними одинокий раздетый человек. Уже не солдат, да и человеком-то ему оставалось быть какую-нибудь секунду...

Гудели в глубине темной степи моторы тягачей. Весело потрескивали на окраине выстрелы. Тянул упрямый ветерок.

Нет, все-таки эта смерть отличается от тех, какие я успел увидеть в эти дни.

— Па-а-а и-из-мен-ни-ку ро-одины-ы!..— запел командир бравых ребят.

Гудели тягачи, и я слышал, как бьется в груди мое сердце.

— Ог-гонь!!

Я ждал карающий гром, но клочковатый, недружный залп прозвучал невнушительно. Трепыхнулись сумерки от огней, вырвавшись из пяти стволов. Мутно белеющая фигура какое-то время стояла в недоумении, достаточно долго, чтоб успеть почувствовать целую цепь переживаний — сперва мысль: «А ведь промахнулись!» — потом бездумное облегчение, наконец надежда: «Вдруг да холостыми, попугали, теперь помилуют...» — и даже стремительно вызревала вера в это, но не успела вызреть... Окутанный сумерками человек в белье качнулся и повалился вперед, в сторону солдат, еще не опустивших свои винтовки.

Тебя позвали смотреть на спектакль. И стреляли пятеро с десяти шагов, считай, что в упор,— промахнуться трудно.

По привычке пригибаясь, бежал к расстрелянному наш санинструктор с сумкой, чтоб освидетельствовать — дело сделано на совесть.

Зрители подымались. Кто-то усердно работал «катюшей», бил кресалом, чтоб запалить цигарку. Кто-то в тишине сказал в пространство громко и выразительно:

— Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами!

Галчевский дернулся от этих слов, но сразу же обмяк, процедил сквозь зубы:

— Шуточка идиота.

— Пошли,— сказал я.

Чего доброго, Ярик еще наскочит на шутника, примется его воспитывать.

Внизу, на дне балки, сгущались сумерки и бормотала машина. Слышалось застенчивое позвякиванье двух лопат...

Я опять вспомнил, что где-то посреди степи сейчас валяется Славка Колтунов, некому его похоронить.

Хлопнула дверка кабины, проскрежетали шестерни коробки передач, мотор забасил, машина развернулась.

Позвякивали лопаты. Трудился кто-то из наших, приезжие занимались только чистой работой.

Там, где было смуглое зарево, небо светилось сейчас пепельным, скучным до безнадежности светом. И по пепельной промоине скатывался огонек осветительной ракеты, как светлая дождевая капля по мутному окну... Это над ротой лейтенанта Мохнатова...

Ярик Галчевский шагал рядом со мной и кипел:

— Отмочил какой-то стервец, нашел время: «Наше дело правое». Но и судейские крючки хороши тоже... Собрали, мол, глядите, в случае чего и вас... Бойся нас пуще немца. Тьфу! Страшны фронтовику эти тыловые красавцы с дудками...

Галчевский кипел, а я слушал его краем уха и вертел в голове святую для меня фразу... Раз дело правое, то враг будет разбит. Враг не прав, мы правы. Раз мы правы — значит, сильны. Правда в конце концов всегда торжествует...

— Я, знаешь, хочу навсегда расстаться с химвзводом. Ни пава, ни ворона, каждой дыре затычка. Есть же начхим полка, зачем еще командир химвзвода?..

Над участком мохнатовской роты снова выползла ракета, на этот раз — зеленый переливчатый кристалл.

Мне не нравится кипятящийся сейчас без нужды Ярик Галчевский, мне не нравятся те ребята в парадных фуражках, что умело расправились с повозочным из хозроты Иваном Кисловым, и, уж конечно, сам Иван Кислов — гори все, я спрячусь! — нравиться мне не может... Но, кажется, больше всех не нравлюсь себе я сам. В простом сейчас заблудился, в трех соснах: «Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами». Очевидно же! Правда всегда побеждает, а вот поди ж ты, враг — неправедный — подошел к самому Дону...

— Возьму стрелковый взвод! Ванька-взводный — позвонок, мелкая косточка в становом хребте армии, на котором все держится!..

Бесплотным зверем бесшумно проскакало мимо нас перекати-поле — клубок колючек, умчалось в темень, в неуютную бесконечность степной равнины.

Но бесконечность степи обманчива, через какой-нибудь десяток-другой шагов эта степь круто ринется вниз из-под наших ног в гущу колючих кустов, растущих вдоль каменистого русла высохшего ручья. Здесь в зарослях дикого терновника прячется несколько землянок — штаб нашего полка. У меня землянки нет, есть

окоп, длинная земляная щель, там беспризорно валяются два вещмешка — мой и Славки Колтунова. Был еще третий — Сафы Шакирова, но я его отправил вместе с хозяином в медсанбат. Этот окоп — мой дом. Сейчас доберусь до него, втиснусь в его каменно-твердые глинистые стены, завернусь в плащ-палатку и... провалюсь.

У меня теперь не осталось иного счастья в жизни — только лишь сон.

— «Клевер»! «Клевер»!

«Клевер» не отвечает. Где-то в прокаленной степи перебита тонкая нитка кабеля... Нет этого, я сплю.

Нечисто сладковатый, жирный запах, в примятой полыни валяются липко-черные трупы, победно гудят над ними тучи откормленных мух... Нет этого, я сплю.

Нет не вернувшегося с линии Славки Колтунова... Нет потного лица Сафы, его раскосых, блестяще-черных, с каким-то беспомощным птичьим страданием глаз... Нет! Нет! Я сплю.

Пока я сплю, нет войны.

Жаль, что спать мне выпадает в последнее время всего по два, по три часа в сутки.

И жаль еще, что сплю теперь обморочно, без всяких снов. Увидеть во сне хотя бы задернутое ветхой занавесочкой оконце нашего дома, за ним розовый рассвет с петушиным надсадным криком... Или ныряющий средь распластанных кувшиночных листьев поплавок, в радуге брызг вырванный из воды золотой неистовый окунь... Или склонившееся лицо матери, ее негромкий голос: «Вставай, Володька, в школу опоздаешь».

Не надо, мама, не буди! Как только кончится сон, начнется снова война.

Ночь над степью, далекая перестрелка. Я еще не добрался до своего окопа, я еще не сплю, но я уже чувствую себя счастливым. Благословенна природа, наградившая нас, живых, способностью на время забывать о жизни.

Но уснуть в этот раз не удалось.

В овраге, хрустя сапогами по каленому камешнику сухого русла, толпилось много солдат, охомутанных шинельными скатками, с вещмешками, с винтовками, в касках — в полном боевом. На меня с ходу налетел командир роты связи:

— Младший сержант Тенков! В распоряжение командира второго батальона! Не-мед-лен-но! Приказ начальника связи!..

Все ясно. Каждый день наши роты несут потери. Каждую ночь в стрелковые роты уходят нестроевики — обозники, помощники поваров, тыловые интендантские придурки. Даже взвод пешей разведки — аристократы полка, мастера ночных вылазок — занял нынче оборону, как простые автоматчики.

И в ротах всегда не хватает связистов. Чем сильней огонь, тем чаще рвется связь. Я же — радист без рации, телефонист-катушечник — на подхвате.

Спускаюсь в свой окоп, чтоб забрать вещмешок и скатку. Окоп, куда я возвращался каждую ночь, который считал своим домом... Где-то в другом окопе мне, быть может, удастся перехватить часок до рассвета. То ли удастся, то ли нет.

— Тенков! Володя!..

Меня ищет Ярик Галчевский. Эге! И он тоже — в каске, в плащ-палатке, с вещмешком.

— Нас вместе... В роту Мохнатова! — возбужденно объявляет он мне.

Что ж, я готов.

Степь, ржаво-бурая, прокаленная, ленивенько ползет вверх к истошно синему небу. На гребне под небом даже невооруженным глазом улавливается шероховатая кромка их окопов. За гребнем — птицеферма. Должно быть, это маленький хуторок, несколько саманных, побеленных известкой домов и мутный, с истоптанными грязными берегами ставок. Должно быть... Эту птицеферму никто из наших в глаза не видел, зато каждый о ней слышал.

Птицеферма — самое высокое место в плоской степи.

Через птицеферму немцу легче всего подтянуть к нам вплотную свои танки и мотопехоту.

Птицеферма — трамплин, с которого немцу удобно свалиться на наши головы.

Рота Мохнатова занимала оборону напротив птицефермы. Имя лейтенанта Мохнатова в полку у всех на языке — от командира полка до последнего повозочного в обозе.

Я представлял его себе: дюжий мужчина с окопной небритой физиономией, с длинными руками, болтающи-

мися у колен,— нечто гориллообразное! Мох-на-тов — одна фамилия чего стоит!

От общей траншеи, в которой можно ходить не сгибаясь, на шажок-другой вперед к противнику пробит тесный тупичок. В нем — земляная приступочка-насестик. Это наблюдательный пункт ротного командира. Тут восседает, упираясь пыльным сапожком в стенку, парнишка в выгоревшей до холщовой белизны гимнастерке. У него матово-смуглое, с мягким овалом, грязное лицо, сухая мочальная прядка из-под пилотки и сипловатый, задиристый, порой даже дающий петуха голос.

— Телефонист! — кричит он с несолидной агрессивностью.— Разыщи мне по проводам эту сволочь мордатую!..

«Сволочь мордатая» — ротный старшина, доставивший ночью слишком мало воды на позицию. Мохнатов угрожает упечь старшину в стрелковый взвод.

Над пыльной пилоткой ротного командира клокочет прозрачный, наливающийся зноем воздух — шуршат, шепелявят летящие через нас тяжелые снаряды, ноют, стенают пули, плетется зловещий шепот заблудившихся осколков. Внизу же, под ротным, на уровне его давно не чищенных сапожек, в тесноте прохладной траншеи идет деловитая и суматошная жизнь переднего края. Сутуловатой рысцой бегает связной Мохнатова, уже известный мне Вася Зяблик. Возле самых сапожек почтительно стоит зачуханный солдатик — пряжка брезентового ремня на боку, гимнастерка в пятнах машинного масла, свисающие штаны, неподтянутые обмотки и неделю — с самого начала нашей фронтовой жизни — не мытое, не бритое, полосатое лицо. Это Гаврилов, лучший пулеметчик в роте, а может, и во всем полку, мастерски давит из своего «максимки» огневые точки противника. Именно он сейчас вызвал гнев Мохнатова на старшину, сообщив, что скоро будет нечего заливать в кожух пулемета. Рядом с ним командир левофлангового взвода Дежкин, пожилой старший сержант грустно-бухгалтерского вида. Он вот уже без малого полчаса терпеливо выпрашивает у Мохнатова пулеметный расчет Гаврилова: «Уж больно стрекунов развелось напротив нас, попугать надо...» А Мохнатов не говорит ни да, ни нет, дипломатически, с излишней горячностью сволочит старшину:

— Брюхо в обозе нажрал! Морда солдатской задницы толще! При ясном солнышке и не увидишь красавца!..

— Санинструктора!.. Где санинструктор?..

По траншее ведут раненого. Он гол по пояс, правое плечо неуклюже замотано слепяще-белыми бинтами, на выступающих ребрах, по синюшной коже черные проточины засохшей крови. Один солдат теснится сзади раненого, придерживает его из-за спины за здоровый локоть. Второй, рослый, громогласный, выступает вперед, решительно, словно перед дракой, машет руками, взывает к санинструктору.

Мохнатов круто повернулся к ним на своем насесте:

— Пач-чему вдвоем? Пач-чему не всем взводом снялись?! Дежкин! Эт-та твои красавцы?

Но Дежкин ответить не успевает. Лейтенант Мохнатов валится на голову почтительно стоящего под ним пулеметчика Гаврилова. Траншея содрогается от взрыва, со стенок течет песок, с безоблачного неба на секунду падает тень.

Считается, нас не обстреливают, когда каска, положенная на бруствер, не падает со звоном обратно в окоп. Но даже и в такие тихие минуты не высовывайся без нужды — «запорошит глаза».

Обычно каска падает в течение всего дня. Но иногда бруствер просто метелит от свинца и стали, траншею лихорадит от взрывов, тут уж каска падает — не успеваешь досчитать до десяти.

— «Клевер»! «Клевер»! Как слышишь, «Клевер»?..

У меня остался тот же абонент, только вчера я ему кричал сверху вниз, из штаба полка: «„Клевер"! „Клевер"!» Теперь кричу снизу, из роты. И как бы ни стреляли, как бы ни тряслась земля от взрывов, как бы осколочная метель ни гуляла по брустверу, но если «Клевер» нас слышит, все прекрасно, живем — не продувает, от обстрела даже уютней. В земле как у Христа за пазухой, попробуй-ка достань!

Но вот...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Тупая немота в трубке.

И я толкаю своего напарника, еще не проснувшемуся сую трубку в руку:

— Держи. Я «гулять» пошел.

Днем «гуляем» строго по очереди. При прошлом обрыве «гулял» мой напарник. В более покойное время... Сейчас — падает каска... Через край окопа ныряй, как в прорубь.

Тянется в степь тонкая нитка кабеля. Над спиной, над твоей открытой, незащищенной спиной, над самым затылком гуляет многоголосая смерть.

Несложен язык резвящейся смерти. Его начинаешь постигать в первые же часы на фронте.

Нежно и тоскующе поют пули, растворяясь в толще воздуха. Не обращай на них внимания — пустышки. Если же пуля взвизгнет коротко и свирепо, обдаст кожу лица колючими брызгами земли — значит, бьют прицельно, значит, вторая или третья пуля может быть твоей, отрывайся от заклятого места и беги. Но не на ногах, а на спине, на животе катись по степи — небо, полынь, небо, полынь! — пока пули вновь успокаивающе не заноют в вышине.

Сухо шуршит и пришептывает осколок, тычется где-то совсем рядом, пошарь — найдешь. Тоже нестрашен. Он долго блуждал в синеве, потерял свою убойную силу. Может ударить, даже ранить, но не смертельно.

Давящий душу вой, вой, сверлящий мозг... И нет ничего страшнее на войне, когда этот вой обрубается. Краткий миг оглушительной тишины. Многие после этой тишины уже ничего никогда не слышали. Но и тот еще не фронтовик, кто не коченел от нее неоднократно.

Кабель тянется через степь... Никого вокруг, далеко люди, если ранит — далека помощь. В самые опасные для себя минуты телефонист-катушечник воюет в одиночку.

Кабель тянется через степь... Стоп! Не тянется! Вот обрыв!.. Взрывом разбросало концы кабеля...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Нет «Клевера»... Сейчас будет. Отыскать отброшенный конец, срастить — минутное дело. Иногда, правда, осколки рвут кабель в клочья, но все равно невелик труд стянуть и срастить. Велик путь — туда и обратно.

В окопе встречает тебя взгляд напарника, в нем уважение и благодарность. Пусть он сам проделывает не раз на дню такие же путешествия, но все равно сейчас благоговеет передо мной, человеком, блуждающим возле того света.

Мы вдвоем обслуживаем деревянный, обшарпанный ящичек с трубкой. О своем напарнике я знаю только, что он сибиряк и что у него странная фамилия — Небаба.

Но сколько раз под затяжным обстрелом я ждал его с тоскливым напряжением! Сколько раз я радовался его возвращению и видел в его глазах точно такую же радость. Он мне родной брат, я ему — тоже, не сомневаюсь. Но что он за человек? Что любит, а что не переносит? Женат или холост, весельчак по характеру или нытик?.. Не знаю даже, молод он или не очень. Под слоем окопной грязи мы все выглядим стариками.

Мы живем тесно и живем по очереди. Один из нас дежурит, другой непременно спит в это время, один выскакивает под огонь на линию, другой остается у телефонной трубки. Встречаемся мы лишь среди ночи, когда приходят полевые кухни, за котелком горячей пшенной сечки. В эти короткие минуты мы говорим не о себе — о деле и о посторонних.

— В первом взводе опять двоих ранило... Аппарат у нас что-то барахлит, должно быть, батареи сели.

— Заземление погляди — окислилось...

Близкие и далекие, братски спаянные и совсем незнакомые.

Я описываю это подробно, словно проходила неделя за неделей нашего сидения в ротной траншее. Нет, прошло всего двое суток, тягостно бесконечных, как ожидание, утомительно кошмарных, как сама война, однообразных, как любые будни.

На исходе вторых суток я услышал оживление на линии.

До меня, «Василька», прорвался с далекого «Колоса» самоличный бас ноль первого, командира полка по нашему коду. Потом поминутно стали требовать от «Клевера»: «Срочно к телефону Улыбочкина... Пошлите связного к Улыбочкину... Кого-нибудь из хозяйства Улыбочкина...» Я знал весь полковой и батальонный начсостав и по фамилиям и по номерам. Улыбочкина среди них не наблюдалось. Наконец в нашей растительной семье появилась новая сестрица — «Крапива». И эта «Крапива» с ходу начала заботиться об «угольках к самовару». Я понял — к нашему батальону придали минометную батарею.

Ночью явился сам командир батальона капитан Пухначев, влез в землянку к Мохнатову, через минуту выскочил оттуда Вася Зяблик. Над изрытой степью, над окопами захороводили в тихой ночи голоса:

— Дежкина к лейтенанту!.. Старшего сержанта Дежкина!.. Младшего лейтенанта Галчевского к командиру роты!..

Мохнатов созывал к себе взводных.

Рядом, шагах в десяти, наш пулеметчик, должно быть Гаврилов, отбил оглушительную очередь: не сплю, поглядываю! С той стороны ответили. Я сидел на дне траншеи, но отчетливо представлял себе, как стороной над темной степью проплывают трассирующие пули.

— Это ты, Володя?..— Надо мной склонился Галчевский. Его лицо тонуло в глубокой каске, серел в сумерках острый подбородок, на тонкой шее неуклюже висел тяжелый ППД — только что с инструктажа.— Приказ: завтра взять птицеферму,— сказал он, опускаясь рядом.— Капитан Пухначев только что Мохнатову принес.

Я кивнул — мол, давно догадывался, для меня, телефониста, это не новость.

— Мохнатов сомневается, говорит, у нас кишка тонка.

— Мохнатов знает,— ответил я уклончиво.

— Он все-таки маловер.

Снова оглушительно пробила рядом пулеметная очередь, и снова с той стороны нам ответили. Шла обычная ночная вялая перестрелка. Раз такая перестрелка идет, значит, на фронте затишье. Можно вылезти из окопа, распрямиться во весь рост, встретить кухню, получить свою порцию похлебки, поверить и тихо порадоваться — будешь жить по крайней мере до утра.

От Галчевского в эту тихую минуту исходила какая-то тревожная наэлектризованность, он крутил каской, передергивал плечами и наконец начал говорить захлебывающимся, галопирующим голосом:

— Мы привыкаем к покорности! Мы каждый божий день учимся одному — бессилию! Воет снаряд, летит в твою сторону — останови! Нет, бессилен! Падай, раболепствуй! А наша жизнь на передовой?.. Не смей выскочить даже по нужде, сиди, как подневольный арестант, в яме, выкопанной твоими руками... Погребены заживо, покорны, смирнехоньки! Как я хочу... Как я хочу показать им!..— Галчевский дернул каской в сторону нем-

ца.— Черт возьми, показать, как я могу не-на-ви-деть!..— И вдруг продекламировал:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

На дне окопа этот книжный пафос звучал фальшиво, Ярик Галчевский и сам, видно, почувствовал:

— Ах, ерунда! Кривляние от скуки. Он всю жизнь ел на серебре... Не ерунда одно!.. Ходить прямо, а не ползать на брюхе. Зачем они прилезли к нам? Зачем они меня выдернули из дома, не дали учиться дальше? Зачем заставляют волноваться мою мать? У моей мамы очень больное сердце... Не-на-ви-жу!

— Тебе надо отдохнуть, Ярик.

Он недоуменно поднялся, постоял молча секунду и произнес, спотыкаясь, с глухой дрожью:

— Ты сказал мамины слова... Точь-в-точь... Даже с маминой интонацией...

— «Василек»! «Василек»! — донеслось в трубку.

— Я — «Василек»!..

— Как самочувствие, «Василек»?

— Пока нормальное. Послезавтра спроси.

Дежурный-коммутаторщик при штабе полка сочувственно рассмеялся. Переживу ли я свое завтра — бог весть.

— Я пошел...— Ярик полез из траншеи. Наверху он остановился.— Просили известить каждого солдата: будет общая атака по красной ракете. Мохнатов ракету кидает...

Я опять лишь кивнул в ответ.

— Если я упаду в этой атаке, то упаду головой вперед. Потому что не-на-ви-жу!

— Лучше не падай.

— Мне себя не жаль. Мне маму жаль.— И пошел легкими, какими-то путаными шажками.

Прогремела пулеметная очередь, грозная и равнодушная. Послушно ответил ей с той стороны немец-пулеметчик. Все в порядке, на нашем участке тихо.

А у Ярика сегодня даже походка непривычная, карусельная, как у пьяного.

Из степи донеслись скрип и позвякивание. По траншее из конца в конец полетели негромкие, приподнятые, почти ликующие слова: «Кухня!.. Кухня пришла!..»

— «Василек»! «Василек»!..

— Я — «Василек»!

— Двадцать девятого к телефону!

— Его нет, он впереди.

Двадцать девятый — лейтенант Мохнатов — сидит, как всегда, на своем командирском насестике, в пяти шагах от меня, чумазый мальчик с мочальной челкой из-под пилотки. Он прилип к биноклю, у него из кармана галифе торчит неуклюжая ручка средневекового пистолета — ракетница, заряженная красной ракетой.

Я решительно вру в трубку, что двадцать девятого нет на КП. Мохнатов слышит, не отрывается от бинокля.

Утром загудел, зашепелявил над нашими головами невидимый поток снарядов. За гребнем, где находилась птицеферма, раздались подвально-глухие удары. Позади нас, совсем рядом заквакали минометы новоявленного хозяйства Улыбочкина — «Крапивы» в телефонном обиходе. Немцы ответили: артиллерия через наши головы — по нашим тылам, из минометов и пулеметов — в нас. Каска падала усердней, чем всегда.

Вот тогда-то и началось единоборство лейтенанта Мохнатова с тыловым начальством.

— «Василек»! «Василек»! Двадцать девятого срочно!

И я послушно протягивал трубку:

— Вас срочно, товарищ лейтенант.

Он нехотя слезал со своего наблюдательного насестика, начинал разговор скучным голосом с шестнадцатым — комбатом Пухначевым:

— Никак невозможно, шестнадцатый... Убийство будет, наступления нет. У своих же окопов ляжем... Под арест?.. Пожалуй, товарищ шестнадцатый. Приезжай и арестуй, милости прошу. Не откладывай в долгий ящик.— И он небрежно совал мне трубку, фыркал: — Меня нет. Во взвод ушел.

Наконец в трубке зарокотал начальственный бас ноль первого:

— Быс-стра-а! И-с-пад земли!..

Сам командир полка! На этот раз Мохнатов не отмахнулся биноклем, сполз ленивенько, подошел вразвалочку, но голосом отвечал бодрым, по-уставному:

— Есть, товарищ ноль первый!.. Есть!.. Есть!.. Попытаемся... Приложим все силы...

Прежде чем вернуть мне трубку, он склонился к моему лицу. И я впервые увидел в упор его глаза: прозрачные, с мелким игольчатым зрачком, набрякшие, окопно-грязные, старческие подглазницы. Родниковые глаза! Сколько раз они близко видели смерть — свою и чужую? Сколько раз они так вот холодно смотрели сквозь прорезь — чистые глаза, опасно пустые?

— Слушай, кукушечка,— процедил мне в лицо Мохнатов,— я недогадливых не люблю.

И я после этого постарался быть догадливым.

— «Василек»! Приказы не исполняешь! Расстрела захотел, твою мать? Где двадцать девятый?..

— Послали за ним уже трех человек. Не могут пробиться — большой обстрел.

Лейтенант Мохнатов сидит, упираясь пыльным сапожком в глинистую стенку окопа, осторожненько выглядывает. Средневековая ручка пистолета, заряженного красной ракетой, торчит из кармана, но никто уже из снующих мимо солдат не ощупывает ее косым, значительным взглядом. Даже на фронте не всякое-то заряженное ружье стреляет.

— «Василек»! Немедленно тяните линию вперед! «Василек»! Приказ быть возле Мохнатова! Ни на шаг не отставать!.. «Василек», повторите приказание!..

— Есть тянуть линию вперед! Есть быть возле двадцать девятого!..— Я повторяю нарочито громко и вопросительно смотрю в затылок лейтенанта.

Тот небрежно через плечо мне советует:

— Да выдерни ты к едрене матери заземление.

Мохнатов втягивает меня в опасную игру. Оборвать своими руками налаженную связь в самый разгар боя... Ежели высокое начальство это узнает, даже не трибунал, а расстрел на месте, как за прямую диверсию. Но высокое начальство далеко, а Мохнатов близко.

— «Клевер»! «Клевер»! — сообщаю я.— Отключаюсь.

— Только быстренько, «Василек». Только быстренько...

Я выдернул всаженный в землю винтовочный штык, служивший заземлением, положил онемевшую и оглохшую трубку. Исправна линия, исправен аппарат, а связи нет, и со стороны сочувственно смотрит на меня мой напарник Небаба. Ему везет, а у меня даже дежурства несчастливые.

Глаза Небабы сорвались с моего лица, настороженно округлились. Я оглянулся. За моей спиной стоял младший лейтенант Галчевский. Он весь как-то жестко выпрямлен, стальной козырек каски низко надвинут на глаза, затянутый ремешком острый подбородок вздернут, взгляд из-под каски нацелен в спину Мохнатова. И свой тяжелый ППД он держит в руке возле белесого кирзового голенища стволом вниз.

Ярик Галчевский перешагнул через мои вытянутые ноги, произнес:

— Лейтенант Мохнатов!..

Подбородок вздернут, узкие плечи расправлены, каблуки сдвинуты, руки по швам, кажется, закончит свое обращение по-уставному: «По вашему приказанию явился!» Только вот автомат в руке — стволом вниз.

— Вы срываете наступление, лейтенант Мохнатов!

Мохнатов молча уставился на Галчевского. Сейчас Ярик видит вблизи его глаза. Чистые глаза, опасно пустые!

— Вы не подчиняетесь приказам командования, лейтенант Мохнатов!

— Иди, дурак, в свой взвод,— устало, без злобы, как-то слишком по-взрослому произнес Мохнатов.

— Ради спасения своей шкуры вы...

— Младший лейтенант! Смир-рна!!!

Спина Галчевского, без того натянутая, вздрогнула.

— Кр-ру-гом!!!

С птичьим горловым клекотом выкрик в ответ:

— Вы трус, лейтенант Мохнатов! Я вас презираю!

Локоть Мохнатова медленно, медленно отходит назад, кисть руки ползет по ремню к кобуре.

— Вы подлый трус! Вы шкурник! Вы изменник родины, Мохнатов!..

Синевой неба блеснул вороненый ствол пистолета в руке Мохнатова.

Галчевский передернулся, рванул автомат. Его узкую тощую спину лихорадило — грохот короткой очереди, запоздалый звон выплюнутой гильзы.

Мохнатов соскользнул со своего насеста, с неестественно серьезным и строгим выражением в широко распахнутых светлых глазах сделал шаг вперед и словно сломался, упал на колени, боднул головой глинистое крошево под кирзовыми сапогами Галчевского.

И тут я увидел связного Васю Зяблика, только что подбежавшего своей сутуловатой трусцой из глубины траншеи. Деревенское губастое лицо парня было сейчас каким-то непривычно чеканным, в глазах появилась мохнатовская родниковая пустота. Вася Зяблик спускал с плеча свой автомат.

Галчевский рывком нагнулся к Мохнатову и так же порывисто разогнулся, вскинул над каской широкоствольный пистолет-ракетницу.

А Вася Зяблик подымал на него автомат...

Галчевский выстрелил, выплеснулся тугой, перекрученный дым, в синеве неба повисла марганцево-прозрачная капля.

— Р-р-ро-та!! — закричал Галчевский рыдающе и, весь перекрутившись, выбросился наверх.

Вася Зяблик держал автомат на весу...

Подавились работавшие на флангах пулеметы, замерли окопы.

— Р-р-ро-та!!

Галчевский стоял на бруствере немыслимо долговязый — огромные кирзовые сапожищи рядом, дотянись рукой, а маленькая голова, упрятанная в каску, далеко в поднебесье. А еще дальше — в засасывающей синеве — вишневая переливчатая капля.

А из траншеи завороженно следил за ним Вася Зяблик с автоматом на изготовку, с чужим вдохновенным лицом.

— Слу-уша-ай мою команду! За-а р-ро-оди-ну! За-а Ста-али-и...

До поднебесья долговязая, нескладная фигура качнулась и исчезла.

— Ур-ра-а!!!

Не слухом, а всем телом, кожей, костями я ощутил через землю суету окопов — шевеление, сопение солдат, лезущих вверх из земли к небу.

— Р-ра-а-а!!

Вася Зяблик вдруг засуетился, губастое лицо сразу же утратило опасную чеканность, стало просто озабоченным. Он торопливо выскочил на бруствер, на какой-то миг закрыл от меня полнеба, сутуловатый, устремленный вперед, непривычно могучий... И словно провалился сквозь землю.

— Р-ра-а-а!!

Тускло-серая, ржавая степь, покатая, словно школьная парта. В ее неторопливом, упрямом устремлении к небу есть что-то щемяще жалкое, обожженная, неопрятная, тянется к непорочно чистому, недоступно высокому — нищета, мечтающая о величии.

Наверное, потому, что сама степь слишком уж велика и просторна, люди в ее бесконечности кажутся слишком вялыми, не спешат, устало бредут к синему небу. Бредут и подбадривают себя натужным, неуверенным криком:

— Р-рaaaa-a!

Среди паломников, бредущих к синему небу, возник грязно-желтый ватный ком...

— А-аааа!..— И смолкло.

Тугой взрыв мягко ударил мне в лицо. Ватный ком распался, поплыл над рыжей, тусклой землей, задевая рассыпанных людей нечистой дымной бородой. Далекое небо, перекрывающее неопрятную степь, в нескольких местах треснуло, из него полилось: тррат-тат-та-та-та! В степи началось кружение, столь же дремотно-вялое, бестолковое... Еще взрыв, еще! Грязно-серые бороды...

И колыхнулся окоп, и вспучилась дыбом земля, закрыла от меня степь, людей, дымчатые бороды. Траншею залихорадило. Седой дым, жирный дым, живой, свивающийся, пухнущий, и сквозь него острыми потоками текущая вверх земля. Солнце начало играть в прятки — то скрывалось в дыму, то весело выглядывало. Тягуче запели вокруг осколки. Черствый град глинистых комьев забарабанил по брустверу, по пыльным кустикам жалкой полыни, по моим плечам...

Меня тянули сзади за ногу:

— Младший сержант!.. Младший...

На землистом лице Небабы распахнутые, выбеленные небом глаза. Только на дне траншеи я осознал, что случилось: немецкая артиллерия перекрыла путь тем, кто пытался бежать обратно. Стена напичканного осколками дыма, стена вздыбленной земли — не пробьешься...

А солнце играло в прятки, то светило, то скрывалось.

Комья земли еще продолжали падать — редкий, усталый град со знойного безоблачного неба. В воздухе раздался то ли назойливый звон, то ли вкрадчивый свист. Я не сразу понял, что это звенит у меня в ушах. От тишины.

Вспомнил о телефоне — заземление-то выдернуто! Всадил привязанный к проводу ржавый штык.

— «Клевер»! «Клевер»!

Немота, незримое четвертое измерение, где помещались «Клевер», «Колос», «Лютик», «Ландыш», исчезло — глухая стенка.

И Небаба деловито натянул на голову каску. Он всегда надевал каску, прежде чем выбраться из окопа на линию. Его очередь «гулять».

Мелькнули надо мной в небе ботинки с обмотками. В ушах серебряный тонкий звон, тоскуют летящие в высоте пули, где-то ухнул взрыв, сухой, трескучий,— значит, мина, не снаряд. Тишина. Боже мой, какая тишина!

Только тут я вдруг осознал, что я один... Совсем один во всех окопах. Минут десять тому назад здесь было сто с лишним человек, может, даже двести... Лежат в степи, далеко от меня. Один на все окопы, один перед лицом немцев. Я — маленький, слабый, еще никогда ни в кого не выстреливший, никого не убивший, умеющий лишь сматывать и разматывать катушки с кабелем, кричать в телефонную трубку. И до чего это странно, что я, мирный и слабый,— один перед грозным противником, запугавшим всю незнакомую мне Европу. Я даже не испытывал от этого ужаса, только коченеющую, мертвящую тоску. Один...

Есть еще рядом он... Я успел забыть о нем. Он лежит в своем командирском тупичке, на дне, скрючившись, подтянув под живот колени, уткнувшись спутанными волосами в землю, правая рука неестественно выломлена, на боку зияет расстегнутая кобура, а вороненый пистолет валяется сзади, возле его нечищеных сапог. Так давно он упал под автоматной очередью, что я уже успел забыть о его смерти.

Тишина. Звон серебряных колокольчиков, кожей ощущаю тянущиеся во все стороны пустые, бессмысленные, мертвые ямы.

— «Клевер»! «Клевер»!..

Молчит «Клевер», нет надежды избавиться от одиночества. И я люто позавидовал Небабе. Опять ему повезло! Он тоже один, но не в пустых окопах — в привычной обстановке. Телефонист, выскочивший на неисправную линию, всегда один на один с войной. Нормально.

И раздался звук шагов, шорох одежды. Я ужаленно обернулся: расползшаяся пилотка, пряжка брезентового ремня на боку, полосатое от грязи лицо, утомленное и бесконечно унылое,— пулеметчик Гаврилов.

Господи! Какой он родной!

Я не могу прийти в себя, а он скребет небритую щеку, морщится, буднично спрашивает:

— Может, нам всем в одно место стянуться?

— Ты... Ты не ходил в атаку?

Гаврилов поглядел на меня с тусклым удивлением, скривил спеченные губы.

— А ты?

— Я ж привязан... к телефону.

— А я к станковому... С «максимкой» не побежишь... А ручные пулеметчики — те все...— Гаврилов горестно высморкался.— На левом фланге у Дежкина тоже станковый пулемет. Как и мы — два человека.

Как мало надо для счастья. Я не один — и я ликую, в душе, разумеется.

— От всей роты — пятеро...

— Шестеро,— бодро поправляю я.— Небаба мой выскочил на порыв.

— Прощупай давай, может, он уже того...

— «Клевер»! «Клевер»! Нету. А что-то долго. Далеко, видно, обрыв.

Гаврилов уселся возле меня, но сразу же поспешно встал, перешел на другое место. Он увидел в тупичке лейтенанта Мохнатова, бодающего простоволосой головой землю.

— У меня Петька Губин, второй номер, тоже с ума помаленьку сходит. Молитвы вслух читает: «Спаси, господи, люди твоя...» А может, все люди на земле сбесились, Петька-то из нас самый нормальный? — Гаврилов помолчал, подолбил каблуком ямку.— «Спаси, господи, люди твоя...» А из пулемета играет. Там тоже ведь не чурки, падают.— Снова помолчал и с тоскливым, злым убеждением закончил: — Смирным жить на земле нельзя!

В стороне в траншею посыпалась земля, донесся влажный всхлип, и кто-то черный, взлохмаченный бескостно свалился вниз, дернулся, поерзал и затих. Доносилось только тяжелое, со всхлипами дыхание.

Гаврилов медленно-медленно поднялся, вздохнул:

— Оттуда.

Поднялся и я.

Он натужно, со всхлипами дышал, лопатки двигались под бурой гимнастеркой, немолодая, в морщинах коричневая шея.

— Эй, милок, ты ранен? — спросил Гаврилов.

Гость оттуда с усилием пошевелился, сел — черное лицо, яркие, почти обжигающие белки глаз, синие бескровные губы. Разлепив губы, сказал с влажным хрипом:

— Не знаю.

— Кто еще остался там живой?

— Не знаю.

— Может, ранен кто — вытащить?

— Не знаю.

Однако мучительно задумался, на пятнистом лбу проступила тугая вена, заговорил:

— Взводного нашего видел... Дежкина... Ползет, ног-то нету. Ползет, а в лице-то ни кровиночки... Дайте пить, братцы.

Но тут я увидел еще одного — вынырнул в глубине траншеи из-за поворота, захромал к нам. По сутуловатой осаночке узнал — Вася Зяблик. Он вел себя очень странно — пробежит с прихрамыванием пять шагов и, судорожно барахтаясь, вылезает наверх, вглядывается куда-то вдаль, спрыгивает вниз, а через пять шагов снова лезет... Весь какой-то скомканный, перекошенный, штанина брюк разорвана, без каски, без автомата, недоуменно торчат уши на пыльной плюшевой голове.

— Это ж он, сволочь! Это ж — он! — заговорил изумленным речитативом.— Жив, сука!

И тут же полез наверх, вытянул шею, раскрыл рот, насторожил торчащие уши.

— Так и есть! Он!.. Идет себе... Глядите! Глядите! Он!..

И мы с Гавриловым тоже полезли вверх.

Степь. Она все та же, тусклая, ржавая, пустынная, устремленная к небу. Она нисколько не изменилась. Отсюда не видно на ней воронок, не видно и трупов.

По этой запредельной степи шел одинокий человек... во весь рост. По нему стреляли, видно было — то там, то тут пылили очереди. Он не пригибался, вышагивал какой-то путаной, неровной карусельной походкой, нескладно долговязый, очень мне знакомый.

— Жи-ив! Надо же — жив!.. Всех насмерть, а сам — жив! — изумлялся Вася Зяблик лязгающей скороговорочкой.

— Заговорен он, что ли? — спросил Гаврилов.

— Дерьмо не тонет... Но ничего, ничего! Немцы не шлепнут, я его. За милую душу... Небось...

— Брось, парень, не кипятись. Покипятился вон — и роты как не бывало.

— Он лейтенанта шлепнул! За лейтенанта я его... Небось...

— Жив останется — для него же хуже.

Перед нашим бруствером, жгуче всхлипывая, срубая кустики полыни, заплясали пули. Мы дружно скатились на дно траншеи. Это приближался младший лейтенант Галчевский, нес с собой огонь.

Он неожиданно вырос над нами, маленькая голова в просторной каске где-то в поднебесье. Визжали пули, с треском, в лохмотья рвали воздух, а он маячил, перерезая весь голубой мир, смотрел на нас, прячущихся под землю, отрешенно и грустно. Серенькое костлявое лицо в глубине недоступной вселенной казалось значительным, как лицо бога. Затем он согнулся и бережно сел на край траншеи, спустил к нам свои кирзовые сапоги. Мы стояли по обе стороны его свесившихся сапог и тупо таращились вверх.

— Вот я...— сказал он и вдруг закричал рыдающе, тем же голосом, каким звал роту в атаку: — Убейте меня! Убейте его!.. Кто ставил «Если завтра война»!.. Убейте его!!

Мы завороженно глядели снизу вверх, ничего не понимали, а он сидел, свесив к нам сапоги, рыдающе вопил:

— Уб-бей-те!!

Вася Зяблик схватил его за сапог, рванул вниз:

— Буря!..

— «Клевер»! «Клевер»!..— склонился я над телефоном.

Немота. Я положил трубку и полез наверх.

Небаба лежал всего в десяти шагах от траншеи, зарывшись лицом в пыльную полынь, отбросив левую руку на провод, пересекавший степь. Чуть дальше на спеченной земле была разбрызгана воронка — колючая, корявая звезда, воронка мины, не снаряда.

Ему везло... Братски близкий мне человек и совсем незнакомый. Познакомиться не успели...

Это было началом нашего отступления. До Волги, до Сталинграда...

Я видел переправу через Дон: горящие под берегом автомашины, занесенные приклады, оскаленные небритые физиономии, ожесточенный мат, выстрелы, падающие в мутную воду трупы — и раненые, лежащие на носилках, забытые всеми, никого не зовущие, не стонущие, обреченно молчаливые. Раненые люди молчали, а раненые лошади кричали жуткими, истеричными, почти женскими голосами.

Я видел на той стороне Дона полковников без полков в замызганных солдатских гимнастерках, в рваных ботинках с обмотками, видел майоров и капитанов в одних кальсонах. Возле нас какое-то время толкался молодец и вовсе в чем мать родила. Из жалости ему дали старую плащ-палатку. Он хватал за рукав наше начальство, со слезами уверял, что является личным адъютантом генерала Косматенко, умолял связаться со штабом армии. Никто из наших не имел представления ни о генерале Косматенко, ни о том, где сейчас штаб армии. И над вынырнувшим из мутной донской водицы адъютантом все смеялись с жестоким презрением, какое могут испытывать только одетые люди к голому. У нагого адъютанта из-под рваной плащ-палатки торчали легкие мускулистые ноги спортсмена...

«Наше дело правое...» Чудовищно неправый враг подошел вплотную к тихому Дону. И как жалко выглядели мы, правые. Обнаженная правота, облаченная в кальсоны...

Да всегда ли силен тот, кто прав? А может, наоборот? Правый всегда слабее, он чем-то ограничивает себя — не бей со спины, не подставляй недозволенную подножку, не трогай лежачего. Неправый не знает этих обессиливающих помех. Но тогда мир завоюют мрачные негодяи. Те, кто обижает, кто насилует, кто обманывает. Жестокость станет доблестью, доброта — пороком. Стоит ли жить в таком безобразном мире? Мир, оказывается, не разумен, справедливость не всесильна, жизнь не драгоценна, а святой лозунг «Наше дело правое, враг будет разбит...» — ненужная фраза.

Но даже общее пожарище не выжгло тогда из моей памяти Ярика Галчевского. Минутами я видел его сидящим на бруствере и внутренне содрогался от его крика: «Убейте его!»

Кого?.. Да того, кто ставил «Если завтра война». Странно.

Дева Света! Где ты, донна Анна?..

Ярик любил стихи, еще больше любил кинофильмы. Он знал по именам всех известных и малоизвестных актеров. «Если завтра война»... До войны был такой фильм. «Если завтра...» Война сейчас, война идет, враг на том берегу Дона. «Дева Света! Где ты, донна Анна?» «Убейте его!»

В те дни, оказывается, не я один помнил о Галчевском, кой-кто еще...

Над степью выполз чумацкий месяц — ясный и щербатый. Солдаты спали прямо на ходу, во сне налетали друг на друга, даже не ругались, не было сил.

Пятый день блуждал по степи наш сильно поредевший полк, спали по два часа в сутки, пытались набрести на какой-то таинственный Пункт Сбора. Этот Пункт каждый раз, как мы приближались к нему, оказывался перемещенным в другое место, глубже в тыл, подальше от накатывающегося противника. Береженого, конечно, бог бережет, а солдату накладно.

Выполз месяц, значит, скоро разрешат привал — самый большой, ночной. И действительно, головной отряд свернул с пыльного гракта. Обгоняя нас, прыгая по неровностям, прокатила крытая машина.

Мутная при свете луны, отдыхающая степь. Где-то далеко-далеко раскаты. Далеко-далеко, чуть слышна война. Но все-таки слышна, хотя мы, колеся, и уходим от нее, спешим, выматываемся, спим только по два часа в сутки.

Нас подвели к остановившейся посреди степи машине, как могли, выстроили в шеренги, почему-то не разрешили садиться.

Майор Саночкин, заместитель комполка по строевой, досадовал и покрикивал на людей возле машины:

— Давайте, но только быстрей! Быстрей, ради бога! Люди устали!

И тут вывели его... Под жидкий свет луны, к отупевшему от усталости полку...

— Только, ради бога, не тяните резину!

Не было расторопных ребят в твердых тыловых фуражках. Из гущи спутавшихся рядов вытащили шестерых солдат из комендантского взвода, таких же, как и все мы, шатающихся от усталости.

Шестеро солдат, слепо толкаясь, выстроились напротив него. Он высоко держал на тонкой шее маленькую обкатанную голову, был в гимнастерке распояской, в комсоставских синих галифе, но босиком. За ним зыбко лежала мутно-лунная, безбрежная степь.

— Побыстрей же, прошу вас!

Шестеро парней из комендантского взвода знали — пусть не близко, со стороны — командира химвзвода младшего лейтенанта Галчевского. Теперь уже не младшего лейтенанта, и человеком ему оставалось быть считанные минуты.

Не было расторопных, знающих свое дело ребят. Его не раздели до белья, ему не выкопали даже могилы.

Выступило вперед сразу двое. Один из них осветил бумагу фонариком, другой принялся торжественно читать:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал... в составе...

Почему-то эти торжественные слова вносили в душу успокоение. Оказывается, и в бредовой неразберихе отступления кой-где сохранился порядок, кой-кто не забывал о своих обязанностях — жива какая-то дисциплина, жива армия.

— р-рас-смотрел дело по обвинению Галчевского Ярослава Сергеевича, военнослужащего, младшего лейтенанта, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения...

Смутная в лунном рассеянном свете степь за его спиной. В полынно настоянный воздух просочился божественно прекрасный запах разваренной свиной тушенки, подправленной дымком.

Сегодня днем на тракте наши задержали какие-то интендантские машины, потому сейчас и пахнет у нас давно забытой свиной тушенкой. Удивительный запах, он гонит прочь усталость, зовет к жизни. Повар комендантского взвода знаменитый Митька Калачев при от-

ступлении оставил на той стороне Дона свою полевую кухню, но — ловок, бестия! — обзавелся банным котелком, умудряется в нем варить даже на ходу, не очень запаздывает с раздачей.

— ...При-говорил!.. Галчевского!.. Ярослава Сергеевича!..— и умолк, его товарищ погасил фонарик.

Луна висела над необъятной степью, обессиленной, отдыхающей, и далеко-далеко погромыхивала чуть слышная война. Он стоял под луной, вытянув тонкую шею, теребя балахон гимнастерки.

А у организаторов произошла заминка, они топтались и шушукались.

— Кончайте! Что ж вы?..— снова взъелся на них майор Саночкин.

— Скомандуйте вашим бойцам...

— Нет уж, увольте. Это ваше дело. И только побыстрей, побыстрей, солдаты падают от усталости!

И тогда тот, кто читал приговор, тяжело шагнул вперед, закричал дребезжащим, нестроевым, некомандирским голосом:

— По врагу нашей род-ди-ны!..

Солдаты, не получившие привычной команды взять на изготовку, нескладно, растерянно, вразброд вскинули винтовки.

И тут Галчевский вытянулся, напрягся, и заплескался в лунной степи его звенящий голос:

— Я не враг! Мне врали! Я верил! Я не враг! Да здравствует...

— Пли!!

У одного из стрелявших в стволе была заложена трассирующая пуля. Она плеснула огненным полотнищем, прошла сквозь узкую, бесплотную грудь Галчевского, полыхнула за его спиной.

Он упал на жесткую полынь, голубую при лунном свете траву.

У его мамы больное сердце...

В воздухе пахло разваренной тушенкой. Запах, обещающий жизнь.

На другой день мы вошли на станцию Садовая, окраину Сталинграда, еще оживленного, еще не разрушенного, не спаленного города. Мы защищали его. В этом городе враг был разбит. Наше дело правое, победа оказалась за нами...

Документальная реплика

Однако не нуждается в подтверждении никаких документов общеизвестный факт, что во время войны, которую мы все называем Отечественной, считаем не без основания народной, за спиной наших воюющих солдат стояли заградительные отряды с пулеметами. Им было приказано расстреливать отступающих.

Не слышал, чтоб когда-либо была попытка выполнить этот не только оскорбительный, но и бессмысленный приказ. Отступающие войска, как бы они ни были деморализованы, далеко не безоружны, а зачастую вооружены и более мощным оружием, чем пулеметы заградотрядцев,— пушками и минометами. И уж конечно, охваченные желанием спастись, отступающие войска, наткнувшись на огонь своих, просто не имели бы иного выхода, как вступить в бой, причем с озлобленной яростью, не сулящей пощады.

Заградотрядники это прекрасно понимали, а потому под победоносным натиском немцев первых лет войны дружно бежали вместе с отступающими, если не с большей прытью.

Декабрь 1969 — март 1971

Охота

Охота пуще неволи

Осень 1948 года.

На Тверском бульваре за спиной чугунного Пушкина багряно неистовствуют клены, оцепенело сидят старички на скамейках, смеются дети.

Чугунная спина еще не выгнанного на площадь Пушкина — своего рода застава, от нее начинается литературная слобода столицы. Тут же на Тверском — дом Герцена. Подальше в конце бульвара — особняк, где доживал свои последние годы патриарх Горький, где он в свое время угощал литературными обедами Сталина, Молотова, Ворошилова, Ягоду и прочих с государственного Олимпа. На задворках этих гостеприимных патриарших палат уютно существовал Алексей Толстой, последний из графов Толстых в нашей литературе. Он

был постоянным гостем на званых обедах у Горького, и злые языки утверждают — граф мастерски наловчился смешить олимпийцев, кувыркаясь на ковре через голову. А еще дальше, минуя старомосковские переулочки — Скатертный, Хлебный, Ножевой,— лежит бывшая Поварская улица, на ней помещичий особняк, прославленный в «Войне и мире» Львом Николаевичем Толстым. Здесь правление Союза писателей, здесь писательский клуб Москвы, здесь писательский ресторан. Здесь, собственно, конец литературной слободе.

Но, наверное, нигде литатмосфера так не густа, как в доме Герцена. И если там в сортире на стене вы прочтете начертанное вкривь и вкось: «Хер цена дому Герцена!», то не спешите возмущаться, ибо полностью это настенное откровение звучит так:

«Хер цена дому Герцена!»
Обычно заборные надписи плоски,
С этой согласен —
В. Маяковский!

Так сказать, симбиоз площадности с классикой.

В двадцатые годы здесь находился знаменитый кабачок «Стойло Пегаса»[1]. В бельэтаже тот же В. Маяковский, столь нещадно хуливший дом Герцена, гонял шары по бильярду, свирепым басом отстаивал право агитки в поэзии:

Нигде кроме
Как в Моссельпроме!

А под ним, в подвале, то есть в самом «Стойле», пьяный Есенин сердечно изливался дружкам-застольникам:

Грубым дается радость.
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Но осень 1948 года, давно повесился Есенин и застрелился Маяковский.

---

[1] Уже после окончания повести я неожиданно узнал: увы, не слишком популярный клуб имажинистов под таким названием был не тут, а где-то на Тверской улице. Ни Маяковский, ни Есенин не снисходили до «Стойла», но посещали поэтическое кафе-ресторан дома Герцена. Не исправляю этого заблуждения потому, что все мы пребывали в нем в описываемое время, звонкую вывеску «Стойло Пегаса» принимали тогда как цеховое наследие.

А в доме Герцена уже много лет государственное учреждение — Литературный институт имени Горького.

Это, должно быть, самый маленький институт в стране; на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас — конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами — студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походя читаются стихи и поется сочиненный недавно гимн:

И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать.

Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.

— Дайте закурить, ребята.

Он был автором повально знаменитой:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса!..

Детище бурно жило, забыв своего родителя. «Тачанку» пели во всех уголках страны, а Рудерману не хватало на табачок:

— Дайте закурить, ребята.

Его угощали «гвоздиками».

Где-то за спиной нашего института, на Большой Бронной, жил в те годы некий Юлий Маркович Искин. Он не осчастливил мир, подобно Рудерману, победной, как эпидемия, песней, не свалился в сиротство, не приходил к нам «стрельнуть гвоздик», а поэтому мы и не подозревали о его существовании, хотя в Союзе писателей он пользовался некоторой известностью, был даже старым другом самого Александра Фадеева.

У него, Юлия Искина, на Бронной небольшая, зато отдельная двухкомнатная квартира, забитая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь

Дашенька ходит в школу. Хозяйство ведет тетя Клаша, пятидесятилетняя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью.

По всей улице Горького садили липы. Разгромив «Унтер ден Линден» в Берлине, мы старательно упрятывали под липы центральную улицу своей столицы. Давно замечено — победители подражают побежденному врагу.

«Deutschland, Deutschland, uber alles!» — «Германия — превыше!..» Ха!.. В прахе и в позоре! Кто превыше всего на поверку?..

Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..

Великий вождь на банкете поднял тост за здоровье русского народа:

— Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное — все враждебно. Папиросы-гвоздики «Норд» стали «Севером», французская булка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисона... Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета! Электрическую лампочку изобрел Яблочков! И самолет не братья Райт, а Можайский. И паровую машину не Уатт, а Ползунов. И, уж конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио... Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а этот предок в незапамятные времена пасся на «просторах родины чудесной», а никак не в потусторонней Индии.

Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?

«Deutschland, Deutschland, uber alles!» Разбитую «Унтер ден Линден» усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново.

На улице Горького садили липы.

В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки.

Охотились и садили липы...

В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса.

Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли, и глаза его при этом становились непроницаемо тусклые, какие-то глухие.

Его выбрали в институтский партком — за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности. Выбрали даже не секретарем, а рядовым членом.

И тут-то от заседания к заседанию Вася Малов начал показывать себя. Во-первых, он любил выступать, говорил длинно, обстоятельно, тихим, бесстрастным голосом, стараясь сам не волноваться и не волновать других. Во-вторых, ему, оказывается, просто невозможно было возразить ни по существу, ни в частностях. Пробитая осколком голова Васи Малова не терпела ни малейших возражений. Он сразу же начинал волноваться, краснел и бледнел одновременно — пятнами, полосами, кричал надрывным голосом, а глаза его наливались безумным мраком. К нему сразу же бросались, успокаивали, поддакивали, извинялись — иначе мог свалиться в припадке, не дай бог, тут же умереть на заседании.

Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов.

Вася Малов выступал на каждом парткоме, невзволнованно тихим голосом он называл имена: такой-то несет в себе заразу безродности!

Ему не возражали.

Вася Малов указал уже на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя.

Каждый из нас — кто таясь, а кто афишируя,— претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали — Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.

Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка — оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом его стихе знакомые вещи вдруг представали какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое — неожиданно хорошим.

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день едва ли
Бывало до календаря.

Шестнадцатого октября сорок первого в Москве была паника, повальное бегство. Позорный день, равносильный предательству. В печати его не вспоминали. Эмка вспомнил, мало того — взглянул на него по-своему:

Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну!
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.

Все поэты в стране писали о великом Сталине. Эмка Мандель тоже...

Там за текущею работой
Жил, воплотивши резвый век,
Суровый, жесткий человек —
Величье точного расчета.

Эмка искренне считал, что прославил Сталина, изумился ему. Другие могли понять иначе. Понять и указать перстом...

Но Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в рос-

тепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища все сдвигались и сдвигались, становились короче и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый, что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка — Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.

Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами.

Вася Малов был коренной москвич, в общежитии не жил. Каждое утро он вышагивал через сквер к институту своей расчетливо бережной походочкой — шляпа посажена на твердые уши, табачного цвета костюмчик, галстук, белая сорочка — вычищенный, без пылинки, отглаженный без морщинки, тишайше скромный, меланхолично отсутствующий, слабый здоровьем, слабый голосом.

— Здравствуйте, — кивок шляпой, неулыбчивый взгляд.

Студенты переставали читать стихи, расступались. Наш и. о. директора спешил поздороваться с Васей за руку. Вася на него не смотрел, прислушивался к себе. А и. о. директора не обращал внимания на неулыбчивость, жал руку, улыбался сам.

Лично меня Вася ничуть не пугал. Я ни по каким статьям не подходил под безродного. Я был выходцем из самой что ни на есть российской гущи, по-северному окал, по-деревенски выглядел да и невежествен был тоже по-деревенски. И сочинял-то я о мужиках, не о балеринах — почвенник без подмесу.

Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что

выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)?

Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.

Вся советская литература, которой мы, шестьдесят два студента с пяти курсов, готовились служить, насчитывала тогда каких-нибудь три десятка лет.

Юлий Маркович Искин как литератор родился вместе с нею.

Революция помешала ему окончить реальное училище, заставила порвать с тетушками и дядюшками, владельцами галантерейных лавочек на Зацепе, преуспевающими подрядчиками, не слишком преуспевающими, средней руки адвокатами. В шестнадцать лет Юлий оказался в паровозоремонтных мастерских при станции Казанского вокзала. В семнадцать он стал плохим слесарем, но отменным активистом — председателем цеховой ячейки комсомола, написал свой первый репортаж о саботажниках на железнодорожном транспорте. Этот репортаж был напечатан в «Гудке», газете, выходящей тогда от случая к случаю. Юлий Искин стал рабкором.

Рабкоры... Как ни прославлены эти волонтеры революционной прессы, тем не менее мы имеем о них тусклое представление, основанное главным образом на казенных междометиях.

Главная отличительная черта рабкоров — это вопиющая молодость и связанное с ней буйство чувств и незрелость мысли. Великая Октябрьская революция вообще была молода. Сорокасемилетний Ленин не только ее патриарх по авторитету, но и по возрасту. Троцкому тогда исполнилось тридцать восемь, Свердлову — тридцать два, Бухарину — двадцать девять, а рядовому революции Федору Тенкову, моему отцу,— всего двадцать один год! В двадцать два он уже был комиссаром полка — отвечал за других, имел право судить и карать.

Рабкорами же становились те, кто жаждал активности, но еще не доспел до признания, а потому сверхвозбудимость, агрессивная честность при ничтожнейшем житейском опыте, порой при отсутствии элементарной грамотности. Они изредка помогали становлению разваленной жизни, но больше путали ее и разваливали по недомыслию.

Рабкора «Гудка» Юлия Искина боялись деповские «мазурики», воровавшие из обтирочной драгоценный керосин, но его боялись начальники служб и дистанций, проверенные в деле спецы. Они требовали дисциплины, а рабкор Искин считал это зажимом, они пытались воевать с уравниловкой, распределяли допталоны на обеды среди наиболее квалифицированных рабочих, а рабкор Искин писал на них — подкуп, разделение на «любимчиков и постылых», нарушение принципа равенства, создание рабочей аристократии.

«Гудок» стал выходить регулярно, Юлия Искина как наиболее грамотного из рабкоров взяли в штат. Он печатался на второй и третьей — «серьезных» полосах газеты, а на последней, четвертой, затейливо-несерьезной, помещал рассказы уже получивший известность Валентин Катаев, гремел рифмами фельетонист Зубило — буйноволосый, приземистый Юрий Олеша, острили и подписывали пока что пустячки совсем никому не известные Илья Ильф и Евгений Петров.

Как-то само собой случилось, что Юлий Искин бросил писать о простоях вагонов и начал помещать критические статьи.

Он и в литературе остался рабкором, прямолинейным парнем, который весь мир резко делил на «наше» и «чужое», рабочее и буржуазное. Есенин мелкобуржуазен, значит чужой, Маяковский хоть и горлопан, но насквозь революционен — свой в доску! А в общем: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!» Это желание у ринувшихся в литературу рабкоров появилось намного раньше, чем Маяковский вслух его высказал.

Юлия Искина озадачила небольшая повесть. Ее написал не какой-нибудь недобитый белогвардеец, а свой парень, недавно скинувший красноармейскую шинель. Повесть о гражданской войне, но — странно! — не о победе, а... о разгроме. Она так и называлась — «Разгром». А ведь гражданская-то война кончилась нашей победой, уж никак не разгромом... Наша повесть или чужая, рабоче-крестьянская или буржуазная?..

От повести веяло тем величавым великодушием, которое свойственно только сильным, только уверенным в себе: мы не всегда бывали удачливы, не всегда сильны, умны и справедливы — тоже не всегда.

Юлий Искин впервые в жизни написал нерабкоровскую статью.

Они скоро встретились. Автор «Разгрома» был высок, статен, плечист, трогательно ушаст, улыбка на щекастом лице была подкупающе простодушна, а в веселом подрагивании зрачков ощущалось нечто большее, чем простодушие,— сердечность.

Я никогда не интересовался — любили ли Фадеева женщины? Наверное. Я постоянно слышал о том, как в него влюблялись мужчины.

Сам я Фадеева видел только со стороны.

О нем до сих пор ходят изустные легенды. Одна упрямо повторяется чаще других — легенда о том, как Александр Фадеев разом победил своих литературных врагов.

Называют при этом Авербаха... Позднее Твардовский в беседе с Хрущевым скажет свою знаменитую фразу: «В Союзе писателей есть птицы поющие и есть птицы клюющие». Авербах, похоже, ничего не спел, что запомнилось бы по сей день, исклевал же, как говорят, многих. Он и Фадеев не выносили друг друга, не здоровались при встречах. И это знали все.

Горький в очередной раз давал обед. Присутствовал Сталин с «верными соратниками». Собрался весь цвет нашей литературы — лучшие из певчих, виднейшие из литстервятников.

После соответствующих возлияний, в минуту, когда отмякают сердца, кто-то, едва ли не сам радушный хозяин Алексей Максимович, прочувствованно изрек: «Как плохо, что среди братьев писателей существуют свары и склоки, как хорошо, если бы их не было». Этот проникновенный призыв к миру был почтен всеми минутой сочувственного молчания, скорбные взгляды устремились в сторону Авербаха и Фадеева. Неожиданно поднялся Сталин — с бокалом в руке или без оного,— подозвал к себе обоих.

— Нэ ха-ра шо,— сказал он отечески.— Оч-чэнь нэ харашо. Плахой мир лучше доброй ссоры. Пратяните руки, памиритесь! Прашу!

Просил сам Сталин, не шуточка.

И Фадеев, доброжелательный, открытый, отнюдь не злопамятный, шагнул к Авербаху, протянул руку. Авербах с минуту глядел исподлобья, потом медленно убрал руки за спину. Рука Фадеева висела в воздухе, а за

широким застольем обмирали гости — великий вождь и учитель попадал в неловкое положение вместе с Фадеевым.

Но Сталин не был бы Сталиным, если б вовремя не предал того, кто потерпел поражение. Он сощурил желтые глаза:

— То-варищ Фадэев! У вас сав-всэм нэт характера. Вы безвольный челавэк, то-варищ Фадэев. У Авэрбаха есть характэр. Он можэт пастаять за сэбя, вы — нэт!

И, наверное, был восторженно умиленный гул голосов, и можно представить, как пылали большие уши Фадеева, и, наверное, Авербах спесиво надувался сознанием своего превосходства.

Будто бы именно с того случая Фадеев стал круто подыматься над остальными писателями, его недоброжелатели сразу стушевались.

У Фадеева не было характера, у Авербаха он был... Авербаха вскоре арестовали, он бесследно исчез.

Это легенда. Правда? Вымысел? В какой мере?.. Я не знаю. Слышал ее не единожды из разных уст.

Когда у него началось несогласие с самим собой, в какое время? А оно было, непосильное несогласие, от него одна водка уже не помогала, к ней нужны были еще и приятели. И вовсе не обязательно застольные приятели должны петь величальную: мол, велик, неповторим, верим в тебя, верит народ!.. Нужен был общий язык, взаимное понимание и... взаимное восхищение. А это можно найти даже с теми, кто способен произносить всего лишь одну фразу в двух вариантах; «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!»

Фадеев кидался в запои, пил с собратьями по перу, с высокопоставленными служащими, с истопниками, дворниками, случайными прохожими: «Ты меня любишь?! Ты меня уважаешь?!»

Юлий Искин пропускал рюмку только по праздникам, он никогда не делил с Фадеевым затяжные застолья. Юлий Маркович не находился в числе его приятелей. Он был другом Фадеева, верным и незаметным.

В Доме писателей на бывшей Поварской, в высоком, как колодец, зале, отделанном сумрачным дубом, шло очередное общее московское собрание литераторов. Председательствовал сам Фадеев. Обличали безродных

космополитов, называли имена, раскрывали скобки, вспоминали, что такой-то, имярек, лет двадцать тому назад непочтительно отзывался о Маяковском, такой-то нападал на Макаренко, такой-то травил великомученика нашей литературы Николая Островского, кого даже враги называли «святым». И прокурорскими голосами читались выдержки из давным-давно забытых статей. Из зала неслись накаленные голоса:

— Позор!! Позор!!

От обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невнятно оправдывались.

— Позор!! Позор!! — Клич, взывающий к мести.

На возвышении за монументальным зеленым столом величаво восседал президиум — неподкупный трибунал во главе с Фадеевым. У Фадеева было спокойное, суровое выражение лица.

Он взял себе заключительное слово. Спокойно, но жестко, без кликушеского надрыва подтвердил состав преступления: «Идеологическая диверсия... Духовное ренегатство... Скрытое предательство по отношению к родине...» И вновь повторил имена, глядя в зал, где среди безвинных людей прятались виновники. И зал дружно ревел Фадееву:

— Позор!! Позор!!

Дружно. Восторженно. Благодарно.

Я находился наверху, на дубовых хорах. Я издалека любовался Фадеевым, его мужественной осанкой, открытым лицом, твердым и неподкупно суровым в эту минуту. Я верил ему.

Среди тех, кому кричали «Позор!», был некий Семен Вейсах, критик, литературовед, старый друг Юлия Марковича Искина.

Все расходились, одни спешили к раздевалке, другие тянулись в ресторан, чтоб за рюмкой армянского «три звездочки» перекинуться парой слов о прошедшем собрании. А Семен Вейсах стоял у стены, прижимаясь спиной к дубовой панели — размягше тучный, лицо серое, изрытое, свинцовое. На этом тяжелом корявом лице сам собою подмигивал глаз, каждому, кто проходил мимо, знакомым и незнакомым.

Вейсах стоял у самых дверей на выходе, и Юлий Маркович медлил в сторонке, мучительно решал про себя: пройти ли мимо, подчеркнуто не замечая друга

Семена, или задержаться, приободрить: не все, мол, потеряно...

Юлий Маркович не кричал «Позор! Позор!». Он сидел в зале, слушал и... боялся. Хотя, казалось бы, чего?.. Не участвовал в оппозициях, не имел связей с заграницей, не примыкал к Серапионовым братьям, как некоторые, даже в критических статьях особенно не нагрешил — хвалил Маяковского, поругивал Есенина, всегда решительно поддерживал Фадеева. Но те, кто сейчас сидит по правую и левую руку от Фадеева, не очень-то хотят считаться с фактами. Они не стихами и драмами завоевали себе славу, а расправой. Им нужны жертвы...

Саша Фадеев отлично знает Юльку Искина. Однако он знал и Семена Вейсаха.

Вейсах, оплывше грузный, постаревший, стоит у выхода, со свинцового лица сам собой подмигивает глаз. Мимо него торопливо проходят и только потом запоздало оглядываются через плечо.

Юлий Маркович, склонив голову, решительной походочкой прошел мимо, боковым зрением уловил, как глаз друга Семена без участия хозяина подмигнул... Бессмысленный глаз, ничего не замечающий.

Чувство острой неловкости удалось потушить сразу же, еще не доходя до гардероба, на лестнице...

Семен Вейсах тоже ведь бывший рабкор. И, конечно же, рабкоровское, непримиримое в нем живо до сей поры: мир жестоко делится на своих и чужих, середины нет и быть не должно, любая половинчатость предосудительна, если не преступна. Раз твой друг попал в чужие, обязан ли ты ради дружбы, хоть на пядь, отойти от своих, хоть на секунду стать отщепенцем? Семен Вейсах поступил бы точно так же. Надо только выкинуть из головы изрытое, отяжелевшее лицо, мысленно зажмуриться и забыть сам собой подмигивающий глаз.

А в ресторане Дома писателей среди столиков бродил поэт Михаил Светлов. То тут, то там возникал его ломано-колючий профиль безунывного местечкового Мефистофеля. Михаил Светлов, пока шло собрание, обличали и каялись, кричали «Позор», не терял времени зря, он уже нетвердо стоял на ногах, морщился расслабленно беззащитной и в то же время едкой улыбочкой. А по углам Дома литераторов из уст в уста уже передавалась только что оброненная им острота:

— Я, право, понимаю русских — почему не любят евреев, но не могу понять — почему они любят негров?

Передавали да оглядывались, за такую вольность могли и прихватить.

В детстве над моей кроватью одно время висел плакат — три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо. Негр, китаец и европеец, черный, желтый и белый — три братские расы планеты, знаменующие собой Третий Интернационал. Едва ли не с младенчества любил я негров за то, что черны, за то, что обижены. «Хижину дяди Тома» я прочитал в числе самых первых книг, но ей-ей сердобольная миссис Бичер-Стоу уже ничего не добавила к моему всепланетному любвеобилию.

Михаила Светлова теперь нет в живых, шапочно был с ним знаком, редко виделись... Ах, Михаил Аркадьевич, Михаил Аркадьевич! А ведь мы вместе любили негров. Вы раньше, я вслед за вами. Разве «Гренада» не гимн этой любви?

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели.

Жена встретила Юлия Марковича в дверях, на мгновение замерла с широко распахнутыми глазами, словно всосала взгляд мужа в провальные зрачки, успокоилась и ничего не спросила.

— А у нас гостья.

Раиса, дочь тети Клаши. Давно уже шли разговоры, что она приедет в Москву погостить.

Сама тетя Клаша была плоскогруда, мослоковата, в угловатости костистого перекошенного тела, в каждой спеченной морщинке на лице чувствовался многолетний безжалостный труд, состаривший, но не убивший выносливую бабу.

Раиса же оказалась угнетающе не похожа на мать: белокожая, грубо крашенная — с расчетом «на знойкость» — брюнетка. У нее каменно тупые скулы и мелкие глаза с липкими ресницами, пухлый рот жирным

сердечком и вызывающе горделивое выражение буфетчицы: «Вас много, а я одна».

Дина Лазаревна, должно быть, сердилась на себя за то, что гостья не нравится, потому была преувеличенно сердечна:

— Еще чашечку, Раечка?.. Вы варенья не пробовали.

— Нет уж, извиняюсь. И так много вам благодарна.— И отодвигала чашку белой крупной рукой с чинно оттопыренным мизинцем.

А в посадке присмиревшей за столом Дашеньки, в округлившихся глазах таилась недоуменная детская неприязнь, быть может, ревность. Дашенька и тетя Клаша до беспамятства любили друг друга.

Клавдия Митрохина — тетя Клаша — выросла в деревне под названием — надо же! — Веселый Кавказ. Этот Веселый Кавказ стоял среди плоских, уныло распаханных полей, открытый ветрам. Здесь даже собаки ленились лаять, а девки и парни до войны ходили на игрища в село Бахвалово за семь верст.

А в войну Веселый Кавказ совсем опустел, какие были мужики, всех забрали, мужа Клавдии одним из первых. Он написал с формировки два письма: «Живем в городе Слободском в землянках, скоро пошлют на фронт», и... ни похоронной, как другим — «пал смертью храбрых»,— ни весточки о ранении, ничего — пропал.

В деревне же начался голод, из сенной трухи пекли колобашки, даже старую сбрую, оставшуюся с единоличных времен, сварили и съели. Райке исполнилось семнадцать лет, кожа синяя и прозрачная, глаза большущие, сонливые, с тусклым маслицем, шея и руки тоненькие, а живот большой и тугой. Невеста.

Надо было спасать Райку.

Из Веселого Кавказа сбежать нельзя. Без отпускных справок, без паспорта при первой же проверке схватят на дороге. Вся страна в патрулях, под строгим надзором. Есть только одна стежка на сторону — в лес. Туда не только пропускают, туда гонят. Каждую зиму колхоз выставлял сезонников на лесозаготовки — людей и лошадей.

В лесу давали хлеб. И не так уж и мало — семьсот пятьдесят граммов на сутки, ежели выполнил норму. Но

даже мужики не выдерживали там подолгу — с лучковой пилой на морозе, по пояс в снегу, от темна до темна, изо дня в день — каторга.

У Райки означился рисковый характер:

— Пойду, мамка. Что уж, здесь помирать, а там еще посмотрим...

А смотреть-то нечего — костью жидка, одежонка худа, на первой же неделе свалится.

Но поди знай, где наскочишь на счастье. Повезло Райке, что с голодухи ветром ее шатало, куда такой на лесоповал, пусть подкормится — сунули в столовку при лесопункте посуду мыть. Думали на время, а Райка оказалась не из тех, кто свое упускает.

И стали приходить от нее редкие письма:

Здравствуйте, родимая маменька Клавдия Васильевна! Низко кланяется вам ваша дочь Рая. Мое сердце без тебя, словно ива без ручья. Так что спешу сообщить: живу хорошо, чего и вам желаю. Нынче чай всегда с сахаром и даже с печеньем «Привет». Зовут меня к себе жить Иван Пятович Рычков. Он у нас прораб по вывозке, но уже два месяца заместо начальника. Начальник наш Певунов Авдей Алексеевич стал шибко кашлять, увезли в больницу, должно, скоро умрет от кашля этого и от старости. У Ивана Пятовича в леспромхозовском поселке свой дом, и жена тоже есть, но стара. А дети совсем большие, одного даже убило на фронте. Такие, как Иван Пятович, нынче на дороге не валяются. И меня тогда сразу переведут из раздатчиц вторым поваром, а может, и вовсе экспедитором сделают, потому что почерк хороший и считаю в уме быстро.

Покуда, до свидания. Ваша дочь — Рая.

Жду ответа, как соловей лета.

До лесопункта проселками от Веселого Кавказа каких-нибудь километров шестьдесят, но письма шли кружным путем неделями. И на каждом письме стоял лиловый штамп: «Проверено военной цензурой».

Райка пила чай с сахаром и печеньем «Привет», а Клавдия давно уже не пробовала чистого хлеба.

Весной начали опухать ноги.

В конце мая перед троицыным днем она почувствовала себя лучше, потому что бригадирша Фроська схитрила — списала остатки семенного фонда, выдала вместо аванса. Клавдия напекла овсяных колобашек пополам с сушеной крапивкой, захлопнула поплотней дверь

избы и отправилась к Райке. Родимая доченька, прими мамку, от смерти бежит!

А Райка уже не та — платье новое в лиловых цветочках чуть не лопается на грудях. Мать перед ней — ноги черные, на плечах полукафтанье — заплаты выкроены из старых мешков,— холщовая сума через плечо. У Райки под бровями, в сумраке раскосых глаз, что-то мечется, словно мышь в кувшине,— нет, не мать к ней пришла, а то старое, от чего сбежала, Веселый Кавказ нежданно-негаданно нагрянул, проклятая родина.

Холщовую суму Райка набила до отказа: кирпич хлеба, две банки мясных консервов, сахару полкило, большая пачка настоящего чая, четыре брикетика пшенного концентрата, даже пачечку печенья «Привет» в цветной обертке сунула. Для подарка слишком много, для жизни мало — не растянешь до свежей картошки.

Дочь проводила Клавдию до того места, где от корявой, искалеченной лесовозными машинами дороги отходил в сторону Веселого Кавказа мягкий, травянистый проселок. И тут Райка впервые обняла мать, прижала к себе, заголосила раскаянно:

— Маменька родима-а-я! На погибель тебя отправля-а-ю! Не увидимся боле-е!..

Она шла лесами и полями, минуя тихие, оцепеневшие от голода деревни, ночуя то в заброшенной сторожке, то в прошлогоднем стожке сена. И тучное лето стояло вокруг. Радостно зелены были поля, сияюще зелены перелески, листва хранила еще весеннюю праздничность. И садилась отдыхать у родничков, жевала городской хлебец со сладкой поджаристой корочкой, запивала его из берестяных черпачков студеной, травянисто пахучей водицей и радовалась не знай чему. В такую счастливую минуту она набрела на счастливое решение. Пока шагала до дому, все толком обдумала.

В сельповской лавке села Бахвалова на полках с самого начала войны стояли пожелтевшие коробки с порошком «дуст» да деревянные клещи — заготовки для хомутов. Но продавщица Кутепова Мария в глубоких тайничках всегда держала бутылочку «московской», спасенную от продажи по спецталонам. Клавдия предложила Машке Кутеповой обмен — две банки мясных консервов за пол-литра под сургучом.

Председатель сельсовета Афонька Кривой ради советской державы готов был отдать жизнь, и не одну — много, но за бутылку «московской» он бы не пожалел и самой державы. Афонька Кривой написал Клавдии справку с чернильным штампом и круглой печатью.

Она доехала до Москвы и стала просить милостыню возле Курского вокзала, выбирая тех, у кого подобрей лица. Она протянула руку к офицерику:

— Христа ради, на пропитание.

Офицерик был невысок, шинель нескладно сидела на его узких плечах — рыжие бровки, нос клювиком, мягкие чистенькие морщинки.

— Откуда ты, бабушка?

Разговорились. Клавдия чистосердечно поведала, как бежала из Веселого Кавказа.

Юлий Маркович тогда только что демобилизовался. Всю войну он без особых тягостей прослужил во фронтовой газете, часто наезжал в Москву. Шинель с погонами майора он донашивал последние дни, несколько книжных издательств нуждались в его сотрудничестве, жена тоже работала, росла дочь, и ее не с кем было оставлять дома.

«Бабушка» оказалась старше его всего на три года. Поразили ее глаза — ненастно серые, ни боли в них, ни надежды, одно лишь бездонное терпение, глаза русской деревни, перевалившей через самую страшную в истории человечества войну.

Одиссея, начавшаяся в Веселом Кавказе, окончилась на Большой Бронной.

У порога нашего института, заполняя скверик, сиял бронзовый вечер. За сквериком, стороной, рыча, громыхая, давясь гудками, шелестя шинами, суетно и дерганно, равнодушно и напористо катился мимо город — нескончаемый поток необузданных машин и неприметно тихих прохожих.

Он был одним из этих тихих прохожих. В тщательно вычищенном пиджачке с протертыми до белизны локтями, в тусклом галстучке, в умеренно отглаженных, со следами выведенных пятен брючках, с бледной немочью

горожанина на узком лице, которую, впрочем, можно принять и за невыстраданную грусть.

Случайный человек оказался возле нас, нескольких бездельников, глубокомысленно наслаждающихся ласковым вечером. Тут не было ничего необычного, институтик карманного размера, готовящий стране писателей, вызывал у многих острое любопытство и... недоумение:

— Чему вас тут учат?

Мы гордились своей исключительностью и отвечали с величавой неохотой:

— Тратить стипендию.

Нам платили самую маленькую стипендию, какая существовала в институтах. Студенты технических вузов получали втрое больше нас. Нам ничего не оставалось, как презирать сребролюбие.

На этот раз прохожий, завернувший к нам с панели, не спросил, а сам стал нам объяснять — чему нас учат.

— Это ловко кто-то придумал спрятать молодых писателей под одну крышу, под одну шапку,— заговорил он, разглядывая нас корыстными глазами барышника.— Да здравствует единомыслие! «Весь советский народ как один человек!»

И мы изволили обратить на него внимание: узкое лицо, хрящеватый нос, язвительная улыбочка на бледных губах и подрагивающее острое коленко, и худая, как коршунья лапа, рука вкогтилась в пиджачный лацкан.

Кто-то из нас удостоил его ленивым ответом:

— Учение — свет, неучение — тьма, дядя. Неужели не слышал?

— Добронравная ложь, молодые люди. Не всякое учение свет.— Он глядел на нас с оскорбляющей прямизной и улыбался, похоже, сочувственно.

— Хотите сказать, что нас тут губят во цвете лет?

— О вас проявляют отеческую заботу. Думай, как все, шагай по струнке: «Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег».

— И куда же мы ушагаем, по-вашему?

— Уже пришли... В гущу классовой борьбы, классовой непримиримости, классовой ненависти. Вас учат ненавидеть, молодые люди.

— Классово ненавидеть, не забывай, дядя.

— А что такое классово?

Мы переглянулись. С таким же успехом нас можно было спросить, что такое красное или желтое, соленое

или сладкое. Столь наглядно очевидное — не было нужды задумываться.

— Маркса надо читать, дядя.

— Маркс, молодые люди, в наше время попал бы в крайне затруднительное положение. Он делил мир просто — на имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых, ненавидь одних, защищай других! А ведь сейчас-то эти имущие эксплуататоры — фабриканты там или лавочники со своими частными лавочками — фюить! Ликвидированы как класс. Так кого же классово ненавидеть, кого любить?

— Частные лавочки исчезли, дядя, а лавочники-то в душе остались. Они глядят не по-нашему, думают не по-нашему.

— Думай, как я, гляди, как я,— единственный признак для определения классовости? А что если кто-то думает глубже меня, видит дальше меня? Или же такого быть не может?

— Не передергивай, дядя. Можешь думать не так, как я лично думаю, но изволь думать по-нашему.

Незнакомец глядел на нас с сочувствием столь откровенным, что оно казалось бесстыдным.

— По-нашему?.. А кто мы? Мы-то ведь тоже разные, среди нас могут быть профессора, могут быть и дворники... Согласитесь, профессору не так уж трудно понять ход мыслей дворника, а дворнику же профессора — не всегда-то под силу...

— Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что не по-дворницки думающий профессор чаще станет вызывать подозрение — не классовый ли он враг.

Мы снова переглянулись.

— И еще хочу напомнить,— продолжал незнакомец,— что дворников в стране куда больше, чем профессоров, молодые люди.

— «Восстань, пророк, и виждь и внемли!» Кто ты, пророк?

Тонкие губы незнакомца презрительно скривились.

— Увы!.. Я всего-навсего прохожий, который переходит улицу в положенном месте. Но когда нет рядом милиционера... хочется перебежать. Надеюсь, вы не из милиции, молодые люди?

— Не бойся, дядя. Мы лишь члены профсоюза.

— Очень рад. Тогда разрешите...

Он церемонно отбил нам поклон, показав вытертую макушку в жидких тусклых волосиках, и, вцепившись когтистыми пальцами в лацкан пиджака, подрагивающей походкой гордо удалился через сквер.

А город за сквериком лился мимо нас, рыча, покрикивая недоброжелательными гудками — необузданно шумные машины и тихие прохожие, переходящие улицы в положенном месте. И нас обступают молчаливые дома, тесно, этаж над этажом набитые все теми же прохожими, вернувшимися с разных улиц. Как приятно знать, что кругом тебя единомышленники. «Весь советский народ как один человек!» И как тревожно и неуютно, когда вдруг обнаруживаешь — есть отступники, не похожие на тебя! Нарушена великая семейственность, оскорблено святое чувство всеобъемлющего братства.

Тощий человек с узким лицом, с хрящеватым носом, пророк в потертом пиджачишке, неизвестно откуда появившийся, неизвестно куда исчезнувший. Не пригрезился ли он?..

Мы молчали и слушали шум вечернего города.

Из института вышел Вася Малов, необмятая шляпа на твердых ушах, защитный плащик поверх табачного костюма, кроткая усталость на лице и потасканный портфельчик под мышкой. Он остановился, потянул носом воздух, насыщенный запахом увядшей зелени и бензинового перегара, выдохнул:

— Вечерок... Да-а.

И в эту короткую минуту, пока Вася Малов с тихой миной, в расслабленном умилении стоял рядом со мной, я против воли вдруг испытал вину — сделал что-то нехорошее, нашалил, боюсь быть уличенным. Странно...

Я ведь не перебежал дорогу в недозволенном месте.

Всего-навсего я видел, как это сделал другой.

Отчего же неловкость? Почему вина?

Все молчали и слушали город.

— Вечерок... Да-а... Счастливо оставаться, ребята. До завтра.

Вася Малов ступил на землю, бережно пронес на твердых ушах свою необмятую шляпу через сквер на бульвар — личный вклад в общий поток. «Весь советский народ как один человек...»

Оказалось, Раиса приехала не просто погостить. В последнее время она работала в леспромхозовском орсе, там случились крупные неприятности, на Раису пытались повесить чужую растрату. И с Иван Пятычем пора было кончать. Он собирался разводиться с законной женой, а какой расчет связывать свою жизнь со стариком, когда молодые вернулись. Раиса намеревалась пустить корни в Москве.

Все это сообщила Юлию Марковичу тетя Клаша, ворча на дочь и вздыхая: «Не ндравится лисоньке малинку есть, на мясное, вишь ли, потягивает». Клавдия дочь не особо одобряла, но... помоги, Юлий Маркович.

Стихи и романы русских классиков, революционные лозунги, культура и политика, собственная совесть и государство — все изо дня в день, из года в год требовало от Юлия Марковича преклонения перед народом. Перед теми, кто пашет и стоит у станков, лишен образованности, но зато сохранил первозданную цельность, не философствует лукаво, не рефлексирует, не сентиментальничает, то есть не имеет тех неприятных грехов, в каких погрязла интеллигенция. К интеллигенции как-то само собою ложатся непочтительные эпитеты, вплоть до уничтожающего — «растленная». Но чудовищно даже представить, чтоб кто-то осмелился произнести: «Растленный народ». Такого не бывает.

В последнее время слово «народ» получило новый заряд святости в сочетании со словом «русский». Украинский народ, казахский народ, узбекский, равно как народ манси, народ орочи — звучит, но не так. Сказано Сталиным, вошло во все прописи, узаконено: русский народ «наиболее выдающийся... руководящий народ». Народ из народов, не чета другим!

Тетя Клаша, баба из деревни Веселый Кавказ,— чистейший образец этого руководящего народа, честна, проста, не испорчена самомнением — золотая песчинка высокой пробы. И, конечно же, она по простоте своей неиспорченной души не подозревала о собственном величии.

— Деревня-то наша из самых что ни на есть никудышных. Нас-то кругом «черкесами» звали, обидней прозвища не было. Эвон, мол, «черкес» едет. А едет-то он, сердешный, на разбитой телеге, и лошадь-то у него

на ходу валится, и обрать-то — веревочка, и сам-то «черкес» лыком подбит...

Юлий Маркович считал своим долгом открыть ей на все глаза:

— Вот ужо, Клавдия, оглянутся наши дети и внуки на таких, как ты, никудышных, памятники вам поставят.

— Чем же сподобились?

— Не малым. Мир спасли.

— Ишь ты, прежде-то один спаситель был — Христос, посля-то, выходит, многонько спасителей будет.

— Ты слыхала о нашествии татар?

— Как же. И пословица есть: незваный гость хуже татарина.

— Так вот немцы почище татар. Франция им двери с поклоном открыла, Англия от страха обмирала, Америку хлипкий японец бил. Казалось, на всем свете нет силы, которая остановила бы новых татар. Остановили мы.

— Слава те господи.

— Не господу слава, а тебе, Клавдия. Таким, как ты, которые кору жрали, а хлебом кормили и фронт, и тыл, и нас, захребетников-интеллигентов. Выносливости твоей слава, простая русская баба. Спасибо, что сама выжила и миру жизнь вернула...

Открывая глаза Клавдии, Юлий Маркович испытывал возвышающее очищение. Он не ел лепешек из толченой коры, не мерз в окопах. Он не мог сказать сейчас русской бабе Клавдии: «Нас с тобой побратала жизнь». Побратать могла лишь предельная искренность: ставлю тебя по заслугам выше над собой, не сомневаюсь, что поймешь меня, не осудишь, ибо я сам уже себя осудил

И еще тем усердней он возвеличивал Клавдию перед Клавдией, что в последнее время постоянно чувствовал к себе настороженность: «Ты не тот, кто способен оценить все русское». Ан нет! Если его дед носил пейсы, это не значит, что русское закрыто для него.

Клавдия олицетворяла русский народ, а вот родная дочь ее, тоже ведь прошедшая через чистилище Веселого Кавказа, наглядно русской почему-то не казалась Раиса держалась обходительно: «Доброе утро вам... Извиняюсь... Много вам благодарна...» Но каменные ресницы, манерно оттопыренный палец, выправочка буфетчицы — как не похожа она на свою простую, родственно понятную мать!

Мать просит: «Помоги!» То есть приюти, оставь под своей крышей, введи в свою семью.

Как-то раз Юлий Маркович застал Раису за странным занятием — обмеряла веревочкой простенок в коридоре. Увидела Юлия Марковича, сунула веревочку в карман, похоже, смутилась, но только чуточку.

— Что это, Рая? — спросил он.

Она помедлила, глядя мимо, чопорно ответила:

— Сервант бы вам лучше сюда вынести, как раз встанет.

И ушла, ничего больше не объясняя,— голова в надменной посадочке: «Вас много, а я одна».

Старый сервант стоял в комнате Дины Лазаревны и Дашеньки. Зачем его выносить в тесный коридор? Юлий Маркович так ничего и не понял.

Ночью, перед сном, он вспомнил этот случай и рассказал жене. Дина Лазаревна долго молчала и вдруг тихо призналась:

— Я боюсь.

— Чего, Дина?

— Всего... И ты ведь тоже, не притворяйся... Юлик, хочу, чтоб она уехала.

Он помолчал и мягко возразил:

— Дина, вспомни Чехова.

— Что именно?

— Вспомни, как он говорил: надо, чтоб под дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и напоминал стуком, что есть несчастные. Дина, до сих пор мы были непозволительно счастливы. Она ела толченую кору. Нам стучат, Дина, а мы не хотим слышать.

Из окна падал свет уличного фонаря, освещал корешки книг и внушительный медный барометр, подарок одного морского капитана Юлию Марковичу. В эту осень барометр неизменно показывал «ясно». Над Москвой стояло затяжное бабье лето.

Со стены нашего общежития отсыревшим голосом кричал репродуктор:

— Новое снижение цен на продукты массового потребления!.. Рост экономического благосостояния!.. Расцветание!..

На моей тумбочке лежит письмо матери. Мать пишет из села:

«Картошки нынче накопала всего три мешка. Да мне одной много ли надо — проживу. Меня шибко выручает Маруська Бетехтина, она торгует сейчас в дежурке. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Карточки-то отменили, а хлеб у нас все равно по спискам продают. Для районного начальства по особым спискам даже белый хлебец отпускается. Через Маруську-то и мне его перепадает. А вот сахару у нас нет ни для кого, даже для начальства...»

Надо матери послать килограмма два сахара. Такие расходы мой тощий карман как-нибудь выдержит.

— Очередное снижение!.. Рост благосостояния!.. Расцвет жизни!..

В Москве сахар не проблема. В бывшем Елисеевском на площади Пушкина прилавки ломятся от разных продуктов: колбасы всех сортов, окорока, художественно разрисованные торты, монолиты сливочного масла... Но из Москвы я не смогу отправить сахар матери — продуктовые посылки в городе не принимают. Придется сесть на электричку, уехать куда-нибудь под Загорск, подальше от столицы, оттуда отправить ящичек с двумя килограммами сахара в наше село, где хлеб распределяется по спискам и начальство пьет несладкий чай.

Радио бравурно наигрывает и хвалится:

— Снижение!.. Рост!.. Расцветание!..

Я подсчитал: от такого снижения в месяц сэкономлю... два рубля. Обед в столовой стоит худо-бедно пять рублей. «Снижение!.. Расцветание!..»

Эмка Мандель сидит на своей койке, чешет за пазухой, сопит, смотрит в одну точку и неожиданно рожает четверостишие:

— А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.

Радио восторженно играет, мы смеемся.

— Талант — штука опасная! — вдруг изрекает из угла некто Тихий Гришка.

Ему уже за тридцать, среди нас он считается стариком, всегда молчалив, всегда обособлен, в своем углу, как крот в норе. Но если он раскрывает рот, то почти всегда выдает закругленную истину — банальность и откровение одновременно.

Эмка отбивает мяч:

— Старик! Ты в полной безопасности!

Должно быть, Раиса родилась под счастливой звездой. Все получилось неожиданно легко и быстро. Без помех отыскался старый знакомый Семена Вейсаха, который когда-то помог прописать Клавдию. Он по-прежнему работал в горисполкоме, занимал еще более высокое место, слышал о беде Семена, сочувствовал ему, готов был исполнить просьбу Юлия Марковича. Телефонного звонка в отделение милиции было достаточно, чтобы на периферийный паспорт Раисы поставили штамп: «Прописана временно». С Юлия же Марковича взяли лишь расписку, заверенную жилуправлением, что не возражает прописать на свою площадь гражданку Митрохину Раису Дмитриевну.

Операция проводилась с помощью имени Семена Вейсаха, а потому его пригласили на чашку чая. Юлий Маркович никак не мог забыть свинцового лица друга Семена, его самостийно подмигивающего глаза.

В пятнадцать лет Вейсах воевал у Котовского. Легендарный комбриг, как говорят, ласково называл его: «Образцово-показательный жид у меня». Вейсах специализировался по военной литературе, участвовал в свое время в разных объединениях — ВАППе, ЛЕФе, ЛОКАФе, из писателей больше всего чтил своего старшего друга Матэ Залку, в свое время рвался вместе с ним в Испанию, но что-то помешало — не уехал, еще недавно он носил на пухлых широких плечах полковничьи погоны. Сейчас у Семена на висках проступила нездоровая маслянистая желтизна, крупная нижняя губа отвалилась, как у деревенской заезженной лошади, во влажных глазах неизбывная печаль детей Авраамовых. Он пил чай, грустненько, в осторожных выражениях сообщал: «Воениздат» передал сборник очерков о партизанах другому составителю, договор на его книгу о Петре Вершигоре расторгнут...

Клавдия подсовывала Семену бутерброды с колбасой, вздыхала, а Раиса разглядывала его внимательным взглядом, словно оценивала про себя надетый на Семена пиджак. И Семен, должно, чувствовал этот взгляд, горбился, блуждал печальными глазами по сторонам.

— Юлик...— негромко произнес Семен после мучительного молчания,— Ася недавно продала свою шубу... И вот мы опять... без копейки.

— Да ради бога, Сима!..

Дина Лазаревна сорвалась с места, исчезла в соседней комнате, через полминуты вернулась с деньгами. Семен меланхолично их принял, опустил в карман и встретился взглядом с Раисой, веко его дернулось, и глаз вызывающе подмигнул. Раиса равнодушно отвернулась, а Семен сразу заторопился:

— Мне пора... Уже поздно.

Юлий Маркович проводил его до дверей. В шляпе, в плаще, неповоротливо громоздкий Семен взял ватной рукой за локоть, дыхнул в лицо запахом только что съеденной колбасы.

— Юлька...— почти беззвучно шевельнул он отвалившейся лошадиной губой,— берегись!..— И качнул в сторону комнаты подбородком, где вместе со всеми за чайным столом сидела Раиса, произнес вслух, извиняясь: — Я теперь стал ясновидящим.

Он боком вывалился на лестничную площадку, оставив после себя тревожное предчувствие беды.

Беда вошла в дом через щель почтового ящика в служебном конверте со штампом вместо марки. Ничего особого — бумажка из парткома, Юлия Марковича просили явиться в назначенное время.

Секретаря парткома Юлий Маркович близко не знал, платил ему членские взносы и раскланивался в коридорах Дома литераторов. Ширпотребовский мятый костюмчик, обкатанная голова, простоватое лицо — когда-то что-то написал и напечатал, в свое время с должными усилиями прошел в члены Союза, не переживал головокружительного литературного успеха, ординарно скромен. Заурядность выдвигает людей чаще, чем дерзкая энергия и яркий талант. Заурядные никого не пугают. На тайных голосованиях эти люди получают подавляющее большинство голосов.

Секретарь парткома долго рылся в ящике письменного стола, и лицо его, кроме привычной озабоченности, выражало сейчас брюзгливенькое несчастье: «Вы тут черт-те что вытворяете, а я расхлебывай».

— Вот...— он вынул нужные бумаги, положил на них ладонь и взглянул на Юлия Марковича не начальственно, не строго, а скорей с досадою.— На вас поступила... М-м-м... Скажем так — жалоба.

— От кого?

Секретарь парткома пожал плечами, считая вопрос неуместным, продолжал:

— Надо признать — крайне глупая. Вот извольте, что стоит такое: «Кто это письмо прочтет, тот правду найдет...»

Тоскливенький холодок поплыл из глубины, от живота к горлу. Клавдия часто показывала Юлию Марковичу письма Раечки, он знал ее стиль: «Мое сердце без тебя, словно ива без ручья...»

— Вы, кажется, знаете, кто автор?

— Догадываюсь. Так что она там?..

— Она... гм... она пишет... «Член партии, писатель Искин Юлий Маркович принимает у себя дома подозрительных людей, которые ему жалуются на Советскую власть. Искин Ю. М. снабжает их деньгами на тайные цели. Он, Искин Ю. М., полный двурушник — в разговорах хвалит русскую нацию, а как на деле, то ненавидит. Простую русскую женщину, которую он у себя держит в прислугах, выпихнул на кухню, а сам живет в двух комнатах — одна шестнадцать квадратных метров, другая двадцать два...» — Секретарь, поморщившись, отодвинул письмо: — Вот, чем богаты, тем и рады.

«Сервант бы вам лучше сюда вынести...» До того, как он, Юлий Маркович, помог прописаться, она уже обмеривала веревочкой его жилплощадь.

— Вы хотите, чтоб я оправдывался? — спросил Юлий Маркович.

— А что делать? Мы обязаны внюхиваться, вы — очищаться.

— Письмо без подписи?

— Да, анонимка.

— Даже при царе Алексее Михайловиче не принимали анонимок. Каждый, кто кричал «Слово и дело!», должен был называть себя.

— При царе Горохе, может, и так, а я вот не могу выбросить этот букетик. Вписано в книгу, пронумеровано — документ!

— Тогда разрешите на него офицально вам заявить: я не принимал у себя антисоветски настроенных людей,

не вел с ними подрывные разговоры, не снабжал их деньгами на тайные цели... Вас это устроит?

— Вполне. Напишите объяснение, что у вас никто не бывал... кто бы вас мог как-то скомпрометировать.

Секретарь ждал краткого и решительного — никто. Но Юлий Маркович не мог так ответить. Соврать ради простоты столь же опасно, как выбросить в мусорную корзину анонимку.

— У меня бывал Вейсах... Семен Вейсах... Мы с ним двадцать пять лет знакомы.

Секретарь парткома тоскливо отвел глаза, и лицо его сразу же стало брюзгливо несчастным.

— Не хочу допрашивать вас, о чем вы там с ним говорили, но надеюсь... надеюсь — вы хотя бы не давали ему денег.

— Давал... Он сейчас без копейки.

В громадной, отделанной черным дубом комнате с величественным камином, где в углу сиротливо (за неимением другого места) ютился стол секретаря парткома, наступила тишина.

— Худо, Юлий Маркович, худо...— произнес наконец секретарь.— Я не хотел это выносить на обсуждение комитета... Не могу.

Это «не могу» были последние дружелюбные слова — взгляд стал скользить куда-то мимо уха Юлия Марковича, лицо обрело деловую сухость.

Позднее Юлий Маркович вспоминал об этом человеке только с обидой. Как быстро в нем иссякло сочувствие! Как легко он согласился на «не могу»! Как мало в нем было человеческого!

Но что бы ты сделал на его месте?

Выбросил письмо-анонимку в мусорную корзину, зная наперед, что при первой же проверке документации обнаружилось бы — исчезла бесследно бумага под входящим номером таким-то?

Или отмахнулся от факта, что такой-то имярек принимал человека, обличенного в нелояльности, ссужал ему деньги?

Но ты, конечно, постарался хотя бы посочувствовать — не глядел бы мимо, не корчил бы постную рожу.

Отказать в помощи и посочувствовать — экая добродетель! Куда честней откровенно признаться: не могу по справедливости, могу только по-казенному. Бесчувственное лицо, взгляд мимо.

Но иногда же нужно и через не могу. Во имя человечности будь подвижником!

Напрашивается вопрос: каждый ли на это способен? Честно спроси себя: способен ли ты?

Ну, а если даже способен, то новый вопрос, уже совсем крамольный: так ли спасительно благородное подвижничество?

На минуту представим себе нечто невозможное: например, в с е сытые в голодном тридцать третьем году стали вдруг подвижниками, решили в ущерб себе делиться с голодающими последним куском хлеба. Невозможно, но представим — в с е сытые подвижники! И что же, спасет их подвижничество страну от голода? Увы! Причина голода не в том, что кто-то чрезмерно обжирается. Нужны какие-то иные меры, не подвижничество, иная деятельность, не столь героическая и красивая.

Джордано Бруно подвижнически взошел на костер. Но прежде он открыл некие секреты мироздания, с о з д а л новые теории. Сначала с о з д а л, а уж потом имел мужество не отказаться от созданного.

А вот Галилей таким мужеством не обладал или же не считал нужным его проявлять. Он отрекся от своих теорий, его подвижничество подмочено. Но благодарное человечество все-таки чаще обращается к имени Галилея, чем к Джордано Бруно. Просто потому, что Галилей больше с о з д а л для науки.

До сих пор люди еще не желают понять, что мужество без созидания — бессмыслица!

Изменить жизнь подвижничеством, делать ставку на некие героические акты. Нет! На такое можно решиться не от хорошей жизни. Да и не от большого ума.

Не мной первым сказано: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Только Дашенька легла спать. В стенах, тесно обложенных книгами, собралось все население квартиры — Дина Лазаревна с цветущим красными пятнами лицом, Клавдия, приткнувшаяся на краешке дивана, и Раиса, плотно опустившаяся на предложенный стул.

Она подрагивает крашеными ресницами, глядит в сторону — губы обиженно поджаты, скулы каменны. Юлий Маркович возвышается над ней. Он старается изо всех сил, чтоб голос звучал спокойно и холодно.

— Раиса Дмитриевна! Прошу ответить!..

Суд при всех, суд на глазах ее матери. Он не продлится долго. Юлий Маркович вынесет приговор и протянет руку к двери: «Убирайтесь вон! Вам здесь не место!»

Подрагивающие угольные ресницы, обиженно поджатые губы, упрямая твердость в широких скулах. Она начнет сейчас оскорбляться: «Ничего не знаю, напрасно вы...» Не поможет! Рука в сторону двери: «Вон!» Неколебимо.

Но Раиса, метнув пасмурный из-под ресниц взгляд, порозовев скулами, проговорила с вызывающей сипотцой:

— Ну, сделала...

Юлий Маркович растерянно молчал.

— Потому что должна же правду найти.

— Правду?

— Образованные, а недогадливые. Вы вона как широко устроились — втроем в двух комнатах с кухней, а нам у порожка местечно из милости — живите да себя помните. А помнить-то себя вы должны, потому что люди-то вы какие... Не забывайтеся! — Упрямая убежденность и скрытая угроза в сипловатом голосе.

— Какие люди, Раиса Дмитриевна?

— Да уж не такие, как мы. Сами, поди, знаете. Разрослись по нашей земле цветики-василечки, колосу места нету.

Прямой взгляд из-под крашеных ресниц, прямой и неломкий, с тлеющей искрой. И Юлию Марковичу стало не по себе. Эта женщина ничем не может гордиться: ни умом, ни талантом, ни красотой, только одним — на своей земле живу! Единственное, что есть за душой, попробуй отнять.

Юлий Маркович обернулся к Клавдии и увидел в ее глазах и в ее печальной вязи морщинок мягкую укоризну: «Ты что, милушко, дивишься? Ты же сам мне все время только то и втолковывал, что вы-де, русские, в Веселом Кавказе рожденные, не чета нам всем, миром кланяться нам должны...»

Светлые, бесхитростные глаза, никак не схожие с глазами дочери, заполненные угрюмой, обжигающей неприязнью, глаза любящие и всепрощающие, ласковые и преданные... Тем страшней приговор, что вынесен с любовью.

Он стоял и тупо смотрел на Клавдию, смотрел и не шевелился. И вдруг вскинула руки Дина Лазаревна, вце-

пилась в волосы, рухнула на диван. Между стенами, забитыми книгами, заметался ее клокочущий горловой голос:

— Господи! Господи! Куда спрятаться? Ку-уд-да?!

Раньше Юлия Марковича встрепенулась Клавдия:

— Динушка! Да ты что, родная?.. Да успокойсь, успокойсь! Христос с тобой!

Раиса сидела величавым памятником посреди комнаты, только крашеные ресницы подрагивали на розовом лице. Юлий Маркович пришел в себя:

— Уходи-те! Все уходите!.. Раиса Дмитриевна, ради бога!.. И ты, Клавдия, тоже!..

Нет, он не говорил «вон!». Не требовал, а просил: «Ради бога!»

Раиса не шевелилась.

Секретарь парткома произнес свое «не могу» и передал вопрос на обсуждение комитета.

Казалось бы, ну и что?

Один ум хорошо, два лучше. Если уж секретарь парткома, никак не Сократ, своим умом дошел — нечистоплотная ложь, то, наверное, двадцать пять членов парткома это поймут скорей.

Один ум, два ума, три... Простое сложение редко дает верный результат в жизни. Опасность таилась именно в численности комитетского поголовья — двадцать пять членов! Среди них наверняка окажется хотя бы один, который носит испепеляющее желание проявить себя любыми способами, не считаясь ни с кем и ни с чем. Хотя бы один... Но скорей всего таких будет больше.

По всей стране идет облава на космополитов. Тому, кто желает проявить себя любыми путями, как упустить удобную жертву, как не крикнуть: «Ату его!»

Несколько человек — скажем, пятеро — прокричат кровожадно охотничье «ату», а два десятка их не поддержат. Два десятка против пяти — явное большинство, это ли не гарантия, что Юлий Искин вне опасности.

Увы, легион не всегда сильнее кучки.

Идет облава по стране, радио и газеты подогревают охотничий азарт. Легко крикнуть: «Ату!», почти невозможно: «Побойтесь бога!» Безопасно гнать дичь, опасно ее спасать.

Если даже один — только один! — начнет травить Искина, остальные будут молчать. «Ату его!» может раздаться над любым.

Положение еще обострялось и тем, что Юлию Искину не могли вынести легкого наказания. Или встреча с Вейсахом и деньги, ему данные,— просто дружеское участие помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, что в общем-то непредосудительно и уж никак не наказуемо. Или же эта встреча — некий акт групповых действий, а деньги — не что иное, как практическая помощь при тайном заговоре. В этом случае партком обязан прекратить обсуждение и передать Искина вместе с его тяжелой виной уже в руки... госбезопасности. Или — или, середины нет.

Что называется, пахло жареным.

Он никогда ни о чем не просил своего старого друга Фадеева, ни разу не прибегал к его высокой помощи. Но или — или, тут уж не до щепетильности.

Он позвонил Фадееву на дом...

Еще не выслушав всего до конца, Фадеев взорвался на том конце провода:

— Да что они с ума сошли! Идиоты! Перестраховщики! Бдительность подменять мнительностью!..— Тут же с ходу он нашел решение: — Иди прямо в райком! А я туда немедленно позвоню.

Это, право же, был простой и верный ход. Глава советских писателей Александр Фадеев не мог вмешиваться в работу партийного комитета: «Прекратите, мол, дурить!» В райкоме же партии непременно прислушаются к слову известного писателя, члена ЦК. Партком полностью подчинен райкому. «Прекратите дурить!» И прекратят. И забудут.

Юлий Маркович в Краснопресненском райкоме был незамедлительно принят одним из секретарей, женщиной средних лет в темно-синем костюме и белой кофточке, с моложавым миловидным лицом, с чистым голубым взором.

Странно, но под этим голубым взором Юлий Маркович сразу почти физически ощутил, что у него семитский изгиб носа, рыжина неславянского оттенка, врожденная

скорбность в складках губ, характерная для разбросанного по планете мессианского племени.

— Вы давно знаете Вейсаха? — участливый вопрос.

— Лет двадцать пять, если не больше.

— И в последнее время тоже были близко знакомы?

— Боле-мене.

— Вы не замечали в его поведении ничего предосудительного?

— Ничего.— Мог ли он ответить иначе.

— Вы были на собрании, когда обсуждали Вейсаха?

— Был.

— Почему же вы тогда не протестовали?

Голубой взор и участливый голос. Юлий Маркович ощущал признаки семитства на своей физиономии. Секретарь райкома глядела на него, он молчал.

— Вашего старого друга осуждали. И вы знали, что он ни в чем не повинен. Так почему же вы не встали и открыто не заявили об этом?

Голубые глаза, прилежно завитые светлые волосы, в миловидном лице терпеливая, почти материнская требовательность: почему?

На собрании тогда кричали: «Позор! Позор!» И он сидел в самом углу, тихо сидел... И после собрания он не осмелился подойти к другу Семену... Оплывшая фигура, свинцовая физиономия, сам собой подмигивающий глаз.

Юлий Маркович ответил сколовшимся голосом:

— Я... Я, наверное, не обладаю достаточным мужеством...

Сокрушенная гримаска в ответ.

И он понял: летит вниз, надо сию же минуту за что-то ухватиться. Он заговорил с раздраженной обидой:

— Послушайте, почему вы не вспоминаете о письме? Без этого письма никто и не подумал бы меня подозревать! Освободите меня сначала от ложных обвинений, а уж потом накажите... за слепоту, за отсутствие бдительности, за трусость, наконец! Со строгостью!..

— Письмо?..— удивилась она.— Ах да, да...— И брезгливо передернула плечиками.— Эта анонимка... Товарищ Искин! Не считаете ли вы, что мы идем на поводу анонимщиков?.. Лично я исхожу сейчас только из фактов, которые вы мне изложили.

Нужно ли вспоминать о прогоревшей спичке, когда уже вспыхнул пожар. Юлий Маркович сидел, уронив голову.

Секретарь райкома встала, ласково протянула ему руку:

— Мы попросим, чтоб товарищи разобрались в вашем деле со всей беспристрастностью.

Он был уже у дверей, когда она его окликнула:

— Товарищ Искин! А между прочим, Александр Александрович Фадеев на том собрании выступал против этого... Вейсаха. Да! И со всей решительностью.

Юлий Маркович в ту минуту был слишком оглушен неудачей, не осознал трагической значительности этой фразы.

Для секретаря райкома с миловидным лицом и голубым взором открылось странное...

Фадеев ходатайствует о защите некоего Искина.

Этот Искин — старый друг осужденного писательской общественностью Вейсаха.

И не только друг... Искин сам признался: не выступил в защиту Вейсаха потому лишь, что не обладал достаточным мужеством. Не только друг, но и единомышленник.

Фадеев вместе со всеми осуждал Вейсаха. Больше того, он возглавлял это осуждение.

И Фадеев защищает единомышленника Вейсаха!

Странно и многозначительно.

Голубоокий секретарь райкома не мог взять на себя ответственность — уличить, осудить, наказать! Слишком гигантская фигура Александр Фадеев, чтоб схватить его белой ручкой за воротник — не дотянешься. И секретарь райкома сделала то, что и следовало в таких случаях делать,— передала на рассмотрение в более высокую инстанцию, в горком партии.

Но и в Московском горкоме не нашлось охотников хватать Фадеева за воротник. Передали дальше, в ЦК.

А в здании на Старой площади, в правом крыле, в отделе культуры — заминочка. Уж кто-кто, а Фадеев-то хорошо известен Самому. Тащить наверх, к Самому?.. Дело-то не очень значительное, никак не срочное, подумаешь, Фадеев защищает какого-то Искина... Спрятать под сукно, забыть — тоже опасно. Литераторы народ скандальный, ревниво следят друг за другом, вдруг кто-нибудь из маститых заявит... Сталин шутить не любит.

И в кулуарах Дома литераторов потянуло сквознячком, зашелестело имя Фадеева. И кой-кто уже мысленно

рисовал себе картину — Союз писателей без Фадеева во главе. А кто — вместо? А кто будет вместо того, кто — вместо? Возможна крупная перестроечка... Слухи, слухи, осторожненькая возня.

А в «Литературной газете» — статья о связи с народом, перечислялись еще раз ранее разоблаченные безродные космополиты, среди них Семен Вейсах... И целый абзац посвящен Юлию Искину — тоже оторвавшийся, тоже безродный.

Каждому ясно: Искин — ничтожная фигура. Бьют Искина, а попадают-то по...

Он — безродный.

Если вдуматься, что за странное обвинение. Каждый человек где-то родился, каждый может указать место на карте: «Я появился на свет здесь!» И при этом нелепо испытывать стыд или гордость, считать — удачно родился или неудачно. Можно рассуждать о том, чем и как отличаются Холмогоры от Симбирска: меньше по населению — больше, дальше от коммуникаций — ближе к ним, культурней — некультурней, но никак нельзя оценить эти два географических пункта в плане родины — мол, предпочтительней в Симбирске, чем в Холмогорах, одно лучше, другое хуже. И уж совсем нелепо оценивать человека по месту рождения: мол, имеет достойную родину, а потому и сам достоин уважения, и наоборот.

Он, Юлий Маркович Искин,— безродный!..

Да нет же! Он родился в самом центре России — в Москве! Так уж случилось, тут нет его личной заслуги. Он всю жизнь провел в этом городе, помнит Охотный ряд с бабами-пирожницами, сидящими на морозе на горшках с углями, помнит и Красную площадь без Мавзолея, и Садовое кольцо, когда оно действительно было садовым.

И все-таки безродный!

Но почему бы тогда не называть безродным великого Сталина? Право же, родился в Грузии, с юности живет в России, чаще говорит по-русски, чем по-грузински, а не столь давно на весь мир заявил: русская нация «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», русский народ — «руководящий народ». Выходит, предпочел чужую нацию своей, чужой народ своему кровному — космополитический акт, безродный по духу.

И Сталина славят за эту безродность.

А Юлия Искина клянут: не имеешь права считать своей родиной Москву, всю Россию!

Неудачно родился, не там, где следует.

А где?..

Если можно отнять жизнь, отнять свободу, то почему нельзя отнять у человека родину?..

Быть может, впервые в жизни Юлий Маркович бунтовал про себя, тихо, тайком, закрывшись один в кабинете, боясь поделиться своим бунтарством даже с женой.

В самом начале тридцатых годов мимо него прошла коллективизация — не бунтовал, даже восхищался: «Революция сверху!»

В тридцать седьмом уже не восхищался. «Господи! Киршона арестовали!..» Но смиренно жил, добропорядочно думал, не доходил в мыслях до бунта.

Тихий, тихий бунт в одиночку, когда сам себе становишься страшен.

Раздался телефонный звонок. Юлий Маркович почувствовал, как на ладонях выступил пот, бунтующие мысли легкой стаей, все до единой, выпорхнули вон из головы, осторожно снял трубку.

— Я вас слушаю.

Тишина, слышно только чье-то тяжелое дыхание.

— Я вас слушаю.

И сдавленный кашель, и слежавшийся голос:

— Это я... Выйди на улицу. Сейчас. Очень нужно.

Щелчок, короткие гудки — трубку повесили.

Юлия Марковича вдруг без перехода опалила злоба: это *он*! И он еще смеет звонить! Ему еще нужны тайные свидания под покровом темноты! Ему мало, что из-за него он, Юлий Искин, попал в петлю! Оставь хоть сейчас-то в покое! Нет!.. «Выйди, очень нужно».

И тем не менее Юлий Маркович, кипя внутри, поднялся из-за стола, пошел к вешалке.

В кухне друг против друга сидели Клавдия и Раиса, на столе перед ними стоял чайник, лежал батон белого хлеба. Пьют чай, о чем-то беседуют. Им тепло, им уютно — чай с сахаром, белый хлеб с маслом. Беседуют... О чем?

В зеркале у вешалки отразилось его лицо, зеленое, перекошенное, с беспокойными неискренними глазами. Страдая, что его видят из кухни, натянул пальто, надел шапку...

Большая Бронная, задворки Тверского бульвара, была тускло освещена и пустынна. За смутными нагромождениями домов слышался приглушенный шум моторов, перекличка машин. На празднично освещенной площади Пушкина, на улице Горького все еще бурлила вечерняя жизнь столицы.

Метнувшейся тенью пересекла вымершую мостовую кошка...

Он появился неожиданно, словно родился из каменной стены: облаченный в просторный плащ, с головой, втянутой в широкие плечи, походка ощупью, словно шагает по скользкому льду.

Юлий Маркович запустил поглубже руки в карманы, вскинул повыше голову, расправил грудь, приготовился встретить: «Ты заразен! Не хочу играть с тобой в конспираторы!»

Вейсах приблизился — свистящее астматическое дыхание, навешенный лоб, отвалившаяся лошадиная губа. Юлий Маркович не успел открыть рот.

— Ты!..— свистящий в лицо шепот.— Ты негодяй!.. Знаешь, в каком я положении, и треплешь всюду мое имя! Обо мне снова вспомнили, за меня снова взялись!

И у Юлия Марковича потемнело в глазах:

— Я?! Я — негодяй?!. А ты? Ты — прокаженный! Ты бы должен тихо сидеть!.. Лез за сочувствием!.. По твоей милости...

— Я — никого, ни одного имени, а ты?.. Ты сразу на блюдечке...

— Кто — кого на блюдечке или в завернутом виде!

— Не смей!

— Смею.

— Ты провокатор!

— Ты подсадная утка!

На обочине пустынной улицы, друг против друга, охваченные общим ужасом, бессильной ненавистью.

В стороне послышался торопливый стук каблучков по асфальту. Они сразу замолчали. Прошла женщина, стихли в глубине улицы ее шаги. Они продолжали неловко молчать.

Наконец первым, дрогнув губой, со всхлипом произнес Семен:

— За мной, кажется, скоро придут.

— Теперь неизвестно, за кем раньше.

— Юлик, извини... Я просто не нахожу себе места.

— Нам не надо делать новых глупостей, Семен.

— Да, да, не надо... Я пошел.

— До свидания, Сеня.

Только и всего. Ненависть выгнала их навстречу друг другу, обоюдная жалость вновь их разъединила.

Время от времени Фадеев отказывался нести бремя власти.

Ибо кто, кроме царя, может считать себя несчастным от потери царства? — сказал некогда Блез Паскаль, подразумевая, что, помимо высокого несчастья, царь не избавлен и от обычных человеческих несчастий, может, как все, страдать от несварения желудка и камней в почках, как все, горевать об утрате близких. Так сказать, царь более несчастное существо, чем его подданный. А еще проще — высокопоставленному живется труднее.

И в самые трудные моменты, когда события перепутывались в тугой узел, когда высокие обязанности начинали противоречить совести, когда черное нужно было принимать за белое, а белое за черное, Александр Фадеев делал вдруг — должно быть, неожиданный сам для себя — нырок... на дно. Исчезал из предопределенной ему жизни.

Его ждал загруженный день. С утра он хотел усадить себя за стол. Он все еще жил надсадной надеждой, что наткнется на что-то такое, откроет сокровенное, удивит мир силой своего таланта. Он сыт был славой, нужно самопризнание.

К двенадцати дня он должен быть в Правлении Союза. В час он принимал у себя известного латиноамериканского писателя. В три — совещание секретариата: отчет комиссии по литературам братских республик, обсуждение кандидатур, выдвинутых на Сталинскую премию, вопрос о возобновлении издания очеркового альманаха, основанного еще Горьким, прекратившего с войной свое существование. В шесть часов он должен быть в ЦК в Отделе культуры — звонили вчера вечером, договорились о встрече: «Нужно утрясти один вопросик». В ЦК его вызывали часто, этому звонку он не придавал особого значения.

Как всегда, усевшись за стол, он принялся ворошить газеты. В «Литературке» сразу же наткнулся на статью, где целым абзацем разоблачался Юлий Искин...

Сразу стало ясно, почему в последние дни он часто перехватывал испытующие взгляды, почему при его приближении наступало молчание... И вчерашний звонок из ЦК: «Утрясти вопросик...» — наигранно небрежным голосом...

Не впервой с некоторым опозданием он открывал для себя притаившееся, тесно сплоченное недоброжелательство тех, кто всегда преданно смотрит ему в рот. И каждый раз это вызывало не возмущение, не гнев, а тягостную безнадежность.

Что, собственно, стоит его шумный успех? Что стоят неумеренные восторги по роману «Молодая гвардия» — скоропалительной библии послевоенных лет! — который он написал по заказу, против своего желания, вначале стыдился, потом уверовал: если принимает народ, то в самом деле, должно быть, хорош. И что стоят его выступления на многочисленных собраниях, когда он говорит не то, что чувствует, а то, что от него ждут. Он поступает не так, как считает нужным,— приспосабливается. Не хозяин положения, не хозяин себе, и все, что он делает, завтра будет погребено под новым наслоением столь же незначительных дел. Он временщик и творит временное.

И, как всегда, от мутной безнадежности потянуло куда-то, к кому-то, нет, не к тем, кто способен помочь — этого никто не может,— способен понять.

И он заторопился, заранее страдая от того, что могут окликнуть, задержать, что на лестнице, возможно, встретятся знакомые, придется здороваться, говорить о пустяках и прятать, прятать голодное выражение лица.

Дощатые забегаловки и пивные ларьки, где продавали водку в розлив, открывались поздно, и алчущие сбивались к гастрономическим магазинам. Рыхлые, с темными воспаленными физиономиями, с ухватками службистов — деловитые завсегдатаи-алкаши; не завсегдатаи — просто желающие «поправиться», болезненно зябнущие после вчерашнего перепоя; свихнувшиеся папаши хороших семейств, прячущие в поднятые воротники пальто истомленно-брезгливые лица; рабочие, еще не ставшие подонками; подонки, еще не свалившиеся под свой последний забор,— разнообразен состав тех, кто не может начать день грядущий без ста пятидесяти

граммов. Среди них бывали люди, которыми гордится Россия.

Навстречу Фадееву сразу же качнулся мужчина в расхлюстанном без пуговиц полупальто, с физиономией, состоящей из мешочков, складочек и ржавой щетины.

— Башашкиным будешь?

Башашкин — недавно вошедший в известность футболист, т р е т и й номер в защите. И член ЦК, глава советских писателей Александр Фадеев согласился стать «Башашкиным». Раньше Фадеева к ржавомордому примкнул парень-рабочий с волевой челюстью и виновато увиливающими от прямого взгляда зрачками, начинающий алкоголик, еще сохранивший пока способность стыдиться самого себя.

Через пять минут они сидели на скамейке в истоптанном скверике, истово делили водку из зеленой поллитровки в граненый стакан, заблаговременно припасенный ржавомордым. Стакан был один, пили по очереди:

— Будьте здоровы!

От всего сердца, почти влюбленно.

Фадеев сразу же послал за второй бутылкой. И, опрокинув по второй, он заговорил, что жизнь становится «сквозно бессовестной». Говорил Фадеев с фадеевской искренней силой, которая пьянила самых трезвых, искушенных делала сентиментальными. Два случайных алкоголика — старый и молодой — слушали его, не понимали, но верили каждому звуку. Молодой не выдержал и воскликнул:

— Мать честна! Живешь среди свиней да вдруг наскочишь — какие люди бывают на свете!

Этого полупьяного признания было достаточно,— Фадеев поднялся и потребовал:

— Пошли!

Они продолжали в грязном, дымном ресторане Павелецкого вокзала. Там свалился старый алкаш и вместо него подхвачен какой-то командированный. И уже кончились возвышенные речи, были только излияния:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Его любили и уважали здесь не за то, что знаменитый писатель, высокопоставленное лицо, просто так — «за натуру».

А в Правлении Союза легкий переполох: латиноамериканца должен принимать кто-то другой. И обзванивали

членов секретариата: «Александр Александрович болен. Александр Александрович сегодня не может присутствовать. И завтра навряд ли...»

У Павелецкого вокзала они взяли такси и поехали за город, в Переделкино.

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Латиноамериканский писатель счел своим долгом вежливо осведомиться: какая болезнь свалила господина Фадеева? Ему любезно и скупо ответили: «Сердечная недостаточность». Совещание секретариата решили не откладывать. Жизнь продолжала течь по своему руслу.

А Фадеев выбросился из этой мутной реки на счастливый остров:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Так могло тянуться несколько дней, недель, целый месяц — в сплошном угаре любви и уважения.

Рано ли, поздно угар проходит, надо снова окунаться в мутный поток неоскудевающей жизни, обессиленно отдаваться течению.

И телефонный звонок из Отдела культуры ЦК партии уже сторожил его:

— Александр Александрович, тут нужно бы уяснить нам с вами... Не выберете ли время?..

В высшем органе партии сидят вовсе не враждебные Фадееву люди. Фадеева дискредитирует сейчас малое — странное заступничество за Искина. Всем известно, что Искин друг и единомышленник Вейсаха, Вейсах осужден самим Фадеевым, так в чем же дело?..

— Александр Александрович, вы должны отмежеваться... и решительно!

А если он этого не захочет?!

Снова беги и выбрасывайся на счастливый берег?

Все равно рано или поздно приплывешь к тому же месту, откуда выбрасывался. Ты человек государственный, сам себе не принадлежишь.

Под дубовыми сводами тесного зала вновь собрались литераторы Москвы, прославленные и безвестные, пережившие самих себя и еще совсем незрелая мелкота, вроде нас, студентов литинститута, сумевших просочиться в этот высокий ареопаг.

Фадеев сидел на председательском месте, во главе президиума, расправив широкие плечи, с высоко поднятой головой — величественный без спесивости, суровый без насупленности — вождь, не утративший демократической простоты. Мягкая седина, обрамлявшая красивый лоб, оттенялась строгим мраком парадного костюма, застенчиво искрилась блестка лауреатской медали на лацкане.

А собрание шло, как всегда,— возбужденно до неистовости. Выступающие потрясали кулаками над трибуной, а из зала неслись вопли: «Позор! Позор!!»

И по обычаю требовали — на трибуну! На лобное место! Чтобы лицезреть! Чтоб наслаждаться! Юлий Искин, сутулящийся под тяжестью головы, с несолидным носом ястребенка, еще не созревшего до хищника, мертвенно-бледный, вызвал у зала брезгливую жалость и чувство победности.

— Позор! Позор!!

Со всей благородной неистовостью.

Мой отец неукротимо верил в лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Всех стран, всех наций! И над моей кроватью когда-то висел плакат — негр, китаец и европеец под красным знаменем. И в моей школьной хрестоматии была тогда помещена «Гренада», поэма Михаила Светлова, который сейчас находится где-то здесь рядом, в ресторане, а может, даже и в самом зале.

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

В наших северных лесах как-то не водились евреи, мне чаще приходилось о них слышать, а не видеть, как о неграх, как о китайских кули, как и об испанцах... Я любил далеких евреев наряду с неграми. Позднее я столкнулся с ними и немного разочаровался — слишком уж обычны, не лучше меня, не несчастнее.

Что такое космополитизм?

И что такое интернационализм?

Как бы ответил на эти вопросы мой отец?

Отца нет — погиб на фронте, спросить не могу.

— По-зор! По-зор!!

Я не кричал вместе со всеми. Что-то меня останавливало.

Зал притих, когда Фадеев двинулся к трибуне. Что скажет? Как объяснит свою попытку спасти растленного космополита Искина?

Фадеев разложил на трибуне бумаги, нацепил очки стал профессорски строг.

— Товарищи!..

Зал притих, зал внимал.

— Идеологическая диверсия... Люди без роду, без племени — готовый материал для диверсантов... Учиться бдительности... Никто не гарантирован от благодушествования... Должен открыто сознаться... Искин! Один из первых комсомольцев, рабкор, вспоенный и вскормленный... Где и когда ты, Юлий Искин, продал родину?..

Зал аплодировал, зал воодушевленно вопил:

— Позор! Позор!!

На Тверском бульваре стояли синие сумерки, еще не зажглись фонари. Под ногами шуршал палый лист, и пахло почему-то мякинной пресностью давно сжатых полей. Бабье лето так затянулось, оно так устойчиво прекрасно, что становится даже не по себе — уж не перед страшным ли судом отпущена эта благодать в таком излишке?

Все ребята разбрелись кто куда. Те, у кого были хоть какие-то деньги, остались в ярко освещенном, шумном ресторане Дома литераторов. У кого в Москве были знакомые, укатили в гости. В нашем студенческом подвале сейчас пусто, пованивает плесенью и лежалым бельем, как в каптерке ротного старшины.

Парочки по-весеннему целуются на скамейках. Я выбрал скамейку, свободную от парочек, и уселся. Шаркая подошвами по палым листьям, двигались бесконечные прохожие. Вспыхнули фонари — матовые луны по ранжиру среди голых ветвей.

Рядом со мной опустился человек в кепке с длинным твердым козырьком, с узким лицом и ломко хрящеватым носом. И я сразу узнал его — тот самый пророк прохожий, который рассуждал с нами о классовой ненависти. Я обрадовался: худо быть одному в населенном бульваре, где целуются парочки.

— Вы не помните меня?

Он не спеша, с достоинством повернул в мою сторону свой угловатый нос под твердым, агрессивно выпирающим козырьком, сказал:

— Так ли уж важно — помню ли я, помните вы. Вам хочется услышать человеческий голос, мне — тоже. Поговорим.

— Хороший вечер, господин непомнящий.

— Вам хочется что-то спросить меня. Не стесняйтесь.

И я спросил:

— Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?

Он ответил почти любезно:

— Должно быть, тем же, чем голова от башки.

— Почему же тогда космополитизм осуждается?

— Действительно — почему? Белинский называл себя космополитом, и Маркс... Люди, пользующиеся у нас уважением.

— Ну, а сионисты, эта организация... Они не выдуманы, они на самом деле есть?

— Если были немецкие националисты, если есть русские, то почему бы не быть еврейским?

— Как-то вы всех в одну кучу.

— Несхожи?

— Нет.

— Комнатная болонка тоже не похожа на дога, но суть-то у них одна — собачья.

— Одна суть у немецких фашистов и у сионистов?

— И у наших русопятов тоже. Не выгораживайте. Все одной собачьей породы, только возможности разные. Если б сионисты были столь же крупны и зубасты, как германские нацисты, наверняка стали бы так же опасны для мира.

— Мы крупны... Мы, наверное, и зубасты...— произнес я, чувствуя, как подымается во мне враждебность к этому бесцеремонному человеку.

— То-то и оно,— не моргнув глазом, согласился незнакомец.— Известный ученый Лоренц как-то сказал: «Я счастлив, что принадлежу к нации, слишком маленькой для того, чтобы совершать большие глупости». Он был голландцем, ну а мы с вами — русские. Нас двести миллионов.

— Вы стыдитесь, что вы русский? — спросил я.

Он сидел, распрямившись, тощий, со взведенными хрупкими плечиками,— узкое лицо, скривленный нос, остро врезающийся в густую тень под козырьком, надежно укрытые глаза.

— Нет,— сказал он наконец.— Но боюсь... Боюсь, как бы не пришлось стыдиться.— Помолчал, ощупывая меня из мрака настороженным под козырьком взглядом, добавил: — Молодой человек, разве вы не видите, что на это есть основания.

Почуяв в доме беду, заплакала в соседней комнате Дашенька. Дина Лазаревна оставила Юлия Марковича одного.

В кухне, как всегда по вечерам, сидели Клавдия с Раисой друг против друга за чайником, за початым батоном.

Тихо...

Стряслось непонятное. Сорок семь лет прожил на свете Юлий Маркович, мимо него прошли тысячи людей, знаменитых и безвестных, талантливых и заурядных. Самым ярким из этих тысяч, самым достойным был Саша Фадеев. Сколько раз глядел на него со стороны и удивлялся: умен, талантлив, открыт душой, даже внешность его какая-то триумфальная, в ней — мужество, в ней — сила, в ней — простота, бывают же такие! Юлий Маркович как одним из самых больших достижений своей жизни гордился, что в числе первых разглядел Фадеева. И этот лучший из людей сегодня на глазах всех, без жалости, не терзаясь совестью... И ложь, ложь, грубая, наглая, бесстыдная! «Вспоенный, вскормленный, продал родину!..» Лучший из людей! Противоестественно! Безобразное чудо! Не хочется жить.

Зазвонил на столе телефон. Опять Вейсах?.. Ах, все равно, все равно! Он не станет ругаться с Семёном. И встречаться с ним тоже не станет. Зачем?..

— Я слушаю.

— Юлий... Выйди, пожалуйста... К памятнику Пушкина.

Щелчок. Трубку положили. Набегающие друг на друга гудки.

Не Вейсах, другой голос. И Юлий Маркович запоздало узнал — перехватило дыхание.

Голос Фадеева звал его.

Шли мимо прохожие. И один из прохожих в потасканном пальтишке, в кепке с длинным козырьком сидел передо мной.

Я переспросил его:

— Как бы не пришлось стыдиться?.. Чего?

— Того же, чего стыдится сейчас любой честный немец: газовых камер, рвов, набитых расстрелянными детьми, мыла, сваренного из человеческих трупов.

— Гитлер же со своей сволочью повинен, не нация. Отделяйте одно от другого,— сердито сказал я.

— Гитлеры-то, молодой человек, появляются не по божьей воле, их творит нация.

— Виновата нация, что Гитлер?..

— Да.

— Вся немецкая нация, весь немецкий народ?

— «Немцы — высшая раса»! И немцев от этого не стошнило, нравилось! Если вырастает вождь-убийца, значит, есть и питательная среда.

— Вы против народа?

— Народ свят и безгрешен? Ой нет, народ — всякое! Выплескивает из себя и светлое и мутное.

Шли мимо нас занятые собой прохожие.

Я глухо потребовал:

— Ну, дальше.

— Разве не все сказано?

— А разве только ради немцев вы вспомнили мертвого Гитлера?

Под твердым козырьком, словно зыбкая луна в омуте, поблескивал глубоко упрятанный глаз. Незнакомец приподнял вверх свою костлявую руку, словно держал в ней хрупкий бокал, заговорил с грузинским акцентом:

— «Я подымаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и... терпение». Не правда ли, подкупающая лесть: «И терпение...»

— Передергиваете, господин хороший,— возмутился я.— Разве свою нацию хвалит этот человек?

— Национализм не проявление родословных симпатий, молодой человек, а политика. И не забывайте, что Гитлер совсем не походил на классического арийца — белокурую бестию. Выкресты были наиболее злобными антисемитами. Почему бы грузину не стать великоросским шовинистом, когда это выгодно.

— Чем ему выгодно? Чем?!

— Твоя нация превыше всего, твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая.

— Она выгодна Сталину?

— Она выгодна недоумкам, у которых нет ничего за душой. Она выгодна всем обиженным и обойденным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтоб вырвать себе благополучие. Какой политик отказывался от силы?..— Незнакомец сделал паузу и с улыбочкой добавил: — Тем более, что лозунг времен революции «Бей буржуев! Грабь награбленное!» сейчас стал не безопасен. «Бей жидов, спасай Россию» — надежней.

Я поднялся. Передо мной сидел тощий человек с костлявым лицом и немощными руками.

Шли мимо нас равнодушные прохожие.

Он сидел и бледненько улыбался. С этой невнятной улыбочкой он оплевал сейчас все — мою родину, ее великого руководителя, революционные лозунги, за которые воевал и погиб мой отец. Я прошел сквозь жестокие испытания. Я видел, как во время коллективизации выселяли мужицкие семьи — баб, детишек, стариков. Видел, как в пристанционном березнячке умирали от голода такие высланные, я помню, как по ночам исчезали соседи по дому... Видел и страдал, и недоумевал, но я выдержал, не треснул — верен родине, верен отцовским лозунгам! А этот тип рассчитывает — расколоть меня словом!

Бледненько улыбался пожилой человек на скамейке. Шли мимо прохожие.

— Уходи! — сказал я ему.

Я боялся, что он не послушается, не двинется с места, будет глядеть и улыбаться своей бледной, презрительной улыбочкой. И тогда мне придется его бить. Его, старого, жалкого, с шеей, похожей на петушиную лапу. Я возвышался над ним во всем величии своих двадцати пяти лет, чувствуя тяжесть разведенных плеч, налитость опущенных рук. Эх, если б не так стар и тощ был противник моего отечества!

— Ты слышишь?.. Проваливай!

Он понял и покорно встал, долговязый, в обвисшем пальто, под твердым козырьком зыбкий блеск упрятанных глаз. Он отвернулся, шагнул и остановился, задрал твердый козырек к фонарю.

— С кем?.. Кто?.. Кто живой?.. Пустыня! — сквозь стиснутые зубы скулящим стоном.

Я стоял праведным монументом.

Он толкнул себя с места, сутуля узкую спину, волоча ноги, двинулся прочь.

Шли прохожие.

Жив ли ты? Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец. Время заставило меня поумнеть. Теперь я сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются. Пытаюсь... И часто — ох, как часто! — меня не понимают даже самые близкие. И хочется скулить на фонари: «С кем?.. Кто живой?.. Пустыня вокруг!»

Прости меня.

Шли прохожие. Одни — от меня, в глубь вечернего города. Другие — навстречу, чтобы миновать меня и тоже исчезнуть в городской суетливой пучине. Возникают и исчезают, возникают и исчезают — прохожие, не замечающие моего существования.

Внезапно я вздрогнул: на меня двигалась пара...

Высокий человек в белом пыльнике, натянутом поверх темного костюма, как халат хирурга, в пролетарской кепочке на голове. А рядом с ним, парадно рослым,— невысокий, со скособоченными плечиками, из-под шляпы торчит гнутый, не вызревший до хищности нос.

Я не верил своим глазам: на меня рука об руку шли Фадеев и этот... Искин. Судья и преступник — вместе. Праведность и порок — плечо в плечо, в мирной беседе, среди гуляющей публики.

Они прошли мимо меня, совсем рядом. Мимо меня, увлеченные друг другом. До чего же странен мир!..

Сильная рука бережно держала Юлия Марковича за локоть. Знакомо ощущение этой дружеской руки. Лет двадцать тому назад они вот так же бродили ночами по

московским бульварам, говорили о мировой революции, о жертвенности во имя ее. И цокали тогда по булыжнику подковы извозчичьих лошадей, и тенорами кричали лотошники, предлагая нехитрый товар: «Карамель из Парижа — «Нотр-Дам» для ваших дам! Леденчики — для младенчиков!»

Иные времена, иные речи, иной голос у Саши Фадеева, только рука на локте прежняя.

— Ты думаешь, Юлька, я шкуру свою хотел спасти, свой петушиный насест! Нет, не испугался бы встать перед всеми и сказать: очнитесь! Какой к черту космополит Юлька Искин! И ты ведь представляешь вопль вселенский, представляешь ярость. Добро бы, против меня, но ведь и против тебя, Юлька. В первую очередь против тебя! Троекратная, десятикратная ярость! Вспыхнул бы ты на ней, как мотылек в пламени. Поэтому и не встал грудью, что бесполезно. Лишнее масло лить в огонь.

— Это же страшно, Саша! Неправда, выходит, непобедима.

— Неправда, Юлька?.. Мы, видно, плохо еще представляем, какой пожар мы запалили. Пожар, уничтожающий дикий лес, чтоб вместо дикорастущих росли полезные злаки. В сжигающем нас огне, Юлька, — глубинная правда!

— Но почему нам гореть вместе с дикорастущими? Мы же этот пожар подпаливали. Он, выходит, уже не наш, неуправляем?

— А ты считаешь, что пожар должен служить нам и только нам? Да какое основание тебе, мне, кому-либо другому считать эту полыхающую революцию своей собственностью? Мол, пусть обжигает другого, а меня минует. Пусть Есенина, Маяковского, пусть Бабеля, гори они ярким пламенем, только не я.

— Революция выжигает своих!

— А вот в этом, Юлька, можно посомневаться.

— Саша, ты считаешь: я враг революции?

— Нет. Но и Есенин, и Бабель врагами революции не были, а были ли они ей своими? Сомнительно.

— Саша! Это бесчеловечно!

— А к нам, Юлька, наверное, человеческие мерки неприменимы.

— Как так?!

— Мы не люди, Юлька, мы солдаты, по трупам которых идут к победе. Люди будут жить после нас.

— После меня, Саша, будет жить моя дочь. Ей сейчас всего десять лет, но по ней уже шагают — дочь безродного космополита, сама безродная.

Фадеев не ответил.

Они дошли до памятника Тимирязеву, безобразного каменного столба, заканчивающего Тверской бульвар. Фадеев остановился, запустил кулаки в карманы пыльника — натянутая на лоб кепчонка, сведенные челюсти.

— Юлька...— произнес он,— ты, наверное, думаешь, что я подлец, коль так легко говорю о жертвах... Сам в благополучии, в славе, в почете. Да, в славе, да, в почете! А все равно — жду, жду... огня под собой. Знаю: придет и мой черед. Даже чувствую — он близок.

— Я б хотел, Саша, чтоб с тобой такого не случилось,— сказал Юлий Маркович.

И снова Фадеев промолчал, сжимал в карманах кулаки и глядел вдаль через узкую площадь в смутные кущи Гоголевского бульвара — сведенные челюсти, натянутая кепчонка.

— Юлька... тебе, может, деньги понадобятся... Юлька, помни, я по-прежнему твой, несмотря ни на что.

— Спасибо,— обронил Юлий Маркович.

У Фадеева был неуверенный голос, и Юлий Маркович понял, что с этого вечера он свой Саше Фадееву только в темноте, только по ночам, при свете дня — они чужие. Понимал это и все-таки был благодарен за сочувствие.

Мы собирались спать. На этот раз спор на сон грядущий что-то не разгорелся в нашем подвале. Затронули Редьярда Киплинга:

Пыль! Пыль! Пыль от шагающих сапог!
И отдыха нет на войне сол-да-ту!

Но большинство знало Киплинга только по детским изданиям «Маугли». Не хватало дров для большого огня.

Посапывал в своем углу Тихий Гришка, горел свет под потолком. Кто-то должен встать, пробежать босиком по цементному полу до двери и щелкнуть выключателем. Кто-то... Каждый из нас подвижнически выжидал, что это сделает его сосед.

Неожиданно раздался громкий, требовательный стук в дверь. Никто не успел подать голоса, дверь резко распахнулась, показалась дремучая борода нашего дворни-

ка. Дворник посторонился, и один за другим с бодрой, даже несколько заносчивой решительностью вошли незнакомые люди — трое похожих друг на друга, как братья, в синих плащах и новеньких серых фуражках, четвертый военный с погонами майора.

— Ваши документы! — чеканный голос над моей головой.

Под серой плотно надетой фуражкой настороженные глаза, лицо молодое и по-деревенски обычное, с крутыми салазками, с твердыми обветренными скулами.

— Ваши документы! — столь же чеканно, но уже не мне, а моему соседу.

Испытывая острую беспомощную неловкость — неодетый перед одетым! — я с покорной поспешностью лезу из-под одеяла, тянусь к висящей на стуле одежде, суетливо в ней роюсь — нужен, наверное, паспорт, куда же я его сунул?

— Ваши документы!.. Ваши!..— Возле других коек.

Мой скуластенький терпеливо ждет. Но столько, оказывается, карманов в моей одежке! Путаюсь, попадаю трижды в один и тот же карман, не могу разыскать паспорта.

Неожиданно настороженность под козырьком серой фуражки погасла, скуластый заинтересованно повернулся в сторону.

Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги:

— Вы арестованы!

Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подсунутую к его лицу бумагу.

— Оружие есть?

Эмка бормочет каким-то булькающим голосом:

— Что же это?.. За что?.. Товарищи...

— Оружие есть?

— За что?.. Что же это?.. То-ва-рищи!..

— Одевайтесь.Собирайте свои вещи!

Эмка покорно выползает наружу, путается в брюках, еще не успев их как следует надеть, начинает выгребать из-под койки грязное белье, неумело его сворачивает. То самое белье, которое он раз в году возил стирать в Киев к своей маме.

— Да что же это?.. Я, кажется, ничего...

На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем.

Эмка натягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает на голову буденовку. С потным, сведенным в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:

— А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...

Он действительно вот уже целый месяц таскал всюду «Капитал» вместе с томиком стихов Блока, кричал, что глава о стоимости написана гениальным поэтом.

От неуместного признания лица гостей чуточку твердеют, что должно означать: пора! Один из штатских вежливо трогает Эмку за суконное плечо:

— Идемте.

— Можно я прощусь?

— Пожалуйста.

Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям:

— Владик, до свидания. Сашуня... Володя...

Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку.

Фонарь с улицы светил в окно, освещал корешки книг на полке и большой медный барометр. Потайной шелестящий шепот в темноте:

— Дина, в случае чего ты не береги книги, ты продавай их. На книги можно прожить, Дина. Ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

— Дина, ты что?.. Ты плачешь, Дина... Не надо. Ведь ничего еще не случилось, может, ничего и не случится. Я просто на всякий случай. Дина, ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

Свет фонаря падал с улицы, на стене поблескивал большой медный барометр, упрямо показывающий «ясно».

Звонкая пустота заполнила наш подвал, набитый койками. Лампочка под потолком, казалось, стала светить яростнее.

Я все еще ощущал на щеке влажный Эмкин поцелуй. Как два куска в горле, застряли во мне два чувства: щемящая жалость к Эмке и замораживающая настороженность к нему. Нелепый, беспомощный, такого — в тюрьму: пропадет. А что если он лишь с виду прост и неуклюж?.. Что если это гениальный актер?.. Не с Иудой ли Искариотом я только что нежно обнимался? Влажный поцелуй на щеке...

— А я что говорил! — подал голос проснувшийся в своем углу во время ареста Тихий Гришка.— Талант — она штука опасная!

Кто-то равнодушно, без злобы ему бросил:

— Ты дурак.

— Я дурак, дурак, но ду-ра-ак! — напевное торжество в голосе Тихого Гришки.

Кажется, Владик Бахнов первый произнес короткий, как междометие, вопрос:

— Кто?..

Все перестали шевелиться, перестали смотреть друг на друга, молчали. Кто-то донес на Эмку. Кто-то из нас... Кто?

Яростно светила лампочка под потолком.

Юлия Марковича Искина арестовали в ту же ночь, только позже, часа в четыре. Звонок в дверь — трое в штатском, один в военном...

На следующий день нас удивил Вася Малов. Узнав об аресте Эмки Манделя, он побледнел и задышал зрачками:

— Вчера?.. Манделя?.. Эмку Манделя!..

И вдруг впал в неистовое бешенство:

— Кто эт-та сволочь?! Кто настучал?! Талант продали, гады!!.

Вася Малов, человек с поврежденными немецким осколком мозгами, Вася Малов — гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делясь, страдальчески любил стихи Эмки.

Вася Малов умер сразу же после окончания института. От старой раны в голову. Умер в одиночестве, всеми забытый, окруженный ненавистью соседей по комму-

нальной квартире, которых он пугал своей дикой вспыльчивостью.

Александр Фадеев застрелился днем 13 мая 1956 года на своей даче в Переделкине. Сынишка вбежал наверх, чтобы позвать отца обедать, и увидел его лежащим на диване. И лужа крови на полу. И пистолет рядом на столике.

Примчался черный «ЗИС», товарищи в штатском, молодые энергичные люди, явились на место происшествия. В качестве понятых приглашены были соседи Фадеева, известные писатели, кажется Федин и Всеволод Иванов. Они-то позднее и рассказали, как один из приезжих товарищей поднял со столика письмо, лежавшее рядом с пистолетом, вслух прочитал на конверте: «В ЦК КПСС»... и опустил в карман. Никто этого письма больше не видел. Что в нем, миру неведомо.

Но какой-то ответ Фадеев на него получил.

Через два дня в газетах было опубликовано: «Центральный Комитет КПСС с прискорбием извещает...» И к этому «прискорбному извещению» было приложено так называемое *«Медицинское заключение о болезни и смерти товарища Фадеева Александра Александровича».*

Документ этот краток и выразительно откровенен:

А. А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголзмом. За последние три года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени. Он неоднократно лечился в больнице и санатории (в 1954 году — 4 месяца, в 1955 году — $5^1/_2$ месяцев и в 1956 году — $2^1/_2$ месяца).

13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством.

Доктор медицинских наук, профессор
Стрельчук И. В.
Кандидат медицинских наук Геращенко И. В.
Доктор — Оксентович К. Л.
Начальник Четвертого управления Минздрава СССР
Марков А. М.

14 мая 1956 г.

Итак, Фадеев — алкоголик, запойный пьяница, в «очередном приступе недуга», то есть по пьянке, покончил с собой.

Был ли еще такой случай в истории, чтоб официальное сообщение провозглашало: причина смерти достойного человека — пьянство? Наши же официальные сообщения никогда не грешили неосмотрительной откровенностью. Конечно, не некие Стрельчук, Геращенко, Оксентович на свой страх и риск дозволили широковещательно оскорбительный попрек в пьянстве лежащему в гробу Фадееву.

Накануне Фадеев весь вечер просидел у Юрия Либединского, пил чай, был угнетен, говорил лишь на одну тему. Какая трагическая судьба у писателей в России — Пушкин и Лермонтов, Есенин и Маяковский, Бабель и Мандельштам... И многих из тех, кто умер в постели, можно считать тоже убитыми. Фадеев называл Бориса Горбатова — умер от инфаркта, но перед этим у него посадили отца, жену, сам он ждал с минуты на минуту звонка в дверь.

Юрий Либединский написал об этом разговоре статью, разумеется, она так и не увидела свет.

Нет, трезвой рукой направил на себя пистолет Александр Фадеев. И все-таки открытым текстом: «страдал тяжелым... алкоголизмом», перечислено даже, когда именно лечился... Зачем? С какой стати?.. Ответ один — письмо! За пять минут до смерти Фадеев взбунтовался.

Но как-никак бунт-то пятиминутный, нельзя же за эти пять непокорных минут перечеркнуть всю добропорядочную жизнь Александра Фадеева: напротив, следовало показать — верный, преданный, послушный сын, достойный скорби. И гроб с телом Фадеева устанавливается в Колонном зале Дома союзов, к нему открыт доступ трудящимся для прощания. На этом месте трудящиеся прощались с Лениным, прощались со Сталиным. Редчайшие покойники удостаиваются такой чести. Из Колонного зала обычно один путь — на Красную площадь, если не в сам Мавзолей, то уж рядышком — под Кремлевскую стену. Обычай нарушен — обозвав алкоголиком, оказав редкий почет, Фадеева везут хоронить на Новодевичье кладбище, где обычно и хоронят писателей такого ранга. Инцидент исчерпан — квиты.

В тот год началась широкая реабилитация политических заключенных. Без оркестров, без митингов, без цве-

тов, тихо, скромно, потаенно встречала Москва тех, кого в тридцать седьмом и сорок восьмом она отправляла в Анинск, на Колыму, в Воркуту.

А неподалеку от Лубянки в общественной уборной бывшие службисты Берии запирались в кабинках, доставали пистолеты, умирали над унитазами. Они верили — за страшные дела их ждет страшное возмездие. Палачи тоже могут быть сентиментально наивными.

В тот год вернулся в Москву и Эмка Мандель. Через восемь лет после ареста. Он скоро стал поэтом Коржавиным. И Краткая Литературная Энциклопедия приняла его в свои объятия:

> КОРЖАВИН Н. (псевд.; наст. имя — Наум Моисеевич **Мандель**; р. 14.X.1925, Киев) — рус. сов. поэт. Окончил горный техникум в Караганде... Стихам К. свойственны гражданственность и философ. лиризм...[1]

С Юлием Марковичем Искиным я познакомился в Малеевке — писательском Доме творчества. Вечерами мы предавались там воспоминаниям.

С сивой от седины шевелюрой, рыжими недоуменными бровками, скорбной складочкой в блеклых губах, он тихим голосом повествовал о том, чего я не знал.

Сейчас Юлий Маркович живет в новой квартире на проспекте Вернадского. Старую квартиру на Большой Бронной по-прежнему занимает Раиса. У нее семья — муж и двое детей. Тетя Клаша вынянчила внуков и... недавно вернулась к Искиным. Дашенька вышла замуж, родила сына. Тетя Клаша не может жить, чтоб кого-то не нянчить.

И Юлий Маркович хвалит ее с теплотой в голосе:

— Все-таки редкой души... Самозабвенна...

О Фадееве же он отзывается более горячо, почти со слезами на глазах:

— Нет, нет! Александр Александрович — честнейший человек, трагическая личность. Он — жертва, никак не преступник. Боже упаси вас думать о нем плохо!

Наверное, так оно и есть. Не осмелюсь спорить. Не думаю плохо.

---

[1] Эмигрировал в США в 1972 г.

Однако кроткий Юлий Маркович обвиняет других: Раису, секретаря парткома, который слабодушно развел руками: «Не могу» и... того, кого величали гением человечества, отцом и учителем, светочем эпохи.

— Историю, знаете ли, делают личности.

Пакостят историю личности? И только-то? Не слишком ли это просто? Нет ли более глубокой причины?..

Но стоп! Это отдельный большой разговор. Никак не мимоходом.

Документальная реплика.

Документ, вырвавшийся из канцелярии М. В. Келдыша.

Президенту АН СССР академику М. В. Келдышу.

Резолюция академика Келдыша: *«Ознакомить»*.

За последнее время я неоднократно сталкивался с распространяемыми обо мне среди членов отделения философии и права Академии наук СССР утверждениями, будто я скрываю свою подлинную национальность, поскольку я якобы являюсь в действительности «польским евреем». Я мог бы игнорировать эти слухи, если бы не обстоятельство, что они находятся в прозрачной связи с фактом выдвижения меня в кандидаты на избрание в члены-корреспонденты Академии наук СССР.

Указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер, и они никоим образом не соответствуют фактам. А последние таковы.

Я родился 18 ноября 1920 года в г. Моршанске Тамбовской области. Мой отец Нарский Сергей Васильевич — русский, командир Красной Армии. После демобилизации в 1920 году работал на различных счетных должностях и умер в Моршанске в январе 1941 года, где он в 1896 г. и родился.

Родители моего отца...

(Из сострадания к читателю опускаю подробнейшие перечисления родителей отца и матери автора сего послания не только по мужской и женской линии, но и по боковым ветвям — упомянуты даже престарелые тетки, проживающие в Моршанске и Москве. Особый упор автор делает на фамилии, со скрупулезной точностью указывая, какие были в девичестве, какие в замужестве, чтоб, не дай бог, не возникло сомнение — не прокрался ли в родню чужекровный выходец из Палестины. Нельзя не признать, что все без исключения фамилии не вызывают никакого сомнения в чистоте породы — Ковритины, Шолоховы, Третьяковы... Что же касается собственной фамилии автора «Нарский», то она «представляет собой изменение исходной фамилии «Нарских», которую носили предки Василия Андреевича [деда автора.— *В. Т.*], выходцы из Сибири, прежде проживавшие в районе реки Нара».)

Акты гражданского состояния по г. Моршанску и Моршанскому уезду,— пишется далее,— насколько мне известно, в период Отечественной войны не эвакуировались и не уничтожались.

К сказанному могу добавить, что в свойственном мне хорошем знании нескольких иностранных языков (кроме польского, я владею другими славянскими, не говоря уже об основных западноевропейских языках) не вижу для советского ученого ничего предосудительного или «подозрительного». Что касается именно польского языка, то он был изучен мною в 1945—1946 гг., когда по долгу моей службы в советской разведке я находился и работал на польской территории. Эта моя работа отмечена правительственными наградами, в том числе несколькими орденами.

Я прошу ознакомить с настоящим заявлением членов отделения философии и права АН СССР. В случае, если Вы сочтете мое письмо неудовлетворительным, прошу назначить расследование.

Доктор философских наук, профессор МГУ, старший научный сотрудник АН СССР (по совместительству)

И. С. Нарский

10 октября 1970 г. Москва.

Хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства:

Знаменательно, этот документ появился спустя 20 (!) лет после кампании борьбы с безродными космополитами. «Жив, жив курилка!»

Автор не просто профессор прославленного Московского университета, а явно преуспевающий. Не каждый-то профессор МГУ рассчитывает стать членом-корреспондентом Академии наук.

Напористое требование ознакомить членов отделения философии и права со своей столь непорочной родословной вызвана, думается, не только непроходимой глупостью, характерной для любого националиста. Не случайна тревога, столь откровенно звучащая в письме. Возможно, Нарский знал, каких взглядов «на чистокровность» придерживаются ученые, которые представляют в АН философию и право. Не это ли заставило его бояться обвинений в еврействе?

Впрочем, принятые предосторожности не помогли. Академики не избрали Нарского в членкоры. Ему осталось только сетовать на происки сионистов.

Август — ноябрь 1971 г.

На блаженном острове коммунизма

Слепая Фемида изощренно пошутила, предоставив Хрущеву расправиться со Сталиным. Судьей палача стал человек, которого Сталин считал шутом.

Сталина я видел всего лишь раз в жизни — 7 ноября 1945 года, проходя среди многих и многих людских тысяч по Красной площади мимо Мавзолея. Помню: поразили меня его маленький рост — вдавлен в трибуну по самую фуражку с твердым околышем — и бескостно-дряхлый жест дедовской руки, вызывавший вулканический рев обезумевшей от восторга площади. Разумеется, и я обезумевше вопил вместе со всеми...

Хрущева же я видел и слышал много раз, издалека и достаточно близко, хотя лично, увы, не беседовал, не был допущен до рукопожатия.

Одна встреча, право же, стоит того, чтоб поведать о ней. Я тогда удостоился чести провести день в коммунизме. Да, да, в том усиленно обещанном, шумно прославляемом коммунизме, попасть в который никто из здравомыслящих граждан нашей страны давным-давно уже не рассчитывает.

1

15 июля 1960 года. Мне позвонили из Правления Союза писателей:

— Просим зайти завтра в течение дня. Очень важное дело.

А так как Союз писателей, надо отдать ему должное, делами меня не обременял, тем более важными, то я послушно заехал на улицу Воровского. Там мне вручили конверт с праздничного вида билетом на лощеной бумаге, заставили расписаться.

В билете значилось, что товарищ Тенков В. Ф. с супругой приглашаются на встречу руководителей партии и правительства с деятелями науки и культуры, просьба прибыть в 9 часов утра. На обратной стороне билета — схема маршрута: по Каширскому шоссе, поворот на сто двадцатом километре, к совхозу «Семеновскому»...

— Место в машине для вас оставить? — спросили меня.

Я пожелал остаться независимым:

— У меня своя машина.

У меня был видавший виды «Москвич», который я мыл в году раза по два — по вдохновению или ради какого-нибудь исключительного случая вроде техосмотра. Встреча с правительством — случай тоже из ряда вон выходящий, и я мысленно дал себе слово помыть машину.

Но не сдержал его: в тот день домой вернулся ночью, а утром встал, когда стрелки часов перевалили за восемь, где уж тут мыть машину, сломя голову надо нестись, чтоб если и опоздать, то не безбожно.

Я влез в свой единственный светлый костюм, вместе с женой сбежал к своему неумытому «Москвичу», ринулся через Москву к Каширскому шоссе.

Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмешишь... У меня вечные нелады со столь мудрыми остережениями, а потому на выезде из Москвы коварно спустил баллон. И я, скинув свой светлый, но удушающе плотный, жаркий, что мужицкая поддевка, пиджак, кляня норовистую машину, правительственную затею, самого себя и ни в чем не повинную жену, принялся на солнцепеке менять заскорузлое от грязи колесо. А мимо по шоссе скользили, отливая безупречной полировкой, черные «ЗИЛы» и монументальные «Чайки» — еще не примелькавшаяся новинка тех лет,— все они, разумеется, спешили туда, куда спешил и я.

Наконец колесо поставлено, багажник захлопнут, руки наспех вытерты тряпкой — вперед! Я выжимал из своего неумытого все, что тот мог дать, не особенно считался с дорожными знаками, выскакивал на левую сторону, держа наготове пригласительный билет на лощеной бумаге. Если только милиция остановит, сразу под нос обезоруживающий документ: глядите, спешу не к теще в гости, вам надлежит не осуждать, а хвалить меня за рвение. Шоссе было густо заставлено милицией, чуть ли не на каждом километре посты, но, должно быть, они по слишком откровенному нахальству, с каким я нарушал правила, догадывались о приготовленном для них лощеном билете и лишь провожали меня осуждающими взглядами. И уж только когда я совершил вовсе недопустимое — у железнодорожного шлагбаума по левой стороне обошел черные лимузины и бесцеремонно подставил бок «Чайке»,— ко мне подошел представитель милиции

с погонами подполковника и скорбно-осуждающим лицом. Он даже не попросил у меня водительские права, даже не спросил меня, куда это я так рвусь, даже лощеный билет, увы, не понадобился. Подполковник всего-навсего укоряюще сказал:

— Нельзя же так. Можете аварию устроить. Нехорошо.

И затронул лучшие струны моей души, заставил искренне устыдиться. Я и дальше продолжал гнать своего неумытого, но старался уже не нагличать.

Неожиданно я почувствовал, что шоссе вокруг меня пусто, трясется впереди лишь расхлябанный грузовичок — ни черных лимузинов, ни гордых «Чаек» с золочеными хвостами... И я понял, что переусердствовал — проскочил заветный поворот, указанный на обратной стороне билета. Пришлось разворачиваться...

Стандартный кирпич на обочине, запрещающий произвольный проезд, нитка асфальта через поле к раскинувшейся хвойной купе.

Наш «Москвич» оказался в очереди машин перед четырехметровым сплошным забором, выкрашенным в стандартную солдатски-зеленую краску.

Молодцеватые военные с голубыми околышами и петлицами заулыбались, когда после сияющих «ЗИЛов» и «Чаек» подрулил я. Через опущенное стекло было слышно, как один проницательно заметил другому:

— Гляди — частник приехал!

Я показал им приготовленный билет, они мне с подчеркнутой вежливостью откозыряли, и я въехал под сень соснового леса, недоуменно оглядываясь — где же тут можно приткнуться? Узенькая — на ширину одной машины, не больше — асфальтовая стежка привела к асфальтовому пятачку, и к нам двинулся молодой человек.

Он был высок, плечист, гибок, он не шагал по земле, он скользил по ней, темный костюм на нем, облегающий широкую грудь и тонкую талию, лишь на локтевых сгибах собирался в скупые, почти музыкальные складки. И голова его курчавей, чем у Пушкина и Василия Захарченко, и лицо правильное, мужественное, способное выражать лишь открытую доброжелательность. Он без всякого содрогания положил свою сильную руку в немнущемся рукаве с высовывающейся ослепительной полоской манжеты на ручку давно не мытой дверцы, с силой распахнул ее, пророкотал моей жене:

— Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу вас.

И жена, смущенная его великолепием, его рыцарской услужливостью, вылезла из неумытого «Москвича» на священный асфальт. Встречающий с силой захлопнул дверцу, небрежно махнул мне рукой:

— А ты поезжай! Поезжай дальше.

Вот те раз!..

Впрочем, моя особа всегда почему-то вызывает недоверие у швейцаров и официантов. Швейцары меня стараются не пустить за порог, официанты же меня с ходу предупреждают, что пиво в их заведении стоит дороже, чем в пивном киоске напротив.

Однако недоразумение сразу раскрылось, наш встречающий рассыпался в извинениях и все же настойчиво предложил ехать дальше. Жена, только что ступившая на землю обетованную, вновь залезла в машину, и мы покатили по узкой дорожке — дальше, в глубь леса.

Неожиданно лес оборвался. Мы выехали за ворота, мимо военных с голубыми петлицами — в поле, под ослепительно синее небо, на жестокий солнцепек. По обеим сторонам дороги на обочинах тесно стояли машины, и я понял, что пересек границу, где царствует дух гостеприимства и доброжелательности, вновь попал в места с волчьими законами, где рви — не зевай!

«ЗИЛы» и «Чайки», «Чайки» и «ЗИЛы», сияющие черным лаком, светлым, промытым стеклом, горящие начищенным никелем. Возле каждой машины развалился на солнышке шофер. Все они, как и их машины, похожи друг на друга, стандартны — тучные, распаренно-красные, ленивые. Даже на расстоянии чувствую их презрение к себе — странный тип, забравшийся в столь ослепительное общество на потасканном и до безобразия неопрятном «москвичишке».

Подавленный их сановитым презрением, я ехал и ехал, растерянно и безнадежно приглядываясь — не откроется ли в сиятельных рядах щель, куда можно втиснуться. Нет, не открылась. Я проехал с добрый километр, пока сплошные шеренги машин не кончились, не открылось чисто-поле. И тут-то я развернулся и поставил своего неумытого на то место, какого он был достоин,— на самых задворках великолепного становища.

Я закрыл машину, переглянулся с женой:

— Пошли?

— Пошли.

И пошли мы, солнцем палимы, вновь вдоль блистательных рядов, под презрительными взглядами вельможной шоферни. Набравшее лютую силу солнце, взгляды, светлый костюм, в котором, пожалуй, можно и зимой гулять без пальто, с каждым шагом все больше и больше накаляли меня. Сначала тихо, затем все громче и громче я начал кипеть, проклиная все на свете — яркий день, безоблачное небо, сытых олухов на обочине, затею со встречей у черта на куличках. И пот стекал по спине под светлым пиджаком, и хотелось пить...

Дорога впереди пересекала мелкий овражек, за мостиком с легкими перильцами уже маячили ворота в зеленом заборе, военный возле него. Еще немного... Но как хочется пить!

Совсем неожиданно прямо из-под мостика выскочил — эдакий ванька-встанька! — человек в соломенной шляпе, застыл в недоуменной стоечке, спросил тенорком:

— Вам куда?

— Как — куда? — удивился я.— Сюда! — кивнул на ворота.

Объяснение не очень-то вразумительное, но на большее я был уже не способен. Однако...

— Пожалуйста! — Соломенная шляпа с готовностью нырнула под мост.

До ворот оставалось каких-нибудь пятнадцать шагов, когда я вдруг похолодел под своим жарким пиджаком.

— Послушай, а билет?..

Билет остался в машине у ветрового стекла.

Военные откозыряли, участливо выслушали меня, пожали офицерскими погонами:

— Не можем.

— Вы понимаете, что только идиот стал бы рваться сюда без билета. Он у меня есть — поверьте. А топать туда и обратно по такой жарище — сдохнем.

— Верим. Сочувствуем. Но не можем.

Я видел, что они верят мне, и сам прекрасно их понимал — впустить меня, пока я не махну перед ними кусочком лощеной бумаги, значит свершить самое тяжкое преступление, какое только для них возможно, значит признать ненужность и бессмысленность своего существования. И я стоял перед военными запаленно жалкий, потный, убитый, решал — не плюнуть ли мне на всю эту затею, не совершить ли рейд по солнцепеку, не развер-

нуть ли своего неумытого носом к дому... Право же, военные были славные ребята — сочувствовали.

Вдруг один из славных ребят вгляделся в сторону, махнул рукой, властно крикнул:

— А ну сюда!

Подкатила странная машина, пожалуй, даже более странная, чем мой «Москвич»,— дряхлая «Победа» и тоже давно не мытая, пропыленная. За ее рулем сидел уныло носатый человек наглядно иудейского вида.

— Возьмешь этих товарищей, довезешь до их машины, привезешь их обратно. Ясно?!

— У меня кардан...

— Тебе сказано: свозишь товарищей туда и обратно! Ясно?.. Садитесь, пожалуйста.

И мы, преисполненные благодарности, влезли в душную, пыльную, пахнущую чем-то кислым «Победу». Едва тронув с места, носатый начал брюзгливо жаловаться:

— У меня кардан разваливается... И на одной подвеске езжу... До гаража не доберусь...

Мы слушали, виновато молчали, но ехали мимо выстроившихся парадных машин, мимо возлежащих шоферов.

Билет упал с ветрового стекла вниз, и пока я его поднимал, «Победа» вместе с носатым водителем бесследно исчезла.

И снова мы, солнцем палимые,— мимо, мимо... Как хочется пить! Пригласительным билетом прикрываю накаленную макушку. Я уже никого не кляну, не ругаюсь, киплю в себе, боюсь взорваться.

Наконец-то заплетающиеся ноги доносят нас к мостику с перильцами — уже теперь близко!

Из-под мостика бодренько выскакивает человек в соломенной шляпе — Сивка-Бурка, вещая Каурка:

— Вы куда?

Меня прорвало:

— А ты чего — не видишь? Второй раз мимо проходим! Зачем тебе только деньги платят!

Плечи Сивки-Бурки опустились, руки упали, морщинистое лицо смятенно вытянулось под шляпой.

— А что вы обижаетесь? — Тонким тенорком с жалобной беззащитностью: — Ведь я же на работе.

И нырнул под мост.

Я сегодня второй раз почувствовал угрызения совести: в самом деле, виноват ли он, если приходится зара-

батывать хлеб такой странной службой — под мостом? А потом я здесь гость у высоких хозяев, значит, барин, мне легко его обложить по-барски...

Но особо рефлексировать некогда, мы уже приблизились к распахнутым воротам. Я взмахиваю волшебным билетом — сезам, откройся! — мне почтительно козыряют, и мы перешагиваем заповедную черту.

На нас сразу ложится благостная тень. И шум хвои над головой. И прохладный, смолистый, ласково обнимающий воздух. Иной мир.

Я хочу пить, я умираю от жажды...

Едва я мысленно произнес эти слова, как сразу же, словно по щучьему велению, увидел перед собой бегущий средь деревьев ручей, прямо в нем, утопая в струях ножками,— стол, под столом из воды торчат горлышки бутылок — боржом, ессентуки, ситро, на выбор. За столом дородная, краснощекая, улыбчивая девица в жестко накрахмаленном кокошнике звенит тонкими фужерами, разливает воду, и пузыри мечутся за отпотевшим стеклом.

Я ринулся к столу, встал за спиной еще одного жаждущего, готовый с привычной воинственностью отшивать тех, кто полезет без очереди. Но сказочная боярышня уже тянет мне наполненный фужер, улыбается.

Вода холодная, впитавшая родниковую свежесть ручья.

— Ох, спасибо!.. Если можно — еще.

— Пожалуйста.

И новый запотевший фужер, и новая улыбка.

— Спасибо...

— Вам еще?

— Хва-атит.

Я лезу в карман за мелочью, на меня все смотрят с насмешливыми, но вовсе не обидными улыбками — то-то простота.

И я понял, куда я попал. Какие тут деньги! Здесь все бесплатно — смолистый воздух, охлаждающая вода, доброта румяной девицы в кокошнике и журчание ручья.

2

В глубоком детстве, еще до школы, мы услышали фразу: «Коммунизм на горизонте!»

Горизонт, как известно,— кажущаяся, но не существующая линия, которая неизменно удаляется при приближении. Мы шли к коммунизму, коммунизм удалялся от нас.

А что, собственно, это такое — коммунизм? Как он должен выглядеть?

Мы всегда скудно жили — плохо питались, некрасиво одевались, очереди в магазинах и коммунальные многосемейные, удушающе тесные квартиры были нормой нашего быта, а потому и вожделенный коммунизм нам представлялся не иначе как некий жирный кусок, которого с избытком хватает на всех — ешь не хочу!

Карл Маркс высмеивал такое потребительское понимание, называл его коммунизмом ложки. Он бросил миру формулу: «От каждого — по способностям, каждому — по потребности». Подозрительно благостна она и туманна. И нет никого, кто более толково бы объяснил коммунизм. Последователи ограничивались лишь заверениями о пришествии: «На горизонте!»

Нужно ли удивляться, что неискушенное большинство определяет для себя коммунизм по внешнему, но весьма зримому признаку: существуют деньги в обиходе — нет его, коммунизма, будут трижды проклятые деньги похерены — пришествие совершилось.

С меня не взяли денег за минеральную воду, не возьмут их и за торжественный обед, который несомненно ждет меня впереди. Кошелек в моем кармане сегодня — самая не нужная для меня вещь.

3

— Если вам хочется выкупаться, то пожалуйста...

Какой-то старожил коммунизма, прибывший сюда на полчаса раньше меня, успевший уже оглядеться и освоиться, произнес эту фразу.

Черт возьми! Предложения рождаются раньше, чем возникают желания. Я вдруг почувствовал, насколько липко мое тело, как разъедает кожу соль, какое бы наслаждение окунуться сейчас, но...

— Кто же знал, что на встречу с правительством следует захватывать с собой плавки.

— Э-э, не беспокойтесь, там дают плавки... с поклончиком. Вот по этой дорожке выйдете на берег озера, увидите в стороне две будочки — купальни, мужская и жен-

ская... И в лодочке ежели желаете покататься, тоже пожалуйста.

Внимание к личности столь велико, что ничего не остается как покориться — для собственного же блага и удовольствия.

Атлетически сложенные юноши, эдакие простецкие, на русский лад, Аполлоны и Меркурии, выкручивали и раздавали мокрые плавки. Впрочем, тут-таки произошла досадная неувязочка — плавок на всех желающих, однако, не хватило, мне достались трусы, только что кем-то использованные, но зато добросовестно выжатые.

Просторный пруд раздвинул сосновый лес, берега натуральные, с травкой, с осокой, не забраны в казенный камень. Правда, вокруг широкого пруда — асфальтированные дорожки, скамеечки и деревянные стойки, услужливо предлагающие бамбуковые удочки. И рыбаков на сей раз что-то не видно...

В прошлую встречу деятелей культуры и правительства на берегах водоемов через каждые десять — пятнадцать шагов застывшие рыбаки с удочками. Константин Георгиевич Паустовский, сам вдохновенный рыбак, рассказывал мне, как он по простоте душевной подсел к одному и без задней мысли полюбопытствовал:

— Как клюет?

Рыбак молчал и взирал на неподвижный поплавок с каменным лицом.

— А на что вы тут ловите? На мотыля или на червя?

Ни слова в ответ... И тут-то до Паустовского дошло: рыбака интересует не та рыбка, что плавает в воде, и, должно быть, ему дана строгая инструкция — в разговоры не вступать.

Сейчас берега свободны, инструктированных рыбаков нет, а гости не интересуются удочками.

У купальни оживление, и вокруг меня все знакомые лица, я словно попал в некий филиал Московского отделения Союза писателей. Алексей Сурков вытряхивает из штанины муравья и, морщась, жалуется:

— Ест поедом, сатана, словно озверевший критик.

— Наберитесь терпения — он правительственный,— осмеливаюсь посоветовать я.

Сурков смеется. Когда он не выполняет высокие секретарские обязанности, с ним можно шутить, и даже вольно.

Чуть в стороне, сосредоточенно посапывая, не спеша облачается искупавшийся Леонид Леонов. А в воде под берегом происходит встреча — Валентин Катаев, нагоняя волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко улыбающуюся физиономию Доризо и громко сетует:

— Стоило ехать за сто с лишним километров, чтоб узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу!

Погруженный в воду Николай Доризо улыбается в ответ с приятной, обезоруживающей невозмутимостью.

На отдалении сидит налитой розовым соком человек — при галстуке, в белоснежной сорочке, отутюженных брюках, волосы сухие, значит, не купался и, похоже, не собирается, просто отдыхает. Совсем еще недавно он был скромным сотрудником «Комсомольской правды»... Алексей Аджубей, зять Хрущева! Мы как-то однажды нечаянно познакомились, даже чокались за столом за здоровье друг друга, сейчас старательно смотрим в разные стороны. Он, мнится мне, ждет, что я непременно уловлю — уж постараюсь! — его взгляд и услужливо поздороваюсь. Но он здесь хозяин, я же — гость, его долг замечать и привечать. И я, нарядившись во влажные правительственные трусы, лезу в воду, так и не замеченный Аджубеем, делая вид, что, в свою очередь, не замечаю его.

И вот я, освеженный, всем довольный, гуляю под сенью сосен, встречаю знакомых, с одними чинно раскланиваюсь, с другими останавливаюсь поболтать.

Все предупредительно вежливы друг с другом, на лицах разлита тихая пасхальная благость, каждый подавлен кротостью, готов забыть обиды, любить врагов, «Христос воскресе», да и только. Вот-вот дойдет — Эренбург облобызает Грибачева, а я со слезами умиления обнимусь с Кочетовым.

Однако нельзя долго пребывать в состоянии некой блаженной невесомости, когда от умиротворения «в зобу дыханье сперло», невольно переводишь дух и опускаешься на грешную землю. Я вдруг представил, что так вот гулять по асфальтовым дорожкам, под хвойной тенью придется целый день, до вечера, до обещанного обеда и торжественных речей. И невольно зашевелилась крамольная мыслишка: «А в этом коммунизме того... скушновато, право».

Но еще не появилось правительство. Оно-то должно внести какое-то разнообразие.

Это была уже вторая встреча с правительством. На первую я не удостоился чести быть приглашенным, а жаль — она потрясла очевидцев.

Хрущев тогда во время обеда, что называется, стремительно заложил за воротник и... покатил «вдоль по Питерской» со всей русской удалью.

Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь с чинами и авторитетами, мимоходом изрекая сочные сентенции: «Украина — это вам не жук на палочке!..» И острил так, что, кажется, даже краснел вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Молотов.

Затем Хрущев огрел мимоходом Мариэтту Шагинян. Никто и не запомнил — за что именно. Просто в ответ на какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо престарелой писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та строптиво оскорбилась: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!» И демонстративно покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус, принялась хулить шоферам правительство. Что, однако, никак не отразилось на ходе торжества.

Крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идейности в литературе — «лакировщики не такие уж плохие ребята... Мы не станем цацкаться с теми, кто нам исподтишка пакостит!» — под восторженные выкрики верноподданных литераторов, которые тут же по ходу дела стали указывать перстами на своих собратьев: куси их, Никита Сергеевич! свой орган завели — «Литературная Москва»!

Альманах «Литературная Москва» был основан инициативной группой писателей, формально никому не подчинялся, фактически был полностью подчинен, как и все печатные издания, капризам цензуры, тем не менее пугал независимостью. Казакевич, общепризнанный инициатор, на этот раз почему-то избежал особого внимания, весь свой монарший гнев Хрущев неожиданно обрушил на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими участвовала в выпуске альманаха.

— Вы идеологический диверсант! Отрыжка капиталистического Запада!..

— Никита Сергеевич, что вы говорите?.. Я же коммунистка, член партии...

Хрупкая, маленькая, в чем душа держится, Алигер — человек умеренных взглядов, автор правоверных стихов,

в мыслях никогда не допускавшая какой-либо недоброжелательности к правительству,— стояла перед разъяренным багроволицым главой могущественного в мире государства и робко, тонким девичьим голосом пыталась возражать. Но Хрущев обрывал ее:

— Лжете! Не верю таким коммунистам! Вот беспартийному Соболеву верю!..

Осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник Петербургского кадетского корпуса, автор известного романа «Капитальный ремонт», усердно вскакивал, услужливо выкрикивал:

— Верно, Никита Сергеевич! Верно! Нельзя им верить!

Хрущев свирепо неистовствовал, все съежились и замерли, а в это время набежали тучи, загремел гром, хлынул бурный ливень. Ей-ей, сам господь бог решил принять участие в разыгрывавшейся трагедии, неизобретательно прибегая к избитым драматическим приемам.

Натянутый над праздничными столами тент прогнулся под тяжестью воды, на членов правительства потекло. Как из-под земли вынырнули бравые парни в отутюженных костюмах, вооруженные швабрами и кольями, вскочили за спинами правительства на ограждающий барьер, стали подпирать просевший тент, сливать воду — на себя. Потоки стекали на их головы, на их отутюженные костюмы, но парни стоически боролись — самоотверженные атланты, поддерживающие правительственный свод. А гром не переставал греметь, а ливень хлестал, и Хрущев неистовствовал:

— Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам!..

Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла вытянувшись и уже не пыталась возражать.

Гости гнулись к столам, поеживались от страха перед державным гневом и от струек воды, пробивающихся сквозь тент,— атланты оберегали только правительство. И смущенный Микоян услужливо угощал ближайших к нему гостей отборной клубникой с правительственного стола. И Соболев неустанно усердствовал:

— Нельзя верить, Никита Сергеевич! Опасения законные, Никита Сергеевич!..

Жена, дама в широкополой шляпе, с ожесточенным лицом дергала мужа за рукав и нашептывала. И муж внял, обиженно засуетился:

— Ведь я, Никита Сергеевич, имею право на уважение, но вот никак... никак не могу добиться, чтоб мне дали... гараж для машины.

Жена с удовлетворенностью закивала широкой шляпой.

А гром продолжал раскалывать небо, мокрые атланты возвышались с вознесенными швабрами. Затерянный среди гостей Самуил Маршак с бледным, вытянутым лицом время от времени сдавленно изрекал:

— Что там Шекспир!.. Шекспиру такое не снилось...

В завершение Соболева от усердия и перевозбуждения... хватил удар. Его уносили с торжественной встречи на носилках, а жена в черных перчатках по локоть бежала рядом и обмахивала пострадавшего мужа широкополой шляпой.

Маргарита Алигер шла к выходу одна, к ней боялись приблизиться — заклеймена, прокажена. Лишь Валентин Овечкин догнал ее, подхватил под локоть, демонстративно повел. За ними сразу двинулись влажные атланты... Нет, не опека опальной Алигер их настораживала, а гриб... Овечкин случайно нашел под правительственным деревом крупный белый гриб и не удержался, сорвал его. Одной рукой он придерживал Алигер, в другой нес гриб... Почему гриб? Не закамуфлированная ли это бомба?.. Атланты проводили их до выхода.

Дождь прошел, светило солнце.

Через несколько дней по Москве разнесся слух, что поведение Никиты Сергеевича на приеме осуждается... даже в его ближайших кругах.

Да, прошлая встреча у всех свежа в памяти. Сегодня каждый ждет появление Хрущева со жгучим интересом: как-то он поведет себя? не сорвется ли снова? а вдруг да раскаянье толкнет его в обратную сторону — ко всепрощению и любви? Неисповедимы пути твои, господи! От Хрущева всего можно ждать...

5

Уинстон Черчилль якобы, незадолго до смерти узнав о падении Хрущева, выдал миру едва ли не последнюю в своей жизни остроту: «Этот человек всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приема».

Революционные скачки Маркс положил в основу своей теории, мы применили их на практике. Хрущев всей

душой хотел резво перескочить пропасть между существующим социализмом и сказочным коммунизмом. Раз! — и догнать сытую Америку по мясу и молоку! Два! — оставить ее далеко позади в неприглядной реальности, самим оказаться в сказке! Был отдан приказ: режь скот, чтоб было больше мяса! Не учтено лишь то, что этот скот надо сначала вырастить. Великая страна взвилась в прыжке, но пропасть не преодолела — свалились. Конфуз? Да нет, боже упаси! Снова прыгаем в изобилие, на этот раз кукуруза — опора...

Мне рассказывали: в Мурманской области — территория чуть меньше Англии и больше Болгарии — в редких закрытых от ветра горами долинах, на солнечных склонах, на каких-то пяти тысячах гектаров высаживали холодоустойчивые сорта картошки и капусты. И тут Хрущев потребовал выделить пятьсот гектаров на кукурузу!

— Так все равно же не вырастет, Никита Сергеевич,— осмелились возразить ему.

— А вдруг да вырастет. Какой тогда будет политический резонанс!

А вдруг да... Расчет прыгуна, свято верящего, что и посреди пропасти существует опора.

Государственному руководителю часто свойственна заурядность мышления. Великие мысли, прозорливые открытия никогда не рождаются сразу в миллионах голов, массовых озарений не существует в природе. Великие мысли и открытия возникают у тех, кто способен мыслить намного глубже других, у своего рода чемпионов разума и проницательности. И надо время, и немалое, чтобы заурядно мыслящие массы поняли и приняли то, чего достигли чемпионы человеческого мышления. Прошло более двух столетий, пока открытие Коперника стало общепризнанным.

Но государственный политический деятель занимается-то вопросами текущей жизни, сталкивается с задачами, требующими, как правило, немедленного решения. Он не может ждать сотни, пусть даже десятки лет, чтоб быть понятым. А потому политический руководитель вынужден прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным понятиям, духовно соответствовать некой усредненной заурядности в человеческом обществе. Как это ни обидно, но ум и проницательность среди высоких

политических деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью,— скорей исключение, а не нормальное явление.

Наполеона, скажем, не назовешь дураком, но как бесплоден был его ум! Он не принес ничего, что пошло бы на пользу человечеству. А бесплодный, безрезультативный ум — какой в нем прок, он не имеет преимуществ перед глупостью.

Авраам Линкольн и Джон Кеннеди, прежде чем проявить себя более здравомыслящими в сравнении с простым обывателем, сперва подделывались под обывательское шаблонное мышление, угождали ему, а как только поднялись над ним, были убраны.

Тот же Черчилль прославился хитростью, изворотливостью, остроумием, обрел славу глубокомысленного политика, но как часто он действовал с поразительным тупоумием и не подозревал об этом. Откроем наугад его мемуары. Вот, к примеру, он с серьезной важностью повествует... Май 1942 года. Почти вся Европа проглочена гитлеровцами, немецкие войска в глубине России. Именно в это время Черчилль, с одной стороны, и Молотов по поручительству Сталина, с другой, встретились в Лондоне для переговоров. Они договариваются, как победить грозного и опасного противника?.. Да нет, они торгуются: кому будут принадлежать прибалтийские государства и Восточная Польша? С истовой недоверчивостью друг к другу делят кусок шкуры еще не убитого, напротив, могучего и опасного медведя. И делают это столь упоенно, что вопрос, как убить медведя, не представляется им существенным. «Помимо вопроса о договоре,— небрежно бросает Черчилль,— Молотов приехал в Лондон, чтобы узнать наши взгляды по поводу открытия второго фронта. Ввиду этого утром 22 мая я имел с ним официальную беседу». И все! Небрежно, мимоходом — сие не стоит внимания. Поведение смехотворно глупейшее, особенно на фоне последующих трагических событий — немцы, чью шкуру столь страстно делили, с новой силой ударили по России, захватили шестисоттысячную группировку под Харьковом, продвинулись до Кавказа и Волги. И вот спустя много лет осведомленный Черчилль многозначительно, без какой-либо иронии повествует: делили, делали дело,— то есть пребывает в прежней глупости.

Глупость легко перерастает в аморальность. Черчилль, узнав от Сталина, что коллективизация в СССР

достигнута ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов — шутка сказать! — «маленьких людей», не ужасается и не осуждает, а благостно оправдывает: «Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина». Воистину блаженны нищие духом, не ведают они, что творят. Хрущев тут оказался куда проницательней — на такие слова у него не повернулся бы язык.

Да, сам по себе Хрущев был безрасчетно, упоенно глуп, глуп с русским размахом, но, право же, он принципиально ничем не отличался от других видных политиков, страдал их общей бедой. И конечно же, его вседержавная самонадеянность нравственно калечила общество — воспитывала лжецов, льстецов, жестоких, беспардонных прохвостов типа «рязанского чудотворца» Ларионова, делающих карьеру на чиновном разбое.

Но вот что странно — бывают же такие поразительные парадоксы в истории! — именно экзальтированность Хрущева и помогла совершить смелый прогрессивный переворот в стране. Хитроумный политик сэр Уинстон Черчилль не принес столько пользы Англии, сколько принес Никита Хрущев многонациональной Стране Советов одним своим выступлением на XX съезде партии!..

Однако мы увлеклись рассуждениями, а тем временем появились сами гостеприимные хозяева...

6

Члены правительства без торжества, без предупреждения, вдруг оказались на асфальтовой дорожке под соснами. Улыбающийся добродушно Хрущев — в легком пиджаке, в вышитой украинской рубахе, стянутой у шеи цветным шнурком, прозванной в обиходе «антисемиткой». Трясущийся от дряхлости Ворошилов в штатской шляпе. Микоян с навешенным носом над траурными, не тронутыми сединой усами. И уже нет плакатно примелькавшихся Молотова и Кагановича, высоких участников прошлой встречи. Осмелились не угодить, и Хрущев их погнал вон. Нет, не упрятал за колючую проволоку, не расстрелял в подвалах, как это делал Сталин в компании тех же молотовых-кагановичей, а просто спихнул с Олимпа — черт с вами, живите на пенсионном содержании! Вместе с ними слетел Шепилов — «и примкнувший к

ним». Презрительная оговорочка вскрывала политическую худородность данной фигуры. Худороден?.. Вполне возможно, только не для таких, как я. Этот худородный командовал культурой страны — указывал и направлял, возносил и ниспровергал, карал и жаловал. Почему-то именно он у меня вызывает минорный мотив: «Куда, куда вы удалились?..»

Правительство появилось, и сразу вокруг него возникла кипучая, угодливая карусель. Деятели искусства и литературы, разумеется не все, а те, кто считал себя достаточно заметными, способными претендовать на близость, оттирая друг друга, со счастливыми улыбками на потных лицах начали толкучечку, протискивались поближе. Пыхтел, топтался, выдерживал толчки тучный Софронов, блестела под солнцем голая голова Грибачева, сутулился от почтительности и семеняще выплясывал все тот же Леонид Соболев, получивший не только гараж — как убоги были их семейные мечты! — но и специально для него созданный Союз писателей Российской Федерации. То с одной стороны, то с другой вырастал Сергей Михалков, несравненный «дядя Степа», никогда не упускающий случая напомнить о себе.

По правую руку Хрущева прорвался украинский композитор Майборода, вскинул вверх плоскую, широкую, лоснящуюся физиономию, закатил глаза и залился сладкоголосо:

Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю...

Хрущев, добродушно расплываясь, подхватил неустойчивым баритончиком:

Чому я не сокил,
Чому не летаю...

А к нему лезли и лезли, заглядывали в глаза, толкались, оттирали, теснились и улыбались, улыбались... Все это были люди солидные, полные, осанисто-степенные. Повстречай каждого из них на улице или в коридоре учреждения, представить невозможно, что столь барственная особа способна на такие мелкие телодвижения.

Здесь тенистый остров коммунизма, в его тесных границах монаршее внимание имеет лишь чисто моральное значение — заметил, помнит, назвал твою фамилию, пожал руку, приятно! Но завтра все окажутся за предела-

ми этого счастливого острова, в океане, где качает и опрокидывает, где всегда кто-то тонет, кого-то выбрасывает наверх, надо быть сильным и сноровистым, чтоб удержаться на волне. И каждый, кто сейчас пробился поближе, прикоснулся к всесильной руке, рассчитывает унести в себе частицу самодержавной силы. Толкотня, кружение, оттирание, щеки, раздвинутые в улыбке,— смотр рыцарей удачи!

Я стоял в стороне, всматривался в умилительную карусель и вдруг... Вдруг через головы толкущихся я встретился с направленным прямо на меня — могу поручиться! — взглядом Хрущева. Он только что подпевал Майбороде: «Чому я не сокил, чому не летаю...» — только что добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее от жары, было отдыхающим, право же, выражало удовольствие. Только что — секунду назад, долю секунды!.. Сейчас я через головы, на расстоянии видел уже совсем иное лицо — не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напряженное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от усталости, а взгляд, направленный на меня,— подозрительно-недоверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть только на врага.

Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом. Но тем не менее...

Причин пугаться у меня не было, я прекрасно понимал, что плотная стена угодников и кусок пространства в десять шагов — надежная защита. Я не опустил глаза, продолжал с удивлением вглядываться в преображенное лицо Хрущева.

Наша встреча взглядами едва ли продолжалась секунду. Чья-то лысина заслонила от меня главу государства, а когда я вновь его увидел, Хрущев уже добродушно улыбался, разговаривая с кем-то.

Ну и ну!.. Улыбается, шутит, подпевает, вид отдыхающего человека — не верь глазам своим: он напряжен внутри, настороженно-собран, полон подозрительности. И я невольно пожалел его: «А трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни».

Даже жена, стоявшая рядом со мной локоть к локтю, не заметила этой переглядки. Правда, я тут же сказал ей, она на минуту заинтересовалась и... сразу же за-

была. Не столь уж и важный случай, чтоб придавать ему какое-то значение.

А я не мог забыть. Мы ушли от этой карусели, бродили по тихим дорожкам, раскланивались со знакомыми и снова натыкались на осажденное правительство. Я опять останавливался и подолгу смотрел на добродушного, веселого Хрущева, ждал — встречусь с ним взглядом, хотел, чтоб все повторилось, убедило меня: мне не пригрезилось.

Но Хрущев уже не замечал меня больше.

7

Все, кто сегодня был приглашен на остров коммунизма — и те, кто не осмеливался подойти близко к правительству, и те, кто, толкаясь и оттесняя друг друга, кружился возле него, как мухи вокруг банки с вареньем,— принадлежали к интеллигенции, наиболее заметной в стране.

Интеллигенция... Люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, то есть имеющие прямое отношение к тому, что, собственно, и является высоким отличием человека,— к разуму. Казалось бы, эта часть рода людского должна признаваться в обществе как наиболее значительная, пользоваться неизменным всеобщим уважением. Увы! К интеллигенции всегда было настороженное, а часто и вовсе неприязненное отношение. Именно от нее-то обычно исходят идеи и взгляды, противоречащие привычным шаблонам, смущающие обывателя, осложняющие деятельность государственных руководителей.

Ленин не любил либеральную интеллигенцию, не доверял ей, считал ее прислужницей буржуазии. «...влияние *интеллигенции,*— писал он в 1907 году,— непосредственно не участвующей в эксплуатации, обученной оперировать с общими словами и понятиями, носящейся со всякими «хорошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию возводящей свое междуклассовое положение в *принцип* внеклассовых партий и внеклассовой политики,— влияние этой буржуазной интеллигенции на народ опасно».

Став во главе государства, он уже с откровенностью бросает интеллигенции: «В вашей дряблости мы никогда не сомневались. Но что вы нам нужны — этого мы не от-

рицаем, потому что вы являлись единственным культурным элементом». То есть была интеллигенция прислужницей — и оставайся ею. В конце жизни Ленин часто с горечью говорил, как ему не хватает истинных интеллигентов-единомышленников.

Сталин прислужничество сделал основой существования нового государства: низший по службе безропотно, безоглядно, бездумно подчинялся высшему, этот высший еще более высшему, и так до конца, до венчающей вершины, на которой восседала никому не подчиненная, всех подчиняющая личность — сам Сталин. Наиболее характерной фигурой в обществе стал некий службистский Янус с ликом диктатора в одну сторону и лакея в другую.

И только тот, кто непосредственно занимался созидательным трудом, лишен был каких бы то ни было диктаторских прав. Если ты пашешь поле, сам пашешь, а не руководишь на расстоянии пахотой, диктовать, приказывать тебе просто некому. Если ты пишешь книгу, создаешь музыкальное произведение, решаешь научную проблему, ты при всем желании не можешь стать диктатором. Только переложив пахоту, книгу, музыкальное произведение, научные изыскания на кого-то другого, ты получаешь возможность превратиться в диктатора. Творческое созидание исключает диктаторство, но от лакейского положения оно не освобождает. Ты приказывать не можешь — некому! — а тебе — почему бы и нет. А если ты вдруг окажешься недостаточно покорным, проявишь строптивость, то почему бы к тебе не применить насилие вплоть до изоляции в лагерях со строгим режимом, избиений, пыток, расстрела, наконец.

Сталин превратил интеллигенцию в безропотную прислужницу, покорно выполняющую — чаще тупо, очень редко даровито и изобретательно — правительственные заказы от создания новых бомбардировщиков до «философского» обоснования великой научной ценности сталинских работ по языкознанию.

И вот теперь тесная, потная карусель, клубок тел — это кружатся интеллигенты сталинского времени. А Хрущев со свитой, столбовая ось этой карусели,— сталинские чиновники, Сталиным поднятые, Сталиным вскормленные и воспитанные янусы с двойными ликами диктаторов и лакеев.

Хрущев не представлял себе иного устройства, кроме того, какое было при покойном Сталине. Хрущев искренне считал, что мир расколот враждой и ненавистью, что государство ежедневно, ежечасно должно укреплять свою мощь, блюсти железную дисциплину подчиненности, сохранять абсолютизм власти... Генеральная линия партии в годы сталинизма была безупречно правильной, но...

Он вскормлен Сталиным, воспитан Сталиным, а потому лучше кого бы то ни было знает, сколь тягостно и чревато опасностями это воспитание. На его глазах хватали виднейших государственных деятелей и ставили к стенке... Добро бы просто к стенке, а то рвали ногти, ломали кости, отбивали почки, грубо измывались, подлейше унижали, прежде чем спровадить на тот свет. Сам Хрущев многие годы ждал своего часа, засыпал ночью, не надеясь увидеть утро, шел на прием к Сталину и не рассчитывал вернуться обратно. Жил и ждал, ждал и дрожал. Вскормлен и воспитан, но благодарности к воспитателю не испытывал.

Генеральная линия партии во время Сталина была безупречно правильной, только сам Сталин не прав — претила жестокость, мутило от безвинно пролитой крови. Хрущев ничего из сталинского не собирался менять — пусть останется все как было! — но Сталина следует осудить и выбросить из истории. Трудно даже представить более нелепое решение. Уж раз бывший вождь был полновластным диктатором и отдавал неверные приказания, которые усердно исполнялись, то почему партия и страна тогда должны жить и действовать правильно? Или он никакой не диктатор, его власть ничего не значила, не за что осуждать и развенчивать, или был диктатором — осуждай, но уже вместе с тем путем, на какой толкала его неправедная власть. Одно с другим тесно связано...

Но если б Хрущев мог как-то связывать причину со следствием, частное с общим!.. К счастью, он был младенчески прост: хочу — и баста, никакая логика мне не указ! Простота в не меньшей степени, чем ум, может быть отважной. Хрущев решительно ниспроверг на XX съезде Сталина: сгинь, нечистый! Тоже прыжок сломя голову...

Не случись этого, нам до сих пор бы внушали: идем по сталинскому пути! «Черные вороны» рыскали бы по улицам наших городов, пыточных дел мастера усердство-

вали бы в застенках, и наверняка продолжалась бы агрессивно-остервенелая внешняя политика, ни о каком мирном сосуществовании не могло быть и речи. Не исключено, над планетой проросли бы грибы термоядерных взрывов, человечество вымирало бы от радиоактивности. Кто знает, как все-таки велика роль случая в истории, той пресловутой «бабочки Брэдбери», меняющей облик будущего.

Воистину хвала случаю! Хвала простоте, ее отважному носителю Никите Сергеевичу Хрущеву! Народы всех континентов должны вспоминать о нем с благодарностью!

Но если сам Хрущев простодушно не считался с элементарной логикой, то другие-то этого не могли себе позволить. Поведение Сталина осуждено — прекрасно! Однако сказал «господи», скажи и «помилуй»...

Джинн выпущен из бутылки, бродят дрожжи сомнений. На обсуждение книги Дудинцева к московскому Дому литераторов собралось столько беспокойных читателей, что пришлось вызвать наряд конной милиции — явление небывалое! А в дружественной Венгрии вспыхивает бунт, приходится прибегать к вооруженному подавлению, срочно менять правительство, ставленное в свое время Сталиным.

В прошлую встречу Хрущев сорвался на прямую ругань, а сейчас он знает, что здесь у него в гостях интеллигенты, и не только такие, кто униженно лезет к ручке. И вот мимолетный взгляд из-под маски гостеприимного хозяина...

Я нескромно подглядел, что у царя Мидаса длинные уши.

8

Солнце за кронами сосен подалось к закату. Нас четверо — художник Орест Верейский и наши жены,— углубляемся в пустынные боковые дорожки. Здесь должен быть не только обихоженный лес, наверняка где-то стоит и дача правительства. Пока мы не замечали и следа каких-либо построек. Я тянул в сторону нашу маленькую компанию: «Разведаем. Делать-то все равно нечего».

Далеко приглушенные голоса, сдержанное праздничное брожение. А тут безмятежно стучит дятел. Отрешенная тишина, хочется говорить вполголоса.

Из боковой аллейки появился прохожий, идет нам навстречу. И мы замолчали, невольно испытывая смущение — идущий навстречу человек нам хорошо знаком, зато нас он, разумеется, знать не знает. Как держать себя в таких случаях: пройти мимо, сделав вид, что не узнали,— противоестественно, но естественно ли здороваться, не будет ли это принято за подобострастие, не получим ли мы в ответ безразличный взгляд и оскорбительно-вельможный кивок? Извечная рефлексия русского интеллигента, раздираемого самолюбивыми противоречиями по ничтожному поводу. Встречный приближается и здоровается первым. Без вельможности. Леонид Ильич Брежнев.

В глубине леса раздаются выстрелы. Нет, мы не вздрагиваем и не переглядываемся недоуменно. Маниакальная мысль — не покушение ли? — не приходит нам в голову. Явно какое-то праздничное развлечение. Не спеша идем навстречу выстрелам, провожаемые стуком невспугнутого дятла.

Поляна среди леса. Две кучки зрителей. Прямо на траве — несколько стульев и два стола, на одном лежат ружья, другой весь заставлен затейливыми фарфоровыми безделушками — призы за удачную стрельбу. Возле столов — Хрущев, Мжаванадзе и еще какие-то лица, мне совсем незнакомые.

На расстоянии сотни шагов почти незаметные, поросшие травой землянки, из них в воздух вылетают тарелочки одна за другой через равные промежутки времени. Они разлетаются от выстрелов высокого, холено-полного молодого человека.

Молодой человек отстрелялся, положил ружье, удалился с горделивой и независимой осанкой. Должно быть, он близок к Хрущеву настолько, что может вести себя в его присутствии свободно, без смущения и раболепства. Зато Мжаванадзе явно не по себе. Он старается быть поближе к хозяину и в то же время боится оскорбить излишней близостью, сохраняет неустойчивое расстояние в полтора шага, отрывисто хохочет. Он сейчас очень похож на алкаша, попавшего в чистую компанию, жаждущего, но не очень надеющегося, что ему поднесут спасительную стопочку.

Хрущев хозяйским жестом указывает Мжаванадзе на стол:

— А ну-ка!

И Мжаванадзе с готовностью хватает со стола ружье.

В синее небо летит тарелочка. Бац! — вдребезги! Новая тарелочка... Бац! — вдребезги!.. Еще, еще, еще... Мжаванадзе с веселым лицом, выражая всем телом предельную вежливость, осторожненько положил ружье на прежнее место. Ему уже протянули приз — фарфоровую статуэтку, густо покрытую позолотой. Он прижимает ее к паху.

Хрущев решительно стягивает с себя пиджак.

А в стороне из тесной кучки зрителей раздаются замечания откровенно насмешливые: мол, держись, посыплются сейчас черепки. Я с любопытством оглядываюсь — интересно, кто это позволяет себе так вольно высказываться в адрес главы государства? Узнаю среди зрителей тяжеловесную Нину Петровну, понимаю, что тут собралось семейство Хрущева. Эти могут себе позволить.

В расшитой «антисемиточке», расставив короткие ноги, розовые уши настороженно торчат — Хрущев на изготовку с ружьем.

Взвивается в небо тарелочка. Бац — мимо! Тарелочка падает к земле. Вторая... Бац — мимо!.. Бац! Бац! — тарелочки целы... Оцепенел с прижатым к паху позолоченным призом Мжаванадзе.

Только одну тарелочку из десяти разбил Хрущев. Он положил ружье и сел на стул...

Полные плечи обмякли, руки повисли, отполированная голова опущена, уши, невинно-розовые, обиженно торчат в стороны — неутешно мальчишеское во всей рыхлой фигуре. Право, так и хочется подойти, погладить по лысой макушке: «Брось, лапушка, горевать. Эка беда, на другом сноровку покажешь».

А в стороне безжалостно посмеиваются:

— Настрелял уток — не унести.

И стоит перед убитым Хрущевым Мжаванадзе, прижимает к паху золоченый приз, мнется и не знает, куда смотреть. Вот уж кому не позавидуешь...

И вольные шуточки со стороны семейства.

Вдруг Хрущев встает. Тело его, только что обмякшее, становится сбитым, движения скупые, лицо не в шутку сурово, и розовые уши торчат уже не обиженно, а почти угрожающе.

Шуточки со стороны не прекращаются, но Мжаванадзе вышел из столбнячка, облегченно распрямился, с пре-

данной собачьей надеждой смотрит, как Хрущев берет ружье.

Рукава «антисемиточки» подтянуты, ноги расставлены, тяжелым корпусом вперед, голова склонена — бычок посреди дороги, объезжай кругом!

Летит тарелочка... Выстрел! Осколки осыпаются на землю. Выстрел!.. Осколки!.. Выстрел! Выстрел! Выстрел!.. Черт возьми! Возможно ли это? Лишь одна тарелочка падает целой на траву.

Хрущев победно кладет ружье.

Я не знаю, было ли тут холопское жульничество. Не знаю, каким способом выбрасываются в воздух тарелочки. Можно ли за несколько минут сделать так, чтобы они сами по себе разлетались в воздухе, да еще согласованно с выстрелами. Но если это и ловкий фокус, то в него всей душой поверил и сам Хрущев.

Он положил ружье и прошелся... Просто взад-вперед возле столов. Плечи его играли, грудь и живот, соперничая, рвались вперед, голова вздернута, походочка с радостным содроганием, как у плясуна, входящего в круг, на расстоянии чувствовалось, что каждый мускул под тугим жирком, каждая жилочка возбуждены. Нужно быть воистину гениальным актером, чтоб столь нешаблонно, столь доподлинно разыграть победное счастье — и плечами, и животом, и ногами, ушами даже! Ой нет, так вести себя может лишь человек, который действительно переполнен торжеством, хотел бы, да не в силах его скрыть — распирает!

Родственники со стороны продолжали острить, ничуть не пораженные и не восхищенные удачей, а я, признаться, стоял озадаченный.

Да и теперь этот маленький случай для меня — необъяснимая загадка, почти что чудо. И единственное объяснение, какое могу дать,— недюжинность характера Хрущева. Он, не откажешь, обладал сокрушающим напором и мужицким неуступчивым упрямством. Его борьба со Сталиным — доказательство тому. Уже мертвый и развенчанный вождь всех народов отчаянно сопротивлялся. Его вытаскивали из Мавзолея, но он снова в него ложился. Его старались убить умолчанием, а Сталин напоминал о себе тысячами своих бронзовых, мраморных, гипсовых копий, стоящих по городам и весям страны, географическими названиями, глухим ропотом поклонников. Однако Хрущев выкинул Сталина из Мавзолея, вы-

корчевал по стране его памятники, стер его имя с географических карт, не испугался миллионного ропота поклонников. Попробуйте отказать этому человеку в характере!

Сейчас он с детской непосредственностью радовался одержанной победе — разбил-таки тарелочки, доказал свою сноровку! Ай да я!

К нему сразу же бросились с фарфоровым призом. Он с серьезной важностью, не без величия, как и подобает государственному мужу, принял его и... бросил взгляд на приз Мжаванадзе. А Мжаванадзе ликовал, Мжаванадзе весь лучился — слава те, господи, пронесло! — умильно заглядывал в глаза Хрущеву...

И улыбка сползла с лица Мжаванадзе, он перехватил взгляд хозяина и опустил глаза к своему призу, который обеими руками стеснительно прижимал к стыдному месту: ей-ей, случилась небольшая оплошность — на затейливой фарфоровой статуэтке Мжаванадзе явно больше позолоты... Хрущев изучающе разглядывал не принадлежащий ему приз.

И Мжаванадзе вскинулся, с готовностью протянул:

— Сменяемся, Никита Сергеевич.

Нет, я ничего не придумываю ради красного словца, все было именно так, как я рассказываю, прошу верить. Да, да, Хрущев сменялся, взял приз Мжаванадзе, на котором оказалось больше позолоты. И оба были явно довольны этим обменом.

Тут по всему лесу загремело радио:

— Дорогие гости! Просим вас к столу. Дорогие гости! Просим вас!..

И все потянулись к большому полосатому тенту, растянутому среди сосен. Под ним тесно стояли длинные столы.

Я там был, мед-пиво пил...

Чтоб не упрекнули в голословности, прилагаю сохранившийся документ — карточку меню.

Обед:

Икра зернистая, расстегаи
Судак фаршированный
Сельдь дунайская
Индейка с фруктами
Салат из овощей
Раки в пиве

Окрошка мясная
Бульон с пирожком
Форель в белом вине
Шашлык
Капуста цветная в сухарях

Дыня
Кофе, пирожное, ассорти, фрукты

с. Семеновское,
17 июля 1960 года.

Стеснительно не упомянуты напитки.

Знатоки утверждают, что в прошлый раз стол был куда обильнее и утонченнее.

Март 1974 г.

Люди или не́люди

НАРОД м. люд, народившийся на известном пространстве; люди вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним языком; обыватели государства, страны, состоящей под одним управлением: чернь, простолюдье, низшие, податные сословия; множество людей, толпа.
В. Даль. Толковый словарь

Человек с ласковым взором несчастен, доброго везде презирают. Человек, на которого надеешься, бессердечен. Нет справедливости. Земля — это приют злодеев.
Из древнего египетского манускрипта

1

Я дважды в жизни пережил редкостно прекрасное чувство любви. Нет, не к женщине, не к отдельному человеку, а к людям вообще. Просто к людям за то, что они добры друг к другу, душевно красивы.

В первый раз это случилось на подступах к Сталинграду поздним сумрачным январским вечером 1943 года.

Я возвращался из дивизионных мастерских, в противогазной сумке нес заряженный аккумулятор для своей радиостанции. И не то чтобы я заблудился... Просто, пока я торчал в тылу, шло наступление, стрелковые роты,

штабы, минометные и артиллерийские батареи двигались вперед. Целый день все менялось и перемешивалось, сейчас остановилось на ночь. Солдаты долбили мерзлую землю, как могли укрывались от шальных пуль, от мин, от холода, кому повезло, попрятались в оставшихся после немца землянках. И сумей-ка теперь разыскать своих.

Я шатался по степи, натыкаясь на чужие подразделения.

— Случаем, не знаете, где штаб Сорок четвертого?..

От меня отмахивались:

— Тут нет. Топай, друг, не маячь.

И я снова выходил в степь, заснеженную, взорванную воронками. Ночь устало переругивалась выстрелами. Там, где невнятная степь смыкалась с черным низким небом, тускло сочились отсветы далеких пожаров — сальные пятна сукровицы израненной планеты. Не видишь, но кожей чувствуешь, что земля под серым снегом начинена железом, рваным, зазубренным, уже не горячим, остывшим, потерявшим свою злую силу. Это невзошедшие семена смерти. Чуть ли не на каждом шагу торчит или вывернутый локоть, или каменное плечо, обтянутое шинельным сукном, или гладкая, ледяно-прокаленная каска, скрывающая глазницы, запорошенные снегом.

Я привык к трупам, они давно для меня часть быта, ненужная, как для лесоруба старые пни. А когда-то содрогался при виде их...

И вот на этом бескрайнем поле, покинутом всеми, я увидел еще одно бесприютное живое существо. На сукровичное пятно далекого пожара из темноты выковыляла лошадь, на трех ногах, нелепо кланяясь при каждом скоке. Выковыляла и стала понуро — любуйся всласть: голова уронена, натруженная холка выпирает горбом, обвислый зад, страдающе поджата перебитая нога. Ранена и брошена, всю жизнь работала, нажила горб, теперь — не нужна, лень даже пристрелить, зачем, когда и так подохнет от голода, холода, кровоточащей раны.

Я привык к человеческим трупам, но выгнанная на смерть и продолжающая жить с понурым упрямством лошадь обожгла меня жалостью. А нет ничего опаснее жалости на войне.

Некто окаменевший в снегу с вывернутым локтем. Вывернутый локоть — значит, пытался встать, стонал, ждал помощи и... как не пожалеть его. Нет, не смей!

За жалостью сразу придет мысль: ты сам не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — ты с вывернутым локтем, с застывшим оскалом, с невыдавленным стоном. И уж тут-то день за днем пойдут в кошмаре ожидания. Ты заранее почувствуешь себя погибшим, на тебя найдет сонная одурь, будешь вяло двигаться, не кланяться под пулями, не припадать к земле при звуке летящего снаряда, неохотно долбить окоп — зачем, все одно конец. И такой очумелый долго не протянет — не свалит осколок, доконает мороз.

Не смей жалеть и не смей лишка думать — война! Огрубей и очерствей, стань деревом!

Я не заметил, как одеревенел. Вот привык к трупам — старые пни в лесу...

Трупы привычно, а выгнанная на смерть рабочая лошадь, знать не знающая о великом сумасшествии, неведающая, непричастная, слепо доверчивая, живая военная бессмыслица, нет, непривычно. К тому же я очень устал, а потому не выдержал, отравился опасной жалостью.

Отравленная мысль, как всегда, метнулась к спасительному: «Вот кончится война!..» И споткнулась... «Да, кончится. Может, ты и выживешь... Ты, привыкший к трупам — старые пни в лесу! Выживет, может, и тот, кто выгнал лошадь... Выживете, но как будете жить? Разучились жалеть, страдать, равнодушны до древесности! Как жить вам потом — порченым среди порченых? Неужели ты думаешь, такая страшная война выветрится из тебя, из других? Выветрится без следа?.. Да оглянись кругом, разве такое не может навсегда войти в душу. Может! Войдет!»

В тусклом отсвете потустороннего пожара горбатилась рабочая коняга — среди окоченелости комок стынущей плоти, лишняя вещь на земле. И я себя в ту минуту тоже почувствовал лишним — кому буду нужен такой, отупевший от войны! Будущее казалось столь холодным, столь неуютным, что даже надежда — «А вдруг да выживу!» — никак не радовала, а пугала. Я едва ли не завидовал тем, кто уже лежит в снегу, накрывшись прокаленной морозом каской.

Но мерзли ноги в сапогах и в рукава шинели пробирался колючий ветер — я жил и надо было исполнять солдатские обязанности, искать штаб своего полка. Я двинулся дальше средь воронок и трупов — к людям! Оставив в одиночестве лошадь — не нужна миру, мне тоже...

Через сотню метров я наткнулся на землянку.

Густой воздух, жирно пахнущий парафином от горящих немецких плошек и тем прекрасным, оглушающим с мороза, едким до слез запахом солдатских портянок, овчины, пота, мокрых валенок, который — хошь, не хошь,— а с такой покоряющей силой доказывает неистребимость жизни, что заставляет забывать о войне. И этот густой — топор вешай — воздух колеблется от мощного, переливчатого, с изнеможенными стонами, с восторженными захлебами храпа. Так упоенно спать могут лишь солдаты, которым не каждую-то неделю удается растянуться в тепле во весь рост. А здесь даже многие скинули с ног валенки, недаром же среди всех прочих запахов победно господствует портяночный. И, колеблемые храпом, шевелятся огоньки плошек, и сквозь накат, через толщу земли смутно-смутно доносятся вой и похлесты поземки, гуляющей по снежной степи. Нет, что ни говори, а райский угол, обиталище счастливцев.

Счастливцы лежали вповалку на полу, тесно друг к другу — ладонь не просунешь. От стены к стене, под нарами, на нарах, всюду — буйное пиршество сна.

Один счастливец не спал, голый по пояс (во как тепло!), освободив дородные и уже немолодые телеса, самозабвенно, с явным наслаждением бил вшей в нательной рубахе, и отсветы качающихся огоньков от плошек хороводились на его лысеющем, без малого ленинском, лбу.

— Эй, ты! Дверь! — крикнул он, отрываясь от рубахи, но тут же подобрел голосом:— Радист! Ты как сюда?..

Я узнал его — дядя Паша из комендантского взвода, постоянно торчал на часах у землянки штаба полка, недавно его вместе с помощниками поваров, химвзводниками, хозяйственниками направили в стрелковую роту. В ротах повыбило людей.

Значит, я все-таки добрался до своих.

— Проскочил ты штаб полка, парень, обратно придется топать. Да это недалече, километра три. Рядом батальонные связисты, от них по кабелю — не собьешься. Покуда лезь сюда, погрейся.— Дядя Паша потеснился.

Наступая на спящих, которые со вздохами шевелились, невнятно мычали и внятно посылали меня по матушке, но не просыпались, я пробрался к нарам и тут же споткнулся о чьи-то ноги. На этот раз спящий беспокойно завозился под нарами и выполз на свет плошек. Передо мной предстал... немец. Щекастенький, сонно розовый,

в просторном, сумеречного сукна мундире с бляшками-пуговицами, он жмурился и застенчиво улыбался, словно хотел сказать: «Извините, пожалуйста, что я вас так удивил».

— Что это? — не выдержал я.

Круглая мясистая физиономия дяди Паши раздвинулась в ухмылке:

— Вот обзавелись... Третьеводни, смех и грех, среди ночи с кухней на нашу позицию въехал. Заблудился в степи и — наше вам, здравствуйте. Кашу его съели, самого хотели в штаб, да там нынче не очень-то нуждаются в таких «языках». Вот и прижился... Рад, поди, Вилли, что отвоевался?..

Вилли жмурился и улыбался, у него были длинные белесые ресницы, детское простодушие на щекастом лице — лет восемнадцати и того, пожалуй, нет. Мне в тот год едва перевалило за девятнадцать, и я без ошибки, чутьем угадывал — кто моложе меня.

По землянке прошла волна холодного воздуха.

— Эй, Вилли! Якушин пришел, встречай,— объявил дядя Паша, натягивая на себя рубаху.

Приземистый солдат — из-под вязаного заиндевелого подшлемника лишь воспаленные глаза — переминался у входа, примеряясь, как бы не потоптать спящих. Наконец он, втискивая заснеженные валенки между телами, подошел к нам, стянул с головы морозную каску, оказался в ушанке, снял ушанку, остался в подшлемнике, содрал наконец и подшлемник, открыл давно не бритое, чугунное от стужи и усталости мужицкое, обильно губастое лицо.

А Вилли тем временем успел нырнуть под нары, вытащил оттуда объемистый узел, стал суетливо его разворачивать — ватник, плащ-палатка, вафельное, почти что чистое полотенце — и, счастливо рдея, протянул скинувшему полушубок Якушину котелок.

Якушин довольно хмыкнул, потер узловатые красные руки, непослушными пальцами выудил из валенка ложку.

— Ишь ты, заботушка — теплое...— Потеснив меня, он сел на край нар, сурово приказал Вилли:— Садись!

Вилли, взмахивая невинными ресницами, улыбался.

— Кому говорят?.. Навернем сейчас на пару.

Дядя Паша подтолкнул Вилли в спину.

— Шнель! Шнель! Коли просит, чего уж...

И Вилли смущенно пристроился к котелку.

Немецкий парнишка и русский мужик — голова к голове. Я сидел за спиной Якушина, видел его крутой затылок на просторных плечах, усердно двигающиеся уши, Вилли, вежливо работающего ложкой, дядю Пашу, следящего из-под лоснящегося лба увлажненно добрым взглядом.

Стесняясь своего доброго взгляда, дядя Паша, блуждая извиняющейся улыбочкой, объяснял мне через две склоненные головы:

— Хороший парень Вилли, душевный... Хошь и немец, а человек. Да-а... Это же Якушин его с кухни стащил, а теперь, вишь вон, душа в душу живут.

А я не нуждался в объяснениях, тем более извинительных. Во мне бурно таяла тяжелая вселенская тоска, которую я принес сюда со взрытой снарядами, заваленной окоченевшими трупами степи. Да, трупы, да, пожарища, да, где-то замерзает лошадь, нажившая на работе горб и выгнанная без жалости. Война! Страшило: она кончится, а жестокость останется. И вот — голова к голове над одним котелком...

Немец начал эту войну, трупы в степи — его вина, велика к нему ненависть, даже у поэта в стихах: «Убей его!» А солдат Якушин, убивавший немцев, делит сейчас свою кашу с немецким пареньком.

Война пройдет, а деревянность и жестокость останутся?.. Как я был глуп! Война в разгаре, рядом линия фронта, с той и другой стороны нацелены пулеметы, а уже двое врагов забыли вражду, где она, деревянность, где жестокость?

Голова к голове, ложка за ложкой и —хлеб пополам.

Кончится война, и доброта Якушина, доброта Вилли — их сотни миллионов, большинство на земле! — как половодье, затопит мир!

Навряд ли я тогда думал точно такими словами. В девятнадцать лет больше чувствуют, чем размышляют. Я просто задыхался от нахлынувшей любви. Любви к Якушину, к Вилли, к дяде Паше, к храпящим солдатам, ко всему роду людскому, который столь отходчив от зла и неизменчив к добру. Слезы душили горло. Слезы счастья, слезы гордости за все человечество!

Я вырос атеистом, не читал тогда Евангелия от Матфея, не знал слов из Нагорной проповеди: «Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за

обижающих вас и гоняющих вас... ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?»

Но, кажется, в ту минуту я сам собой до них дозрел, с наивной страстью простодушно верил в невозможное.

2

Второй раз нечто подобное случилось четырнадцать лет спустя в Пекине.

Я был в составе так называемой культурной делегации Общества советско-китайской дружбы. Мы летали по всему Китаю, и всюду нас встречали пышно, бурно, празднично — толпы, цветы, восторженные лица, страстно тянущиеся руки, церемонно длинные обеды с бесконечной чередой блюд, экзотических до несъедобности. Вкушали змей с хризантемами, пробовали ласточкины гнезда, пили рисовую водку — вкус самогона — за вечную дружбу, братство, за общий путь до конца, и гостеприимные хозяева кричали нам: «Гамбей!»

По европейскому календарю наступал Новый, 1957 год. Китайцы свой Новый год празднуют весной. Но почему-то в наш праздник нас не предоставили самим себе — мол, отдохните от встреч, выпейте, закусите, поздравьте друг друга,— наоборот, решили усиленно показывать нас молодежи.

Ритуальные беседы за чаем, трибуны, речь о великой дружбе двух великих народов. Попадаем в недавно организованный Пекинский институт кинематографии. Должно быть, в этот институт принимают не по таланту, а по стати. Нас встречают не по-китайски рослые, разбитные и жизнерадостные парни, одетые, как один, в безупречные европейские вечерние костюмы. И девушки в костюмах национальных — яркие шелка, золотое шитье. Столько красавиц, собранных вместе, я не видел в своей жизни — и до, и после, увы! Были и величавые, до оторопи, до зябкости — мраморные в горделивой посадке тонкие лица, на вскинутых, утонченно чеканных бровях покоится непомерная спесь Востока, чужеватый разрез глаз прекрасен, как непостижимое мастерство древнего азиатского ремесленника, и нет плоти, есть воздушность, нет походки, есть плывучесть. Но были и с той щемящей одухотворенностью, не столь красивы, как просты, не бьющие в глаза с налету, а лишь останавливающие взгляд

затаенной добротой, и... ты уже непоправимо несчастен, твое сердце тоскливо сжимается — такое вот чудо человеческое, мелькнув раз, пройдет мимо тебя!...

Традиционные кружки чая, но вместо традиционных речей — танцы.

Мне, право же, стыдно за себя и обидно — экий пентюх! Как-то так получилось, что я всегда оказывался в стороне от танцплощадок. Сказать — не поверят: ни разу в жизни не танцевал!

Однако мне не дают сидеть бирюком, подходят.

— Товалис...

И взгляд в зрачки, и ожидание, и просьба.

Стыд. Но сильней самого стыда — страх перед стыдом грядущим: вдруг да, черт возьми, осрамлюсь!

И надменнобровая красавица с легким удрученным румянцем отплывает от меня. Обидел ее! Надо же!

Новый танец, и снова:

— Товалис...

И взгляд в зрачки. И надежда... А эта из тех — земных, не воздушных, одухотворенных добротой. Да провались все в тартарары! Была не была!

И я впервые в жизни выхожу с намерением совершить ритуальные движения под музыку. И, к своему удивлению, с грехом пополам совершаю, хотя и костенею плечами, поджимаю живот к позвоночнику, стараюсь, стараюсь до испарины.

Но не завидую больше ни старому Валентину Катаеву, плавающему среди кружащихся пар, как рыба в воде, ни нашему степенному главе делегации, президенту Академии педнаук Каирову, теснящему толстым животом некое сверхвоздушное создание. И мы, братцы, не лыком шиты!

— Кал-ла-со! Кал-ла-со!

Господи! Меня поняли, меня подбадривают! Славная ты моя, спасибо тебе за доброе слово, только, ради бога, береги свои маленькие ножки — никак не поручусь за себя.

Я готов танцевать и дальше, лиха беда начало, но...

Уже несколько раз к каждому из нас склоняются китайские товарищи из нашей свиты, почтительнейше шепчут:

— Нас ждут в Педагогическом университете.

Опять трибуна, опять речи о нерушимой дружбе — не

больно-то охота, сегодня же у нас праздник. Мы дружно и горячо высказываем желание остаться здесь.

— Надо ехать, надо...

Скорбные покачивания головами, понимающе поджатые губы, полнейшее сочувствие, однако:

— Надо! Нас ждут. На два часа опаздываем.

Вкрадчивая китайская вежливость побеждает русское упрямство: «А, черт! Надо так надо! Пошли — все равно не отцепятся!»

Подъезжая к Педагогическому университету, мы невольно переглядываемся друг с другом и... прячем глаза, поеживаемся. Нас ждут — да! Целая толпа. Ждут уже два часа, если не больше. Ждут на морозе — Пекин не Кантон, зима здесь нешуточная, а одежонка всех китайцев, тем более студентов — ситчик на рыбьем меху. Нас ждут, и вопль восторга встречает нас. Толпа хлынула, только что не бросаются под машины, все стараются заглянуть в окна, поймать наш взгляд, хоть на секунду, хоть на миг показать счастливое — сплошная улыбка! — лицо. Добровольцы-активисты теснят толпу, иначе не откроешь дверцы машин, мы, закупоренные общим восторгом, не сумеем выбраться наружу.

Один за другим вылезаем, и к каждому из нас тянутся руки, десятки рук с отчаянной страстностью, через головы впереди стоящих. Нам не рекомендуют, да мы и сами не решаемся пожимать их. Протянутых рук всегда столько, что церемония рукопожатия может затянуться на добрый час, а мы и так безбожно опоздали. Нас ждут не только эти встречающие энтузиасты. И мы снова виновато переглядываемся — экие сукины дети, засиделись у веселья.

Толпа выдавливает из себя тщедушного студентика с посиневшим от ожидания лицом и мученически вскинутыми бровями — все ясно, выдающийся знаток русского языка, которому надлежит приветствовать высоких гостей. Оттого-то мученически и задраны его брови.

Он встает перед нами, некоторое время собирается с духом, наконец размеренно изрекает:

— Добы-ро пожа-лу-ват, до-ро-гие то-ва-риш-ши! — И сразу же бойко спрашивает: — Что?! — То есть не совсем уверен, то ли сказал.

А так как мы с готовностью слушаем, он продолжает, почти четко, без запинки:

— Вы наши братья!.. Что?!

На этом запас его русского красноречия иссякает, мы жмем ему руки, для ободрения хлопаем его по плечу, и он нас ведет, правда, сначала совсем не в ту сторону, но бдительная толпа и возгласами и тесным напором исправляет его смятенную ошибку, поворачивает на нужный путь.

Нас пытаются усадить за чай, но в воздухе разлито лихорадящее нетерпение, им заражены мы, заражаются и наши хозяева. Кружки с чаем остаются нетронутыми. Поспешно ведут на сцену...

Зал взрывается аплодисментами. Зал... Едва я кинул в него взгляд, как почувствовал, что встречаюсь с чем-то небывалым для меня, столь властным, чего я не чувствовал ни в одной аудитории.

А мы облетели уже большую часть Китая, в каждом городе, в каждой провинции — по нескольку митингов. Мы привыкли к китайскому многолюдию, и сборищами в две, даже в три тысячи нас не удивишь, всюду — восторженность, жадное внимание, щедрые аплодисменты.

Здесь, в общем-то, не так уж и много народу — может, тысяча, может, чуть больше. Не всех желающих вместил этот зал, но вместить еще — хотя бы одного человека — он уже не в состоянии. Никаких скамей, никто не сидит, все плотно стоят. Все вокруг донельзя туго набито лицами. Каждое повернуто на тебя, от каждого истекает напряженное ожидание чего-то особого, непременно счастливого. Лица сливаются в нечто единое, монолитное, а поэтому истекающее от них ожидание тоже столь слитно едино, что обретает плоть, я его физически чувствую, мне почти больно.

И как они умудряются еще аплодировать в такой тесноте?

Но аплодисменты стихают, а ожидание возрастает — до взрывоопасности!

Я случайно кидаю взгляд на самый первый ряд, на тех, кто вплотную придавлен к сцене. Лица рядом, от моих ботинок — один шаг, рукой дотянись. Лица девчонок с сияющими глазами. На них нет национальных красочных одежд, они в затасканных, застиранных хлопчатобумажных робах, в которых ходит весь Китай, мужчины и женщины, рикши и министры. Но почему-то девочки кажутся празднично нарядными. От светлых улыбок, от сияющих глаз?..

Не только.

Они и в самом деле принарядились. Как могли, каждая. У одной в черных волосах кокетливый бантик, у другой цветная косыночка на шее, у третьей ворот затасканной робы расстегнут и старательно расправлен, чтоб видна была белая глаженая кофточка. Очень белая, очень чистая, похоже, что шелковая, не для каждого дня.

И меня оглушает простая мысль: они стоят в первом ряду, в самом первом! Но, чтоб занять этот ряд, девочки должны прийти сюда не два часа назад, ко времени назначенной встречи. Чтоб быть ближе к нам, девочки явились сюда, по крайней мере, часа за четыре. Целых четыре часа, добрую половину рабочего дня они стояли и ждали, ждали, ждали.

Чего?

Чтоб увидеть меня и моих товарищей, людей весьма заурядной наружности? Может, они читали наши книги — Валентина Катаева, мои,— с девичьей экзальтированностью полюбили нас? Ой нет, не так-то мы известны в Китае, нас едва знают профессионалы, те, кто специально занимается русской литературой. А уж девочки-то наверняка и не слышали наших фамилий. Но что-то заставило их ждать четыре часа. Никто не требовал от них этой жертвы, не организаторы же вечера принудили нацепить кокетливые бантики, повязать праздничные косыночки. Мы им нужны. Ждали, ждут! Ждет и оглушает нас своим требовательным, счастливым ожиданием переполненный зал. Каждое лицо словно излучает свет. Тысячи направленных на тебя лиц, больно от их мощного света — слепят, сжигают. Все замерло, как перед чудом.

И позднее я ни разу не испытывал на себе столь сплоченное, любовное — да, любовное, нельзя назвать иначе! — людское внимание. Наверное, только выдающиеся пророки и великие вожди испытывали такое. Мы не пророки и не вожди, ни наших имен, ни наших дел не ведают в этой стране. Почему нам это, испепеляющее?.. Почему?

Только теперь я как-то могу объяснить: мы тогда были олицетворенной надеждой, наглядным будущим. Этим парням и девушкам настойчиво твердили, и они все с готовностью верили: впереди вас ждет земной коммунистический рай! Русские отвоевали его раньше, они уже люди будущего, почти что райские жители. Как пропустить встречу с ними, как не постараться встать к ним поближе, к ним, счастливцам, чтобы увидеть воочию то, что ждет тебя! Здесь собралась только молодежь, из разных углов

Китая, из разных слоев народа, нищего китайского народа, забитого, затравленного, надрывающегося в непосильном и неблагодарном труде. Народа, лишенного в течение тысячелетий даже каких-либо надежд. Молодежь легко убедить надеждой — грядущее прекрасно! Да окажись вы на их месте, в их возрасте, с их надеждами, разве не ринулись бы вы на встречу... с будущим?

Прав ли я?.. В тот момент я и не искал ответа. Ко мне повернуты лица, лица, лица. Зал распирает от счастливых молодых лиц. И кто-то не сумел сюда втиснуться. Здесь малая часть народа. Юная его часть. Молодость необъятного народа взирает на меня. И снизу, с расстояния в один шаг — девичьи сияющие глаза. От меня ждут... ждут великого. Если б я мог сейчас отдать свою жизнь! Что моя маленькая жизнь по сравнению с этим народным ожиданием?.. Если б мог!..

То же самое, должно быть, чувствовали и мои товарищи, я видел, как все они подобрались, подтянулись, вскинули головы, у каждого выражение почти трагической взволнованности. И подозрительно блестят глаза. Даже у Пети, стукача нашей делегации, который и раньше бывал в Китае с какими-то заданиями, хвалился нам, что сиживал за одним столом с Чан Кай-ши, ругал китайцев за темноту, за восточную льстивость, за жестокость друг к другу. И этот Петя сейчас сдерживает слезы, как и я...

От любви к девочкам с сияющими глазами, от любви к тем, кто стоит за ними, к людям за этими стенами, людям этой страны, ко всем, всем людям на свете! Всемирно необъятное чувство, задыхаешься от него!..

3

О Бояны, соловьи старых и новых времен! Кто из вас, «скача по мыслену древу, летая умом под облакы», не воспевал народ?

Совесть народа, воля народа — нечто запредельно высокое, чему нет сравнения. Сила народа неисчислима, мудрость народа безгранична. От него и только от него исходит та сокровенная доброта, которая и поддерживает жизнь на земле.

Сталин постоянно низкопоклонничал перед народом, главным образом русским: «...Потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Непримиримый враг сталинизма Солженицын тоже утверждает за народом приоритет ясности ума и стойкости характера. В его романе «В круге первом» не высокоученые и высоконравственные интеллигенты, собранные злой волей Сталина-Берии-Абакумова в «шарагу», несут слово обличающей мудрости, его произносит старик сторож, представитель простого народа: «Волкодав — прав, людоед — нет!» Философское кредо объемистого романа.

Ну, а кумир современного витийства Евтушенко с завидным апломбом и прямотой объявляет:

Все, кто мыслит,— тот народ,
Остальные — населенье!

Гитлеровцы, сжигая в печах Майданека и Освенцима детей, сталинисты, разорявшие и ссылавшие миллионы крестьян, миллионами расстреливавшие своих единомышленников, маоисты, заварившие кровавую кашу «культурной революции», респектабельное правительство Трумэна, бросавшее на уже обескровленную, сломленную Японию атомные бомбы,— все они, столь разноликие, действовали от имени народа, во благо его, не иначе!

Великие русские писатели прошлого столетия, как никто, восславляли народ, исходя из общепринятого положения, что в нем — и только в нем, народе! — заложены лучшие духовные качества. И лишь у Пушкина настораживающим диссонансом прорывается что-то противоположное:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Стихи Некрасова, романы Достоевского, мятущиеся поиски Льва Толстого по сути — развитие и углубление старинной притчи о добром самаритянине, простонародном носителе бесхитростной и спасительной для мира человечности.

В меру своих сил я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования.

4

Я пробыл в той живительно душной, упоенно храпящей землянке каких-нибудь полчаса, а казалось, набрался надежды на всю жизнь. Если только будет у меня эта жизнь, если посчастливится увидеть конец войны, то меня окружат люди, уставшие от крови и ненависти, истосковавшиеся по любви... И тогда немец повернется раскаянным лицом к русскому. И, как это ни невероятно — да, да!— матери простят им погибших сыновей, сыновья — потерянных отцов. Так нужно, так будет. Якушин, хлебавший из одного котелка с Вилли,— тому порука.

А утром снова забесновались артиллерийские батареи, залаяли минометы, гулом отозвалась земля с чужой стороны — мы поднялись в наступление. Вперед к Сталинграду, где сидят зажатые со всех сторон немцы. Уже близко!

После полудня вошли в хутор где-то на подступах к Воропонову.

Средь придавленно плоской белой степи раскиданы черные, свежие углища, в каждом из них горбатится печь, даже трубы и те сбиты снарядами. По измятой гусеницами земле тянется нечистый дымок, угарно пахнущий горелым мясом, паленой шерстью. Брошенная гаубица глядит тупым рылом в невнятную просинь ясного зимнего неба и похожа на сидящую гигантскую собаку, только что не воет. И под ногами немецкие противогазы в жестянках, каски, игрушечно красивые ручные гранаты, как крашеные пасхальные яйца.

Хутор? Нет. След от него. Таких снесенных с земли селений осталось много за нашей спиной. Мы даже не успевали поинтересоваться, как они называются.

Печные трубы сбиты снарядами, а колодезный журавель остался — косо торчит, сиротливо смотрится. Под ним плотно сбитая, плечом к плечу, куча солдат — шинели, овчинные полушубки, белые маскхалаты, торчащие винтовки, покачивается тяжелый ствол противотанкового ружья,— а вокруг суетня, сбегаются любопытные, втискиваются в толпу, другие выползают, сердито крутят шапками, жестикулируют, и все краснолицы. Что-то там случилось, что-то особое, солдаты возбуждены, а уж их-то в наступлении трудно чем-либо удивить.

Я тоже, как и все, спешу к общей куче, придерживая на груди автомат.

Навстречу бежит солдатик, путается валенками в полах шинели, лицо вареное, бабье, тонко, по-старушечьи причитает:

— Люди добрые! Да что же это?.. Изверги! Семя проклятущее!..

Второй солдат, низкий, кряжистый, эдакая глыба, упрятанная в полушубок, вываливается из толпы, с минуту одурело стоит, с бычьей бодливостью склонив каску, с усилием разгибается, на темной заросшей физиономии белые, невидящие глаза.

— Якушин! — узнаю я его.— Что тут?

Он, глядя слепым выбеленным взглядом мимо меня, выдавливает тяжелое ругательство:

— В бога, мать их! Миловался! Ну, теперя обласкаю!..

И, качнувшись, идет с напором, широкие плечи угрожающе опущены, каской вперед.

Спины с тощими вещмешками, в каждой напряженная сутулость. А за этими спинами мечется, как осатаневшая лиса в капкане, надрывно слезливый, с горловыми руладами голос:

— Брат-тцы! Любуйтесь!.. Брат-цы-ы! Это не зверье даже! Это!.. Это!.. Слов нету, брат-цы!..

Я плечом раздвигаю спины, протискиваюсь вперед, толкаюсь, цепляюсь автоматом, но никто не замечает этого, не огрызается.

Обледенелый сруб колодца, грузная обледенелая бадья в воздухе, обледенелая с наплывами земля. На толстой наледи — два странных ледяных бугра, похожих на мутно-зеленые, безобразно искривленные, расползшиеся церковные колокола, намертво спаянные с землей, выросшие из нее. В первую минуту я ничего не понимаю, только чувствую, как от живота ползет вверх страх, сковывает грудь.

— Брат-цы-ы! Мы их в плен берем! Чтоб живы остались, чтоб хлеб наш ели!..

Я не могу оторвать взгляда от ледяных колоколов, лишь краем глаза улавливаю ораторствующего парня без шапки, с развороченной на груди шинелью.

И вдруг... Внизу, там, где колокол расползается непомерно вширь, кто-то пешней или штыком выбил широкую лунку, в ее сахарной боковинке что-то впаяно, похоже на очищенную вареную картофелину... Пятка! Голая смерзшаяся человеческая пятка! И сквозь туманную толщу, как собственная смерть из непроглядного будущего,

смутно проступили плечи, уроненная голова — человек! Там — внутри ледяного нароста! Окруженный пышным ледяным кринолином. Перевожу взгляд на второй колокол — и там...

Их трудно разглядеть, похожи на тени, на призрачную игру света с толщей неподатливо прозрачного льда. Не тени, не обман зрения — наглухо запечатанные, стоящие на коленях люди. Оттого-то и угловаты эти припаянные к земле колокола. Нет, нет! Не хочется верить! Но мои глаза настолько свыкаются, что я уже начинаю различать нательное белье, покрывающее плечи тех, что внутри. И пятка торчит из выбитой лунки, желтая, похожая на вареную смерзшуюся картофелину.

Простоволосый парень рвет на груди лацканы шинели, машет зажатой в кулак шапкой.

— Так их, брат-цы!.. Потроха вытягивать из живых!..

И кто-то угнетенно угрюмо, без запальчивости произносит:

— Это те... Из пешей разведки... Третьего дня двое не вернулось.

— Брат-цы-ы!!

А толпу качнуло. Сначала негромко, угрожающе глухо:

— Опсовели.

— И в войну знай меру...

— Того и себе, видно, хотят.

— Да мы ж их теперь!..

И осатанелый всплеск:

— Захаркают кровью!

— Потроха из живых!

— Так их в душу мать!

— О-о-о!

— У-у-у!

И я тоже вопил что-то злое и бессмысленное.

— Тих-ха!

На расползшуюся наледь выскочил пехотинец в копотном полушубке, вскинул над ушанкой сжатые в рукавицах кулаки — дядя Паша, непохожий на себя. На багровой физиономии раздуты белые ноздри, желтые прокуренные зубы в оскале.

— Тих-ха! Слушайте!.. Коль они так, то и мы так! Чего зря глотки драть! С-час!.. Вот с-час покажем. Отольются кошке мышкины слезы!

— Отольются — жди!

— Покуда доберемся до них — подобреем!

— Всегда так — покричим да остынем!

— Тих-ха!! Побежали уже... С-час! Вот с-час приведут...

Я ничего не понимал и, как все, с надеждой взирал на дядю Пашу с чужим оскалом на красном лице, неповоротливого, в завоженном окопном полушубке судию, вещающего отмщение. И я хотел этого отмщения, всей воспаленной душой, каждой взвинченной клеточкой негодующего тела.

Очнулся от ликующего до рези в ушах вопля:

— Веду-ут!!

Толпа протащила меня в одну сторону, в другую и распалась, давая проход. Еще не до конца понимая, еще ничего не видя, я успел ощутить некую отрезвляющую неуютность.

И она сразу же сменилась ужасом... Пополам согнут, головой вперед, на русой прилизанной макушке вздыбленный хохолок. Вскинулось от толчка и вновь упало к земле лицо, одеревенело бледное и щекастое — Вилли! Двое солдат заламывали ему руки — один незнаком, второй — пузырящаяся каска лежит прямо на широких плечах. Якушин...

Толпа развалилась, давая проход, но упруго колыхалась, готовая вот-вот сомкнуться, обрушиться на заломанную жертву.

Дядя Паша, пророк-судия в окопном полушубке, уже успокоившийся, без оскала, степенный, важный, сознавая свою высокую ответственность, сдерживал накаленную толпу:

— Тих-ха! Тиха! Не лезь! Не больно-то... Что толку — сомнете. Живым его надо...

И простоволосый парень в расхристанной шинели приплясывал в проходе, сучил ногами, отступая шажок за шажком перед жертвой, захлебывался:

— Братцы! Только не все! Только раньше времени не смейте... Вежливенько, братцы, вежливенько!..

И толпа сжималась, напирала, но натужно сдерживалась. Из нее вылетали лишь советы, трезвые и беспощадные:

— Башку ему подымите, пусть посмотрит!

— Верно! Пусть знает — что за что!

— Проникайся, гад!

Якушин с добровольцем-помощником вытолкнули

Вилли к колодцу на наледь. Он разогнулся, зеленый, как лед, с раскрытым ртом, помятый, стал дико оглядываться, явно не замечая ледяных колоколов.

А парень-активист в расхристанной шинели тыкал шапкой в ледяные колокола и восторженно, почти умиленно взахлеб:

— Ты, милый, сюда смотри, сю-юда-а!

Вилли глядел на напиравших людей, на обросшие, искаженные ненавистью солдатские лица. У Вилли была крупная голова и узкие, нескладные плечи под суконным мешковатым мундиром.

— Хватя! Раздевай! — приказал сурово дядя Паша.

И парень в расхристанной шинели деловито насадил на голову шапку, уцепился за мундир Вилли, и тут-то толпа ринулась, десятки рук вцепились в одежду. Вилли закричал, не по-детски, даже не по-человечьи — сипло каркающе, с захлебом.

Я уже не видел Вилли — закрыли, слышал только его рвущийся крик и озабоченные голоса:

— Ишь, сучье вымя, дергается.

— Держи, держи, я стяну...

— На колени ставьте!

И торжествующий возглас парня:

— Брат-цы! Воду!..

Заскрипел, стал нагибаться колодезный журавель, а я, вцепившись обеими руками в автомат, попятился, натыкаясь спиной на суетящихся людей.

Нет, я не сорвал автомат с шеи, не остановил, я даже не крикнул. Люди перестали быть людьми, я их боялся. Что мой голос для них? И что мой автомат? Здесь был вооружен каждый. Я трусливо пятился.

Склонялся и выметывался колодезный журавель. Давился в крике Вилли.

5

Продолжение второй моей истории наблюдал в 1966 году китаевед Желоховцев.

Вот отрывок из его записок [1].

«У библиотеки соорудили высокий дощатый помост — не то трибуну, не то эстраду, не то эшафот. На фоне красных знамен на нем стоят выстроенные в шерен-

---

[1] Желоховцев А. «Культурная революция» с близкого расстояния. М. 1973.

гу люди, опустив на грудь головы в ушастых бумажных колпаках. На многих бумажные накидки, сплошь покрытые надписями. В руках они держат фанерные щиты с перечнем «преступлений». На груди у некоторых висят плакатики: «Черный бандит».

— Склони голову! — вдруг услыхал я возглас за спиной и резко обернулся: к импровизированному эшафоту вели сравнительно молодого человека. Двое держали его под руки, а третий ударял по затылку — человек этот не желал опускать голову, он стойко и упрямо выпрямлялся.

Тогда конвойные остановились, стали осыпать осужденного бранью и бить куда попало. Избиваемый не сопротивлялся, он шатался из стороны в сторону, пытаясь устоять. Проходившие по аллее студенты сгрудились вокруг жертвы.

— Контра! Сволочь! — неслись выкрики.

Человек упал, и все наперебой стали пинать его ногами, но он не издал ни одного стона или крика.

Вдруг от собравшейся на судилище толпы отделились человек пять и бегом понеслись к нему, крича:

— Его будут судить массы. Ведите его сюда!

Разъяренная толпа, только что с холодным ожесточением избивавшая беззащитного человека, при властном крике мгновенно дисциплинированно расступилась. Жертва недвижимо лежала на асфальте.

— Вставай! — крикнули подбежавшие студенты еле дышавшему человеку, подняли его и потащили к эстраде. Избитый из последних сил несколько раз пытался поднять голову, но, получив затрещины, беспомощно ронял ее снова. Я смотрел, как его вытащили на сцену и прислонили к заднику, обтянутому красной тканью. Он соскользнул на пол. Ему приказали встать на ноги и влепили несколько увесистых пощечин, но тщетно. Тогда подошел здоровенный детина — кто-то из ведущих активистов — и заработал солдатским ремнем. Удары ремня привели избитого в чувство, он встал на ноги. На него натянули бумажный колпак клоуна и накинули бумажную хламиду. Двое юнцов начали быстро что-то писать на ней черной тушью. Еще один парень замазал его лицо белой краской, макая кисть в большую консервную банку — в старом национальном театре злодеев гримировали белым...»

Читаю дальше: «В тот же день я возвращался из клуба советского посольства. Собрание перед библиотекой

продолжалось. Осужденные по-прежнему стояли шеренгой, у самого края рампы, держа на вытянутых руках над головой фанерные щитки с перечнем своих «преступлений». Время шло, и вдруг люди начали один за другим мешковато валиться на помост. Все глазели на них, но никто не подходил, не трогал их — это, видимо, никого не удивляло. Я был настолько потрясен этим зрелищем, что не удержался и спросил стоявшего рядом паренька с красной повязкой, что с ними.

— Они стоят так целый день. Человек же не может простоять долго, держа руки над головой, вот они и падают,— охотно объяснил он мне, нарушая строгий запрет вступать в разговор с иностранцами.— Только их нечего жалеть. Ведь это черные бандиты и предатели. Они захватили власть в парткоме и насаждали здесь черное царство. Зато теперь пришло время и революционные массы спросят с них.

А в это время на эстраду, освещенную ярким светом ламп, вышли молодые ребята с ремнями в руках и принялись самозабвенно хлестать упавших. Те поднимались, снова падали, фигуры «революционеров» прыгали вокруг них, пряжки ремней поблескивали в лучах света, а возбужденная толпа, требуя смерти, скандировала:

— Ша! Ша! Ша! [1]»

Все это происходило в том самом Педагогическом университете, где я пережил одни из самых светлых минут своей жизни.

6

Едва ли не всю жизнь меня отравляла загадка дяди Паши и Якушина. Учился в институте, спорил до хрипоты о судьбах человечества, читал умные, выстраданные книги, ездил по стране, сам стал писать книги и всегда помнил рвущийся крик Вилли.

Были же добры в землянке эти дядя Паша с Якушиным. Что за нужда им притворяться. «Душевный человек Вилли...» И: «Братцы! Воду! Живьем его!»

Доброта и лютая жестокость — как это может находиться в одной шкуре? Когда дядя Паша и Якушин были сами собой — в землянке или у колодца?

---

[1] — Смерть! *(китайск.)*.

Кто они, собственно,— люди или нéлюди?!

Там, у колодца, озверела целая толпа. И невольно припоминаешь годы, когда едва ли не весь наш народ вопил в исступлении: «Требуем высшей меры наказания презренным выродкам, врагам народа!» Требуем смерти, жаждем крови! Нет, нет! Дядя Паша и Якушин — не случайное уродство, к ним применимо избитое выражение «типичные представители».

По капле воды можно судить о химическом составе океана. Того океана, который зовется Великим Русским народом, за которым всеми признается широта и доброта души!

Я горжусь своим народом, он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова — великих человеколюбцев. И вот теперь впору задать себе вопрос: мой народ, частицей которого я являюсь,— люди или нéлюди?!

Как тут не отчаиваться, не сходить с ума!

Подозреваю: такой же вопрос может задать любой и каждый человек на планете о своем народе.

7

В Кремлевском зале шел III съезд советских писателей. Выступал сам Хрущев, учил писателей, как надо писать и о чем писать.

Рядом со мной сидел сотрудник отдела культуры ЦК Игорь Черноуцан и растерянно крутил головой.

— Ни одного слова. Ну, ни одного...

Как и положено, выступление было заранее запланировано и подготовлено. Сейчас Черноуцан слушал своего высокого хозяина, изумленно крутил головой и тихо сетовал — ни слова из написанного Хрущев не произносит, вдохновенно импровизирует. И куда только его не заносит, даже в поэзию. Вспомнил неожиданно некого Махотько, шахтера, писавшего стихи в отдаленные времена хрущевской юности. Перед избранными писателями страны с энтузиазмом были прочитаны махоткинские шедевры. Кто-то стыдливо клонил голову долу, кто-то пожимал плечами, кто-то ухмылялся про себя, ну а кто-то ликующе взрывался аплодисментами, вскакивал с места, чтоб его ликование не осталось незамеченным.

Впоследствии газеты устроили усиленную облаву на этого Махотько, хотели напечатать, прославить, прочесали страну во всех направлениях и... не нашли. Подпочвенный поэт, шахтер Махотько оказался странным мифом. Многие заподозрили — уж не сам ли Хрущев легкомысленно грешил в молодости стихосочинительством, застенчиво прикрывшись сейчас псевдонимом?

Хрущев наконец иссяк и сошел с трибуны. Казалось бы, после Юпитера и боги и смертные должны молчать, следует объявить долгожданный перерыв. Ан нет, слово предоставляется Корнейчуку. И тот, захлебываясь от восторга, в течение двадцати минут с упоенным усердием, по-лакейски грубо поет аллилуйю Юпитеру:

— Историческая речь Никиты Сергеевича... Мудрое слово Никиты Сергеевича... Мы все потрясены... Мы прозрели...

Тут уж стыдно было, кажется, всем без исключения, и тем, кто сидел в президиуме рядом с Хрущевым, и тем — кто в зале. Клонились ниц, прятали глаза, не вскакивали с мест в ликовании. Не испытывали стыда только двое — вдохновенный Корнейчук и сам Юпитер. Хрущев сидел с горделивой осаночкой, высоко держал голову, величаво взирал — очень, очень ему нравилось!

С должным запалом, с приличествующим — до мокроты в голосе — проникновением Корнейчук произнес здравицу и с чувством исполненного долга ретировался. Перерыв! Расходитесь! Э-э нет, погоди — еще один ритуал.

Хрущев занимает место на выходе, и каждый из членов президиума съезда, проходя, обязан с изъявлением чувств пожать ему руку. Тут уж — кто во что горазд, со всей изобретательностью.

Почтенный глава Союза писателей Константин Федин с картинной благоговейностью берется за руку Хрущева и сгибается — раз, другой, причем поразительно низко, к самым хрущевским коленям. Рука в рукопожатии оказывается намного выше седого затылка. Какая, однако, гибкая спина у этого старейшего писателя, воистину резиновая.

Леонид Соболев, напротив, жадно хватает руку Хрущева обеими руками и трясет, трясет, столь судорожно, что сам весь жидко трясется. Трясется и приседает в изнеможении, набирается усилий, разгибает ноги и снова трясется, снова обессиленно оседает... Уф! Наконец-то кончил, испарился.

Не столь приметные члены президиума — из союзных республик — подкатывали бочком, коснувшись руки, обмирали и ускользали.

Александр Твардовский с подчеркнутым достоинством подошел, с подчеркнутой вежливостью пожал руку — не задержался.

И вот сцена опустела, на ней остались только двое — Хрущев, дежурящий у входа, и в самом дальнем углу Валентин Овечкин, с прядью, уроненной на лоб, с поднятыми плечами. Он что-то не торопился подыматься. А Хрущев ждал, не уходил.

Делегаты съезда, дружно освобождавшие зал, замешкались, кто застыл в охотничьей стойке, кто опускался на первое же попавшееся место, выжидательно тянул шею.

Овечкин в углу, недвижимый Хрущев у входа — руки по швам, спина деревянно пряма, живот подобран, лоб бодливо склонен. Томительная минутка...

Но вот Овечкин решительно встает, напористо идет к выходу. Выход загорожен, и Овечкин останавливается.

Склоненный лоб против склоненного лба, коренасто подобранный Овечкин и тяжеловесно плотный, взведенный Хрущев, у обоих руки по швам. В двух шагах, глядят исподлобья, не шевелятся.

Овечкин дернулся, плечом вперед, с явным намерением прорвать осаду. И Хрущев не выдержал, поспешно, даже с некоторой несолидной суетливостью вскинул руку. Овечкин походя тряхнул ее и исчез.

Я, веселясь про себя, направился в гостиницу «Москва», где остановился Овечкин.

Не скинув пиджака, он ходил по номеру, раздраженно зелен, мелкие, обычно рассеянно добрые глаза сейчас колючи, в углах губ жесткие складочки.

— Ты что комедию ломаешь?

Он пнул монументальный плюшевый стул старой гостиницы.

— Комедию начал он!

— Напоминало ребячью игру в гляделки — кто кого?

— Знает, что мне противно жать ему руку, оттого-то и ждал — пугану, мол, в штаны наложит.

— Ты что, объявлял ему об этом «противно»?
— Письма писал.
— Насчет рукопожатия?
— Насчет всего. В открытую! Без беллетристики. Сначала писал вежливо, потом сердито, а уж последние письма — матерные! Писем двадцать пять! Не могли они мимо пройти, особенно последние — показали, не сомневаюсь! И ни на одно!.. Ни на одно не ответил!
— Рассчитывал его образумить?
Овечкин яростно повернулся ко мне, схватил за лацканы пиджака.
— А на что можно рассчитывать стране? На какую силу?! На крикунов, которые снова готовы звать Русь к топору? Не хватит ли играть в эти игрища? От них только реки крови да кровавые болота! Снова старым голосом петь: «Весь мир насилья мы разрушим!..» Разрушим, но не построим! От змеи змея рождается, от насилия — насилие! Хочу силу направить на разумное! А у нас теперь есть одна сила — власть!
— Считаешь — власть может все?
Овечкин выпустил из рук мой пиджак, устало сел.
— Все,— сказал он тихо и убежденно.— Даже больше, может и невозможное.
— Например?
— От примеров деваться некуда. Взбалмошный человек заставляет: делай, страна, что моя левая нога захочет! Прикажет на Луне сеять кукурузу — будем! Сам по себе он бессилен, а его власть сильна. Ее бы направить на полезное дело!..
— У любого из русских царей было, ей-ей, не меньше власти — самодержцы всея Руси! — напомнил я.— А могли бы они заставить сеять кукурузу?
— Хреновые, видать, самодержцы. Четыре царя, начиная с Екатерины, картошку вводили. Восемьдесят лет волынили — льготы, премии, бунты усмиряли. И ввели потому только, что в конце концов мужик разнюхал — полезна картошка. А кукурузу за Полярным кругом — нет уж, жидковаты самодержцы!
— Бунты усмиряли... А у нас, заметь, без всяких усилий — не только бунтов, маломальского непослушания не было. С какой стати ты нашей власти приписываешь силу, которой она и не применяла. На чем ты ее сумел увидеть?

Он долго молчал, смотрел в окно на рыжую кремлевскую стену, дыбящуюся из зелени Александровского сада.

— Знаешь,— глухо произнес он наконец,— это страх! Дикий страх перед властью, убивающий рассудок.

— Но слишком уж невнушительны сейчас методы запугивания — ни карательных отрядов, ни репрессий, самое большее — начальнический окрик да удар кулака по столу. Право же, причин пугаться нет.

— Сейчас невнушительно... Сейчас! А вспомни, что было. Не только вслух говорить — думать боялись, как бы «черный ворон» ночью не выгреб из постели к следователю, который прежде, чем ушлет за колючую проволоку или поставит к стенке, потешится — прикажет ломать кости, вгонять под ногти иголки. Говорят: Моисей сорок лет водил евреев по пустыням, чтоб вымерло поколение рабов, вместе с ними исчез из народа рабский дух. У нас, наверное, тоже должны смениться поколения, чтоб исчез страх перед властью, даже перед начальническим окриком.

— Да страх ли? — усомнился я.— Припомни сам, как люди во времена «черных воронов» бесновались на собраниях. Скажешь, не было восторга в этих беснованиях? Искреннего восторга, поклонения перед жестокостью. Да я подростком сам его переживал, видел — переживают и взрослые. От страха ли такая искренность?

Овечкин молчал, смотрел в гостиничное окно на кремлевскую стену. Лицо его было каменно, и только подобранные губы судорожно напряжены. Он молчал, значит, сознавал мою правоту, иначе уж обрушился бы с возражениями. Он молчал и, кто знает, не вспоминал ли, что сам верил и восторгался. Унизительные воспоминания — кто из нас может избежать их?

Поддержанный его молчанием, я решился на крамольное:

— Мы считаем, что «черные вороны» Сталина — причина испорченности народа. Страхом, видите ли, заразили, поколения должны вымереть, чтоб исчез сей порок. А может, все наоборот — оттого и «черные вороны» стали рыскать по ночам, что сам народ был подпорчен — покорностью, безынициативностью, той же рабской трусостью.

Овечкин резко повернулся ко мне.

— Думай, что говоришь! — почти с угрозой.

— То есть не святотатствуй! — подсказал я с вызовом.

— На народ списывать?!

— Ну да, народ же свят и чист! Совесть его — запредельна, воля — несокрушима, мудрость — непостижима. И вот почему только те, у кого нет ни совести, ни воли, ни мудрости, подчиняют, извращают столь сильный и святой состав человечества?

Овечкин закричал:

— Списывать на народ!.. На на-род!! Все равно, что кивать — стихия виновата, на то воля божья! Как можно жить с таким бессильем? Жить и еще писать книги!

Он был прав — жить трудно. И сам скоро подтвердил это, пустив себе из ружья пулю в голову. Пуля, задев мозг, выбила глаз. Овечкин остался жить.

Из Курска, из центральной России, которую столь хорошо знал и любил, изувеченный и больной, он уехал в Ташкент к сыновьям... Там и умер, неприкаянный, забытый, непримиримый.

Наш спор с ним так и остался незаконченным.

8

Но я продолжал спорить с самим собой — все эти шестнадцать лет после разговора в гостинице «Москва». И образ дяди Паши мучил меня — «типичный представитель»? Жестокая загадка.

— Народ — стихия. Не столь ли бессмысленно упрекать его, скажем, в жестокости, как разверзшийся вулкан?

— А, собственно, что такое народ? Как он выглядит?

— Обычно мы представляем себе бесчисленных дядей Паш, некую величественную человеческую массу, нечто необъятное и бесформенное. Но бесформенным-то народ никогда не бывает. Во все времена любой народ представлял из себя определенное устройство.

— Ну и что? Разве это как-нибудь меняет наше отношение к народу?

— Меняет в корне. Мы считаем, что История слагается именно из действий личностей.

— И это не верно? Неужели человек не причастен к своей истории?

— Неверно уже потому, что человек постоянно вы-

нужден поступать вопреки своим личным интересам, своим желаниям. Хочу одного, а делаю совсем иное.

— Например?

— Примеры на каждом шагу. Вот хотя бы самый бытовой, незначительный... По дороге с работы мне нужно зайти в магазин, купить колбасы к ужину. А к продавцу очередь. Я устал, я голоден, мое насущное желание — поскорей попасть домой, поужинать, растянуться на диване. Но я становлюсь в очередь, жду, вынужден пропускать вперед себя других, терять время, поступать вопреки своим желаниям.

— Какое это имеет отношение к истории?

— Иллюстрирует на малом, что человек крайне зависим в своих поступках, не хозяин сам себе.

— Открыл Америку!

— То-то и оно, что всем это известно, глаза намозолило, но странно — никто не принимает этой очевидности в расчет. А ведь, кажется, ясно — если все так зависимы даже в столь мелких человеческих построениях, как очередь к прилавку с колбасой, то уж, наверное, грандиозные общественные построения еще с большей силой должны заставлять любого и каждого поступать против своих интересов, против личных желаний. История слагается из действий личностей. Как бы не так! Сами-то личности действуют не самостоятельно.

— Так кто ими крутит? Господь бог?

— Устройство общества.

— Но общество-то устроено из чего? Из людей же, из отдельных личностей!

— Почка и мозг тоже построены из одних белковых веществ, да по-разному, а потому различно и функционируют. В США живут такие же люди, но представить себе нельзя, чтоб там могла развернуться широкая кукурузная кампания. Все понимали: вредно, бессмысленно сеять эту южную культуру в Приполярье, а сеяли — массовый идиотизм! Нельзя же допустить, что русские от природы дурей американцев. Устройство иное, иное и поведение людей.

— Значит — каково устройство, таковы и люди?

— Ну, а как объяснить чудовищную жестокость дяди Паши у обледенелого колодца? Тоже система заставила?

— Да. Начать с того, что дядя Паша и Якушин находились в весьма своеобразном человеческом устрой-

стве, именуемом действующим фронтом, где одни людские вооруженные массы расположены против других вооруженных масс. Одно это противорасположение уже заставляет прятаться и выслеживать, защищаться и убивать, пребывать в постоянной настороженности и ожесточенности. Землянка на короткое время укрыла солдат от войны. Не надо прятаться, выслеживать, убивать. И дядя Паша с Якушиным на короткое время стали теми, какими были в мирной обстановке. Нет, они тут не притворялись добрыми. Они были ими!

А как ни жестока война, но и в ней существует свой предел жестокости. Обстоятельства на фронте обычно не складываются для солдата так, чтоб он ради выполнения приказа или спасения себя становился перед необходимостью изуверски пытать противника.

И вот ледяные колокола — случай необычный, из ряда вон выходящий, вызывающий необычные чувства. А они, в свою очередь, толкают и на необычные действия, причем направленные, требующие какой-то организации. Солдаты, сами того не желая, создали своеобразную карательную систему. Да, да, систему, где люди по-своему взаиморасположены и связаны — с добровольцами-исполнителями, с ведущими и ведомыми. Система действует, перевоплощает солдат в палачей. Дядю Пашу и Якушина в том числе.

— Ну и заврался. Сам сказал: сначала солдаты стали действовать, система сложилась потом в результате их действий. Значит, и палачами стали раньше, система в том не повинна.

— Ан нет, все-таки без сложившейся системы дядя Паша бы до палача не дорос.

9

Автобус катит по московской улице — газетный киоск, убегающие вывески магазинов, громоздкий автокран у обочины, строительный новенький желтый забор, выпирающий на середину мостовой...

Неожиданно из-за забора с перекрестной улицы выскакивает такси. И... скрежет тормозов, как снопы под ветром, валятся друг на друга пассажиры в проходе. Тупой, с причмоком удар и крик женщины, гортанно-резкий, словно голос морской чайки.

В такси оцепеневший шофер, почти мальчишка — подрубленные бачки, нечесаная, по моде, волосня, невы-

зревше угловатый профиль устремлен вперед, куда-то вдаль. За ним грузин в громадной плоской кепке-«аэродром». Он темпераментно крутит «аэродром», дергается всем телом на взирающего в неблагополучную даль паренька, кипятится. Удар пришелся на переднее крыло, крышка капота отскочила, в ней, изувеченной, живая дрожь.

После чаечного крика женщины в автобусе накаленная тишина, ни шороха, ни шевеления, лишь вливается влажная свежесть улицы в раскрывшиеся при ударе дверцы. Наконец прорезался густой, недовольный баритон:

— Сук-кин сын!

Сразу же въедливо тонкий, со слезной мокрецой голос:

— Сажают за руль сопляков!

И всколыхнулся оскорбленный, грозово растущий ропот:

— Хорошо — без жертв.

— Как сказать, я вот по рылу получил.

— Ох, господи! Не отдышусь...

— Старую задавили.

— Без-зоб-разие!

Ропот выметает из автобуса одного из пассажиров. Он в жарко распахнутой дошке, в болтающемся на шее кашне, в посаженной на уши шляпе, выхватывает из кармана бутылку и начинает ею угрожающе манипулировать с приплясом:

— Т-ты! Опусти стекло! Т-ты! Ды-вад-цать пять человек из-за тебя, плюгавого, нервами сейчас оборвались! Может, тут такие едут, т-ты пальца их не стоишь!.. Опусти стекло! Я тебя бутылкой, бутылкой!..

Парнишка-шофер лишь втягивает свою волосатую голову в плечи и продолжает вглядываться в даль, с другой стороны дергается, крутит кепкой-«аэродромом» грузин.

А внутри автобуса растет раздражение — пассажиры зажигаются воинственностью человека с бутылкой:

— Ехали себе и — какой-то хмырь!

— Из-за него по рылу мне, могло и покалечить.

— Старую придавили чуть ли не насмерть.

— Ох, миленькие, не отдышусь...

— Врежь ему, врежь!

— Открой дверцу, лапоть! Вытащи!

— Не справишься — поможем!
— Кости пощупаем!
— Кос-ти! Таким головы отвинчивать!

И гневно краснеют лица, и расправляются плечи, и победные переглядки, и толкучка возле открытых дверей — дергаются, сучат ногами, готовы выскочить.

Человек с бутылкой, чуя поддержку, возбуждается до неистовства, пляшут ноги, разлетаются полы дошки, кашне сползает с шеи, вот-вот упадет, будет затоптано, и бутылка, отблескивая, крутится над шляпой, и голос тоньшает, рвется от злобы:

— Стекло! Кому сказано — опусти стекло! Все равно не спрячешься! Бутылкой тебе! Бутылкой!

Играет спина под дошкой, сверкает бутылка, автобус подогревает:

— Врежь ему! Врежь!
— Крикни кацо, пусть дверку отомкнет.
— Ударь по стеклу, чего уж жалеть!

И человечек с бутылкой уже воет нечленораздельно:

— У-о-х т-те-бя!!

Возле него вырастают два парня — простовато одеты, внушительно рослы, должно быть, рабочие с автокрана.

— А ну, раскудахтался!
— Человек влип, без тебя не сладко.
— Рад, скотина, чужой беде!

Бутылка опускается, перепляс замирает, в расхристанной фигуре ни тени неистовства, шляпа, натянутая на самые уши, ползет в плечи.

— Так ведь он что... аварию устроил!
— Без тебя разберутся, мотай отсюда!

В автобусе озадаченная заминка, все тянут шеи, недовольно разглядывают типа в распахнутой дошке, держащего в руке бутылку. И вновь густой недовольный баритон:

— Действительно.

Баритон не дозвучал, как уже подхватили:

— Что верно, то верно — у парня беда.
— Не расхлебается — затаскают теперь.
— Молоденький!
— Слава богу, без жертв — не посадят.
— Зато влетит в трудовую копеечку — машину-то гробанул.

И как прежде — грозово растущий ропот:

— Бутылку выхватил!..
— Нализался, скотина!
— Ему бы бутылкой по шляпе!
— Эй вы! Врежьте ему! Врежьте!
Те же самые люди, теми же голосами.
— Видишь, какие фортели выкидывает толпа. А что если предположить, что в автобусе, не считая выскочившего человека с бутылкой, находился всего один пассажир. Так ли бы он вел себя?
— Смотря какой по характеру. Импульсивный, наверное, так же бы возмущался.

10

— В том-то и дело, что не так, не столь бурно. Даже самый импульсивный. Он бы, конечно, возмутился, однако на его возмущение никто бы не откликнулся, оно не получило бы поддержки, не подогрелось бы, не стало расти дальше, не достигло степени той активности.
— Хочешь сказать, что и дядя Паша, столкнись он с колоколами в одиночку, не дошел бы до жестокой крайности?
— А разве можно в этом сомневаться? Казнить человека, да еще таким страшным способом, взять на себя (только на себя) тяжелую ответственность — нет, тут надо быть патологическим садистом. Дядя Паша им не был — нормальный человек, мог поделиться пайкой хлеба с товарищем, наверное, с риском для жизни мог вытащить из-под огня раненого — человеческое ему присуще.
— То-то и страшно — человеческое присуще, а поступить бесчеловечно способен!
— Не сам по себе, только в компании. Толпа вокруг ледяных колоколов распалила себя, стала той благоприятной средой, где страшный процесс трансформации человека в садиста мог дозреть до конца.
— Почему же тогда ты в этой толпе не дозрел? И вообще не кажется ли тебе, что ты своими рассуждениями убиваешь личность? Человек живет в окружении других людей, как правило, выстроенных в какой-то порядок, а значит, воздействующих на отдельного человека, направляющих его поступки. А действует ли когда-нибудь человек, как того ему хочется? Бывает ли он сам собой? Имеет ли право называться личностью?

11

Личность — тема, не одного меня пугающая своей непосильной сложностью. Формирование личности, ее восприимчивость, зависимость, эмоциональные и рациональные особенности... великие умы блуждали тут, как в лесу, не добираясь до заповедных ответов.

Нет, не решусь влезать в личность и свою дремучую некомпетентность могу компенсировать одним — рассказать случай, который, как мне кажется, существенно «подправил» мое «я».

Случай внешне незначительный, но для меня постыдный. Было время — думал, что не сообщу его ни матери, ни брату, ни жене, ни детям своим, сам забуду, погребу в глубине души. Но вот, считай, прожил жизнь, и, кажется, она дает мне право быть предельно искренним — открывать то, что обжигало стыдом за себя.

Маршевая рота шла на фронт. Тусклую, высушенную, безнадежно бескрайнюю степь накрывало вылинявшее необъятное небо. Иногда в нем появлялась «рама» — немецкий двухфюзеляжный корректировщик. Не торопясь, не прячась, с хозяйской деловитостью, нарушая нутряным урчанием моторов тихую грусть осеннего воздуха, «рама» кружила над землей. Сотня захомутанных в шершавые скатки солдат, растянувшихся по дороге, не привлекала ее внимания — не дислокация войск, не переброска техники, так себе блукающие.

Все мы пробыли месяц в запасном полку за Волгой в селе Пологое Займище. Мы, это так — мусор отступления, остатки разбитых за Доном частей, докатившихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливцы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых... два свинцово-тяжелых сухаря на день, мутная водица вместо похлебки, ватные ноги и головокружение от голода и с утра до вечера ненужная маршировка с деревянными, грубо выструганными из досок ружьями:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..

Отправку на фронт встретили с радостью.

Лейтенант, которому была вручена маршевая рота,

сбился с маршрута, шестые сутки мы блуждали по степи, а продпункты, на которых мы должны были получать пропитание, оставались где-то, бог весть, в стороне. Давно был съеден НЗ, четвертый день никто ничего не ел. Шли, и падающих помкомвзводы подымали сапогами...

Еще в Пологом Займище я сошелся с одним старшим сержантом. Он относился ко мне покровительственно, свысока, и я за это был ему благодарен. Солдат кадровой службы, лет под тридцать, для меня многоопытный старик. Ему нравилось учить меня житейской мудрости, которая вся вмещалась в одно слово — «находчивость». Под ним подразумевалось умение обмануть, и главным образом старшину. Ходячее мнение — нет во всех вооруженных силах такого старшины, который бы не обворовывал солдат. Я совсем не обладал находчивостью, страдал от этого, презирал себя.

Нет, нет, во время похода старший сержант не был рядом со мной, не руководил мною. Истощенные, движущиеся, как тени, мы уже не в состоянии были проявлять друг к другу внимание, каждый боролся за себя в одиночку.

Очередной хутор на нашем пути, населенный не мирными жителями, а военными. Мы все попадали на обочину дороги, а наш бестолковый лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.

Через полчаса старшина вернулся.

— Ребята! — объявил он вдохновенно.— Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!

Восторга сообщение старшины, разумеется, не вызвало. Каждый мечтал, что в конце концов нам выдадут за все голодные дни — ешь до отвала. А тут, как милостыню, кусок хлеба.

— Ладно, ладно вам! Понимать должны — от себя люди оторвали, имели право послать нас по матушке... Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! — Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем.

Дом с невысоким крылечком. Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки — семь и еще половина. Мягкий пахнущий хлеб!

В ту секунду, когда старшина ткнул в меня пальцем — «Давай ты!» — у меня вспыхнула мыслишка...

о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая. Я и сам не верил ей — где уж мне...

Тащился с плащ-палаткой за старшиной, а мыслишка жила и заполняла меня отравой. Я расстилал плащ-палатку на затоптанном крыльце, и у меня дрожали руки. Я ненавидел себя за эту гнусную дрожь, ненавидел за трусость, за мягкотелую добропорядочность, за постоянную несчастливость — не находчив, не умею жить, никогда не научусь! Ненавидел и в эти же секунды успевал мечтать: принесу старшему сержанту хлеб, он хлопнет меня по плечу, скажет: «Э-э, да ты, брат, не лапоть!»

Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.

Плотный, невысокий, чуть кривоногий старшина вышагивал впереди меня поступью спасителя, а я тащился за ним, сгибаясь под плащ-палаткой, и с каждым шагом все отчетливей осознавал бессмысленность и чудовищность своего поступка. Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Военная находчивость, да нет — я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет известно... Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!

В жизни мне случалось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться со своим уличным врагом Игорем Рявкиным и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел толстый, как полено, пожелтевший от старости голавль, и снял его с крюка... Но всякий раз я находил для себя оправдание: наврал учителю, что был болен, не выучил задание — надо было дочитать книгу, которую мне дали на один день, подрался снова с Игорем, так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля — рыбацкое воровство! — но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашел...

Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку! Но, расправив плечи, заломив фуражку, вышагивал старшина-кормилец, ни на шаг нельзя от него отстать.

Я был бы рад, если б сейчас налетели немецкие самолеты, шальной осколок — и меня нет. Смерть — это так привычно, меня сейчас ждет что-то более страшное.

С обочины дороги навстречу нам с усилием — ноет каждая косточка — стали подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.

Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.

В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:

— А где?.. Тут полбуханка была!

Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.

— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!

Я молчал.

— Да ты что — за дурака меня считаешь?

Мне больше всего на свете хотелось вернуть украденный хлеб: да будь он трижды проклят! Вернуть, но как? Вести людей за этим спрятанным хлебом, доставать его на глазах у всех, совершить то, что уже совершил, только в обратном порядке? Нет, не могу! А ведь еще потребуют: объясни — почему, оправдывайся...

— Где?!

Скуластое лицо старшины, гневное вздрагивание нацеленных зрачков. Я молчал. И пыльные люди с темными лицами обступали меня.

— Я же помню, братцы! Из ума еще не выжил — полбуханки тут было! На ходу тиснул!

Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы

— Лучше, парень, будет, коли признаешься.

Я окаменело молчал.

И тогда взорвались молодые:

— У кого рвешь, гнида?! У товарищей рвешь!

— У голодных из горла!

— Он больше нас есть хочет!

— Рождаются же такие на свете...

Я бы сам кричал то же и тем же изумленноненавидящим голосом. Нет мне прощения, и нисколько не жаль себя.

— А ну, подыми морду! В глаза нам гляди!

И я поднял глаза, а это так трудно! Должен поднять, должен до конца пережить свой позор, они правы от меня этого требовать. Я поднял глаза, но это вызвало лишь новое возмущение:

— Гляньте: пялится, не стыдится!

— Да какой стыд у такого!

— Ну и люди бывают...

— Не люди — воши, чужой кровушкой сыты!

— Парень, повинись, лучше будет.

В голосе пожилого солдата — крупица странного, почти неправдоподобного сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.

— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.

И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.

— Не бойся! — с презрением проговорил он.— Бить тебя... Руки пачкать.

А я хотел возмездия, если б меня избили, если б!.. Было бы легче. Я дернулся по привычке, тело жило помимо меня, оно испугалось, не я.

И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — темные, измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные, особенно у того парня, который поправил пилотку: «Бить тебя — руки пачкать!» Каждый из обступивших меня по-своему красив, даже старик солдат со своими голубенькими глазками в красных веках и сивым подбородком. Среди красивых людей — я безобразный.

— Пусть подавится нашим хлебом, давайте делить, что есть.

Старшина покачал перед моим носом крепким кулаком.

— Не возьмешь ты спрятанное, глаз с тебя не спущу! И здесь тебе — не жди — не отколется.

Он отвернулся к плащ-палатке.

Господи! Мог ли я теперь есть тот преступный хлеб, что лежал под крыльцом,— он хуже отравы. И на пайку хлеба я рассчитывать не хотел. Хоть малым, да наказать себя!

На секунду передо мной мелькнул знакомый мне старший сержант. Он стоял все это время позади всех — лицо бесстрастное, считай, что тоже осуждает. Но он-то лучше других понимал, что случилось, возмож-

но, лучше меня самого. Старший сержант тоже казался сейчас мне красивым.

Когда хлеб был разделен, а я забыто стоял в стороне, бочком подошли ко мне двое: мужичонка в расползшейся пилотке, нос пуговицей, дряблые губы во влажной улыбочке, и угловатый кавказец, полфизиономии погружено в мрачную небритость, глаза бархатные.

— Братишечка,— осторожным шепотком,— ты зря тушуешься. Три к носу — все пройдет.

— Правыл-но сдэлал. Ма-ла-дэц!

— Ты нам скажи — где? Тебе-то несподручно, а мы — мигом.

— Дэлым на тры, на совесты!

Я послал их, как умел.

Мы шли еще более суток. Я ничего не ел, но голода не чувствовал. Не чувствовал я и усталости. Много разных людей прошло за эти сутки мимо меня. И большинство поражало меня своей красотой. Едва ли не каждый... Но встречались и некрасивые.

Мужичонка с дряблыми губами и небритый кавказец — да, шакалы, но все-таки они лучше меня — имеют право спокойно говорить с другими людьми, шутить, смеяться, я этого не достоин.

Во встречной колонне двое озлобленных и усталых солдат тащат третьего — молод, растерзан, рожа полосатая от грязи, от слез, от распущенных соплей. Раскис в походе, «лабушит» — это чаще бывает не от физической немочи, от ужаса перед приближающимся фронтом. Но и этот лучше меня — «оклемается», мое — непоправимо.

На повозке тыловик старшина — хромовые сапожки, ряха, как кусок сырого мяса,— конечно, ворует, но не так, как я, чище, а потому и честней меня.

А на обочине дороги возле убитой лошади убитый ездовой (попал под бомбежку) — счастливей меня.

Тогда мне было неполных девятнадцать лет, с тех пор прошло тридцать три года, случалось в жизни всякое. Ой нет, не всегда был доволен собой, не всегда поступал достойно, как часто досадовал на себя! Но чтоб испытывать отвращение к себе — такого не помню.

Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед самим собой. Тот, кто это носит в себе,— потенциальный самоубийца.

Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой позор.

Но какое-то время я не падал на землю при звуке приближающегося снаряда, ходил под пулями, распрямившись во весь рост,— убьют, пусть, нисколько не жалко. Самоубийство на фронте — зачем, когда и так легко найти смерть.

Мелкими поступками раз за разом я завоевывал себе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя катушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали — нормально. А это-то мне и было нужно, я не претендовал на исключительность, не смел и мечтать стать лучше других.

Странно, но окончательно излечился от презрения к себе я лишь тогда, когда... украл второй раз. Наше наступление остановилось под хутором Старые Рогачи. Посреди заснеженного поля мы принялись долбить землянки. Я и направился на кухню с котелками. И возле этой запряженной унылыми лошаденками, дымящейся кухни я заметил прислоненное к колесу ветровое стекло от немецкой автомашины. Кто-то из солдат раздобыл его, услужливо принес повару за лишний котелок кулеша, пайку хлеба, возможно, и за стакан водки. Мне налили в котелки похлебку, и, отправляясь к своим, я прихватил ветровое стекло. Моя совесть на этот раз была совершенно спокойна. Повар и так был наделен благами, какие нам могли только сниться, он не ползал по передовой, не рисковал жизнью каждый день, не ел из общего котла и землянку сам не долбил, за него это делали доброхоты, которых он прикармливал. И стекло это повар оплатил из нашего солдатского кошта, нашим наваром, нашей водкой. Услужливый солдатик за стекло свое получил — обижаться не мог,— а сам повар на стекло прав имел не больше, чем я, чем мои товарищи. Я же самоутверждался в своих глазах: чувствую, что можно, а что нельзя, подлости не совершу, но и удачи не упущу, перед жизнью уже не робею.

В обороне под Старыми Рогачами мы жили в светлой, с окном — моим стеклом — в крыше, землянке — роскошь, не доступная даже офицерам.

Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.

12

Украденный у голодных товарищей хлеб — лично для меня случай, наверное, даже более значительный, чем страшный эпизод у обледенелого колодца. Дядя Паша и Якушин заставили меня тревожно задуматься, украденные полбуханки хлеба, пожалуй, определили мою жизнь. Я узнал, что значит — презрение к самому себе! Самосуд без оправдания, самоубийственное чувство — ты хуже любого встречного, навоз среди людей! Можно ли при этом испытывать радость бытия? А существовать без радости — есть, пить, спать, встречаться с женщинами, даже работать, приносить какую-то пользу и быть отравленным своей ничтожностью — тошно! Тут уж единственный выход — крюк в потолке.

Я стал литератором, не считал себя приспособленцем, но всякий раз, обдумывая замысел новой повести, взвешивал — это пройдет, это не пройдет, прямо не лгал, лишь молчал о том, что под запретом. Молчащий писатель — вдумаемся! — дойная корова, не дающая молока.

И я почувствовал, как начинает копиться неуважение к себе.

Не случись истории с украденным хлебом, я бы, наверное, не насторожился сразу, продолжал перед собой оправдывать свое угодливое умолчание, пока в один несчастный день не открыл себе — жизнь моя мелочна и бесцельна, тяну ее через силу.

Всех нас жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения, через детское «пожалуйста» — нормы человеческого общения.

Всех учит, но, право же, не все одинаково способны учиться.

13

В Москве проходило очередное помпезное совещание писателей, кажется, опять съезд. Я собирался на него, чтоб потолкаться в кулуарах Колонного зала, встретить знакомых, уже натянул пальто, нахлобучил шапку, двинулся к двери, как в дверь позвонили.

На пороге стоял невысокий человек — одет вполне прилично, добротное ширпотребовское пальто, мальчи-

ковая кепочка-«бобочка», пестрое кашне. И лицо, широкое, скуластое, с едва уловимой азиатчинкой, снующий взгляд черных глаз. Из глубины моей биографии, из толщи лет на меня поплыли зыбкие, еще бесформенные воспоминания.

— Узнаешь? — спросил он.

— Шурка! Шубуров!

— Я. Здравствуй, Володя.

Ни мало ни много, тридцать лет назад в селе Подосиновец мы сидели с ним за одной школьной партой. Он скоро бросил школу, исчез из села.

А несколько лет спустя просочился слух — гуляет по городам, рвет, что плохо лежит.

В первые дни войны один из моих знакомых, возвращавшийся в село через Москву, встретил Шурку на Казанском вокзале. Тот был взвинчен, даже не захотел разговаривать, несколько раз появлялся и исчезал, крутился вокруг грузного мужчины с маленьким потрепанным чемоданчиком.

Наконец Шурка надолго исчез, появился лишь к вечеру, в руках его был потертый чемоданчик.

— Пошли!

Завел в глухой закуток, стал лицом к стене.

— Гляди, да не вякай. Кабана подоил.

Он приоткрыл крышку, чемодан был набит пачками денег.

Мой приятель любил присочинить. Чемодан, полный денег,— эдакая традиционная оглушающая деталь ходячего мифа об удачливом воре. Скорей всего, баснословного чемодана не было. Шурка Шубуров работал скромнее.

Вот он, с прилизанными волосами, в тесноватом пиджачке — скромен и приличен,— сидит передо мной. И легкий шрамик на скуле под глазом — знакомый мне с детства.

— Давно завязал. У меня семья, двое детей, квартира в Кирове, но жизни нет, съедают, не верят, что жить по-человечески могу.

Он скупенько рассказал, что прошел по всем лагерям:

— По колено в крови, бывало, ходил...

Лет восемь назад он отбыл последний срок и... жить негде, жить не на что, на работу никуда не принимают, прописки не дают. Бродил по Москве, не зная, куда

прислонить голову — с вокзалов гнали, с отчаяния решился: пришел на Красную площадь и направился прямо в Спасские ворота Кремля. Его остановила охрана:

— Куда?

— К Никите Сергеевичу Хрущеву. Не пропустите — здесь лягу, идти мне некуда. Или берите обратно, откуда пришел.

Лечь ему под Спасскими воротами не позволили, забрать обратно не решились — за старую вину отсидел, новой еще не приобрел. Его начали передавать с одной охранной инстанции в другую, и везде он твердил одно:

— Хочу встречи с Никитой Сергеевичем. Кроме, как у него, правды не найду.

Раскаявшийся преступник, жаждущий ступить на путь добродетели, еще во времена, когда рыскали «черные вороны», вызывал симпатии, прошел косяком по нашей литературе, выдавался за образец высокого человеколюбия: «Ни одна блоха не плоха!» Жестокость редко обходится без сентиментальности. И это-то помогло Шурке Шубурову. Охранные органы прониклись сочувствием настолько, что доложили о нем, бывшем воре, желающем стать честным советским гражданином, Хрущеву. А уж тот кинул через плечо: помочь! И Шурку, ласково, почти с почетом отправляют в главный город той области, где он родился, там его ждет квартира, предоставляется работа. Но...

— Съедают. Не могут простить — Хрущев мне помог.

Нельзя не верить — теперь все, что связано с ниспровергнутым главой, вызывает недоверие и вражду. Нельзя и забыть, что сидел с ним за одной партой, шрамик на скуле — не след лагерной жизни, помню его с детских времен.

Но как и чем помочь? Я не Хрущев, кинуть через плечо — помогите! — не могу. Но есть какие-то знакомые в Кирове, не попробовать ли действовать через них?

— Знаешь, я без копейки. А здесь жена и дети...

У меня в эту минуту в кошельке только двадцать пять рублей. Договариваемся о встрече — выясню, заручусь поддержкой, отправишься обратно, ну, а о деньгах на дорогу не беспокойся.

Друг детства, натянув свою кепочку, уходит от меня.

Через час я в Колонном зале, встречаюсь с писателем из Кирова, на помощь которого рассчитываю. Он уже знает о появлении в Москве Шурки Шубурова, Шуркина жена нашла его на совещании, пожаловалась на безденежье, взяла... двадцать пять рублей.

Жена с детишками на следующий день приходит ко мне на дом, но меня не застает. Мои домашние, как могли, обласкали ее, посадили за стол, умилялись детишками, снова дали денег.

А спустя еще день или два я получаю по почте извещение — явитесь к следователю в одиннадцатое отделение милиции, что находится рядом с ГУМом.

Следователь милиции, молодой человек со значком юридического вуза в петлице, объявляет: Шубуров арестован в ГУМе — залез в карман. Мелкое воровство осложняется воровским прошлым.

— Провинция,— не скрывает следователь своего презрения.— В ГУМе стал промышлять. Масса народу, толкучка — удобно, а не знает, что где-где, а уж тут-то следят вовсю — не развернешься. В его кармане найдены деньги — восемнадцать рублей, указывает на вас — дали вы.

— Дал.

Я рассказываю о нашей встрече, подписываю протокол, прошу следователя: не нарушая законности, проявить снисходительность и человеческое понимание — двое детей на руках и, вполне возможно, вернуться на прежний путь вынудила его травля, которой он подвергался в родном городе.

Следователь обещает мне, но без особого энтузиазма:

— Право же, мало чем могу помочь. Схвачен на преступлении, заведено дело — не прикроешь. Разрешите, я распишусь на повестке, иначе вас отсюда не выпустят.

И действительно, милиционер с монументальной фигурой и сумрачной физиономией, стоящий у выхода, придирчиво и подозрительно оглядывает меня с головы до ног. Не то место, где оказывают доверие.

Я чувствовал себя пакостно, словно Шурка попытался обворовать не какого-то неизвестного покупателя в ГУМе, а меня. Зачем ему это было нужно? Какие-то деньги он имел, голодным не был, знал, что скоро встретимся, мог рассчитывать на мою помощь.

В толкучке прохожих на людной Октябрьской улице, неся досаду и недоумение, я вдруг подумал: Шурку уж наверняка не раз уличали, как меня с украденным хлебом, и он снова и снова повторял тот же номер. Значит, не проникался к себе самоубийственным презрением — проходило мимо, ничуть не задевало.

Жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения...

А чему я, собственно, удивляюсь: из многих миллионов только один человек оказался столь чуток, что заметил в упавшем яблоке всемирно масштабное. Мне доступно такое? Ой нет.

Все люди сходны друг с другом, никто не может похвастаться, что имеет больше органов чувств, принципиально иное устройство мозга, любой про себя может сказать: «Ничто человеческое мне не чуждо». Но как эти люди не похожи, как по-разному они глядят на мир, различно чувствуют, различно поступают.

Никак не проникнемся азбучным: личность по-своему воспринимает мир.

Сколько личностей — столько миров!

Хотелось бы знать: а как случай у обледенелого колодца подействовал на дядю Пашу? Изменился ли он после своего палачества? Может, стал садистом или, напротив, казнит себя за содеянное?

Навряд ли, скорей всего остался прежним. Если уцелел на войне, то теперь он уже почтенный старик. Прожил жизнь, родные и знакомые, наверно, не считали его злым человеком.

14

Во мне обнаружилось нечто мое личное лишь после того, как я, голодный, столкнулся из-за полбуханки хлеба с голодными товарищами.

Кто я таков? Каковы мои личные качества? Я это могу узнать только тогда, когда соприкоснусь с окружением, почувствую на себе его влияние.

Бессмысленно говорить о личности, отрывая ее от окружающей среды. Без нее личность просто не проявится.

А для любого и каждого самой существенной частью окружающей среды является его человеческое окружение, всегда каким-то образом построенное.

Каждый реагирует на него по-своему, не похоже на других.

И каждый находится от него в зависимости.

Зависимость еще не значит обезличивание. Наоборот, влияние человеческого окружения и открывает уникальные особенности отдельного человека.

Ты среди масс порождаешь меня. Я в числе прочих — тебя.

До сих пор мы рассматривали случаи, когда массы дурно влияют на личность. Однако бывает же и наоборот.

В конце августа 1947 года я возвращался из своего села, где проводил каникулы, снова в институт. В Кирове — пересадка на московский поезд.

Еще страна не улеглась после войны, еще продолжали возвращаться и эвакуированные, и демобилизованные, и партии вербованных рабочих катили — одни на восток, в Сибирь, другие — на запад, в разрушенные войной области, и соединялись разбросанные семьи, и началось уже бегство из голодных деревень, и потоки командированных... Великая страна кочевала, заполняя вокзалы пестрым народом, спящим вповалку, мечущимся, голодающим, напивающимся, страдательно мечтающим об одном — о билете на нужный поезд!

К окошечку билетной кассы выстроилась огромная, через всю привокзальную площадь, очередь, тревожно колышущаяся и в то же время обреченно терпеливая, охваченная зыбкими надеждами. Все надеяться не могли — очередь слишком велика, билетов выбрасывалось слишком мало. Растянутый хвост гудел от сдержанных голосов, там сочинялись легенды: «Могут пустить «Пятьсот веселый», дополнительный поезд с товарными вагонами, тогда-то уедем все...» Творили легенды и тут же опровергали их: «Пятьсот веселый» в столицу?.. Не ждите, Москва «веселые» поезда пропускает стороной». Хвост очереди шумел, с легкостью отказывался от надежд, а голова — отрешенно молчалива, замороженно неподвижна. Здесь в счастливой близости к закрытому окошечку кассы стояли те, кто выстрадал это счастье несколькими сутками вокзальной жизни, кто в этой очереди коротал бессонные ночи, много раз впадал в отчаяние, истерзан, изнеможен, держится из послед-

них сил, полон сомнений, не верит уже в удачу. Очередь через всю пасмурную, мокрую от дождя площадь — парад ватников, брезентовых плащей, шинелей со споротыми погонами, платков, кепок, меховых не по сезону шапок, громоздких мешков, чемоданов, вместительных, как сундуки, сундуков, приспособленных под чемоданы.

Наконец голова очереди, стоявшая вблизи окошечка в отрешенном окоченении, вздрогнула, подалась вперед, и дрожь прошла по всей длинной очереди, подавив смех, смыв улыбки, оборвав на полуслове разговоры. Касса открылась! И перекатный ропот от начала в конец, удивленный и недовольный — кассирша вывесила цифру мест, предназначенных для распродажи. Роптать не было ни нужды, ни смысла, без того каждый знал — на всех не хватит. И ропот быстро сменился деловым шевелением.

Середина очереди, ее обильное туловище, выслала незамедлительно вперед своих делегатов-добровольцев, чтоб досматривали и не пускали ловкачей, желающих просочиться к заветному окошечку. Сразу же среди пятка решительных делегатов, в те минуты, пока они шагали к голове, выделился атаман — дюжий парень, кубаночка венчает рубленую физиономию, напущенный чуб, нахальные глаза, золотой искрой зуб во рту.

— Стройся! Стройся по порядочку! — напористым старшинским тенорком начал командовать он.— Вы, гражданочка, стояли тут или только приклеились? А то мы можем и за локоток. У нас быст-ра!..

Но ему сразу же пришлось почтительно отступить перед плечом с малиновым погоном, перед фуражкой с малиновым верхом — железнодорожный милиционер с дремотно недовольным лицом бесцеремонно растолкал очередь и кивнул молодой женщине:

— Сюда!

Втолкнул ее третьей от окошечка.

Женщина была нищенски одета, из просторного, с мужского плеча, затасканного ватника тянулась тонкая, беззащитная шея, щеки в нездоровой зелени, запавшие глаза в сухом беспокойном блеске, руки зябко прячутся в длинные рукава.

— Правонарушителей опекаешь, браток? — понимающе осведомился парень в кубанке.

Милиционер не счел нужным повести в его сторону

даже бровью, все с тем же дремотным недовольством на лице, выражающим, однако, убежденность в своей силе и величии, удалился.

Парень долго и оценивающе изучал женщину, слепо глядящую перед собой, наконец авторитетно пояснил:

— Лагерная шалава, из заключения. Стараются сплавить быстрей, чтоб не шмонала на вокзале.

— А выгодно, братцы, быть жуликом.

— Заботятся.

— Мы тут четвертый день околачиваемся, нас бы кто за ручку подвел.

С головы к хвосту по всей очереди потек недоброжелательный говорок:

— Попробовать тоже... авторитет заработать.

— Попробуй, тогда на казенный счет отправят.

— Только не в ту сторону, куда целишься.

— Это чтой там случилось?

— Да партию лагерных девок поставили в очередь.

— Ну-у, теперь нам еще сидеть.

— За нас лагерные сучки поедут!

— Ах, мать-перемать! Нет жизни честному человеку!..

А парень в кубаночке ораторствовал, подогревал:

— Чей-то билет ей достанется! Может, мой, может, твой!.. Я за родину кровь проливал, а она державе пакостила. Зазря бы в лагеря не сунули. И вот ее берегут, а на меня плевать!..

Женщина молчала, напряженно распрямившаяся, с вытянутой из ватника бледной тонкой шеей, худое лицо безжизненно замкнуто, глаза прячутся в глазницах, только в неестественно вскинутых плечах ощущалось — все слышит, переживает враждебность.

Наконец два человека, стоявшие впереди нее, не участвовавшие в осуждении, получили свои билеты, с резвостью исчезли. Женщина пригнулась к окошечку кассы. И все кругом замолчали, только ели глазами ее спину в объемистом ватнике, уже не находили слов, чтоб выразить свою неприязнь и обиду. Даже парень в кубанке только сплюнул в сердцах.

Но что-то случилось возле окошечка, женщина задерживалась, волновалась, сдавленно объясняла.

— Ну, что там? Бери да проваливай! — не выдержал парень.

Мужичонка с лисьей физиономией и тяжким сидором на горбу, который, однако, не мешал прыткой подвижно-

сти, сунулся сбоку, прислушался и откачнулся в ликовании:

— А у нее, ребятушки, денег-то нету! Торгуется — на билет не достает!

Парень в кубанке победно из-под чуба оглядел свое окружение, расправил плечи и крикнул уже по-начальнически:

— Пусть проваливает! Эй, кума, чисти место!

Женщина послушно откачнулась от кассы, серое в нездоровую зелень узкое лицо, плавящиеся в глубоких глазницах глаза.

— Не выгорело! — Парень показывал радостно золотой зуб, выпячивал грудь, чувствовал себя героем.— Сходи-ка с ручкой к тем, кто привел. Может, отвалят.

И женщина с трудом разлепила бледные губы:

— Смейся!.. К детям еду, сама больна... Нету денег, откуда?.. Сколько было — хранила, двое суток уже не ела... Смейся!

— Вот, вот, пожалуйся, а я пожалею,— парень, показывая золотой зуб, картинно поворачивался в разные стороны, ждал поддержки.

Но на этот раз кучная голова очереди не отозвалась, все угрюмо отворачивались. Отворачивались, не хотели знать чужой беды. Минутная неловкая тишина. Женщина грязным рукавом ватника досадливо смахивала слезы. И мужичонка с большим сидором глядел на нее, конфузливо мялся, покрякивал.

Из-за его спины — «ну-кося, расшарашился!» — вынырнула старушка, развязала платочек, скупенько заковырялась в нем сухонькими пальцами, протянула бумажку.

— Сколь не хватает-то? Немного, чай?.. Возьми, милая, может, еще кто даст. Больше-то не могу...

Старушка совала бумажку женщине, та слабо отмахивалась:

— Не, бабушка, что уж...

— Да бери, бери! Стыдного нет. Не все же без сердца — поймут...

Мужичонка с сидором решительно крякнул, с досадою полез за пазуху.

— И правда, девка, с миру по нитке — голому рубаха. Я тоже вот к детям еду, с гостинцами... Да бери ты, коли дают!

Женщина глядела в землю и не шевелилась, над впалыми щеками проступили два вишневых пятна. Чей-то густой решительный бас взорвался за платками и кепками:

— Чего вы как нищенке суете! Пройди кто по очереди да собери! Не откажут!

Парень в кубанке с размаху хлопнул себя по коленке:

— Вер-на! Организация нужна!..

Он сорвал с себя кубанку, достал из кармана пятирублевую бумажку, повертел ее перед толпой — любуйтесь, что жертвую! — шагнул к старухе.

— Кидай, бабуся, свой рублишко! И ты, дядя!.. Граждане! Кто сочувствует... Граждане! Не обременяя себя, так сказать, по мере возможности!.. Каждый может оказаться в стеснительном положении... Спасибо!.. Тронут!.. Еще спасибо...

Очередь уставших, издерганных людей, только что накаленных недоброжелательством, только что презиравшая эту приведенную милицией женщину, завидовавшая ей, считавшая едва ли не врагом, теперь охотно бросала в подставленную кубанку смятые деньги.

А женщина смотрела вниз, щеки ее цвели пятнами и блестели от слез.

Парень, разрумянясь, посверкивая зубом, прижимая кубанку, прошествовал к окошечку кассы, обернулся к очереди.

— Прошу кого-нибудь сюда — для контроля! Хотя бы ты, дядя, проследи: не для себя, пользуясь случаем, только для нее!.. Чтоб не было неприятных недоразумений, чтоб честно и благородно до конца!

И опять из-за платков и кепок прокатился давящий бас:

— Бери и себе заодно, раз так! Что уж, всех одним билетом не спасешь!

— Нет, я честно и благородно до конца!.. Ни в коем разе!

Женщина стояла, уронив вдоль тела рукава ватника, и плакала.

15

Парень в кубанке достал билет, сел в поезд. И что — стал другим, уже не хамовитым по натуре, а чутким? Наивно думать. Он остался прежним.

Но если он окажется в таком человеческом устройстве, которое заставит его не от случая к случаю, а год за годом поступать отзывчиво, не хамовито, то можно ли сомневаться, что отзывчивость у него превратится в привычку, привычка — в характер. Изменится личность.

Люби ближнего своего, не убий, не лжесвидетельствуй!.. Пророки и поэты, педагоги и философы тысячелетиями на разные голоса обращались к отдельно взятому человеку: совершенствуйся сам, внутри себя!

Я бы рад самоусовершенствоваться — любить, не убивать, не лгать,— но стоит мне попасть в общественное устройство, раздираемое непримиримым антагонизмом, как приходится люто ненавидеть, война — и я становлюсь убийцей, государственная система выдвигает диктатора, он сажает и казнит, заставляет раболепствовать, я вижу это и молчу, а то даже славлю — отец и учитель, гений человечества! В том и другом случае лгу и не могу поступить иначе.

Благие призывы моралистов ко мне: совершенствуйся! Они давно доказали свое бессилие.

Мы все воедино связаны друг с другом, жизненно зависим друг от друга — в одиночку не существуем,— а потому самоусовершенствование каждого лежит не внутри нас: мое — в тебе, твое — во мне!

Не отсюда ли должна начинаться мысль, меняющая наше бытие?

1975—1976

Революция! Революция! Революция!

Ряд волшебных изменений
Милого лица.

А. Фет

«Это драма — драма идей»,— сказал Эйнштейн о физике. Когда-то я поразился горделивой емкости его слов, теперь они вызывают у меня чувство горького снисхождения, которое можно сравнить лишь с искушенным чувством взрослого, глядящего на слезы обиженного ребенка: «Такие ли обиды, дорогой мой, бывают в жизни». Такие ли драмы переживают идеи, рожденные стремлением познать и изменить человеческие отношения.

В 1956-м мне пошел тридцать третий год — пресловутый возраст Христа. В тот год начали открыто суесловить по адресу Бога, рабы на минуту почувствовали себя свободными, трусы возомнили себя храбрецами, свято верующие вынуждены были притворяться безбожниками, а меня охватило запоздалое, зато пронзительное до нетерпимости желание оглянуться назад: где, в каком месте случился идеологический поворот? Когда идеи свободы стали идеями насилия? Как это Сталин оказался вместо Ленина?

Отца давно уже не было в живых. Его ровесники — те, кто день за днем прошли по истории,— знали не больше моего. Они охотно рассказывали эпизоды, легенды, анекдоты прошлых лет, но не могли объяснить — где, когда, почему? Да и был ли этот несчастный поворот? Должен быть!

И я решил обратиться к самому... Ленину: укажи, Владимир Ильич.

Без преувеличения, я стал ленинцем со дня своего рождения. Право же, среди многих миллионов ленинцев немногие имеют возможность произнести такие слова.

Я родился в глухой вологодской деревне, которая и сейчас-то глуха — сто четыре километра от железной дороги. Меня назвали Владимиром в честь Ленина, его именем. Уже тогда, еще при жизни Ленина, преданные ему рядовые революции называли своих детей Владимирами, Владленами, Ленинианами — в честь Бога-Спасителя, зовущего из царства мрака и насилия в царство Свободы и Справедливости.

Мой отец, подпасок и чернорабочий, красногвардеец и комиссар полка, член большевистской партии с 1918 года, в своей преданности пошел еще дальше. Ленин называл религию «духовной сивухой» — и мой отец наотрез отказался крестить своего сына.

И это в лесной звериной глуши, где христианство было сплавлено с языческими суевериями, где почтение к церковным обрядам уживалось с дремучим животным страхом перед лешими и домовыми. Ни деды, ни прадеды слыхом не слыхали, чтоб кто-то отказался крестить подкидыша, даже незаконнорожденного, презренного «выблядка». Без этого у человека не могло быть имени, не представлялось, как можно без купели. Иногда мла-

денец умирал раньше, чем поп опускал его в купель, и тогда его хоронили не на кладбище, а зарывали тайком, стыдливо, страдая о погубленной душе.

И вот родной отец в трезвом сознании, в твердой памяти лишает кровного сына святого крещения!..

Бесхитростные семейные предания, услышанные мной в глубоком детстве, повествуют о том, как со всей округи шли старики и старухи к моей люльке. Некоторые приходили за пятьдесят верст по трескучему морозу, по заметенным дорогам, чтоб взглянуть одним глазком «на антихриста во младенчестве». За пятьдесят верст! А зима в тот год, говорят, была свирепая.

Моя мать показывала странникам мой младенческий зад («глядите — хвоста нет»), мои ноги («нет копытец») — ребенок, как у всех. Но сердобольные старухи причитали надо мной:

— Ох, все одно не жилец! Ох, долго не протянет!

Если электрическую лампочку, изобретенную Эдисоном, внесенную в деревенскую избу, называли тогда «лампочкой Ильича», считали, что она не только светит, но и пропагандирует ленинские идеи, ленинские завоевания, то, наверное, и мой младенческий зад без признаков хвоста, без каких-либо бесовских отличий с полным основанием можно внести в ленинский пропагандистский актив. А меня, обладателя столь знаменательного зада, позволительно называть ленинцем, самым юным, какого только можно представить.

Ленин в те дни лежал в последнем параличе, ровно через семь дней после моего появления на свет его не стало.

Когда я научился произносить его имя, распознавать его на портретах, ощущать как величайшего из великих спасителей мира? Нет, это так же невозможно вспомнить, как и свое первое «мама».

С семи лет я стал октябренком, вместе с картонной пятиконечной звездой, обшитой кумачом, носил на груди значок с портретом трехлетнего Ленина — милого мальчика с пышными расчесанными кудрями.

С девяти — я пионер. И на требовательное: «За дело Ленина — Сталина — будьте гововы!» — отвечал, вскидывая над головой руку: «Всегда готов!»

С пятнадцати — комсомолец. Комсомольский билет — мое самое первое удостоверение в жизни.

Этот комсомольский билет я спрятал в пилотку, когда пробовал переплыть через Дон, спасаясь от наступающих немцев. Я тогда все утопил — гимнастерку, штаны, сапоги, нижнее белье,— все потом пришлось надеть чужое. Но я твердо знал — билет потеряю только с головой. Спас свою голову, спас и билет с профилем Ленина на обложке.

Через какой-нибудь год с небольшим я сменял этот билет на книжку кандидата партии, а затем получил и членский партийный билет. И по сей день я член той партии, которую Ленин организовал в свое время.

Не было для меня авторитета выше на свете. Кто еще, как не он, мог объяснить мне все?

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене...

Днем я писал повести о секретарях райкомов, конфликтующих с председателями колхозов, а вечерами...

Вечерами я начал разговаривать с Лениным, с тридцатью красными томами его сочинений — единственное наследство, оставшееся мне от отца.

Разговаривать — не читать, не штудировать, как это было прежде, когда приходилось сдавать экзамены по марксизму-ленинизму,— на равных, не боясь уже сомневаться и возражать.

И Ленин оказался неожиданным собеседником. Вместо того, чтобы бичевать отступников, сокрушать Сталина, он начал опровергать... самого себя.

Ленин против Ленина. Великого, непогрешимого! Никогда еще я не соприкасался с такой крамолой — Ленин против Ленина! И долго я не мог отделаться от ощущения — вершу недопустимое, я — еретик, я — преступник! Хотя, казалось бы, при чем тут я? Это Ленин, заключенный в ледерин красного цвета, выпущенный по стране в миллионах экземпляров, говорит крамольное.

Двое в комнате.
Я
и Ленин...

Тогда-то я и начал мало-помалу понимать: это драма — драма идей, всечеловеческая, всепланетная. Бывала ли в истории драма грандиознее? Навряд ли.

В то время случай свел меня с неким Иванниковым...

Одна из городских библиотек пригласила меня выступить. Как всегда, после встречи был «лестничный» разговор,— уже одетые в пальто и шапки наиболее неуемные из читателей продолжали выяснять со мной отношения. Как всегда, нашелся желающий проводить:

— До метро, если вы не против.

В поношенном пальто из тяжеловесного ратина, в шляпе, в клетчатом кашне — по виду служащий, еще не дослужившийся до обеспеченного оклада, отдельной квартиры и той независимости, которая появляется вместе с правом ставить рядом со своей фамилией на деловых бумагах слово «заведующий».

Сначала и лицо его показалось мне заурядным — не определившееся до полной зрелости, чуть тронутое нездоровой полнотой,— лицо оседлого горожанина, чья молодость прошла мимо спортивных площадок, морских пляжей, горных троп и лесных костров. Но, приглядываясь, я постепенно начал улавливать в нем надсадную настороженность, резкие перемены от искренности к подозрительности. И речь его была отрывиста, полна многозначительных недомолвок. Он как бы выстреливал откровением, а потом пугался, что я его не пойму,— отчужденно замолкал.

— Я завтра встречаю отца,— выпалил он без предисловий, едва мы оказались на улице.

Мне надлежало догадаться, что это, в общем-то заурядное, сообщение произнесено неспроста. И я счел обязанным вежливо осведомиться:

— Давно не виделись?

— Девятнадцать лет и три месяца! — резкий ответ.

— Ого!

— Из лагерей! Реабилитирован!

— Значит, у вас большая радость.

Он передернулся:

— Не знаю...

— Почему?

— Не плюнет ли мне в лицо отец при встрече!..

Так началась исповедь Максимилиана Иванникова,

рваная, сумбурная, где откровенность самосвежевания сменялась почти враждебными сомнениями: «Зачем я вам это?.. С какой стати вам знать мое?..»

Эта исповедь продолжалась больше месяца, так как в тот вечер, побродив по московским улицам добрых часа два, я на прощание дал Иванникову свой телефон, попросил заходить ко мне. И он приходил и рассказывал, рассказывал...

Встреча его с отцом прошла сердечно. Отец некоторое время жил у него, но очень скоро получил комнату, освободил сына от опеки.

Нет, Иванников и я не стали друзьями, нас связывала только его исповедь. В его судьбе я видел свою судьбу, но в чудовищно кривом зеркале — искалеченную, обезображенную. Он же нуждался в слушателе. Словом — «она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним...»

Рано или поздно исповедь должна была иссякнуть, а мы расстаться. Иванников исчез из моей жизни...

Но по вечерам я продолжал другие встречи — «двое в комнате: я и Ленин...» Беседовал с Лениным и вспоминал Иванникова. В эпохальную драму социальных идей невольно влезла личная драма случайного человека в поношенном ратиновом пальто, моего ровесника, моего соотечественника.

Сейчас я сам исповедуюсь, собираюсь раскрыть самые сокровенные мысли, вызванные многолетней беседой с «Лениным» в третьем издании тридцати красных томов. И в этих выношенных мыслях путается Иванников со своей историей. Говоря о Ленине, не могу не говорить о нем.

Вынужден поэтому гнать «в пристяжке» две повести сразу.

I

О живых деспотах, как о покойниках, говорят или хорошо, или молчат. Деспоты обычно редко сталкиваются с открытым негодованием. Проклинаемый издалека Герценом, Николай I жил окружённый восторженным подобострастием.

А его сын Александр II — царь-реформатор, который плохо ли, хорошо ли провел, наконец, отмену крепостного права и допустил в России суд присяжных заседателей, погиб от рук бомбистов.

В 1866 году студент Дмитрий Каракозов делает одну попытку. В 1880 году кроткого вида и трезвого поведения столяр Степан Халтурин совершает следующую — взрыв в Зимнем дворце. Убито и искалечено пятьдесят крестьянских парней — солдат Финляндского полка, находившихся в караульном помещении. Александр II и его семья — целы и невредимы. Побиты лишь куверты на столе, накрытом для торжественного приема принца Гессенского.

А год спустя, 1 марта, в Петербурге среди бела дня взрываются одна за другой две бомбы. Первая разносит царскую карету, вторая смертельно ранит царя. Вместе с царем замертво падет и его убийца, мальчишка Гриневицкий...

Россия начала добывать свободу...

Александр Ульянов в Петербургском университете на последнем курсе — пишет самостоятельную работу о каких-то, зоологически не до конца исследованных, червях, признанную выдающейся, и вступает в террористический кружок. Как шесть лет назад, программа проста: убить Александра III. Юные террористы назначают покушение снова на 1 марта...

В этот день всех их арестовывают.

8 мая Александр Ульянов и пять его товарищей повешены.

Слово сожаления о нем роняет сам Менделеев,— о нем и о Кибальчиче, как о талантах, вырванных из науки революционным движением, которое для великого химика кажется делом безнадежным и бессмысленным.

«Мы пойдем другим путем!» — такова поздняя легенда о ранней мудрости нового Спасителя. Слишком уж наивно тенденциозны эти слова, чтоб быть правдой.

В эти дни Владимир кончает гимназию, и вопрос — кем быть,— встает перед ним со всей требовательностью. «Кем быть?» — тот родник, откуда начинает течь деятельная жизнь личности. Только у испорченных с детства натур он бывает мутным — с примесью себялюбивой корысти.

Одна семья воспитала Александра и Владимира. Если что и удалось доказать Александру неудачным подвигом, то это свою нравственную чистоту. Можно ли сомневаться, что Александр из могилы помог младшему брату выбрать свой путь. «Пепел Клааса стучит в мое сердце!»

1

Иванников был младше меня на несколько месяцев. Он родился уже после смерти Ленина.

Осенью 1919 года продотряд, сформированный на котельном заводе Бари, выехал на рязанщину за хлебом. Вместе с реквизированным хлебом он привез в Москву семнадцатилетнюю девчонку Глафиру Патлову.

Она сиротствовала. Родни — целая деревня: дядьки, тетки, сватьи, кумовья по отцу и матери, но всем лишняя. Отец Глафиры пропал на войне, мать и раньше прихварывала, а без отца пришлось на себе тащить дом. Косила на болоте — простыла, слегла и не встала. В наследство Глашке досталась изба, корова, овчинный полушубок да икона святого отрока Варфоломея в углу. Глашкин крестный забрал себе корову, за это обязался кормить девчонку «до взрослости». Он же перенес к себе икону отрока Варфоломея. Старая же изба стояла пустой, тащили с нее, что могли,— рамы с уцелевшими стеклами, двери с петель, даже изношенные половицы выбрали. До взрослости у крестного Глашка не дожила — скотину обиходь, навоз выгреби, за детишками догляди, летом в поле помогай, только что не пашут на тебе — обрыдло! Ушла к соседям, там семья поменьше. Соседи в дом приняли — лишняя пара рук как-никак,— но не могли простить, что корова Глашкина осталась у прежних хозяев: «За будь здоров тебя держим, помни!» Потерпела да взъелась: «Пропади вы пропадом, благодетели!» Перебралась к свояченице матери, а там и вовсе не рады, есть суют: «На! Подавись!» Сирота неприкаянная, даже с сумой по миру не пойдешь — кругом голод, нынче не подают.

Прибыл хлебный отряд. Мужики попрятали зерно: «Поищите, комиссарики!» И тут-то подала голос Глашка: «Пошли. Уж я-то знаю, где у кого лежит». К первому привела — к крестному: «А ну, мироед, подымай половицы, в подклетье у тебя ковырнем».

После этого оставаться в деревне нельзя — убьют. О Москве по деревням ходила суровая молва: «Москва слезам не верит». Но Глашка Патлова слезы лить и не собиралась. В старом родительском полушубке, от которого все еще несло прокисшим пойлом чужой скотины, в солдатских башмаках (выданы из особых фондов по заготовке хлебных излишков), в вылинявшем до лирической ясноты кумачовом платочке, глаза холоднова-

то-пустынные в размахе жадных ресниц, Глашка в огромном, обношенном, суетно-многолюдном городе сразу почувствовала себя своей. То, что в родной деревне считалось пороком — нищета, голь перекатная! — здесь ставилось в заслугу — из беднейших слоев. В родной деревне совали — «На, подавись!» — здесь требуй, бери за горло: «Даешь и точка!»

Ее сначала пристроили к женотделу котельного завода. Бабы собирались крикливые, тертые, им ли слушать девчонку, сироту из деревни. А эта сирота вдруг заговорила о том, о чем все только и думали — о хлебе.

— Мужики выбивать хлеб ездят. Баба-то нюхом найдет, чем детишек накормить. Пусть нам наганы дадут и ружья, даже одного мужика взять можем для страху,— хлебный бабий отряд организуем.

Бабий отряд не получился — кого ни хвати, семью бросить не может,— но крику о нем было много. И Глашку заметили, стали выдвигать в комиссии, послали на учебу...

Через два года она уже заведовала женорганизациями одного из районов Москвы, носила гимнастерку с широким ремнем, юбку в обтяжечку, курила козьи ножки, чтоб не казаться слишком молодой. Ей часто приходилось бывать в наркомате Труда, и там она встретилась с Николаем Иванниковым, бывшим военным комиссаром, прошедшим через колчаковский и польский фронты.

Умер Ленин. На Красной площади под Кремлевской стеной за несколько дней был поставлен деревянный мавзолей.

Николай Иванников в партию вступил еще в семнадцатом, сразу после революции. Глафира Иванникова, в девичестве Патлова, подала заявление.

На собрании ее спросили:

— Историю классовой борьбы знаешь?

Вспомнила свою деревню, ответила:

— С пеленок ею нанюхалась.

— А ну скажи: кто такой был Максимилиан Робеспьер?

Глафира о таком не слыхивала, но ее все равно приняли.

Николай прямо с собрания отвел ее в родильный дом Грауэрмана. Родился мальчик, и Глафира назвала его Максимилианом — в честь Робеспьера.

II

Безвестная могила Александра Ульянова и пятерых его товарищей, неудачных цареубийц, зарастала травой. Их путь ненадежен, нужен иной — новый.

А этот «новый путь» не так уж и нов, он провозглашен за тридцать три года до казни Александра Ульянова.

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма...

История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов...»

За год до рождения Владимира Ульянова столбовой дворянин бунтовщик Бакунин в Женеве переводит на русский язык «Коммунистический манифест». Но в Россию едва ли проникает несколько экземпляров этой книги.

Примерно в это же время Герман Лопатин, близко знавший Маркса и Энгельса, избранный даже в Генеральный совет I Интернационала, начинает перевод «Капитала», но не успевает окончить. Лопатина арестуют по подозрению в организации побега Чернышевского из ссылки. Начатый перевод кончает за него публицист-народник Даниельсон.

1-й том «Капитала» выходит в свет, но это замечает лишь узкий круг людей, как правило, тех, кто уже знаком с работами Маркса по иностранным изданиям.

И лишь десять лет спустя Плеханов — опять в той же Женеве — выпускает второй перевод «Манифеста».

«Призрак» двинулся по России. В далекой Казани вокруг бывшего гимназиста Федосеева — тесный кружок молодежи, открывающих себе Маркса. Среди них появляется и Володя Ульянов, уже исключенный из университета за участие в студенческой сходке, уже посидевший в ссылке в казанской деревне Кокушкино.

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».

Классовая борьба — скрытая пружина, которая движет историю человечества вперед. Здесь, в Казани, Владимир начинает верить в это — раз и навсегда, безоглядно, на всю жизнь. Аксиома, не требующая доказательства.

Впрочем, в это же верил, как в «Отче наш»,— просто верил, не утруждая себя доказательствами — и сам патриарх Карл Маркс.

Он пишет: «Мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов».

«Буржуазные историки...» Наиболее известный из них Гизо был одновременно и видным деятелем при дворе вернувшихся на престол Бурбонов — никак не революционер. Он заявлял: «Борьба классов — не теория и не гипотеза, это — самый простой факт... Не только нет никакой заслуги за теми, которые его видят, но почти смешно отрицать его».

И для Маркса тоже — «не теория и не гипотеза, это — самый простой факт», который столь же мало нуждается в каких-либо доказательствах, как и то, что две параллельные прямые при своем продолжении не пересекаются. Аксиомы недоказуемы.

Но вглядимся в историю: такое ли уж большое место занимает в ней классовая борьба?

Греки воевали с персами, Рим с Карфагеном, Англия с Францией, то есть одно государство, одно общество, состоящее из свободных и рабов, патрициев и плебеев, помещиков и крепостных, боролось с другим таким же — за право властвовать, за право пользоваться независимостью, за новые рынки сбыта.

И внутри этих государств постоянно наблюдается борьба — кровавая или бескровная, явная или скрытая — не между свободными и рабами, помещиками и крепостными, а между невнятными с точки зрения классовости группами и партиями. Знатные и незнатные, угнетающие и угнетенные католики Франции резали знатных и незнатных гугенотов. Опричники царя Ивана Грозного душили как высокородных бояр, так и худородную челядь... Можно ли Галилея, отстаивавшего идею движения Земли, называть выразителем интересов каких-либо классов? А папу Урбана VIII, врага Галилея, только с чудовищной натяжкой можно окрестить защитником феодальной верхушки. А как называть, скажем, такие памятные для русской истории моменты — Куликовская битва и Ледовое побоище на Чудском озере, когда высокие князья-феодалы — Дмитрий Донской, Александр Невский — шли плечо в плечо с подневольными смерда-

ми, охваченные единым желанием — остановить, опрокинуть общего врага? Перед лицом опасности — своеобразная классовая солидарность. Есть ли на земле народ, который бы не переживал подобных моментов?

Борьба классов — почему бы ей не быть. Но утверждать: история есть не что иное, как только эта борьба, не слишком ли упрощать историю?

Тот, кто пытался рассуждать подобным образом, сразу же вызывал подозрение. Всякое сомнение в исцеляющей силе классовой борьбы выглядело как враждебный акт против свободолюбия. Не смей сомневаться! Не смей доказывать противное! Принимай, не рассуждая, на веру!

В мире рождалась новая вера, которая отличалась от старых, как и положено, лишь своими догматами.

2

Тезка Робеспьера, Максимилиан Иванников, был отдан матерью под присмотр дворничихи Фатимы, щекастой, грудастой бабы с сиплым голосом. Она пела над кроваткой татарские песни, нескончаемые, как галоп коня по степи.

Фатима приходила только днем, по вечерам Максимилианом занимались родители. Чаще отец, чем мать. Отец менял пеленки, мыл сына в большом тазу, укачивал на ночь. Бывший военный комиссар колыбельных песен не знал, пел революционные:

Эй, живей, живей, живей
На фонари буржуев вздернем!
Эй, живей, живей, живей —
Хватило б только фонарей!..

Над детской кроваткой — песня о расправе, песня, весело славящая жестокость.

Но сам Николай Степанович Иванников, право же, жестоким не был.

Он вырос на станции Ирпень, в большой семье паровозного кочегара, переведенного потом в машинисты маневровой «кукушки». Машинисты поездов дальнего следования имели свои дома, кой у кого даже крытые железом, «кукушечники» же ютились в бараках.

В тринадцать лет Кольку отдали учеником на склады — «Скобяные товары. Хамлюгин и К°» — огромные,

темные, гулкие, пахнущие железной свалкой. Зимой в них было едва ли не холодней, чем на улице.

Он знал грамоту, научился вести приходно-расходные книги, отправлял партии гвоздей, через несколько лет стал младшим приказчиком, купил себе суконную тройку, цеплял к жилету цепочку, мечтал завести часы...

Летом шестнадцатого его взяли в солдаты. Он попал не в окопы, а в минные классы при крепости Свеаборг. Вместе с ним учился вольноопределяющийся первого разряда, бывший студент Крашенинников. От него-то впервые Николай услышал, что мир извечно расколот враждой: «Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной...»

Почти не изучена, не признана важной война, протянувшаяся через 1917 год — с февраля по октябрь. Война в общем-то не кровавая, но люто ожесточенная. Война не армий, а мнений. Не орудийных залпов, а речей. Разномастные пророки-провидцы, какими всегда была богата Россия, постные последователи графа Толстого, мужиковствующие опрощенцы и эстетствующие западники, анархисты, взывающие: «Рыцари ночи, станьте рыцарями дня!», многочисленные партии, раздробленные на группы и группочки, неистово враждующие между собой,— все вырвались наружу, заголосили, схлестнулись. Площади, улицы, заводские цеха, казармы, монастыри и пансионы благородных девиц стали местом словесных баталий. В них побеждали не самые справедливые и не самые умные, а самые доходчивые, возвещавшие наиболее простые мысли, которые без напряжения могло понять неискушенное большинство.

«Экспроприируй экспроприаторов!» — в русском переводе: «Грабь награбленное!» — более категоричного и ясного требования представить невозможно. Каждый обездоленный должен ухватиться за него. А на Руси обездоленных подавляющее большинство. Испокон веков на святой Руси дешево стоила человеческая жизнь и ничего не стоило человеческое достоинство. Всего пятьдесят шесть лет тому назад можно было продать человека, запороть его до смерти, не боясь ответственности перед законом. И те, кто восставал против этого, тоже не отличались человеколюбием. Вот что писалось в прокламации «Молодая Россия», распространявшейся в Москве через год после отмены крепостного права.

«С полною верой в себя, в свои силы, в сочувствие народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: *к топору!* И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что кто тогда будет не с нами, тот будет против; кто против — наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами. Да здравствует социальная и демократическая республика русская!»

И вот — «грабь награбленное!» При таком воззвании нет никакой нужды размышлять, надо действовать, причем решительно и недвусмысленно: «Грабь!» И только через это «кто был ничем, тот станет всем!» Не столь уж и важно, как будет выглядеть заветное «всем», оно любому и каждому представлялось весьма и весьма смутно. К чему гадать, мудрствовать лукаво — грабь, действуй! Обездоленная Русь подымалась на дыбы.

Николай Иванников никогда не приписывал себе больших подвигов в революции, но один случай из своей военной жизни он вспоминал часто и с гордостью.

Он рассказывал...

Загнали мы колчаковцев в болото, уйти им нельзя — кругом трясина. И много их там сидело, не знали, что наши части дальше пошли, догонять тех, кто вырвался. Нас осталось и всего-то — десятка два штыков да три «максима». И ребята наши еле держатся — трое суток не спали, голодные, мокрые. Ждем: ну как полезет саранча, три наших пулемета не удержат. Все на меня смотрят: мол, ты здесь старший, решай. И я решился — снял с себя пояс с наганом, отправился.

Денек серенький, дождичек сыплет, прыгаю с кочки на кочку, слышу:

— Стой! Кто идет?

— Парламентер! — говорю.— Для переговоров.

А сам с кочки на кочку, ближе да ближе... Подпустили, полезли на меня со всех сторон — рожи черные, бороды в тине, черти из преисподней краше.

— Ты кто, сучий сын?

— Комиссар четыреста пятнадцатого революционного полка.

— Ком-мис-сар! Ах, сволочь! Эй, братцы, сам комиссар к нам пожаловал! Пришьем падло!

— А жить,— говорю,— хотите?

— Бог не выдаст, свинья не съест. Про нас, мол, видно будет, а ты откомиссарил. Молись на кочку, нехристь!

— Валяйте, я без оружия. Только обмозгуйте: намного ли меня переживете?

Потолкались, пошушукались и снова ко мне:

— Чего ты от нас хочешь?

— Во,— говорю,— похоже на разговор. Слушайте наши условия: выходить по двадцать человек, сдавать оружие. И помните — под наведенными пулеметами выходить придется, так что уж лучше без шуточек.

— А там нас всех к стенке?

— Офицеров возьмем в плен, а солдатам — выбор: кто хочет — оставайся у нас, не захочет — катись на все четыре стороны, без оружия, конечно.

Пооглядывались, пошептались, приказывают:

— Отойди в сторонку. Мы тут обсудим.

Отошел, сел на пенечек, закурил у всех на виду, делаю вид, что мне черт не брат, ничего не боюсь. А солдатня сбилась, митинг устроила: кричат, винтовками трясут, никак не договорятся.

И вдруг — бац! Воздухом в ухо ударило. Пуля-то, поди, на вершок от уха прошла. И тут все, кто митинговал, шарахнулись — кусты затрещали. Смотрю — уж ломают кого-то, морду бьют, матерятся:

— Хочешь, чтоб искрошили нас?! Так твою перетак! Сам сдыхай — мы не желаем!

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Выстрел-то и решил все. Тут же дружно стали разбиваться на двадцатки...

До утра мы принимали из болота гостей — партию за партией.

А вечером, уже в селе, приводят мне на суд четверых: три офицера да еще бородатый с лычкой на погоне. Он-то в меня и стрелял. Встал перед столом, руки по швам, борода вперед — мужик служилый.

— Откуда ты? — спрашиваю.

— Из Олонецкой губернии, деревня Броды.

— Семью имеешь?

— Баба да трое детей.

— А земли сколько?

— Так что совсем мало — три десятины всего да и та худая. Деготь в лесах гоним, тем и живем.

— Бедняк же. Что ж ты не своим делом занялся? Их благородиям положено в меня стрелять, не тебе, борода.

— Так что разрешите доложить: нехристи вы, Христа продали, креста не носите.

— Темнота, темнота! Что мне с тобой делать?

— Так что ваша взяла — анафемская. Ставь к стенке, а я уж, помолясь...

— Трое детей у тебя, дерево дремучее.

— Что уж, Бог не оставит. Одна надежда.

— Эй, отведите его в обоз, пусть за конями следит. И не вздумай шалить, дядя. Второй раз не спустим.

Такого легко простить — из своих, заблудился по слепоте. Но суда ждали три офицера, один пожилой, полный, с эдакой осаночкой, два других совсем мальчишки — шеи кадычками, мундиры мятые, в грязи, а лица бледные, чистенькие, глазастые.

Пожилой шагнул на меня, уставился в переносицу — барский взгляд,— говорит:

— Я вижу — вы добрый человек, поэтому осмелюсь обратиться к вам с просьбой.

— Говори.

— Я ваш враг, вот уже двадцать пять лет ношу офицерские погоны, по мордам таких, как вы, учил, расстреливал, не отказываюсь — «ваше благородие» в полном смысле ваших представлений. И откровенно признаюсь — меняться не хочу, товарищем вам не стану. Но вот эти молодые люди... Поверьте, они еще не успели ни в чем согрешить против вас. Осмелюсь просить: рассчитайтесь со мной, разрешите им жить.

А глазастые офицерики мне ответить не дали, вскинулись:

— Господин штабс-капитан! Да как вы смеете!.. Да мы не нуждаемся! Тут только что простой русский мужик — пример мужества!..

Похоже, его благородие говорил правду — больших грехов за мальчишками нет. Но простить их, как простил бородача из деревни Броды?.. Призадумаешься да почешешься. Получалось бы, комиссар прощает всех подряд, даже дворянских волчат. И это в самый-то, что ни на есть, обостренный разгар классовой борьбы!

Да волчата и не хотели моей милости — сами рвались на смерть.

Говорят, когда их вывели на расстрел, они обнялись и... запели. Нет, не «Боже, царя храни», а «Как ныне сбирается вещий Олег»... Черт их разберет!

Один из мальчишек, сказывают, пел — заслушаешься. Штабс-капитан подтягивал ему и плакал, словно баба.

Отец Максимилиана, вспоминая, всегда ронял слово жалости к мальчишкам-офицерам, но никогда не раскаивался, что пришлось их расстрелять.

Эй, живей, живей, живей
На фонари буржуев вздернем!..

Над колыбелью сына — верую в искупляющую силу фонаря-виселицы.

III

Маркс и Энгельс были противниками «верую» — «Наше учение не догма, а руководство к действию».

1899 год. Николаю Степановичу Иванникову не исполнилось еще и трех лет.

Владимир Ульянов — уже заметная фигура среди русских революционеров. Он резок и решителен, придерживается в марксизме самых крайних позиций. Ходит по рукам его работа «Что такое «друзья народа»» — три тетради против народников. Они в разное время отпечатаны на гектографе — всего каких-нибудь двести с небольшим экземпляров. Мало. Но ее читают в Вильно и Пензе, во Владимире и Чернигове, в Киеве и Томске, даже в Вене, не говоря уже о Петербурге и Москве.

«От брошюры, исполненной желчных характеристик... веяло подлинной революционной страстностью и плебейской грубостью, напоминавшей о временах демократической полемики 60-х годов. Несмотря на некоторую тяжеловесность изложения, плохую архитектонику статей и отдельные скороспелые мысли, брошюра обнаруживала и литературное дарование и зрелую политическую мысль человека, сотканного из материала, из которого создаются партийные вожди».

Эти слова сказаны Юлием Мартовым, уже ставшим врагом Ленина, умиравшим от чахотки в изгнании.

Несколько лет назад в Петербурге была создана ор-

ганизация социал-демократов из 17 человек, «которая,— по словам все того же Мартова, одного из семнадцати,— знаменовала собой первый шаг по превращению идейного течения в партию». Скоро их станут называть «стариками». Ульянову тут 25 лет, среди этих «стариков» он еще не вождь, но уже первый среди равных.

В самом начале года в Германии выходит книга Эдуарда Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии». Бернштейн и прежде пытался «пересмотреть» марксизм, в новой книге он пробует логически обосновать свой пересмотр. Бернштейном возмущены Роза Люксембург и Гельфанд-Парвус, Плеханов и Каутский. Возмущен в Шушенском и Ульянов, он же Владимир Ильин, автор солидного «Развития капитализма в России», только что вышедшего из печати.

Нет, он не считает, что марксизм нельзя поправлять и критиковать. «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса,— пишет он,— как на нечто законченное и неприкосновенное...» Но боится, что подпевающие буржуазии теоретики постараются «убить марксизм» «посредством мягкости», «удушить посредством объятий».

Ульянов гневно нападает на известного пропагандиста марксизма Струве, который тоже высказывается против «ортодоксальных перепевов» Маркса.

Он отвечает ему из Сибири: «...Нет, уж лучше останемся-ка «под знаком ортодоксии»! Не будем верить тому, что ортодоксия позволяет брать что бы то ни было на веру, что ортодоксия исключает критическое претворение и дальнейшее развитие, что она позволяет заслонять исторические вопросы абстрактными схемами. Если и есть ортодоксальные ученики, повинные в этих действительно тяжких грехах, то вина падает всецело на таких учеников, а отнюдь не на ортодоксию, которая отличается диаметрально противоположными качествами».

Итак, партии еще не существует. Но раньше самой партии в пылу полемики уже рождаются крылатые словечки типа «ревизионизм» и «ортодоксия». А «ревизионизму» теперь суждено сопровождать учение Маркса, клеймя и бичуя вероотступников — до сего дня.

Ревизионизм нынче — тяжкое государственное преступление. За него судят и садят в тюрьмы. За него без суда и следствия запирают в больницы для умалишенных. Кошмар ревизионизма перешагнул границы нашей страны, поливает кровью землю Китая...

3

Одно из ранних воспоминаний детства Максимилиана Иванникова.

Пасмурный день за окном, взрослых нет, они на работе, квартира предоставлена детям. У Максимки обычный гость — Ленка, дочь Ивана Ивановича Крашенинникова, того самого вольноопределяющегося из свеаборгских минных классов, который учил бывшего приказчика скобяных складов, рядового Николая Иванникова азбуке классовой борьбы. Максимкиного отца и Крашенинникова не раз разносила жизнь в разные стороны, но они помнили друг друга, искали и находили, продолжая оставаться один учителем, другой учеником. Крашенинников руководил крупным главком, отец Максимки был его заместителем. Они даже жили рядом, дверь в дверь, напротив — два шага через узкий коридор.

Ленка моложе Максимки на восемь месяцев, светлая, голубоглазая, тщательно причесанная, с торжественным бантом в волосах, в коротком платьице, легкая, как бабочка. Она хорошо помнила, что Максимка старший, подчинялась во всем.

У дяди Вани на стене висела сабля, именная, полученная в гражданскую войну за храбрость — ножны украшены тусклым серебром, как и рукоятка, вкрадчиво изогнутая, просящая руки. Самая красивая вещь на свете! Максимке казалось, что за нее не жалко отдать и жизнь.

Изредка дядя Ваня снимал ее со стены и разрешал вынимать из ножен. Максимка держал в руках узкую, излучающую холодный свет полосу стали, и душа его заполнялась жаркой отвагой. Он чувствовал — становится другим человеком, не маленьким мальчишкой, который с трудом открывает тяжелую входную дверь, а высоким, сильным, красивым. Он лучше всех, он смелее всех, он с этой сталью в руке презирал не только Ленку, но даже отца и дядю Ваню. Оттягивающая руку узкая полоса, по ней стекает свет, хотелось торжествующе кричать. И Максимка не выдерживал, кричал, пытался взмахнуть саблей... Тогда ее у него отбирали, вешали на стену. «Боец растет — держись чемберлены!»

И Максимка вооружался деревянной саблей, а Ленка палкой от мухобойки. Он рубил поставленные друг на друга игрушки: кубики, кукол с отбитыми носами, оловянных солдатиков...

— Буржуйских пап! Буржуйских мам! Буржуйских сынков! Буржуйских солдат! — кричал Максимка.

И Ленка, потрясая бантом, с девчоночьей неумелостью, орудуя палкой, поддерживала:

— Буржуйских девочек! Буржуйских извозчиков! Буржуйских почтальонов! Буржуйских рабочих!..

— Буржуйских рабочих нельзя! — кричит Максимка.

— Почему? — распахивала голубые глаза Ленка.

— Они не буржуйские!

— А какие?

Этого Максимка объяснить не мог. Он знал лишь, что слово «рабочий» всегда произносилось с глубоким почтением папой, мамой и дядей Ваней Крашенинниковым.

Примерно в это же время — или чуть позднее — на всю страну прошумела история Павлика Морозова, донесшего на своего отца. Его именем стали называть школы и дворцы пионеров, ему ставили в скверах памятники, со страниц «Пионерской правды», с кумачовых плакатов внушалось детям: «Будьте, как Павлик Морозов!»

Спустя семь или восемь лет во Всесоюзном пионерском лагере «Артеке» состоится слет мальчиков и девочек, предавших своих отцов и матерей в руки правосудия, отрекшихся от них.

IV

Я воспитан в почтении к диктатуре пролетариата, с детства принимал ее, не задумываясь. Сейчас вот задумался, и всплывают сотни вопросов, простых и требовательных до недоуменной оторопи. Как это раньше они у меня не возникли? И даже не слышал, чтоб их задавали другие. Диктатура — пугающее слово для тех, кто мечтает о свободе.

Диктатура — ничем не ограниченная власть пролетариата, рабочего класса. Возможно ли, чтоб весь класс, миллионы людей просто так, скопом могли властвовать? Миллионы у власти?.. Каким образом?

Через выборных?.. Из тысяч и миллионов общим голосованием выбрать считанные единицы, облечь их диктаторской властью? Но их диктаторство ничего не будет стоить, если не станет опираться на какую-то силу. На какую?.. Армию? Полицию? Или на что-то иное?..

Ну, а что как эти выбранные диктаторы, заручившись силой армии и полиции, вместо того чтобы проводить

интересы многомиллионного класса, станут проводить свои интересы — узкоклановые, а возможно, и просто шкурнические? Или же такая опасность начисто исключена?

Но допустим, в диктаторы попадают предельно честные люди, но люди же! Людям свойственно ошибаться. Ошибки диктаторов, наделенных неограниченной властью, никому не подконтрольных, легко могут стать обязательными для всех правилами, неукоснительными законами. Общество, узаконивающее ошибки, проводящее их в жизнь,— не страшно ли?..

Наивные вопросы, бесхитростные. Но у меня от них сплошной туман в голове и гнетущий страх.

Двое в комнате.
Я
и Ленин...

Жадно ищу каждое новое высказывание Ленина о диктатуре пролетариата — год за годом, с самых ранних упоминаний...

«Для уничтожения сословий требуется «диктатура» низшего, угнетенного сословия,— точно так же, как для уничтожения классов вообще и классов пролетариев в том числе требуется диктатура пролетариата».

Это сказано еще в 1903 году, перед II съездом партии. Здесь даже в первом случае слово «диктатура» стеснительно взято в кавычки. Но о том, как она, «диктатура», выглядит — не сказано, одно лишь настойчивое — «требуется»!

1905 год. «Штык поставлен в порядок дня», позади «Кровавое воскресенье», Ленин в Женеве выпускает работу «Две тактики социал-демократии». В ней он пишет:

«Великие вопросы в жизни народов решаются только силой».

«...Защита от контрреволюции и фактическое устранение всего противоречащего самодержавию народа. Это и есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура».

И опять слова, слова — «защита от контрреволюции», «самодержавие народа»,— а что за ними кроется, как сие будет выглядеть на практике — увы, ничего. Лишь «новоискровцу» Мартынову брошено вскользь замечание, что понятие диктатуры класса отличается от диктатуры личности.

Через полтора года, разбирая статью Каутского (еще не «ренегата»), полностью солидаризируясь с ним, Ленин заявляет, что Маркс имел в виду «конечно, диктатуру (т. е. не ограниченную ничем власть) массы над кучкой, а не обратно». Запомним это.

Говоря о диктатуре, Ленин никогда ее не подслащает: «Диктатура есть государственная власть, опирающаяся непосредственно на **насилие.** Насилие в эпоху XX века,— как и вообще в эпоху цивилизации,— это не кулак и не дубина, а **войско».** «Нет ни грана марксизма... если бы мы сказали: мы против применения насилия!»

1917 год. В России переворот. В «Письмах из далека» Ленин пишет: «Пролетариат же, если он хочет отстоять завоевания данной революции и пойти дальше, завоевать мир, хлеб и свободу, должен «разбить», выражаясь словами Маркса, эту «готовую» государственную машину и заменить ее новой, **сливая** полицию, армию и бюрократию с **поголовно вооруженным народом».**

Ага! Диктатура пролетариата — это «поголовно вооруженный народ», слившийся с полицией, армией, бюрократией. Но как этот альянс будет выглядеть в натуре? Как организован, подчинен ли кому? Или же об организации и подчинении не может быть и речи? Стихийная, разобщенная, неуправляемая вольница, где каждый действует по принципу — что хочу, то и ворочу?..

Месяц спустя Ленин размышляет: «Такая власть является диктатурой, т. е. опирается непосредственно на насилие. Насилие — орудие силы. Каким же образом Советы станут применять эту власть? Вернутся ли они к старому управлению через полицию, будут ли вести управление посредством старых органов власти? По-моему, они этого сделать не могут...» Ответа по-прежнему нет.

А еще через несколько месяцев, прячась от Временного правительства, Ленин в своей знаменитой работе «Государство и революция» настойчиво и многократно повторяет, что диктатура пролетариата — «власть, опирающаяся непосредственно на вооруженную силу масс». **«Народ** подавить эксплуататоров может и при очень простой «машине», почти что без «машины», без особого аппарата, простой **организацией вооруженных масс».**

До власти остаются считанные дни, а что такое диктатура пролетариата, право же, не ясно. Общий ответ:

«простой организацией вооруженных масс» — никак не удовлетворяет. В качестве организующей силы предлагаются Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Предположим, выборные Советы станут контролировать действия масс, учтите — вооруженных масс! Но контроль станет пустой формальностью, если он не подкреплен требованиями — поступай так, а не иначе, контроль — неизбежно какая-то форма подчинения. А подчинение в любом виде требует наличия силы. Для контроля над — шутка сказать! — вооруженными массами Советы должны, по-видимому, опираться тоже на силу оружия и притом не иначе как тоже на массовую. Тогда законно спросить: кто же диктатор — массы или те, кто над массами? И не приведет ли такое противопоставление двух вооруженных сил к антагонистическим столкновениям? А при наличии такой опасности не лучше ли Советам воспрепятствовать вооружению масс. Но тут уж между диктатурой Советов и диктатурой пролетариата никак нельзя ставить знак равенства!

Ясности нет, а время подошло, теоретизировать поздно. Может, Ленин, став у власти, практически найдет нужные формы?..

Но вот примерно через полгода после захвата власти он делает неожиданнейшие заявления:

«Что диктатура отдельных лиц (!!!) очень часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов, об этом говорит непререкаемый опыт истории».

«...Поэтому решительно никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц нет».

«Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного».

Двое в комнате.
Я
и Ленин...

Я не могу прийти в себя от панического изумления.

Ленин только что говорил о вооруженных массах, не столь давно повторял вслед за Марксом, что диктатура для него — это неограниченная власть «массы над кучкой, а не обратно». И нате вам, какие там массы — нет, даже не кучка, а диктаторская власть отдельных

лиц! Оказывается, «выразитель, носитель, проводник» диктатуры революционных классов — некий диктатор, «подчиняющий волю тысяч воле одного»! Так вот как выглядит форма диктатуры пролетариата — как она знакома! — все тот же неизменный самодержец-правитель! Непонятно только, зачем было сбрасывать царя-батюшку, коронованного диктатора? Зачем было столь долго и упорно бороться против царизма, кричать об узурпации, сидеть в тюрьмах, подымать восстания, поливать кровью улицы городов и поля без того многострадальной России? Все это лишь для того, чтоб вместо Николая II посадить кого-то другого.

Диктатура одного лица!.. Даже Сталин во время своей монаршей власти не осмелился произнести такие слова — воистину издевательские, сводящие к полной бессмыслице значение революции!

Что это — предательство прежних свободолюбивых принципов, предательство марксизма? Чудовищный трюк беззастенчивого политикана, готовящего под маркой диктатуры пролетариата почву для самоличного диктаторства?

Ой нет, не так-то все просто.

Вглядимся еще раз в идеи, проповедуемые Лениным.

Борьба классов — путь к освобождению. Раз ты согласился с этим положением, тогда согласись и с необходимостью насильственной диктатуры. Как можно бороться, не применяя насилия? Как можно удержать победу над врагами, не применяя к ним диктаторских мер? Рассчитывать, что побежденных — а значит, и озлобленных — врагов можно сделать друзьями путем уговоров, призывая к их рассудку и совести, может только идиллически настроенный дурак.

Ты согласился на диктатуру победившего класса, на массовую диктатуру. А как еще можно представить ее себе, если не в виде вооруженных масс, некогда угнетенных, ныне победоносных? Диктаторство проводится только силой, а сила — это «не кулак, не дубина», это — оружие!

Вооруженные диктаторские массы —как опять же понимать сие? Не так ли, что каждый, носящий оружие,— сам по себе диктатор, никому не подчинен, а всех подчиняет? Столь нелепый кошмар даже во сне не приснится. Неорганизованная вооруженная масса — отрицание какого бы то ни было порядка, какой бы то ни было власти, это гибельный для общества анархический хаос.

Диктаторство через вооруженные массы — нелепость. Любая власть откажется от такой химерической затеи с первых же шагов своей деятельности, неизбежно станет ратовать за жесткое подчинение самих стихийных масс.

А реализовать массовое подчинение легче всего, проще всего одним способом — «подчинением воли тысяч воле одного».

Что и требовалось доказать.

Нет, тут не предательство марксизма! Маркс на месте Ленина или бы отказался от своего учения, или неизбежно пришел к тому же, как и любой и каждый из рыцарей свободолюбия. Уж коль признал классовую борьбу, признай рано или поздно необходимость диктаторства личности, вернись обратно к идее монаршей власти. Деться некуда.

Противники Ленина не раз называли его диктатором, не раз уличали его в жестокости. Мол, что стоит одно его замечание в письме к Курскому: «Расширить применение расстрела», или его высказывания в пользу террора: «Террор — это средство убеждения...»

Да, Ленин не был подвижником человеколюбия и не мог им быть. Да, он задолго до Октябрьской революции признавал необходимость террора. Еще в 1905 году на III-м съезде РСДРП Ленин, ссылаясь на Маркса, заявил: «Он (Маркс.— *В. Т.*) говорил: «Террор 1793 г. есть ничто иное, как плебейский способ разделаться с абсолютизмом и контрреволюцией». Мы тоже предпочитаем разделываться с русским самодержавием «плебейским» способом и предоставляем «Искре» способы жирондистские». В том же году Ленин повторяет это и в своей работе «Две тактики социал-демократии»: «Удастся решительная победа революции,— тогда мы разделаемся с царизмом по-якобински, или, если хотите, по-плебейски».

Однако в первые дни после Октябрьского переворота он высказывает определенную надежду: «Нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, не применяли и, надеюсь, не будем применять... так как за нами сила».

Террор, за который стоит Ленин, все-таки отличается от якобинского — ограниченней, сдержанней.

«Было бы смешно и нелепо отказываться от террора и подавления по отношению к помещикам и капиталистам, продающим Россию иностранным «союзным» империалистам... Но так же,— если не более,— нелепо и смешно было бы настаивать на одной только тактике подавления и террора по отношению к мелкобуржуазной демократии, когда ход вещей заставляет ее поворачивать к нам».

Действительно, как обойтись без террора в революцию, когда голодная, разрушенная страна охвачена братоубийственной гражданской войной. И можно ли в такой обстановке ждать от человека проявлений отвлеченного и возвышенного гуманизма, если этот человек убежденно верует, что «ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием». И сложившаяся обстановка, и само учение, принятое им, толкает на жестокость, избежать ее нельзя, зато легко можно утратить меру, стать слепо жестоким, безоглядно беспощадным, превратить кровавый террор в единственный способ проведения своих идей в жизнь. Таким в свое время стал Максимилиан Робеспьер, чья жуткая фигура, ей-ей, еще снисходительно оценена историками.

Ленин выгодно отличается от этого революционера. Он в самый разгар борьбы, когда одно упоминание о капитализме вызывало всеобщую бешеную ненависть, предлагает призвать на помощь... капитализм — пусть государственный, но капитализм! И что удивительней, проводит это предложение в жизнь. Он, Ленин, презиравший интеллигенцию, не доверявший ей, считавший ее «прислужницей буржуазии», тем не менее настойчиво стремится «использовать» ее, готов подкупить высокими окладами. И, наконец, делает решительный шаг в сторону частного собственника — нэп! Все это отнюдь не обостряло классовую борьбу, а стушевывало ее, мешало распространению массового террора, глушило кровавый разгул.

Можно отыскать факты, уличающие Ленина в жестокости, но нельзя и забывать, что он проявил себя совсем в ином плане.

Его называли диктатором, а кто из политических деятелей такого масштаба избежал подобного упрека? Но вспомним, что он, стоя во главе правительства, добивался проведения своих взглядов только через ожесто-

ченную полемику с теми, кто делил с ним власть, порой даже оставался в одиночестве. И голов рубить не пытался, и в тюрьму за несогласие не бросал. Были случаи, он не стеснялся публично признавать свои ошибки: «Эта мысль (придать законодательные функции госплану.— *В. Т.*) выдвигалась тов. Троцким, кажется, давно. Я выступал противником ее... Но по внимательном рассмотрении дела я нахожу, что, в сущности, тут есть здоровая мысль...» Он не украшал себя высокими званиями и наградами, лично не стремился выделиться. Право же, это не характерно для единовластного диктатора.

Он произнес диктаторские слова, звал к узурпаторству, но сам узурпатором не был. Он жертва железной логики. Жертва слепого, фанатичного верования. Жертва социального недомыслия.

Это драма — драма идей.

4

Однажды мать, вернувшись с работы, принесла домой рулон глянцевитой бумаги. Развернула — оказался портрет Сталина.

— Какой дом без вождя,— сказала мать.

Без вождя?.. Без вождя не жили. С незапамятных для Максимки времен на стене, над комодом висел портрет Ленина — взгляд с прищуром, галстук в горошек. Этот прищур, этот галстук славился в стихах, воспевался в песнях. Ленин давно был членом их семьи — почетным и неназойливым.

Портрет Сталина оказался очень большим — занял всю свободную часть стены — и цветным. Статный, в зеленом полувоенном кителе вождь стоял за столом, опираясь в разложенные бумаги согнутыми пальцами, под черными усами таилась доброжелательная улыбочка. Маленький, одноцветный, изрядно выгоревший Ленин сразу потерялся.

Максимка первый заметил — в какой угол комнаты ни отойди, Сталин с портрета все равно смотрит на тебя. С улыбочкой. Пристально. Без прищура.

Матери это понравилось:

— Как живой!

А Максимку немного пугало и озадачивало: как же так — живой, когда он на бумаге.

К Сталину следовало привыкнуть.

V

Диктатура пролетариата — насилие одного класса над другими...

И сразу же встал вопрос: как тут быть с крестьянством?

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?

Его, извечно стонавшего от непосильного угнетения, снова под насильственную диктаторскую власть?..

Крестьянин сомнительный помощник в революции. «Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей», а крестьянину, хоть и мизерна его собственность, но она ему так же дорога, как помещику обширные поместья, фабриканту фабрика, терять ее не хочется.

Кроме того, крестьянство «не представляет из себя особого класса». Одни из сельчан, разбогатев, стали кулаками-эксплуататорами, другие, обеднев, оказались батраками-пролетариями, кому «нечего терять», а есть еще середняки — имеют собственность, но хлеб добывают своим горбом и, разумеется, мечтают разбогатеть.

Диктатура? Над кем из них? В какой мере?

Российские революционеры по-разному отвечали на эти вопросы. Одни считали — освободить крестьянство, дать ему землю — главная и единственная задача грядущей революции. «Эсеры» — духовные последователи Александра Ульянова.

Другие — вроде Троцкого с товарищами — вообще отказывались доверять крестьянству, предлагали после революции зажать их без содрогания диктаторской рукой.

А Ленин?..

Он мечтал о союзе. Всегда резкий, угловатый, вызывающе бескомпромиссный в выражениях, он тут даже впадал в благодушно медоточивый тон, присущий утопистам всех времен и народов.

«Когда рабочий класс победит всю буржуазию,— писал Ленин,— тогда он отымет землю у крупных хозяев, тогда он устроит на крупных экономиях **товарищеское хозяйство,** чтобы землю обрабатывали рабочие вместе, сообща, выбирая свободно доверенных людей в распоря-

дители, имея всякие машины для облегчения труда, работая посменно не более восьми (а то и шести) часов в день каждый. Тогда и мелкий крестьянин, который захочет еще по-старому в одиночку хозяйничать, будет хозяйничать не на рынок, не на продажу первому встречному, а на товарищества рабочих: мелкий крестьянин будет доставлять товариществу рабочих хлеб, мясо, овощи, а рабочие будут без денег давать ему машины, скот, удобрения, одежду и все, что ему нужно. Тогда не будет борьбы между крупным и мелким хозяином из-за денег, тогда не будет работы по найму, на чужих людей, а все работники будут работать на себя, все улучшения в работе и машины пойдут на пользу самим рабочим, для облегчения труда, для улучшения жизни».

Не правда ли, заманчивая идиллия!

Ну, а чего же ждали сами крестьяне от революции?

В начале сентября 1917 года «Известия Совета Крестьянских Депутатов» — газета эсеров — напечатала «Примерный наказ, составленный на основании 242-х наказов» крестьян. Он требовал:

«Право собственности на землю отменяется навсегда...

Наемный труд не допускается...

Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися...

Формы пользования землею должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках».

Поразительна оперативность Ленина. Он в это время прячется от Временного правительства, но тем не менее сразу же не только замечает «Наказ», но и откликается статьей «Крестьяне и рабочие», где оценивает этот материал, как «единственный в своем роде», считает, что он «должен быть в руках каждого члена партии».

Через несколько недель — Октябрьская революция, и «Наказ» ложится в основу «Декрета о земле». И Ленин дает объяснения делегатам съезда Советов: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны... Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам».

Но очень скоро в стране начинается голод. Ленин вынужден призывать: «Нужен массовый, «крестовый» поход передовых рабочих ко всякому пункту производства хлеба...» То есть «крестовый поход» на крестьянина. Приходится забыть высокие слова о «полной свободе творчества». Не отдашь хлеб — отберем силой!

Вот тогда-то и начинает выясняться, что крестьянин чрезвычайно устойчив против силы. Как ивовый прут — гнется, но не ломается. Он в своем хозяйстве всегда может найти укромное местечко, куда спрятать хлеб, что никакие «крестоносцы» его не найдут. Крестьянских хозяйств по стране миллионы, над каждым не поставишь контролера от государства. Мало того, на излишне сильный нажим крестьянин может ответить бойкотом: берете у меня хлеб, а взамен ничего не даете, так я не стану лишка стараться, посею только для себя, а сверх того — шалишь.

Вспомнил назидательный рассказ Льва Толстого «Много ли человеку земли надо». Воистину безмерна жадность крестьянина к земле, ее он готов оплатить ценой жизни. Ради земли он пошел за революцией. И вот этот крестьянин, только что исступленно мечтавший о земле, стал от нее отказываться: «Зачем она мне? Что ни посей — отберут. Чего зря-то хрипт ломать!» Посевные площади стали стремительно сокращаться, поступление хлеба в город грозило прекратиться совсем. Костлявая рука голода душила молодое государство.

С мужиком, оказывается, можно делать дела только полюбовно: дай ситец, керосин, сапоги — получи хлеб. А в стране разруха — ситец не ткется, керосин не добывается. Новое государство попало в зависимое положение, его диктаторская власть оказывалась беспомощной. А выход?..

Он был. В обобществлении разрозненных крестьянских хозяйств в крупные, над которыми можно было бы осуществить контроль. В крупном контролируемом хозяйстве уже не спрячешь хлеб, и землю обрабатывать там не трудно заставить. Государство получило бы власть над крестьянином.

Рассчитывать, что сами крестьяне добровольно станут объединяться — утопия. Не зря же они из всех форм свободного землепользования, предоставленных «Декретом», выбрали не артельную, не общинную, а почти по-

головно «подворную» форму единоличного землепользования. Тысячелетиями мужик стремился к независимости через собственность:

Земля в длину и ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.
И никого не спрашивай.
Себя лишь уважай.
Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай.

Применить диктаторское насилие? Но какая нужна сила, чтоб заставить миллионы крестьян жить и работать не так, как они хотят. Государство, переживающее разруху и войну, такой силы еще не имело. Да это было бы не что иное, как насилие в масштабе всей нации. Правительство, решившееся на такой узурпаторский акт, могло с полным основанием называться антинародным. Кроме того, и классики марксизма тут прямо и недвусмысленно высказывались против применения силы. «Энгельс подчеркивал,— напоминал Ленин,— что социалисты в мыслях не имеют экспроприировать мелких крестьян, что лишь **силой примера** будут выяснять им преимущества машинного, социалистического земледелия».

Нет, коллективизация деревни через приказ и оружие не в духе Ленина. В марте 1919 года с трибуны VIII съезда партии он предостерегает:

«...Коммуны мы поощряем, но они должны быть поставлены так, **чтобы завоевать доверие крестьянина.** А до тех пор мы — учащие у крестьян, а не учителя их... **Нет ничего глупее, как самая мысль о насилии в области хозяйственных отношений среднего крестьянина.**

Задача здесь сводится не к экспроприации среднего крестьянина, а к тому, чтобы учесть особенности жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способности перехода к лучшему строю и не сметь командовать! Вот правило, которое мы себе поставили! (Аплодисменты всего съезда)».

И Ленин от коммун повернул в обратную сторону — к признанию частной собственности и свободой торговли, к нэпу!

Не все соглашались с ним. Троцкий, например, кидал грозные лозунги — «индустриализация за счет деревни», «завинчивание гаек», то есть применение силы. Троцкий

был бесхитростно откровенен — пагубное качество для политика,— его выбросили из страны и предали анафеме.

А вот после смерти Ленина в числе чуть ли не самых активных сторонников «мягкого» обращения с крестьянством стал... Кто?.. Представьте себе — Сталин! На XIV съезде в своём политотчете он, можно сказать, в какой-то степени взял даже под защиту кулака.

«Если задать вопрос коммунистам,— говорил он,— к чему больше готова партии — к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия больше всего подготовлена к лозунгу: бей кулака. Дай только,— и мигом разденут кулака. А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается. Вот почему я думаю, что в своей борьбе против обоих уклонов партия все же должна сосредоточить огонь на борьбе со вторым уклоном (т. е. «бей кулака».— *В. Т.*)».

И эти слова тоже встречены аплодисментами съезда. Произнесены они в конце 1925 года, до начала сплошной коллективизации оставалось немногим больше трех лет.

Через два года, на XV съезде, Сталин все еще благонравно корит: «Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать и точка. Это средство — легкое, но далеко не действительное. Кулака надо взять мерами экономического порядка, на основании революционной законности».

Спустя год с небольшим после того, как прозвучало это заявление, началась поголовная коллективизация — своеобразная облава на многомиллионное крестьянство. И начал ее не кто иной, как Сталин со своим аппаратом, ни с кем не посоветовавшись, ни у кого не испросив благословения.

XVI съезд партии только послушно принял свершившийся факт, с раболепной услужливостью запоздало одобрил его.

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно! —
Но им без волненья
Внимать невозможно.

История корчит гримасы.

5

Был вечер, обычный, летний. Старая, ржавая крыша напротив под лучами садящегося солнца, казалось, раскалилась до вишневой спелости. В затененной влажной глубине между домами суетливо жила знакомая улица — приходили и уходили трамваи, крякали гудки редких автомобилей, стучали по булыжнику колеса ломовых телег.

Отец пришел с работы раньше матери. Они всегда приходили в разное время — то мать раньше, то отец, и редко когда входили в дверь вместе. Отец умывался на кухне, слышался плеск воды и довольное фырчанье.

В дверь кто-то робко поскребся — может быть, Ленка. Максимка бросился открывать.

За дверью, вплотную — куча странного народу. Впереди высокий, тощий старик с сухой, пыльной бородой.

— Сынок,— спросил он слабым голосом, словно был в чем-то очень виноват,— тятька-то твой дома ли?

Максимка понял — спрашивают отца, отошел в сторону, пропуская старика.

Старик обернулся к тем, кто стоял у него за спиной, кивнул головой, первый переступил порог.

Их было пятеро: сам старик, длинный, перекрученный, с жилистой коричневой шеей и кривым хрящеватым носом над спутанной бородой, старуха с плоским морщинистым лицом, женщина, похожая на старуху, в низко повязанном платке, прятавшем глаза, девчонка в рваной кофте, свисавшей ниже колен, и, наконец, мальчишка чуть, верно, моложе Максимки — мокрый нос, белые-белые выгоревшие космы и открытый недоуменно рот. Что-то цыгански пестрое, дорожное, прокаленное солнцем, пропыленное насквозь, круто пахнущее потом заполонило не слишком просторную комнату. Старик и старуха были обуты в лапти, детишки босые. Старик озирался кругом, мял скрюченными пальцами шапку, мальчишка как вошел, так сразу сел прямо на пол, уставился на Максимку с открытым ртом, словно перед ним был не обычный человек шести лет, а слон из зоопарка.

— Тятька-то твой дома ли? — несмело переспросил старик.

Отец вышел на голоса, в нательной рубахе с распахнутым воротом, с красным лицом, красной натертой полотенцем шеей, чистый, свежий, неприлично сильный перед этим цыгански пыльным народом.

Он ничего не успел сказать, только взметнул вверх брови,— первым старик, за ним женщины, за женщинами девчонка в длинной кофте повалились на колени с сухим шорохом. Только мальчишка как сидел, так и остался сидеть с открытым ртом, завороженно уставившись на Максимку.

Старик с размаху поклонился нечесаной головой до полу, разогнулся, сутулясь, глядя снизу на отца, мигая красными веками, заговорил тонким, рвущимся, торопливым голосом:

— Не оставь нас, отец родной! Не оставь, кормилец!

И у него дрожала вытянутая вперед сухая борода, прыгал под бороду кадык.

— Вы... кто? — выдавил из себя отец.— Встаньте! Встаньте!..

— Не оставь, Христом-богом просим! Изводят, со свету сживают,... Ты глянь, глянь на нас!.. Коли б мы со старухой одне были, так бог с нами, со старыми да некорыстными. Пожили — хватит. А то ведь, глянь, детей малых наказывают...

— Вы встаньте сначала.

— Не встанем, отец, с места не двинемся, покуда ты нашу беду не разведешь. А беда-а! Бедовей-то не стрясется... Справедливец ты наш, по-людски нельзя, по совести, так хоть вспомни — какая-никакая, но родня мы тебе...

— Да кто вы, право? — У отца не сходила багровость с лица и шеи.

— Мы же, любой из Патлов. Мы же родня прямая жинке-то твоей Глафире Андреевне. Я вот дядей ей прихожусь, она мне племянница будет.

— Дядя?!

— Знает она меня хорошо, на руках носить приходилось. Ее-то покойный отец, царство ему небесное, Андрей Емельянович,— брат мой кровный. Он — Андрей, а я — Василий Емельянович.

— Встань, Василий Емельянович, расскажи толком... Да встань ты с колен! Что я тебе губернатор царский или генерал, чтоб передо мной лоб разбивать!

— Да вы нонче господа почище царских-то будете, даром что с виду просты. Вон и Глашка высоконько прыгнула — рукой не достанешь. А давно ли из рукава кусок выглядывала.

— Подымайся!

Но упрямый старик продолжал стоять на коленях, за-

дирал пыльную бороду, плоский в груди, иссушенно тощий, казалось, еще раз поклонится до полу — хрустнет и сломается пополам.

— Мы уж в ножках валялись у Глафиры-то Андреевны. Мы к ней в присутствие ходили. Отыскали, бог помог, слезьми горючими молили. Да, не в обиду будь сказано, крутенька Глафира-то, камушек у нее заместо сердца — слушать не захотела, прогнала. А про тебя, слышь, говорят — добрый, и власти у тебя больше Глашкиной.

В уголках красных век старика копились слезы. А мальчишка у порога, по-прежнему открыв рот, не сводил с Максимки взгляда. Максимке хотелось спрятаться, и щипало в носу, как после песни «Позабыт, позаброшен».

С задранной дрожащей бороды сыпались суетливые, перепутанные слова:

— Санька-то, это старший мой, не стерпел — он тоже порох хороший,— ударил вгорячах Фролку Микишина. Фролка-то нынче в начальство вышел. Саньку сразу под наганом увели, а у нас начисто все переписали да в высылку... Детей бы пожалели, грудной-то помер в дороге... В высылку, на кукуй, в холодные места! А за что?! Ну, пусть Санька — садова голова виноват. Спроси с него, как следует, а нас почто?.. А детей?.. Всех в кулаки чохом!

Максимка всей кожей вдруг озябшего тела переживал за старика. Как хорошо, что он пришел к отцу. Отец выручит. И зря они ходили к матери.

Но голос отца был такой, что не только Максимка оторопело обернулся к нему, а даже мальчишка с открытым ртом перевел глаза.

— А как вы попали сюда?

Задранная борода старика медленно поползла вниз.

— Как вы оказались в Москве?

Старик молчал, смотрел в пол.

— Ну?!

— С поезда сошли за кипятком...

— Сбежали с поезда?

Старик затравленно пошевелился.

— Детишек спасти хотелось. Далеко ли отъехали, а один уж помер в дороге. Что с этими станется? Они-то в чем виноваты! И курица своих цыплят бережет, ай не понятно? У тебя вон сын растет...

— Работников держал?

— Работников!.. Эва! Да с сыном мы, с Санькой вдвоем ломали. На одной кобыленке восемь десятин распа-

хивали. Жилы из себя тянули. За это нас и в кулаки сунули, что баклуши не били. Кому на землю плевать, те в силе да в почете. Фролка Микишин вон — чепуховый человек, только горло драть умеет — в жизни, поди, с первыми петухами не вставал...

Борода старика уперлась в грудь, он смотрел не в лицо отцу, а в ноги. И отец тоже отводил от него взгляд.

— Не могу я решение изменить,— сказал он глухо.

— Сердца у вас нет.

— Сердце есть, нет пути иного. Приходится перешагивать кой через кого...

— Через кого?! Через него шагаете! — Старик дернул бородой в сторону завороженного мальчишки, сидящего под порогом.— И не жалко вам?

— Жалко,— хрипло ответил отец.

— Так пожалей! Просим же! Про-сим!

— Могу к себе взять... обоих.

И тут вдруг вскинулась женщина в низко надвинутом на глаза платке, сутуло стоявшая на коленях за спиной старика:

— Не от-дам-м!! — Стекла в окне отозвались зудящим стоном.— Еще и детей! Последнее!! Не от-дам!! Умру с ними!

Старуха темной рукой тянула сзади старика за полу:

— Пойдем, Христа ради. Пойдем уж...

— Отца загубили! Из родного дому выгнали! Теперя — детей отдай!

— Вам же лучше, пока не устроитесь...— Отец блуждал глазами в стороне.

— Убейте лучше! Убей-те!! Меня! Детей! Всех!! Вот мы — нате, ешьте!!

Мальчишка, видать, привык к таким крикам, не обращал на мать внимания, снова разглядывал Максимку ясными, остановившимися глазами.

Старик с трудом поднялся с колен, сгорбленный, с упавшими к коленям тяжелыми, плоскими руками, с повисшей пыльной бородой:

— Нет сердца у вас, нет! Не грешите уж... Эх!

Он натянул на жидкие волосы шапку, сердито выговаривая, помог подняться с колен женщине:

— Окстись, непутевая, окстись! Разве их криком возьмешь. Ну-кось. ... Нет у вас сердца, нет...

Девчонка в кофте сердито дернула за руку мальчишку, тот наконец оторвал от Максимки глаза, закрыл рот, сопя стал подыматься с полу.

Захлопнулась дверь, в комнате стало пугающе пусто.

Дверь—медная, захватанная до блеска ручка, медные, но тусклые шляпки гвоздей, там, где гвозди давно выпали, клеенка пузырится, внизу у самого пола она и совсем порвалась — торчат клочья серой ваты. Что может быть привычней двери, в которую ты входишь и выходишь десятки раз за день!

У отца на виске у самых волос дышала жилка, словно силилась уползти, спрятаться. Он почувствовал взгляд сына, повернулся, шагнул, поднял его с пола, на уровень тоскующих глаз. И Максимкино лицо само стало кривиться, по щекам потекли слезы.

Отец прижал сына к себе, пронес по комнате — подальше от закрытой двери,— опустился на стул, стал гладить волосы. Он гладил, а Максимка ждал, что отец скажет обычное: «Ну-ну, мужчины не плачут».

Но тот сказал другое:

— Придет время, сынок, когда мы будем так сильны, что начнем жалеть даже своих врагов. Даже их.

— Почему сейчас нельзя?

— Рано...

— Я хочу сейчас...

— Сейчас весь мир наши враги. Во всем мире готовят пушки и танки. Пушки, чтоб убить меня, маму. И тебя тоже.

— Но этот дедушка...

Старик никак не походил на врага. Таких с бородой рисовали на картинках — крестьянин с косой и рабочий с молотком пожимают друг другу руки. Даже на деньгах нарисованы рабочий и бородатый крестьянин.

Отец сухо ответил:

— Он — кулак. Кулаки хотят спрятать хлеб, чтоб все мы умерли с голоду.

— А мальчик, папа? Неужели и он кулак?

— А мальчик — нет.

— Так почему ты не оставил его у нас? Тебе хотелось... Я бы ему все игрушки...

Отец долго молчал, глядя поверх головы Максимки. В серых глазах под бровями — застойная тоска.

— Хотелось,— произнес он наконец.— И мальчика, и девочку... Но не смог...

Тяжелые и сильные руки отца бережно обнимали сына. Комната затягивалась сумерками, с улицы доносился скрежет трамвая.

Тихий, тихий вопрос усталым голосом:

— Что они будут делать в городе? У них наверняка нет ни копейки...

И Максимка представил себе, как бродят они под фонарями — босые и пыльные, впереди тощий, высокий, перекрученный старик. Идут и не знают, куда. А люди спешат мимо них, все незнакомые люди. И они не догадываются, что это враги — кулаки, которые убивают не пушками, а голодом.

А все-таки как их жаль! И отцу тоже...

А матери было нисколько не жаль.

— Мало я у этих родственничков христарадничала? Обстирывала, сопли детишкам подтирала, из болот на хребте траву таскала, чтоб они молоко топленое трескали. А слышала только одно: «Побирушка, голытьба непутевая! Помни, чей хлеб ешь!» Нет, Колька, сдавать что-то стал в тебе классовый боец. Через стенку бы тебя продавать — за красную девку сошел.

Отец виновато отмалчивался.

VI

Владимир Ильич! Пора. Поговорим о нравственности.

2 октября 1920 года на III Всероссийском съезде комсомола Вы сами подняли этот вопрос:

«Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем».

Но в этом выступлении Вы произнесли иные слова: «Коммунистом стать можно только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

И Вы навряд ли стали бы отрицать, что какие-то законы нравственности, открытые человечеством в практике жизни, входят составной частью в те духовные богатства, обогащаться которыми Вы призываете. Тем более, что еще раньше, мечтая о будущем бесклассовом обществе, Вы отмечали, что «люди постепенно **привыкнут** к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторяющихся во всех прописях правил обще-

жития...» Не будем судить, насколько реально упование на такую «постепенную привычку», отметим лишь, что Вы тут не отрицали преемственности в новом обществе старых, вековых правил общежития, ложащихся в основу нравственных понятий. Тогда почему столь категоричное утверждение: «Мы в вечную нравственность не верим»? Конечно, нет ничего вечного в мире сем, какие-то понятия нравственности устаревают, подлежат пересмотру, изменениям, но отметать чохом «вечную нравственность» — не верим! Перебор, который ставит Вас в противоречие не только ко всей человеческой культуре, но даже в противоречие к самому себе.

Вы недовольны старой нравственностью, а потому сочли возможным сделать следующее заявление: «Нравственно то, что полезно для революции».

Вдумаемся же в это.

Нравственность — совокупность правил поведения людей друг к другу и к обществу, то есть в каком-то смысле это правила человеческих отношений. Вы всю жизнь напористо стремились изменить бытующие человеческие отношения — существует классовое различие и классовый антагонизм, необходимо добиться, чтоб этого не было; существует эксплуатация, следует уничтожить ее, бездельник не должен жить за счет труженика... Новые отношения, значит, и новые правила поведения, новая, более высокая нравственность, ради нее стоит бороться, подымать революцию. Ради нее...

И вдруг оказывается — «нравственно то, что полезно для революции». Не революция для нравственности, а совсем наоборот — нравственность тут служит и применяется к революции. Революция уже не средство достижения чего-то нового, она — сама по себе цель. Выходит, ценны сами по себе разруха, голод, кровопролития, горы трупов и прочее, что неизбежно сопровождает революционные взрывы. Что может быть страшнее такого чудовищного абсурда?

Даже Ваши враги не осмеливались называть Вас безнравственным человеком, но именно вы стали проповедником нравственности, поощряющей насилие ради насилия, соглашающейся на кровопролитие ради кровопролития.

И следует ли удивляться, что через двенадцать лет после Октябрьского переворота, когда государство проводит небывалое в мировой истории насилие по меньшей

мере над десятками миллионов крестьян, страна молчит, никто не возмущается, больше того, вовсю славится этот сверхмасштабный насильнический акт. Миллионы семейств выгоняются из собственных домов, ссылаются в необжитые места Сибири и Крайнего Севера, мрут от голода и болезней. Мрут сосланные старики, женщины, сосланные дети! Подавляющее большинство уже уверовало: «нравственно то, что полезно революции», значит, все правильно.

В то время, когда Вы произносите эти слова, революция уже переросла в государство. Уже тогда было можно перефразировать: «Нравственно то, что полезно государству». Практически смысл нисколько не менялся. Все, что ни делалось во имя революции, делалось для укрепления нового государства, во славу его. И конечно же, наиболее деятельным тут был Ленин, основоположник и глава возрожденного революцией государства.

Но именно Вы, Ленин, считались одним из самых яростных противников государства как общественного учреждения. Даже отец анархизма Пётр Кропоткин бледнеет перед Вами, столь убийственно он на государство не обрушивался.

«Всякое государство,— писали Вы буквально перед самой революцией,— есть «особая сила для подавления» угнетенного класса. Поэтому **всякое** (Вы подчеркиваете это слово, не я.— *В. Т.*) государство несвободно и ненародно».

«Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».

Есть ли нужда приводить другие Ваши высказывания? Их много, и все они в том же духе — непримиримы!

6

Максимилиан Иванников стал ходить в школу.

В его классе под портретом Бубнова, нового наркома просвещения, висела карта мира, два полушария — бледно-голубые океаны и пестрые, составленные из разноцветных стран-лоскутков континенты. Вверху одного полушария — наша страна, не лоскуток, а полотнище, словно развернутое красное знамя над планетой. Максимка путешествовал...

Африка — там угнетенные негры.

Америка — больше всего капиталистов. И негры угне-

тенные тоже есть. Их когда-то привезли в цепях из Африки.

Индия окрашена в зеленый цвет, как и маленькая Англия. Англичане богатеют, индусы умирают от голода.

Китай... Там даже ездят на людях, как на лошадях. Но там сейчас война и есть уже своя Красная армия.

Во всем пестром мире нет места, где бы простые люди жили хорошо. Только в нашей стране все не так, как всюду. Наша страна окрашена в красный цвет — цвет революции!

К нам прибыли испанские дети. Максимке сшили синюю шапочку с красной кисточкой — испанка, в таких теперь ходят все мальчишки и девчонки. И все знают два испанских слова: «Но пасаран!» — «Они не пройдут!» Но пасаран! И — «лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»

Разбился самолет «Максим Горький», самый большой самолет в мире.

Умер сам великий писатель Горький.

А перед этим умер его сын Максим, которого Горький очень любил.

А помните злодейское убийство Кирова?..

И появились первые плакаты на заборах: «Будь бдителен — враг повсюду!» И новые портреты Сталина — с девочкой Мамлакат на руках: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство!»

Максимка — как все мальчишки — мечтает стать летчиком.

Нам разум дал стальные руки-крылья
И вместо сердца пламенный мотор.

Портрет Бубнова сняли со стены.

VII

Ленин ненавидит государство: «**Всякое** государство **не**свободно и **не**народно». Всякое! В том числе и пролетарское.

Но на первых порах без государства не обойтись.

«Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров и **для руководства** громадной массой населения, крестьян-

ством, мелкой буржуазией, полупролетариями, в деле «налаживания» социалистического хозяйства».

То есть мышьяк — яд, но в руках врача он спасительное лекарство. Государство само по себе — орган угнетения, но только через него можно добиться желанной свободы.

И Ленин рисует картину освобождения: «**Все** граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. **Все** граждане становятся служащими и рабочими **одного** всенародного, государственного «синдиката». Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну».

«Все общество,— повторяет он,— будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы».

Простой рабочий и директор завода оказываются в одинаковом положении. Как тот, так и другой наняты государством. Как тому, так и другому идет одинаковая заработная плата. Привилегии отменены и чины тоже. Не может быть и речи об угнетении кого-то, об эксплуатации. Даже карьеристические стремления уйдут безвозвратно в прошлое. Какая нужда стремиться к высоким должностям? Всюду равенство труда и платы.

«Такое начало,— утверждает Ленин,— на базе крупного производства само собою ведет к постепенному «отмиранию» всякого чиновничества, к постепенному созданию такого порядка,— порядка без кавычек, порядка, не похожего на наемное рабство,— такого порядка, когда все более упрощающиеся функции надсмотра и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут затем становиться привычкой и, наконец, отпадут, как **особые** функции особого слоя людей».

И... «будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в **подчинении** одного человека другому, одной части населения другой его части, ибо люди **привыкнут** к соблюдению элементарных условий общественности **без насилия** и **без подчинения**».

И, разумеется, государство, как орган подавления и угнетения, станет просто ненужным, оно **отомрет** само собой за **ненадобностью.**

Такова картина нового общества, нарисованная Лениным в знаменитой работе «Государство и революция».

В 1920 году, в речи на III-м съезде комсомола Ле-

нин заявил, что «поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество».

Пятнадцатилетним той поры вот-вот перевалит за семьдесят!

Так оглянемся же кругом!...

7

Дядя Ваня Крашенинников часто заходил по вечерам «на чаек». Из одной двери в другую, два шага через коридор. В нательной рубахе, перехваченной подтяжками, сквозь распахнутый ворот видна поросшая рыжим волосом грудь, с разведенными плечами, с выпирающим тугим животиком, просторный лоб сливается со сверкающей лысиной, короткие руки глубоко запущены в карманы брюк.

— Как жизнь, смена? — Вопрос к Максимке.

Последнее время дядя Ваня защищал какого-то Постникова, который выступал против рекордов.

Мать Максимки нападала на дядю Ваню:

— Кого под крылышко берешь, Иван? Из столбовых дворян твой Постников. Не дивно, что ему у нас все не нравится.

— Забываешь, что и Ленин из дворян.

— Сравнил.

— Постникова революция в Минусинске застала, не по своей воле там оказался. Он известный профессор-экономист, чье слово дороже — его или твое? Давно ли ты, Глафира, по складам «папа-мама» читать научилась?

Мать затягивалась папиросой, сводила над переносицей тугие брови:

— Государство у нас пролетарское. Я, Иван, пролетарка без подмесу, от сохи да от лаптей. Потому и слово мое цени больше.

— Только потому, что в лаптях ходила — твое невежество ценней знаний? Ну, так мы индустрию не подымем.

У матери в голосе глуховатые перекатцы, глаза под сведенными бровями колючи:

— Весь народ, Иван, как я — не профессора. Ты хочешь народ активности лишить — заткнитесь, мол, перед умными интеллигентиками. Не выпляшется! Открой га-

зету, Иван. Кто с передовой полосы глядит, чье слово печатают? Паши Ангелиной! Такая, как я, сельская девка учит уму-разуму твоего умного профессора. А мне запрещено? Ну-у нет, от своих прав не откажусь: буду учить и пусть передо мной руки по швам держит, слушается. Моя-то народная активность для нашей державы дороже книжных знаний. Так-то!

Мать победоносно всадила окурок в блюдечко, а Иван Крашенинников задумчиво стоял, сияя под лампой лысиной, глядел в пол.

— Активность дороже знаний?..

— Народная, Иван, народная активность!

— Народная... Да-а... Ты, случаем, не читала — есть у Чехова рассказец, «Унтер Пришибеев» называется?

— Не читала! — отрезала мать.

— А вот Максимка, должно быть, читал.

— Читал,— с готовностью отозвался Максимка.— Вредный такой, всех разгонял.

— Активность народа... А кто среди народа всех активней? Да унтеры Пришибеевы, кто в каждую щель лезет со своим указом, правоту кулаком доказывает. Если верить Чехову, за такую активность судить надо, а мы... Кто в деревне после революции встал во главе сельсовета? Самый умный мужик? Нет, самый крикливый, самый активный — отставной унтер Пришибеев, не иначе. Вот и дожили: профессора Постниковы, интеллигенты, воспитанные на Марксе и Герцене, бросавшие кафедры ради революции... Руки по швам, Постниковы, перед активистами Пришибеевыми, не читавшими даже Чехова!

Отец, как всегда, молчал в спорах. Но было ясно — он на стороне дяди Вани Крашенинникова. Дядя Ваня — учитель отца.

VIII

«Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства».

По найму?..

Но эта весьма нехитрая операция — основа основ капиталистических отношений. Я имею капитал, вложенный в производство, ты не имеешь ничего, кроме пары рабочих рук. Я тебя нанимаю, и я диктую тебе свои ус-

ловия, назначаю тебе зарплату, какую считаю нужной. А уж раз я плачу тебе, то обязан и проследить за тобой, хорошо ли работаешь. Наивно полагаться на твою совесть. Я вынужден не доверять тебе, вынужден ставить над тобой надсмотрщиков и контролеров. И конечно, только прекраснодушный идеалист может рассчитывать, что в ответ на мое недоверие ты ответишь доверием. И я, чтоб твое недоверие не переросло в открытую вражду, из своих доходов плачу на содержание чиновников, которые составляют выгодные для меня законы, плачу на полицию и армию, которые в случае нужды заставят тебя, недовольного, подчиняться мне.

Так выглядело «по найму» при капитализме.

А «по найму» у государства?..

И здесь, раз уж нанимают рабочего, не он сам назначает себе зарплату, а кто-то другой, облеченный этим правом. Значит, останутся недоверие и проверка. И так же, как при капитализме, взаимное недоверие столь же легко, как и прежде, сможет перерасти в антагонизм.

«Государство, бывшее органом угнетения и ограбления народа,— признается Ленин,— оставило нам в наследство величайшую ненависть и недоверие масс ко всему государственному».

А почему должна исчезнуть эта «величайшая ненависть и недоверие масс» к новому государству, пользующемуся старой формой найма? Раз будут нанимать, то будет и антагонизм, будет ненависть, придется издавать сдерживающие законы, прибегать к поддержке организаций полицейского типа. И уж, конечно, речи о «вооруженных массах» рабочих быть не может. Неразумно нанимателю доверять оружие тем, кого он нанимает.

Если ты решил строить машину по старому принципу пара, толкающего поршень, то мало надежды, что она взлетит за облака, скорей всего у тебя получится разновидность детского паровоза, способного ползать по рельсам.

Бессмысленно рассчитывать, что старый способ «по найму» приведет к новому обществу, к новым общественным отношениям. Нет, общество будет построено сходно со старым — с диктующим условия нанимателем, с бесправным нанятым и прочими вспомогательными фигурами, вплоть до тех, кто оберегает нанимателя силой оружия. И уж, конечно, это, столь схожее

с прежним общество будет и жить похоже, болеть теми же болезнями, нести в себе старую вражду и старую ненависть.

Но стоп! Мы совсем забыли ленинское равенство труда и платы. Оно же в корне меняет все наши рассуждения. Если это равенство провести в жизни, то новое государство в отличие от капиталиста, нанимая рабочего, меньше всего будет вступать с ним в торгашеские отношения — отдай свои рабочие руки, заплачу. Новое государство всех нанимает, всем поровну платит. Нет повода для недоверия, для обоюдной вражды и ненависти. Существенная поправка — и все меняется...

Однако к нам стучится история Максимилиана Иванникова, происходящая двадцать лет спустя, как Ленин отложил в сторону неоконченную рукопись «Государство и революция», заявив: «Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

8

Максимка открыл глаза. Било через крышу соседнего дома солнце в окно, привычно погромыхивал трамвай внизу, влетали в открытую форточку заносчивые гудки автомобилей.

Но что-то тихо в комнате. Неужели проспал,— отец и мать ушли, а он, Максимка, опоздал в школу?

Отец и мать сидели за столом, друг против друга, готовые встать и идти на работу. Друг против друга, молчащие, неподвижные. А стол пуст — не стоит чайник, не расставлены чашки. Тихо в комнате.

Не спуская глаз с родителей, Максимка полез из-под одеяла. И мать с отцом разом обернулись, а Максимка вздрогнул.

У матери известково белый лоб, под самыми глазами на скулах два красных пятна, и сами глаза, широко открытые, не видят сына, скользят куда-то мимо.

Прежде он никогда не замечал седину на висках у отца. А она есть, и лицо желтое, усохшее. Взгляд такой же, как у матери,— пустынный, скользящий.

Что-то случилось... Он, Максимка, вроде ничего такого — окон не разбивал, не дрался, учителям не грубил. Да и кому придет в голову жаловаться на Максимку ночью. Вчера-то вечером было все в порядке.

— Надо идти,— устало сказал отец и не поднялся со стула.

Мать помолчала, перекатила желваками, процедила сквозь зубы:

— У сердца шакала держали.

— Надо идти. Пора,— засуетился отец. И это было на него не похоже.

— Папа, что?..— подал голос Максимка.

Отец оторвал наконец себя от стула, глядя поверх Максимкиной головы, сказал:

— Подымайся, сынок. Скоро в школу идти.

Решительно встала мать, бросила резко:

— Чайник сам разогреешь. В шкафчике — колбаса, масло!

И они поспешно ушли, как сбежали.

Било солнце в окно. Улица внизу была накрыта сырой, пахучей утренней тенью.

Дом, где жили Иванниковы, когда-то был гостиницей, в ней пьянствовали старорежимные купцы. Двери выходили в длинный коридор. Никто из ребят его не любил — темный, пустой, гулкий, да и играть в нем не разрешалось, со всех сторон сразу высовывались головы: «А ну, марш во двор! Раскричались!» Здесь жили служащие и все ответственные, только в самом конце коридора — музыкант из симфонического оркестра, Борис Моисеевич Шольцман. Он постоянно таскал с собой огромную, как чемодан, виолончель.

Обычно в то время, когда Максим выходил, открывалась дверь напротив, из квартиры дяди Вани появлялась Ленка. Она стала тощей и длинной, на полголовы переросла Максимку, хотя и училась на класс ниже. Косички крендельками, отутюженные воротнички, вздернутый нос — выглядит старше и задается этим.

— Здравствуй, Робеспьерчик,— говорила она с чуточной улыбочкой.

— Здравствуй,— ворчал он. Его сердила эта улыбочка чуть-чуть, этот «Робеспьерчик» вместо имени. Но попробуй рассердиться вслух — округлит глаза, невинно спросит: «А что я такого сказала?» И правда — что? Робеспьер не ругань, не придерешься.

— Тебе, наверно, опять снились самолетики?

— А тебе — мальчики!

— Конечно, Робеспьерчик, такие, как ты. С ума по ним схожу.

Так, препираясь, они шли до школы и там на пороге расставались на весь день.

Сегодня Максимкин отец уходил рано, и соседняя дверь не открылась навстречу. Она даже показалась какой-то особенно глухой, словно за ней не просто спали — хотя давно пора всем вставать,— а никого нет, квартира пуста, уехали надолго на курорт.

Под дверью что-то валялось, он поднял — старая тряпичная кукла с облупившейся рожицей из папье-маше. Он вспомнил ее. С этой куклой Ленка приходила к нему в детстве. Не раз эта кукла испытывала удары его деревянной сабли, она и тогда была уже старой, ее не жалели. Наверное, Ленка давным-давно не играет в куклы, да еще такие замызганные. Почему вдруг она выбросила ее сюда?

Максимка кинул куклу на старое место и направился к лестнице.

Внизу в парадном стояла дворничиха Фатима, скрестив на пухлой груди руки, встречала издалека взглядом. Сегодня все вели себя как-то странно,— у Фатимы раскисшие глаза, лицо огорченное, ожидающее. Словно он, Максимка, сделал во дворе что-то такое серьезное, что она уже не сердится на него, а жалеет: вот, мол, идет совсем пропащий человек.

— Здравствуй, тетя Фатима.

Он хотел проскочить мимо — на всякий случай, вдруг да и в самом деле что открылось! — но Фатима схватила его за рукав, приблизила расстроенное лицо:

— Ее не видел?

— Кого?

— Ох, Дуся бедный, Ленка бедный!

— Почему — бедные?

— Ай, ты что? — Фатима отстранилась в ужасе.— Ай, он не знает!

— Чего?

— Он не знает! — И пригнулась к Максимкиному уху, жарко задышала: — Забрал его. Машина приехал большой. Как хлеб возит... Забрал!

— Не понимаю — кого забрал?

— Иван Иваныч.

— Дядю Ваню? Куда?!

— Кричи громче, кричи... Тюрьма знаешь?

— Дядю Ваню? В тюрьму? Зачем?

— Ай, какой глупый, ка-кой глупый! Зачем тюрьма?.. Врага народа зачем?.. Дуся бедный, Ленка бедный...

Он стоял, и плылю в сторону широкое лицо Фатимы.

Старая тряпичная кукла под наглухо закрытой дверью... «У сердца шакала держали...»

Враг народа!

Он почувствовал, что Фатима выталкивает его на улицу:

— Иди, иди!.. Ай, байбак, опоздай в школа.

Сегодня — странная улица. Она залита ясным, уже по-летнему припекающим солнцем.

Та же трамвайная остановка, булочная, мастерская «Ремонт часов», магазин «Галантерея» — шнурки, пуговицы, сорочки,— знакомая, грудастая, похожая на тетю Фатиму мороженщица на углу со своей тележкой. Военный и девушка едят мороженое и... смеются. Им в ответ смеется мороженщица.

Сегодня смеются! Странная улица.

А за стеклом «Ремонт часов», в прохладной полутьме, окруженный разными циферблатами — часовщик, нос, как клюв попугая, врос в верхнюю губу, копается себе. И вчера он так же копался.

Широким шагом идут парни в одинаковых белых свитерах, в одинаковых белых тапочках, с одинаковыми маленькими чемоданчиками, одинаковым напористым шагом — спортсмены из какой-то команды, спешат на тренировку, перебрасываются громкими словами. И тоже смеются...

Странная улица,— на ней много счастливых и совсем нет несчастных. Не видно, не плачут.

Нет, кажется, все-таки есть — старуха, должно из деревни, вид растерянный и расстроенный, бросается то к одному прохожему, то к другому, все останавливаются, терпеливо слушают ее, неуверенно качают головами, идут дальше, забыв о несчастной старухе.

Со своей бедой старуха обратилась и к Максимке:

— Сынок! Родимый! Скажи ради Христа, где Третий Верхне-Михайловский проезд? Там дочка живет. К ней приехала, три года не виделись...

Максимка, как и другие, покачал головой.

Странная улица... Никому не известно, что произошло здесь, рядом, в большом доме!

Школа была непривычно пуста и настораживающе таинственна. Слышно, как где-то на другом этаже стучит щеткой уборщица. Одинокий, заблудившийся в ненаселенной школе звук.

Но властно и вызывающе грохнула входная дверь, раздались высокие девчоночьи голоса, еще громыхание двери, еще... И школа проснулась, загудела — топот ног по длинным коридорам, хлопанье классных дверей, смех... В школе стало, как и на улице,— много счастливых и совсем нет несчастных.

Максимка болтался в этой счастливой коридорной шумихе, с кем-то здоровался, от кого-то отмахивался и все оглядывался, искал...

Почти у каждого мальчишки, помимо товарищей, с кем возишься на переменках, меняешься марками, ходишь в кино, есть в школе герой-избранник, кого не часто видишь, еще реже с ним говоришь, больше наблюдаешь со стороны, хочешь походить на него. Иногда это учитель, чаще старшеклассник. Для Максимки таким был Лешка Корякин из десятого «А».

Во-первых, Лешка сын героя. Его отец, паровозный машинист, не захотел отдать деникинцам груженный снарядами поезд, врезался в забитую станцию,— взлетели в воздух вагоны, вместе с ними и Лешкин отец. Лешка совсем отца не знал, так как родился тогда, когда отец его уже вел свой последний поезд к станции, занятой деникинцами.

Во-вторых, Лешка никого не обижал из малышей, был самым справедливым из всех ребят. Лешкиной справедливости боялись даже учителя.

И в-третьих, Лешка — оратор, выступал на каждом собрании, его всегда почтительно слушали.

Кто-то должен объяснить все. Сейчас! Немедленно! Иначе — умереть! Кто-то умней, старше, честней... Максимка искал в коридорной шумной суете Лешку.

Лешка был долговяз, худ, весь составлен из угловатых костей, узкое лицо, сплющенные бледные тонкие губы, большие, выпуклые, прозрачно-желтые глаза. От него, словно от наточенной бритвы, исходила опасная острота.

— Леш-ка-а...— Максимка задохнулся от волнения.

И Лешка понял, что его остановили неспроста, его взгляд стал вязким, как свежий мед.

— Что?

— Ленку Крашенинникову из пятого «Б» знаешь?

— Ну?

— Я с ней рядом живу...

— Ну, так что?

— Ее отца... ночью сегодня.

Лешка удивился, но не слишком, только вязкая желтизна глаз потемнела:

— Так!

— Он же герой гражданской!..

— Тухачевского тоже героем считали.

— Леш-ка-а! Мне страшно!

— Одним врагом стало меньше. Ты радоваться должен.

Но Максимка не мог заставить себя радоваться, произнес тоскливо:

— Кому верить теперь?

— Народу! — твердо ответил Лешка.— Тебе мало?

Максимка не посмел спросить у Лешки: кто такой народ? Уж это-то, наверное, сам знать должен, не маленький. Народ — это все, это те, кто ходят по улице. Еще вчера, как все, ходил по улице и дядя Ваня Крашенинников, тоже, поди, считался «народом».

Легче от разговора с Лешкой не стало.

Первым уроком была ботаника. Учитель рассказывал о строении цветка — цветоножка, чашечка, лепестки, тычинки, пестики... Максимка почувствовал вдруг, что слушает с удовольствием.

Представлялся луг, синее небо с тугими горбатыми облачками, высокая, таящая у корней влагу трава, облитые солнцем яркие цветы, гудят пчелы над ними. Солнце и цветы, в каждом цветке тычинки и пестики. Пчелы пьют нектар, пачкаются в пыльце, несут ее на другие цветы, лепестки облетают, созревают семена, падают на влажную землю, из земли тайком выползает слабенький росток, тянется вверх, крепнет, выбрасывает новый цветок с лепестками, тычинками, пестиками... И все начинается сначала. Ясная, чистая жизнь.

Он даже забыл на время о дяде Ване.

IX

Итак, «все дело в том, чтоб они (граждане.— *В. Т.*) работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну».

Зададим невинный вопрос: а как быть с теми, кто любит свою работу? Не для всех же труд — проклятие, неприятная обязанность, разве мало таких, для кого работа — захватывающая творческая деятельность. Увлеченный творчеством человек скорей всего не станет ревниво оглядываться на других, чтоб соблюсти меру. А как же принцип равенства?

Можно согласиться: перерабатывайте, коль уж вам так хочется, однако получать за свой самоотверженный труд вы станете со всеми. Но можно ли считать передовым и прогрессивным то общество, которое ничем не стимулирует деятельность талантов, низводимых до уровня посредственности? Скорей всего такое общество станет медленно развиваться, скудно жить, его участь — неизбежная отсталость.

Работать поровну, получать поровну — Ленин выдвигает в интересах рабочих, желая посадить «техников, надсмотрщиков» и прочих управляющих чиновников на «заработную плату рабочего». Но каждому ли рабочему столь уж выгодно это равенство труда и платы? Не будет ли лучший, опытнейший, хорошо обученный квалифицированный рабочий считать себя обиженным, «получая поровну» с только что явившимся на завод желторотым учеником? Значит, чтоб соблюсти меру, есть один выход — опытный и толковый работник должен опуститься до уровня неумелого. Но тогда производительность труда в обществе неизбежно станет падать, а народ нищать.

Если квалифицированный рабочий будет трудиться в силу своих возможностей, а ученик в силу своих, а получать оба станут поровну, то произойдет весьма неприятное явление: неумека и лодырь станет забирать для себя то, что сделано квалифицированными руками, то есть присваивать себе часть чужого труда.

Нет, квалифицированного — наиболее полезного для общества — рабочего такое равенство труда и платы вряд ли устроит. Но в таком случае имеет ли право такой рабочий требовать равенства платы по отношению, скажем, к своему техническому руководителю, возможно

уникальному специалисту в своем деле? Я, мол, с учеником равняться не хочу, а уж с инженером меня поравнять извольте. Тут уже рабочий выступает в порочной роли присваивателя труда.

Вся революционная деятельность Ленина была направлена только к одному — уничтожить присвоение чужого труда, уничтожить эксплуатацию! Бездельник не может жить за счет труженика! Ради этого, собственно, и было провозглашено: «Работать поровну, получать поровну!» И вот парадокс — именно это породило зловещую обстановку, когда бездарь и бездельник становятся эксплуататорами деятельных талантов, узаконило общественный паразитизм. Согласитесь — такой вид эксплуатации более гнусный и опасный, чем старый.

«Все дело в том, чтобы работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну». Право же, эти слова родственны по духу ветхозаветным: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься». Как в первой фразе, так и во второй отражен взгляд подневольного раба, для которого работа была игом, тяжкой и унизительной обязанностью, наказанием божьим, а вовсе не взгляд гражданина свободного общества, для кого труд — творческая потребность.

И конечно же, провести в жизнь столь ультраархаические взгляды в двадцатом столетии просто невозможно. Они сразу бы привели к полнейшему развалу. Ленин формально не отказался от них, не заявил во всеуслышание: извините, но моя теория оказалась тут весьма неразумной. Он просто забыл ее и одним из первых выступил против уравниловки.

Сначала стали высоко платить спецам — тем самым «техникам и надсмотрщикам», организаторам производства, против которых столь усиленно выступал Ленин.

«Подобного рода,— вспоминает он в 1921 году,— исключительно высокое, по буржуазному высокое, вознаграждение специалистов не входило первоначально в план Советской власти и не соответствовало даже целому ряду декретов 1917 года. Но в начале 1918 года были прямые указания нашей партии на то, что в этом отношении мы должны сделать шаг назад и принять известный «компромисс» (я употребляю это слово, которое тогда употреблялось). Решением ВЦИК от 29 апре-

ля 1918 г. было признано необходимым эту перемену в общей системе оплаты произвести».

Новая система оплаты начала постепенно охватывать все слои. Пока был жив Ленин, сохранялся «партмаксимум», как некий глухой отзвук неосуществленной мечты о равенстве труда и платы. Скоро он сменился солидными, год от года растущими окладами. А позднее вошли в моду еще и сверх того подачки «в пакетах», тайно подсовываемые видным партийным и государственным чиновникам.

Не последователи Ленина, а сам Ленин нарушил свой утопический принцип равенства, тем самым уже окончательно превратил государство в нанимателя по старому, капиталистическому образцу. Государство нанимало, определяло зарплату, следило, как она оправдывается, проявляло недоверие к труженику, вызывало у труженика ответное недоверие к себе, которое перерастало в антагонизм, в ненависть, вынуждало государство содержать верных, хорошо оплачиваемых чиновников, создавать мощные организации полицейско-жандармского типа, регулярную армию.

Произошла победоносная революция, и народ получил вместо многих раздробленных хозяев-частников одного монолитного хозяина. Повоевали, победовали, полили кровушки и вернулись к старому. Казалось бы, какая разница — что ни поп, то батька. Ан нет, разница! Внутри нового общества назревают грозные перемены.

9

В коридоре под дверями дяди Вани Максимка снова увидел куклу. Она валялась там, где он ее бросил. За день прошло по коридору много народу, и никто даже не сдвинул ее с места.

В школе Ленки не было. Что с ней? Может, умерла с горя? Он поднял куклу и позвонил.

За дверью тихо. Но он вдруг всей кожей почувствовал — кто-то там стоит. Стоит и не шевелится, не подает голоса. Тут! Прямо за дверью!

Стало жутковато, приложил губы к замочной скважине, произнес:

— Ленка. Ленка. Это я — Максимка.

И там явственно зашевелились, но снова притихли.

— Ленка. Это же я. Открой.

Секунды мертвой тишины, и внезапно, заставив вздрогнуть Максимку, щелкнул — как выстрелил — замок. Дверь, глухая, безжизненная, тихо подалась... Пугающе темные, совсем незнакомые глаза. А дверь медленно приоткрывалась все шире. Максимка проскользнул внутрь, навстречу пугающему погребным мраком взгляду.

Она нервно одергивала мятое платье. У нее на зеленом съежившемся личике распухший вишневый нос, волосы не заплетены в косички-крендельки, падают на грязные щеки, на вздернутые плечи, а глаза, сухие, провально горячие, не прежние, совсем не Ленкины.

— Ленка,— сказал Максимка сердито,— думал, ты уже не жива.

А она смотрела странными глазами и все одергивала, одергивала платье.

Максимка, зажав в руках куклу, чтоб только не встречаться с Ленкиными глазами, стал оглядываться. Знакомая комната... Из нее словно собирались выезжать. Пустая этажерка выдвинута на середину, книги свалены в угол, накрыты старым ковриком. Этот коврик висел раньше на стене, а на нем — сабля. Максимка вертел головой, отыскивал саблю, но со всех сторон его встречали потревоженные вещи. У них был человечески расстроенный вид, какой и подобает при переездах, при расставаниях. Часы-будильник лежали на полу, а на маленьком столике, где прежде они находились, покоилась подушка, на ней щетка для ботинок. А кукла оказалась даже за дверью. Старая забытая кукла, он все еще держал ее в руке, хотел отдать ее Ленке, но постеснялся — очень-то нужна сейчас — и потихоньку уронил на пол.

Ленка разлепила губы:

— Тут все было разбросано. Я немного прибрала.

Хорошо же прибрала — ваксяная щетка на подушке. А Ленкина мама?! Совсем вылетело из головы, что и она должна быть здесь.

— Где тетя Дуся?

Ленка снова зашевелила непослушными губами:

— Утром ушла... Хлопотать... за папу.

— Хлопотать?!

Для Максимки это было целое открытие. Оказывается, не все кончено, оказывается, еще можно хлопотать,

можно доказывать, что дядя Ваня не виновен. А он-то думал: раз арестован — сомневаться просто нельзя. Дядя Ваня — лучший друг отца! Ведь если дядя Ваня виноват, тогда и отца подозревай. А это уж совсем, совсем — даже представить невозможно.

Максимка снова завертел головой, отыскивая именную саблю, но так и не отыскал. Ясно — случилась ошибка, нужно только похлопотать. Ему стало почти весело, даже сиротливые, не на своих местах вещи уже не расстраивали как прежде.

Ленка всхлипнула без слез:

— До сих пор ее нет.

Он деловито задал вопрос, какой бы задала тетя Дуся:

— Ленка, ты ела?

— Не хочу.

— Нет, Ленка, тебе силы нужны. Еще умрешь.

Искать в перевернутой квартире еду он не хотел — пришлось бы тревожить и так кем-то потревоженные вещи. Он сказал:

— Ты дверь не запирай. Я сейчас...

— Не уходи, я боюсь.

— На минутку только. Не закрывай. Тебе силы нужны.

Бросился в коридор, суетясь, открыл свою квартиру. Ни мать, ни отец еще не вернулись с работы. В кухонном шкафу похватал, что подвернулось под руку,— хлеб, сахар, колбасу...

В кухне у Ленки он отыскал чайник, включил плитку, приказал:

— Садись!

Она врала, что не хотела есть, она была очень голодна. Ела хлеб, грызла сахар, он глядел на ее перепутанные волосы, на распухший нос, и у него все переворачивалось внутри от жалости. И, наверное, Ленка почувствовала его жалость, ей стало жаль саму себя, она заплакала. Грызла сахар, а слезы текли по щекам.

— Ты чего?

— Папа...

— Ты не плачь,— он вдруг стал суров. За хлеб, за сахар, за доброту он — почувствовал — имеет право быть суровым и строгим, как старший.— Ну, чего зря нюни распускать. Хлопотать же ушли. Он сразу и вернется, если не виновен.

— Не виновен,— жалким эхом повторила она.

— Ну, это еще проверить надо. Вот проверят — и вернется как ни в чем не бывало.

— А вдруг... не вернется.

— Тогда — виновен! Тогда — не жалей! Ты подумай только: тебя обманывал, родную дочь! Тебя! Меня! Твою маму! Всех!

Он говорил и сам удивлялся высокой справедливости своих слов. Ему вдруг стало все ясно и просто: не враг — вернется, а раз враг — жалеть нечего. Иначе и быть не может. Просто и ясно, и на душе спокойно.

И Ленка не возражала, она слушала, плакала и давилась хлебом, принесенным Максимкой.

Их застала тетя Дуся. Она как-то неслышно открыла дверь, неслышно выросла на пороге кухни.

Максимка никогда не видел тетю Дусю без яркого румянца во всю щеку, не видел ее и без фартука, если только на Первое мая и на Седьмое ноября перед демонстрацией. И всегда тетя Дуся вкусно пахла свежевыстиранным полотенцем и туалетным мылом.

Сейчас тетя Дуся была одета как на демонстрацию — пальто с ворсом, шляпка с большой брошкой, из которой торчит острое перышко, а лицо чужое,— оно отекло вниз, глаза распахнутые, сухие, точь-в-точь какие были недавно у Ленки.

Тетя Дуся оглядела стол, куски хлеба, рассыпанный сахар, колбасу, кружку перед Ленкой, положила на голову Максимки ладонь, сказала:

— Золотое у тебя сердечко... А сейчас — иди домой. Иди, милый...

И он ушел, так и не успев до конца убедить Ленку.

Мать встретила его словами:

— Ты был у н и х?!

Ровные брови вскинуты высоко на лоб, глаза холодные, знобящие, а голос непривычный, как из пустой бочки.

— Ленка... Я ей есть приносил.

— Чтоб больше ты не переступал их порог!

— Почему?

— Ты слышал, что я тебе сказала?! Не сметь! Ни одной ногой! Кто они тебе — родня, приятели? Не сметь!

Отец плечами загромождал окно, стоял спиной. Он не пошевелился, не остановил мать: «Глаша!» А Максимка рассчитывал — отец придет пораньше, можно будет без матери поговорить с ним обо всем. Отец молчит, отец даже не обернулся.

Ему легче всех доказать: «Если дядя Ваня виновен, то считайте тогда виновным и меня!» А это невозможно даже представить. Почему отец молчит? Почему он сейчас не остановил мать? Почему тетя Дуся не пришла к нему?..

Стало вдруг холодно и неуютно, и где-то, где-то копошилась невнятная мыслишка, совсем маленькая, беспомощная, но... страшная. Нельзя на нее обращать внимание, иначе совсем всему перестанешь верить.

Мать ходила нервно по комнате, сердито переставляла стулья, поправляла скатерть на столе.

Неожиданно отец заговорил:

— Ты помнишь?..

Мать вздрогнула и остановилась посреди комнаты, глядя в спину отцу.

— Ты помнишь тот процесс?.. Царского карателя, полковника... как его, Бесхлебова, что ли? Которого в Костроме выудили, он в портного перекрасился. Эдакий седенький старичок с тихим голосом — воды не замутит.

— Ты к чему? — спросила мать.

— Живьем сукин сын сжигал баб и детей в амбарах!

— Не пойму, что за нужда вспоминать царского холуя!

— Но ты помнишь, как он ответил на вопрос: что заставило вас так зверствовать?

— Не помню и помнить не хочу!

— Он ответил двумя словами: «Власть и служба!»

— За-мол-чи!! — неожиданно закричала мать.

Отец покосился на Максимку и замолчал, снова отвернулся к окну. Не нравился сегодня отец.

А какое у него лицо. Он только на минутку отвернулся от окна, но Максимка успел разглядеть: желтая кожа туго обтягивает лоб, глаза провалились в ямы, челюсть тяжело и упрямо выдается вперед — чужой, недобрый, не похожий на себя. И что-то скрывает.

Мать не скрывает, мать проще.

Вечером, перед тем как заснуть, уже лежа под одеялом, Максимка снова представил себе луг, осыпанный

цветами. Летали пчелы. Цветоножка, чашечка, лепестки, тычинки, пестики... И ласточки купаются в синем воздухе...

А интересно: куда девалась сабля дяди Вани, ее тоже арестовали?

X

Ленин набросал краткую историю рождения советского бюрократизма:

«5 мая 1918 года бюрократизм в поле нашего зрения еще не стоит. Через полгода после Октябрьской революции, после того, как мы разбили старый бюрократический аппарат сверху донизу, мы еще не ощущаем этого зла.

Проходит еще год. На VIII съезде РКП, 18—23 марта 1919 года, принимается новая программа партии, и в этой программе мы говорим прямо, не боясь признать зла, а желая раскрыть его, разоблачить, выставить на позор, вызвать мысль и волю, энергию, действие для борьбы со злом, мы говорим **«о частичном возрождении бюрократизма внутри советского строя»**.

Прошло еще два года. Весной 1921 года, после VIII съезда Советов, обсуждавшего (декабрь 1920 г.) вопрос о бюрократизме, после X съезда РКП (март 1921 г.), подводившего итоги спорам, теснейше связанным с анализом бюрократизма, мы видим это зло еще ясней, еще отчетливее, еще грознее перед собой».

Тон у Ленина здесь почему-то достаточно бодрый зато содержание этого краткого обзора удручающее: «разоблачение, выставление на позор, вызывание мысли и воли, энергии, действия для борьбы со злом» не только не помогли, не уменьшили зло — нет, наоборот, зло стало «еще ясней, еще отчетливей, еще грознее». Если речь шла «о частичном возрождении», то через два года — только через два! — наверное, нужно говорить как о повсеместной всепроникающей заразе. И Ленин не раз признается: «Наше государство с бюрократическими извращениями», то есть бюрократизм, становится определенным отличительным признаком нового государства.

А Ленин-то недавно мечтал о таком начале, которое «само собой ведет к постепенному «отмиранию» всякого чиновничества». По его мнению, чиновничество, даже не бюрократическое,— «паразит на теле общества». И,

словно в насмешку, сразу же после революции — грозный рост бюрократизма! Процесс прямо противоположный замыслам Ленина.

Что же заставило так бурно прорасти этот сорняк? Ленин тут видит две причины.

Первая: «Царистские бюрократы,— говорит он,— стали переходить в советские учреждения и проводить бюрократизм, перекрашиваясь в коммунистов и для большей успешности карьеры доставать членские билеты РПК. Таким образом, после того как их прогнали в дверь, они влезают в окно!»

Вторая: «...Экономический корень бюрократизма: раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие **оборота** между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодействия между ними».

Теперь, полвека спустя, «царистские бюрократы» давно повымерли, а бюрократизм жив, мало того, в наши дни он куда обширней, чем при царе-батюшке.

И давно у нас уже нет мелкого производителя, а значит, его раздробленности и распыленности, ликвидирована неграмотность, нет в стране былой некультурности, бездорожье не столь ужасающее, и оборот между земледелием и промышленностью плохо ли, хорошо ли налажен. А бюрократизм неисправимо цветет и множится.

Так чем же тогда жив бюрократизм? Что питает его?

10

Турник, брусья, козлы убраны, кольца подтянуты к потолку, внесены стулья и деревянные скамьи. Общешкольные собрания всегда проходили в спортзале.

Ленка сидела рядом с Максимкой. Волосы у нее снова расчесаны волосок к волоску, и платье выглаженное с чистым кружевным воротничком, наверное, старалась вовсю, чтобы выглядеть как всегда — девчонка-аккуратистка. За эти дни она стала еще тоньше и, казалось, длинней, лицо острое и прозрачное, шея — как восковая свеча. В набитом зале она сумела отыскать Максимку, села рядом. Мать не разрешает встречаться с нею и разговаривать, сидеть рядом, пусть даже молча, наверно, тоже не разрешает, но не гнать же ее Максимке,— пусть сидит.

Выступал Лешка Корякин, шея рвалась вперед из распахнутого воротничка выгоревшей футболки, щетинились волосы, рассекал воздух сухой кулак.

Лешка говорил о фашистах, которые сжигают на городских площадях книги, требуют пушки вместо масла, точат зубы на нашу страну. Лешка говорил, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!».

Максимка знал — Лешка скоро начнет говорить про Ленкиного отца, косился на Ленку: «Не выдержит, заплачет, дура, подумают — жаль контру».

Тетя Дуся каждое утро уходила куда-то «хлопотать», но, похоже, у нее ничего не получалось — дядю Ваню не отпускали. И Максимка мало-помалу стал привыкать к мысли: дядя Ваня виноват, недаром же отец за него не заступается — молчит.

У Ленки — острый нос, желтые запавшие щеки, остановившиеся глаза, слушает, ждет.

И вот Лешка дошел:

— Недавно обезврежены враги народа Крашенинников и Сотников. Их дети учатся в нашей школе. Было бы несправедливо считать Елену Крашенинникову и Григория Сотникова нашими врагами...

Лешка справедливый человек, справедливее матери Максимки — та теперь и Ленку, и тетю Дусю считает врагами, не здоровается.

— Но мы должны спросить их открыто и честно, в глаза: за кого вы? Что вам дороже: революция или отцы? С нами вы или нет?.. Я требую, чтоб они встали сейчас и сказали. Честно! Открыто!..

Ленка слушала, и по-прежнему неподвижно торчал ее восковой нос — не плакала, глядела стеклянным глазом вперед, мимо трибуны, мимо Лешки, в стену с портретом Сталина. Сталин держал на руках Мамлакат: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство!» И только щеки Ленки стали из желтых зеленовато-серыми, да Максимку пугал ее стеклянный глаз. «А все-таки не плачет!»

Не он один оглядывался на Ленку. Ближние оглядывались стеснительно, словно невзначай, и сразу же отводили глаза, а с дальних рядов откровенно подымались, вытягивали шеи, чтоб разглядеть.

В другом углу зала тоже шевелились головы, тоже поднимались с мест,— там сидел Гришка Сотников.

Лешка соскочил с трибуны и сел за столом президиума — с краю, на угловой стул.

А в центре сидела директриса. Она поднялась, полная, с крупным мужским лицом, с коротко подстриженными волосами, все — и ребята и учителя — ее очень боялись, хотя она и разговаривала обычно тихо, без крика.

— Думается, мы не станем устраивать здесь допрос,— сказала она, как всегда, негромко и, как всегда, ее было слышно всем.— Давайте закругляться...

Но Лешка громко выкрикнул со своего углового стула:

— Если они не трусы, пусть выступят!

— Пусть выступят, если захотят. А не захотят — не потянем. Плохи мы были бы, если б без выступлений не знали, чем живут и что думают наши товарищи...

И Лешка опять выкрикнул на весь зал:

— Если спрячутся за спины, они нам не товарищи! Сотников! Если ты не трус, встань и скажи!

И Сотников послушно поднялся в своем углу, долговязый, сутуловатый, длиннорукий,— его знали все, он играл вратарем за сборную школы, играл классно.

Сотников поднялся, и в зале стало тихо. А директриса постояла и села, низко склонилась над красным столом.

Зал молчал, Сотников стоял и перебирал большими руками пуговицы на пиджаке.

Зал молчал, не дыша; все головы были повернуты в сторону Сотникова.

— Я...— наконец выдавил он из себя. И еще тише стало в зале — вдруг да не послушается...— Я...— Словно освобождался от удушья. И громче: — Отрекаюсь...— И снова глухо, так, что в мертвой тишине еле-еле можно услышать: — Отрекаюсь... Он достоин.... наказания...

И сел.

По залу прошел шорох, все головы повернулись теперь в сторону Максимки и Ленки.

Ленка сидела, согнувшись, торчал нос, стеклянно блестел глаз.

Тихо в зале, блестит Ленкин глаз.

А со всех сторон повернутые лица, со всех сторон разглядывают в упор. Тихо в зале. Ждут.

И вдруг Максимка понял, что Ленка не собирается вставать с места, не хочет говорить: «Отрекаюсь!» Пробежал по спине мороз, поджались пальцы ног. Вот так-так... Вот она какая — отец дороже...

Но все-таки было жаль Ленку — нос острый, шея, как свеча, и блестит глаз. Ленку хотелось спасти.

— Ты чего? — прошептал Максимка.

Она слышала, не могла не слышать, но не пошевелилась.

— Ты чего? Вставай.

У нее отливали зеленью щеки, и блестел остекленевший глаз. А все продолжали жадно глядеть, зал ждал, не дыша.

И тогда Максимка отодвинулся подальше от Ленки.

Директриса снова поднялась, в тишине шелестяще потек ее усталый голос:

— Мы часто повторяем слова: «Надо держать порох сухим». Верные слова — порох сухим для врагов! Но это не значит, что его следует тратить на каждого встречного...

Ленкин глаз потух, она опустила лицо, из тощей шеи выступила тупая косточка, коленки стискивали сплюснутые ладони. От нее и от Максимки начали отворачиваться: говорила директриса, а ее привыкли слушать и слушаться. Максимка теснился подальше от Ленки.

На этот раз ребята выходили из зала, не шумя, не толкаясь, не дурачась,— степенно. Взрослая серьезность на ребячьих лицах: сделали дело, не какое-нибудь обычное, школьное, а государственное — обсудили и осудили преступников. Взрослая, торжественная, почти покорная серьезность.

Зал пустел. Максимка, одним из первых сорвавшийся со своего места, топтался у входа, не в силах был совсем сбежать от Ленки.

Она сидела в опустевшем зале. Видна была ее согнутая узкая спина, тонкая, донельзя натянутая шея над кружевным воротничком, затылок с аккуратным пробором, косички крендельками возле ушей. Одна в пустом зале...

Не мог не смотреть на нее. Да и все выходящие оглядывались.

Он долго топтался в коридоре у дверей спортзала, ждал ее и понимал: это же почти предательство, ей враготец дороже революции! Понимал, сердился на себя, но все-таки медлил уходить.

Наконец пришла злость, а вместе с ней облегчение: да что это он? Пусть живет одна. Вместе со всеми не хочет — пусть одна...

Вышел из школы.

У автобусной остановки, прислонившись лбом к фонарному столбу, стоял Гришка Сотников. Он плакал и морщился, стирал кулаком слезы со щек. Прохожие оглядывались на него, но не останавливались. Они не знали, что у Гришки арестован отец. И вообще все это выглядело как-то некрасиво,— на улице много счастливых, и только один долговязый балбес льет слезы. Много счастливых — один несчастный.

Сказал, что отрекается, а слезы-то льет. Никому нельзя верить. Никому!

Даже Ленке.

А дома, в подъезде, все от той же Фатимы он узнал, что исчезла тетя Дуся.

Утром, после того как взрослые ушли на работу, а ребята в школу, тетя Дуся, надев свою праздничную шляпку с колючим перышком из брошки, вышла из подъезда. Напротив давно стояла машина, самая обыкновенная, легковая — черная «эмка». Из машины вышел человек в песочном костюме и бежевых полуботинках, открыл дверцу и очень вежливо пригласил сесть.

Фатима рассказывала:

— Она наверх поглядел. Наверх — на окно. И сел в машина, мне рукой махнул... Ай-яй, совсем бедный Ленка.

Окна Крашенинниковых выходили во двор, тетя Дуся могла видеть только окно Максимкиной квартиры. Может, в последнюю минуту она хотела увидеть его, Максимку? «Золотое у тебя сердечко». Она знала, что он дружит с Ленкой.

Может быть, еще тетя Дуся и вернется. Может быть...

А если нет?

Значит, и она... Никому нельзя верить. Целое гнездо. И Ленка жила в нем.

Тетя Дуся не вернулась ни к ночи, ни к утру, ни на следующий вечер. Ленка не показывалась из дому, а Максимке все время хотелось ее видеть...

На третий день рано утром, пока Максимка спал, мать куда-то увела Ленку. Максимка догадывался: мать боялась, как бы отец не стал настаивать, чтоб взять Ленку к себе вместо дочери. А это было бы неплохо. Максимка ее перевоспитал бы.

Так он и не видел Ленку после собрания — опущенное лицо, натянутая шея, проступает тупая косточка сквозь кожу, чистенький кружевной воротничок. И уж никогда он не встречал ее в жизни.

Позабыт, позаброшен
С молодых-юных лет...
Я остался сиротою —
Счастья-доли мне нет...

Так всегда пела Ленка, убаюкивая своих тряпичных кукол. Это была песня ее матери, бывшей когда-то беспризорницей.

XI

Так отчего же появился бюрократизм?

Но прежде, чтоб не было недоразумений, уточним: а что, собственно, это такое? Первый же подвернувшийся под руку словарь нам сообщает: «Бюрократизм — метод управления или ведения дела, отличающийся преобладанием канцелярщины, волокиты, заботы о формальной стороне вопроса, отсутствием интереса к существу дела, оторванностью от народа, пренебрежением к его нуждам и потребностям».

Канцелярщина, волокита, отсутствие интереса к существу и прочее — частные проявления *формального* отношения к делу. Поэтому будет проще сказать: Бюрократизм — *метод формального ведения дела*.

Любое дело — забивание гвоздя, работа за станком, управление страной — представляет из себя систему, неизбежно состоящую из трех компонентов: управляемого объекта, непосредственно управляющего, средств связи между ними. Если одна из трех составных — даже только одна — будет как-то не соответствовать системе, то и действия всей системы станут грешить неточностью, не достигать нужной цели, сама деятельность будет носить внешний характер — формальный.

Теперь попробуем приложить эту схему к послереволюционной России.

Объект, подлежащий управлению,— народ. Насколько он был подходящим «материалом» для организации, для управления? Ленин постоянно говорит о невежестве народных масс, о поголовной неграмотности, о «слиш-

ком тонком культурном слое», способном понять поставленные задачи, проникнуться общественной необходимостью. А «величайшая ненависть и недоверие масс ко всему государственному!..» А голод и разруха, усугублявшие эти ненависть и недоверие!.. А некое пренебрежительное отношение к авторитетам, внушенное революционными лозунгами, отвергавшими старую власть, старых хозяев... Кроме того, революция ущемляла и чисто экономические интересы того же крестьянства, подавляющей части населения, силой отбирая у них хлеб и не давая взамен ничего. Явно народ послереволюционной России был труден, если не сказать,— неподатлив для управления.

А сами управляющие — правительство нового государства во главе с Лениным?.. Провозгласить идею власти как организации вооруженных масс и отказаться от этого? Объявить о необходимости равенства труда и платы — и снова отказаться. Обещать народу фабрики, заводы и прочие атрибуты капиталистической собственности, и в то же время, не мудрствуя лукаво, поставить капиталистический принцип «по найму» в основу общественной организации... Все эти крайне несовместимые противоречия между словом и делом говорят о неясности поставленных задач, о теоретической непоследовательности самого Ленина и его соратников. Увы, правительство нового государства было далеко не безупречно.

Ну, а средства связи между неподатливым для управления народом и не подготовленным к управлению правительством в огромной, разбросанной, разделенной войной на враждебные зоны, технически отсталой стране, где господствовала разруха, быть удовлетворительными не могли!

Известно, что достаточно одному из трех компонентов не соответствовать системе, как вся система станет грешить формальными действиями. А тут плохи все три компонента! Плоха система вообще, где уж тут говорить о результативности. Если такая система и начнет творить дела, то исключительно формальными методами.

Бюрократизм — метод формального ведения дел. Напрасно Ленин кивал на царистских бюрократов, пролезших в окно. Напрасно сваливал в одну кучу разнозначные понятия, как то: «раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, безграмотность»,— все это говорит о полной беспомощности в данном вопросе.

У царской России три составных компонента государственной системы были отмечены теми же недостатками: народ невежествен, правительство находилось в маразме, средства связи хоть не тронуты разрухой и революционным разбродом, но отнюдь не блестящи. Однако в русском обществе того времени был многочисленный слой людей, который в силу своего положения не мирился с формальным ведением дел, сдерживал распространение бюрократии, гнал ее от себя. И, как ни кощунственно для нас звучит, в первую очередь это были... частные собственники, те самые презренные и проклятые капиталисты.

Капиталист кровно заинтересован в наиболее эффективной эксплуатации своей фабрики. Если на фабрике дело будет делаться формально, то ее хозяин не получит дохода, прогорит, пустит по миру себя и свою семью. Капиталист — враг бюрократии. Он, правда, готов холить и лелеять государственную бюрократию — штатскую и военную,— охраняющую ее права и покой, но до разумных пределов. Главная его заслуга в том, что он, капиталист, не допускает бюрократию в святая святых — производство материальных благ.

Революция ликвидировала частных собственников. «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства». И нет ни у кого ничего с в о е г о — все общее, все принадлежит не тебе, не мне, а некоему расплывчатому хозяину — государству. Рабочий, привозящий на строительство кирпичи, сгружает их, не заботясь о том, сколько их побьется. Кирпичи не его, не его и строительный объект, на котором он работает. Рабочему важно сгрузить, выполнить сам процесс, получить за это деньги, сделать дело формально, не заботясь о результатах. Наивное заблуждение, что бюрократ-формалист обитает только в чиновных кабинетах, за монументальными письменными столами. Среди простых тружеников, кто пашет землю, стоит у станка, бюрократов-формалистов нисколько не меньше, а скорей всего еще больше.

Рабочий разорительно формально сгружает кирпичи, а директор предприятия от этого уж очень большого страдания не испытывает. Предприятие терпит урон, но директор, как и рабочий, здесь на службе. От слишком низкого дохода с предприятия сам директор не обанкротится, с сумой по миру не пойдет, в худшем случае будет снят с понижением.

Формальный подход. Директора не грызет совесть, он не лишается покоя, ни он, ни кто другой — все общество служит. Все по-служебистски озабочены не столько реальными результатами, сколько добросовестным исполнением формальных обязанностей.

Страна непроизводительно трудится, непродуктивно тратит силы, терпит чудовищные убытки. Все в той или иной степени страдают от них и... безразлично сносят. Ибо нет таких людей в новом, социалистическом государстве, которые в силу поставленных обстоятельств вынуждены были бы сильней других чувствовать на собственной шкуре разорительность бюрократического хозяйничанья. «**Все** граждане превращаются здесь в служащих по найму...» Всем гражданам — до лампочки!

И честный человек в такой обстановке портится, а талант попадает в незавидное положение.

Но оскудение страны не единственное бедствие, порожденное бюрократизмом.

При бюрократизме уже не столько люди бездушны и жестоки друг к другу, сколько сама система агрессивно безжалостна к человеку. Сама система! Все служащие по найму, все общество превращаются в ступенчатую лестницу из приказывающих и подчиняющихся — высший над низшим... А так как приказы и их исполнение определяются не столько реальной пользой, сколько чисто формальными показателями,— делай, не рассуждая, не сообразуясь ни с чем другим, как только с буквой приказа,— то приказ старшего абсолютен, он не ограничивается ничем — даже наглядной очевидностью жизненных фактов,— он воистину обретает абсолютный диктаторский характер.

Все общество состоит из разномасштабных директоров. Разномасштабных — да! Но не считайте, что со снижением масштабности снижается и абсолютизм диктаторской власти. Даже самый низший из начальников — тот, кто обязан безропотно исполнять приказы вышестоящих, тоже неограниченный диктатор, не считающийся ни со здравым смыслом, ни с реальными обстоятельствами, ни с наглядной логикой, буквально ни с чем, кроме диктаторства возвышающихся над ним лиц. Дух диктаторства господствует всюду.

Теперь предположим, что кто-то не выполнил диктаторский приказ своего ближайшего начальника: из-за того ли, что этот приказ противоречил реальной обстановке, иль просто по нерасторопности — не столь важно. Важно то, что этим невыполнением он подводит своего начальника, вынуждает и его не выполнять приказ. А тот начальник невольно вызовет неподчинение уже своего еще более высокого начальства. И так далее... Неподчинение, в каком бы звене оно ни произошло, болезненно отзывается по всей цепи, в той или иной степени расшатывает всю систему, а потому для бюрократической системы жизненно важно бороться против всякого неподчинения, любыми способами его подавлять, вплоть до насилия.

Бюрократ перестанет существовать, если он не будет насильником. Насильником над самостоятельно мыслящей личностью, просто над тем, кто проявляет здравый смысл, насильником над народом, чьи жизненные интересы противоречат формальным требованиям, насильником над другим бюрократом, повинным в нерасторопности, и даже не повинным еще, а просто подозреваемым, что способен как-то провиниться.

И наша история сплошь состоит из примеров чудовищного бюрократического насилия.

До полного разгула бюрократического насилия Ленин не дожил. Судьба к нему была благосклонна.

11

Он стал замечать, что по вечерам отца и мать пугают шаги за дверью. По длинному коридору бывшей гостиницы, как осторожно ни иди, все равно слышно во всех комнатах.

Освещенный стол под абажуром, сумрак по углам, окно, задернутое занавеской, тишина. Отец сидит за столом, блестит на свету крупный лоб, глаза в тени. Перед ним — пепельница, в нее он тычет окурок за окурком. Мать, тоже закусив папиросу, ходит из комнаты в кухню, убирает со стола. Потом она садится в кресло, берет пяльцы. Она недавно начала вышивать крестиком салфетку — розочки и листочки. Это так непохоже на мать, но говорит — успокаивает. Мать усаживается в кресло, кладет пяльцы на колени и забывает

о них. Время от времени она исподтишка поглядывает на отца. Странно, в последнее время она его боится.

И Максимка боится отца — часами курит и молчит, о чем-то думает, думает, думает без конца.

Вот в такие-то глухие минуты обычно и раздаются шаги, сначала далеко, в конце коридора...

Отец оживает, подымает голову, и на его бровастом, с отполированным лбом, запавшими глазами и упрямо выдвинутой челюстью лице появляется то виноватое и растерянное выражение, какое Максимка видел давным-давно в детстве, когда тощий старик со своей семьей встал перед ним на колени. Подымает голову и мать, смотрит перед собой в стенку, и глаза ее дышат.

А шаги ближе, ближе... У отца чадит в руке забытая папироса.

Шаги под самой дверью...

У матери лицо вытягивается, становится известковым. У отца на лбу под лампой вздувается вена.

Шаги мимо двери. И отец опускает голову, вспоминает о чадящей папиросе. Мать начинает очень внимательно разглядывать розочки на пяльцах, потом спохватывается, кидает взгляд на часы, строго говорит:

— Максимилиан! Ложись спать.

С утра до вечера у Максимки все натянуто, он плохо учится, только для вида сидит дома над тетрадями, не живет, а слоняется, но страшно устает. А тут еще тишина в комнате, шаги, к которым и он начинает тоже с тревогой прислушиваться. Он охотно направляется к своей кровати, раздевается, залезает под одеяло и сразу засыпает.

Так и в тот вечер родились, прозвучали под дверью, заглохли в глубине коридора очередные шаги. Отец, словно разбуженный, поднял голову, провел по лицу рукой, объяснил:

— Прошлой ночью мне приснился сон.

Мать вздрогнула, посмотрела на часы:

— Максимилиан! Ложись спать.

— Сон...— продолжал отец.— По улице едет коляска-самокат. На вокзалах теперь такие. Замечала?.. Водитель стоит впереди, а сзади багаж... Но тут эта коляска едет не по вокзальному перрону, а по нашей улице. И везет она не багаж, а кучу-малу здоровенных веселых парней — цепляются друг за друга, ржут, кричат. И во-

дитель хохочет... Вдруг он оступается и начинает падать, его со смехом держат, что-то орут, а коляска несется. Водителя корчит от смеха, хохочет и падает... Не удержали — упал. Головой о камни. Хруст, как от лопнувшего арбуза. Кровь на мостовой...

— Завел на ночь глядя.

— Коляска останавливается, вся компания соскакивает, окружает мертвого водителя — показывают пальцами и смеются, трясутся, за животы хватаются. Публика подходит, тоже начинает смеяться. Всем смешно, никому не страшно. Страшно только мне одному...

— Слабонервный. С какого времени тебя сны пугать стали?

— С тех пор как жизнь наяву стала походить на кошмарный сон.

— Очнись! Сын рядом!

— Я еще до конца недосказал. Слушай...

— С меня хватит!

— Я сам засмеялся вместе со всеми. От страха, что другие заметят. Как все, за живот держался, покатывался... от страха.

— Максимилиан! Ложись спать!

Максимка послушно поднялся со своего места.

Когда он натягивал на голову одеяло, пришла странная мысль: а что если и в самом деле все снится? Уж слишком не похоже на настоящее. Уснет вот, проснется — и все, как было прежде. Войдет дядя Ваня в потертом кожаном пальто, в полувоенной зеленой фуражке, собравшийся идти на работу вместе с отцом: «Как жизнь, смена?» Мать стряхивает со своего черного костюма пылинки щеткой, ворчит, что смена растет ленивая, долго спит. И через коридор, в комнате напротив, собирается в школу Ленка. Она чуточку презирает Максимку, зовет его «Робеспьерчиком». Все, как прежде. Приснилось... И он никому бы не рассказывал свой сон, сам постарался поскорей его забыть.

Уснуть и проснуться в настоящей жизни.

И он уснул, с неприязнью вспоминая нехороший сон отца.

Ему снились скользкие крыши после дождя. Далеко внизу, в узком дворе лужи, по лужам гоняют мяч знакомые ребята. Максимке очень хочется вместе с ними играть в мяч, но не знает, как слезть, страшно, что сорвется, коченеет все тело. С крыши на крышу перекину-

та длинная доска, с крыши на крышу через весь узкий двор. Доска еле держится на краю, а верхом на ней сидит Ленка в платьице с кружевным воротничком. Она цепляется руками за доску и плачет. Мяч, ребята внизу среди луж, непослушное от страха тело, и все-таки Максимка ступает на доску, двигается к Ленке. Но доска гнется, конец ее срывается со скользкого края крыши. Мощеный двор, лужи, ребята, задравшие головы, мяч, летящий навстречу, и сзади, из открытого окна, крик матери:

— Перерожденец!!

Максимка проснулся. Мать сдавленно кричала:

— Перерожденец! Ты становишься грязной контрой!

Ей отвечал сдержанно гудящий голос отца:

— Очнись. И Дуся, его жена, агент? Ее тоже упрятали... на всякий случай.

— Ты очнись! Ты! Против кого?.. Против народа идешь!

— Разве страна и народ предлагают мне выбор: будь тюремщиком или арестантом?

— Ты не веришь Сталину, Николай!

Молчание на минуту, и тихий голос отца:

— Хотел бы, да не могу.

И мать взвизгнула:

— Нико-лай!!!

— Вот-вот, истерика вместо доказательства.

— Николай! Приди в себя!

— Одних ставят к стенке, других прячут за колючую проволоку, а те, кого не трогают,— живи холопами. Так кто же предает революцию?

— Что ты говоришь? Что?! Какие слова!

— Говорю простые и ясные вещи, а ты уж понять их не в состоянии.

— Мало сажают! Погибнем от сволочи! Захлебнемся от интеллигентской блевотины!.. О-о! И это мой муж! Мой муж! Четырнадцать лет вместе!.. Классовый выродок!

— Невменяема,— обронил отец грустно и спокойно.

И Максимка услышал задушенные подушкой рыдания матери.

Он лежал в темноте, окаменев, не в силах пошевелиться, не осмеливаясь дышать. Он еще ничего не по-

нял, но каждой немеющей клеткой своего тела ощущал ужас.

А вокруг глухая ночь, цепенел за окном город, и на потолке зябко вздрагивал заброшенный со дна улицы свет. Потайное время суток, не обжитое людьми.

И только мать за тонкой стенкой в нескольких шагах от Максимки продолжала бороться с рыданиями, душила сама себя подушкой.

«Хотел бы, да не могу...» Что он хотел? Чего он не может?.. Ах, верить. Кому?.. Нет! Нет! Не надо! Лучше лежать, лучше закрыть крепко глаза... Это сон. Новый нехороший сон.

Мать, наконец, сумела задушить себя, перестала рыдать, некоторое время стонуще повздыхала, поворочалась и замерла. Стало совсем, совсем тихо. Оглушительно тихо. В такой вот могильной тишине, должно быть, и оживают те, кто днем прячется от людей, те, против кого зовут плакаты со стен заборов: «Будь бдителен!..» От-тец!..

Не сразу, исподволь, в омертвевшее, отравленное горем тело пролилась греющая волна, затопила... Максимка почувствовал, что любит...

Да, его! Да, отца!

С каждой секундой все сильней, все невыносимей. Так любят тех, с кем прощаются. Отец! Отец!

Отец не слышит, отца не слышно. Свет далекого фонаря вздрагивал на потолке. Воровской, непрошеный свет.

Отец! Отец! Люблю! Не выдержу! Умру от любви!

Тихо. Мертво. Отец не слышит.

Прошло полчаса, час или два часа — в непонятном мире и время стало непонятным,— и хлынули тихие, теплые слезы. Они принесли облегчение, но какое-то тупое, безнадежное.

XII

> Захватило вас трудное время
> Неготовыми к трудной борьбе.
> Вы еще не в могиле, вы живы,
> Но для дела вы мертвы давно,
> Суждены вам благие порывы,
> Но свершить ничего не дано.

Говорят, вернувшийся из вилюйской ссылки Чернышевский разрыдался над этими строками.

Но нет, тут не рефлексирующий Чернышевский, тут было все иначе. Похоронные интонации здесь не уместны. Были силы, был чудовищный заряд неистовой энергии, была сжигающая вера в себя и в дело. И даже слепая Фортуна держалась угодливой служанкой. Сколько рискованных моментов, сколько ничтожных случайностей могли круто изменить ход событий. У дряблого Временного правительства мог случайно оказаться под рукой решительный солдафон, и наспех сколоченные, почти не обученные, плохо вооруженные солдатские и рабочие отряды наткнулись бы октябрьской ночью у Зимнего дворца не на деморализованных казаков, не на кучку желторотых юнкеров, не на смехотворно-опереточный женский батальон... История потекла бы по другому руслу, о Ленине бы вспоминали вскользь, как об одной из эпизодических фигур бурного времени.

Судьба благоволила к Ленину. За всю свою жизнь он не терпит ни одного серьезного поражения, не встречает противника, который бы заставил его хоть на минуту усомниться в своих силах и своей правоте. Ленин — сплошная деятельность, всесокрушающая, победная, воистину титаническая, вызывающая почтительное изумление даже у врагов.

И вот, словно в насмешку над этим торжествующим героем, коварно-благожелательная судьба посылает врага... в лице его самого! Но ни он сам и — как это ни странно — никто, никто во всем мире не замечает, что Ленин со свойственным ему фанатическим неистовством начинает сокрушать Ленина же, жестоко, безжалостно, бескомпромиссно!

Кто сильней Ленина, страстней его желал отдать власть в руки народа, в руки рабочих — по его мнению, лучшей, передовой части человечества. Никогда не хотел Ленин власти для себя, только народу, угнетенному, обиженному и униженному!

И кто, как не Ленин, сделал все возможное и невозможное, чтобы диктаторская, ничем не ограниченная власть попала к государственным чиновникам, к тем, кого Ленин называл «паразитом на теле общества», к тем, кто, по его мнению, были всегда орудием насилия и закабаления народа.

Он мечтал о равенстве, и он же похоронил его, украв у ненавистных капиталистов отвергающий какое-либо равенство способ найма.

Он звал к свободе, к бесклассовому обществу, где не должно быть места антагонизму, не будет повода для обоюдной вражды. Он ненавидел государство вообще — всякое государство! И он основал государство, где насилие стало способом жизнедеятельности, где расстреливали сразу сотнями тысяч, а сажали за колючую проволоку десятками миллионов.

О чем бы он ни мечтал, к чему бы он ни стремился, сам решительно отвергал и хоронил.

Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.

Нет, нет, дано! Как никто Вы свершили чрезвычайно много, чтоб смертельно поразить в трудной борьбе собственные благие намерения и помыслы.

Человеческая фантазия создала много странных в своей противоречивости образов. Не удивителен ли, например, Нарцисс, гибнущий от неразделенной любви к себе, или же Дон Кихот, чьи добрые дела карикатурно оборачивались злом. Но ни старые мифотворцы, ни современные романисты еще не нарисовали героя, который бы с доблестной и беспримерной энергией беспощадно поражал сам себя. А если вдуматься, это едва ли не самый распространенный герой человеческого бытия. «Так как не противоречащий себе предмет есть чистое отвлечение рассудка»,— сказал мудрый Гегель, и почитающий диалектику Ленин тут солидаризировался с ним.

Но...

Вы еще не в могиле, вы живы...

Еще не кончена Ваша многотрудная борьба с самим собой.

12

Утро. Солнце в окно.

Привычно гремит чайная посуда, чайник накрыт чистым полотенцем, ждет Максимку. Максимка сам перед собой притворяется спящим.

Отец собирается на работу, повязывает галстук, рыжий в полоску, единственный и неизменный в праздники и будни. Подбородок отца гладко выбрит, лицо обычное, не хмурое и не радостное. Отец спокоен. Вот он натянул пиджак, застегнул пуговицы, озабоченно взглянул

на часы, направился к вешалке у двери — серый плащ, кепка блином.

Максимка следит с кровати за отцом, лихорадочно роется в себе, ищет ночную — до не могу, до умру — любовь к отцу. Любовь или ненависть, что-то должно же быть.

Но утро. Солнце в окно. То, что рождается глухой ночью, при солнце жить не может. Максимка находит в себе лишь тихое благодарное облегчение оттого, что отец такой знакомый, такой «всегдашний», нисколько не изменившийся за страшную ночь,— по-прежнему свой.

Отец, как всегда, молча исчезает за дверью. И Максимка мысленно следует за ним по коридору, по лестнице...

Вот отец выходит на улицу. На улице влажная тень, солнце еще не добралось до булыжного дна. Люди топчутся на трамвайной остановке, замызганная стена булочной, мастерская «Ремонт часов», и нет еще пока за стеклом часовщика с носом попугая. На знакомой улице сейчас появился знакомый человек — серый плащ, кепка блином,— кому придет охота оглянуться на него. Гляди, не гляди, все равно не заметишь ничего особенного — серый плащ, кепка блином, таких много.

На этом месте мысли Максимки спотыкаются, болотными пузырями со дна души подымается тревога. Но солнце в окно! Солнце!..

Не надо ни о чем думать.

У матери хмурое, оплывшее лицо.

— Долго будешь отлеживаться? Я, что ли, пойду за тебя в школу?

И голос раздраженный, но в общем-то обычный, утренний. Как часто мать подымала Максимку этими словами.

— Мама... Дядя Ваня не виноват?

Мать вздрогнула, угрюмые сонные глаза вспыхнули, через плечо оглянулась на дверь.

— Тиш-ше!

Боком пошла на него, хрипло спросила:

— Ты?..

— Да,— ответил он виновато.

Она подошла вплотную, с затаенной неприязнью смотря в лицо Максимки:

— Ты ничего не знаешь. Ты ничего не слышал!

— Но папа же...

Мать снова оглянулась на дверь:

— Тиш-ше!

И вдруг ее глаза налились слезами, она нагнулась и порывисто обняла сына за шею, всхлипнула:

— Он — дурак. Он с ума сходит, твой отец... Голубчик, миленький, забудь все. Никто ничего не должен знать. Никто-ничего!

Мать обнимала — а это так странно — никогда еще не случалось. Ночью она кричала на отца, сейчас ласково, почти униженно упрашивала: забудь все. Непонятно, опять какой-то перекос.

Руки матери гладили его голову:

— Он опамятуется. У него заскок... Скоро пройдет... Голубчик, миленький — никому. Тебе просто приснилось.

От ее ласки, такой непривычной, неумелой, беспомощной, неуютность в душе и разлад. И пугают ее постоянные оглядывания на запертую дверь.

Знакомая улица — булочная, галантерея, мастерская «Ремонт часов». Все на месте, даже часовщик торчит за стеклом попугаем.

Максимка привык уже, что на улице много счастливых и нет несчастных. Ему не хочется думать. Думать значит возвращаться в ночь. Отец! Отец!.. Весна, солнце, он счастлив, как все. Верит в отца, любит отца, знает — отец остался таким, каким был. Забудь все, просила мать, никому — ничего, тебе приснилось. И гладила по голове...

Но не приснилось же, нет! Мать лжет, хочет, чтоб и он, Максимка, лгал, притворялся — ничего не случилось.

Если мать лжет, то почему не может отец? Что если отец не такой, каким всегда казался? Что если он никогда и не был таким?..

Эй, живей, живей, живей,
На фонари буржуев вздернем!

Знакомая улица, привычные прохожие — много счастливых и нет несчастных. И Максимке приходит в голову дикая мысль: вдруг да все... кругом притворяются, делают друг перед другом вид — счастливы, на самом

же деле несчастны. Что если у каждого есть свое: никому — ничего!

Славное утро, много солнца, люди, люди, непонятные, таинственные люди кругом.

И снова вломилась невыносимая, истощающая любовь к отцу. Внезапная, как приступ жестокой до умопомешательства боли — задыхайся, кричи...

Почти все счастливые минуты жизни связаны с ним, только с ним, не с матерью. Мать даже хвалила его так, что это не доставляло радости:

— Отлично получил — молодец! Всегда бы так.

Не помнит, чтобы мать приносила ему подарок. А давно-давно отец принес ему в сетке мяч, раскрашенный в два цвета — красный и синий,— настолько большой, что маленький Максимка едва обхватывал его руками. Почему вспомнился этот мяч? Отец приносил много подарков. Мяч давно порвался, выброшен, забыт, но вот вспомнился. Этой зимой отец купил коньки с ботинками, Максимка им очень радовался, но не как мячу...

А однажды Максимка заболел скарлатиной, и отец перестал ходить на работу, ночами носил его на руках, укачивал... Отцовские руки, крупные, бережные уютные, постоянное прибежище в горестях и радостях. Отцовское лицо вблизи — подпаленные лохматые брови, сумеречный покой под ними... Отцовский глуховатый голос... Все самое важное в жизни рассказано Максимке этим голосом: что было до его рождения, что будет, когда он вырастет, и что есть на свете зло и есть справедливость, враги и друзья. Отец! Отец! Неужели ты притворялся? Ты не такой?.. Нет! Нет! Быть не может!

Если можно верить отцу, то можно верить и людям. Если не верить отцу, то уж никому, никому на свете верить нельзя!

Люди шли по знакомой улице мимо растерянного, раздавленного любовью Максимки.

После уроков он не спешил домой. Пустая квартира для него сейчас самое страшное место. Там нельзя не думать об отце. «Никому — ничего!»

Его тянуло в старый класс, где он проучился четыре года, где все еще висела на стене знакомая карта мира.

Она на прежнем месте, хотя за это время школу не раз ремонтировали, красили стену, конечно, снимали

карту и снова вешали. Висел над ней когда-то портрет Бубнова... врага народа.

Лицо мира в двух полушариях. И защемило сердце при виде Африки, где живут угнетенные негры... «Когда я вырасту большой...» Мир терпеливо ждет этого, и в Атлантическом океане плавает, привязанная к Европе, Испания. «Но пасаран!» Они не пройдут!.. А Мадрид пал. Об Испании теперь говорят мало.

«Когда я вырасту большой...» Но может ли он мечтать теперь, как мечтал? Отец! Отец! «Никому — ничего!» Мир перед глазами — блекло-голубые океаны, сшитые из стран-лоскутков континенты, красным полотнищем наша страна. Твое большое хозяйство, в котором ты должен навести порядок,— не все страны мира окрашены в красный цвет...

Он, Максимка, недавно отодвинулся от Ленки: отец ей дороже. А тебе?.. Ленка тоже любила своего отца. Ленку увели за руку, где она?.. Не все страны мира окрашены в красный цвет.

Открылась дверь, в класс вошли двое старшеклассников — Лешка Корякин и Панов. Этот Панов в школе считался лучшим художником, посещал какую-то студию, недавно нарисовал большую картину — первомайский парад на Красной площади,— получил за нее премию.

Не обратив внимания на Максимку, Корякин и Панов стали оглядывать стены, обсуждать, много ли можно повесить на них картин. В школе открывалась районная выставка детского рисунка.

— Три класса и коридор — хватит,— авторитетно заявил Панов.

Этого парня, случалось, принимали уже за учителя. Он одевался в хорошие костюмы, брился раз в неделю, говорил устойчивым баском. Лешке Корякину далеко до Панова, еще не бреется, но байковая курточка тесна в плечах, мятые брюки коротки, открывают тощие щиколотки, и в голосе Лешки тоже нет-нет, да прорываются рокочущие раскатцы. Уже не мальчишка.

«Когда вырасту большой...» Максимка вдруг сейчас понял, что его «вырасту» не так уж и далеко, скоро случится. Лешка и Панов, считай, выросли,— через месяц расстанутся со школой. Скоро... И что-то новое стрясется в мире, похлеще Испании. Скоро... И с саблей в руке под красным знаменем Лешка Корякин поскачет

по новым Испаниям. Не все страны мира еще окрашены в красный цвет! Скоро... Но ведь Лешка поскачет с кем-то другим! Лешка не доверял Гришке Сотникову, не доверял Ленке, почему он должен доверять ему, Максимилиану Иванникову!.. Отец! Отец! Как жить дальше?

Ребята двинулись к дверям.

— Леш...— позвал Максимка.

Панов в это время уже исчез за дверью, а Лешка обернулся.

— Лешка, а где... где сейчас Гришка Сотников?

— Бросил школу. Зачем он тебе?

— Лешка... вот твой отец...

Лешка подобрался, уставился чистыми, вязкими глазами.

— Вот твой отец, Лешка, был героем...

— Ну?

— Вот если б он сейчас жил...

— Ну?

— И если б вдруг его... Лешка?

— Отца?! Моего?!

— Если б вдруг...

— Мой — отец — отдал — жизнь — за революцию! — откусывая каждое слово, напомнил Лешка.

— Многие отдавали.

— Отдавали да не отдали — живы остались.

— Тогда верь только тем, кто погиб?

— Ты это для чего?..

— Ты вот даже ни разу не видел своего отца и то любишь. А Гришка Сотников... Как ему не любить... отца.

— Н-ни пойму. Что-то ты тут плетешь.

— Да ты, Лешка, представь — про твоего отца вдруг... Как ты тогда?

У Лешки на скулах проступили пятна, глаза потемнели, кулаки сжались, он шагнул на Максимку:

— Мой отец погиб! Понимаешь — погиб! За революцию! Чтоб ее враги не сожрали! Никто не смеет думать плохо о моем отце! А тебе-то уж, огарок, и вовсе не разрешу!

Но на Максимку нашло упрямство:

— Хорошо, Лешка, не отец... Ну, а мать если вдруг... Мать-то у тебя жива, за революцию не погибла.

И, похоже, он попал в слабое место. Лешка не набросился с кулаками, не закричал — отвел глаза в сторону.

— Мать... У нее нет никого, кроме меня...

На этот раз не понял Максимка — к чему сказал это Лешка?

— Любит! А она баба,— продолжал Лешка в сторону.— Чтоб мне хорошо было, она все сделает. Она и на вражью удочку клюнуть может, если мне хорошую жизнь пообещают. В матери я так не уверен, как в отце. Несознательная еще.

— И если, Лешка... Если вдруг клюнет? Как ты тогда?..

— Тогда я ей не сын! — отрезал Лешка.— Ясно?

И повернулся к дверям.

— Ясно,— произнес Максимка.— А ты ее сильно любишь, Лешка?

Лешка обернулся в дверях.

— Да! — сказал он.— Да! Она в депо работает, обтирщицей, все дни в грязи, для меня жилы тянет. Я, может, себя так не люблю, как ее.

— И все равно, если вдруг она?.. Все равно, ты ей не сын?

— Отец за наше дело себя... А я могу себя жалеть?.. Или ее даже!

Максимка промолчал. Лешка захлопнул дверь.

XIII

Второй приступ паралича, не действует правая рука и правая нога, но говорить он еще может. Ленин диктует. Начинается самый последний период его деятельности.

Он короток — всего каких-нибудь два месяца. За это время Ленин успевает надиктовать семь работ, среди них знаменитое «Письмо к съезду», получившее позднее название «Завещания». И пишется все это прикованным к постели, полупарализованным человеком.

Ленин не скрывает своей тревоги.

«Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны...»

«...Он только слегка подкрашен сверху, а в остальных отношениях является самым старым из нашего старого госаппарата...»

«Мы аппарат, в сущности, взяли старый от царя и от буржуазии...»

«Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего госаппарата, но это именно только суетня, которая за пять лет доказала лишь свою непригодность, или даже свою бесполезность, или даже свою вредность. Как суетня, она давала нам видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги».

Он невесело окидывает взглядом тех, кто остается у власти после него.

Сталин... «сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». Он «слишком груб», и Ленин попросту предлагает снять его, назначить более терпимого, вежливого, лояльного, внимательного.

Троцкий... «пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением административной стороной дела». Не идеолог.

Зиновьев и Каменев... Нет, Ленин не ставит им в вину «неслыханное штрейбрейхерство» перед революционным переворотом, но и не считает его случайностью. Больше об этих руководителях ни слова.

Бухарин... «Ценнейший и крупнейший теоретик», любимец партии, но... не вполне марксист, «ибо в нем есть нечто схоластическое». Убийственная характеристика для теоретика, да к тому «крупнейшего и ценнейшего», который и не пытался проявить себя где-либо помимо марксизма.

Пятаков...— «человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно положиться в серьезном политическом деле».

О других Ленин и не упоминает.

Из рук вон плох госаппарат, и нет таких, кто мог бы заняться его исправлением. Плоха голова, но и само тело не лучше. Страна крайне некультурна, больше того, она не цивилизованна. Не зря ли заварили кашу? Ленин пытается успокоить себя и других фразой Наполеона: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже будет видно». Очень смахивает на русский «авось» — авось как-нибудь да вытанцуется.

И все-таки Ленин, разбитый параличом, чувствующий свой близкий конец, видящий удручающую — до отвратительности — несовершенность старообразного, бюрократического государственного аппарата, продолжает на что-то надеяться.

На что конкретно, на какие меры?

Он предлагает:

...надо увеличить число членов ЦК, сейчас их 27 человек, пусть будет 50 или даже все 100 за счет введения не успевших еще обюрократиться рабочих;

...надо передать Госплану законодательные функции;

...надо усилить состав Рабоче-крестьянской инспекции.

И при этом он, Ленин, клеймит за «суетню», непригодную, бесполезную, вредную, засоряющую учреждения и мозги.

А разве предложенные им меры не суетны по своей мелкотравчатости и робости?

Какая разница, 27 или 100 человек будут заседать на пленумах ЦК? Где гарантия, что рабочие, вошедшие в этот наивысший партийный орган, наверняка не сведущие в деле управления, наверняка не обладающие большой теоретической подготовкой, а подчас и элементарной грамотностью, не пойдут на поводу у наловчившихся политиканов? И где гарантия того, что эти честные рабочие вскорости не забуреют, не станут самыми заурядными бюрократами?

Госплан получит право издавать законы. Ну и что? Это учреждение умней и прозорливей других правительственных органов? Почему законы, изданные чиновниками Госплана, должны быть лучше законов, предложенных чиновниками, скажем, того же Совнаркома?

И усиление Рабкрина, если не поможет — если! — схватить за руку лишнего зарвавшегося бюрократа, то уж рассчитывать, что оно этим изменит бюрократическое, созданное по типу царского, буржуазного, государственное устройство, по крайней мере наивно.

Суета сует, причем вредная уже тем только, что увеличивает еще больше число бюрократов. Этой суетой заполнена лебединая песня охваченного тревогой Ленина.

Но в лебединой песне звучит и новое — величальные нотки тому, что прежде Ленин не допускал близко к

сердцу, считал чужим, тогда как его учителя, Маркс и Энгельс, чужим отнюдь не считали, даже видели в том зачатки грядущего коммунизма.

Речь пойдет о кооперации.

13

Что дороже — отец или революция?

Лешка Корякин больше себя любит свою мать, но революция ему дороже матери.

Он, Максимка, еще никогда не любил так своего отца. Кровь стынет в жилах от неизвестности: что с ним такое? «Хотел бы, да не могу». Не может верить тому, во что верят все, все кругом. Во что верит он, Максимка. Но это же отец научил его верить, это он первый рассказал ему о революции, от отца первого он услышал о врагах:

Эй, живей, живей, живей
На фонари буржуев вздернем!

Еще неизвестно — перерожденец ли он, но одно ясно — отец несчастен. «Хотел бы, да не могу». Отцу плохо, нельзя не жалеть его, не любить его.

Максимка возвращался домой. Знакомая улица... Он уже не замечал ее, он ничего и никого не видел вокруг — отец заполнял все, весь мир, страдающий отец, непонятный отец!

Дома, открыв дверь своим ключом, Максимка увидел отца, сидящего за столом, без пиджака, без галстука, с книгой. Матери еще не было.

Отец оторвал всклокоченную голову от книги и встретил Максимку молчаливым кивком, снова склонился, спрятал лицо. И спина его сгорблена, и тяжелые руки, перевитые крупными венами, устало покоятся возле книги, и сединой тронутые виски. И в стороне валяются забытые матерью пяльцы с неоконченной вышивкой — розочки и листочки.

Близился вечер, легкие сумерки затопили улицу за окном, внизу привычно погромыхивал трамвай. За закрытой на щелку английского замка входной дверью, напротив, через коридор — другая дверь, все время ощущаешь ее. Наглухо закупоренная, опечатанная дверь, ведущая в пустую квартиру. Как неправдоподобно далеко то время, когда там жили дядя Ваня, тетя Дуся, Ленка. А прошла лишь какая-то неделя. Дядя

Ваня... Мысль о нем уже не ужасает, кажется, так должно быть.

Это ему, Максимке, так кажется, а отцу?.. Для отца отказаться от дяди Вани, наверное, так же трудно, как Максимке от отца. Отец лучше всех знал этого человека, лучше матери, лучше Максимки, даже тети Дуси наверно,— тетя Дуся позже познакомилась с дядей Ваней. А Сталин, пожалуй, и совсем не знал дядю Ваню. «Хотел бы, да не могу». Конечно, не может, как тут не понять. Отец вдруг становился понятным.

— Пап...— произнес в сторону Максимка.

Сейчас он признается во всем.

— Пап...— осипшим голосом ломая неподатливую тишину комнаты, нежилую тишину лежащего за дверью коридора.

Отец не поднял головы, похоже, он еще ниже склонился над книгой.

— Пап, дядя Ваня... не виноват? Да?

Если скажет: «Не виноват», все будет ясно. Раз он верит в это, раз верит, то понятны и его слова: «Хотел бы, да не могу». Произошла ошибка, редкая, чудовищная, с которой никак нельзя согласиться. Один отец, один из всей страны знает правду. И как от этого тяжело отцу, как ему одиноко, знающему среди незнающих! Он, Максимка, будет жалеть его и любить, страдать вместе с ним, вместе с ним искать выход — как доказать. Не в дяде Ване дело — в правде, без которой нельзя жить.

Отец неохотно, очень неохотно и очень медленно оторвался от книги, поднял всклокоченную голову, уставился мимо Максимки в стену. Он молчал минуту, другую, молчал и глядел куда-то...

И Максимка содрогнулся — сейчас, сейчас в эти минуты, с первым звуком отцовского голоса случится непоправимое! Уж лучше бы ничего не спрашивать.

— Раз — его — арестовали...— произнес отец медленно, с усилием, негромко, но внятно. Лицо какое-то неподвижное, чугунное, взгляд далекий, проходящий стороной.— Раз так — значит... виноват.

Последнее слово выронил с облегчением, как тяжелый камень, который пришлось долго нести. И опустил голову к книге, всем видом показывая, что не желает больше разговаривать.

За окном под закатом тлела крыша соседнего дома, вливала в комнату угрюмый медно-красный свет.

Максимка вдруг как-то весь устал — заломило плечи, спину, появилась неприятная слабость в ногах,— он опустился на кровать, но глаз с отца не спускал.

Отец! Отец!

Отец сидел, не подымая головы.

Ты лжешь, отец! Ты так не думаешь. Думаешь одно, а говоришь другое. Тебе нельзя верить, отец! Про лучшего друга, про самого лучшего сказал страшную неправду. Отец! Отец!

И отец сидел, окутанный рассеянным медным светом, клонил голову к книге, прятал лицо.

Не прячь, я все равно помню твое лицо.

Твои брови с подпалинкой...

Твои глубокие складки от носа к губам...

Твои глаза, в которые я так часто глядел...

И даже сейчас, не произнося ни звука, ты умудряешься лгать: делаешь вид, что читаешь книгу, и забываешь даже — надо переворачивать страницы. Отец! Отец!

Короткий разговор с глазу на глаз — вопрос и ответ. И случилось непоправимое — Максимка терял отца. Но все равно он продолжал исступленно любить его, даже такого — с сединой у висков, с новой, непривычной, надсадной сгорбленностью. Любил его и не верил ему, любил и ужасался, и обмирал перед непонятной двуличностью этого близкого, родного из родных человека.

Отец! Отец!

Через много лет Максимилиан Иванников запоздало понял его. Через много лет и постепенно...

Наши отцы, свершившие революцию, уцелевшие в ней! Все получалось не так, как вы рассчитывали. Вы стремились к свободе, а строили тюрьмы, вы мечтали о равенстве, а пресмыкались перед начальством, вы пели гордо «Весь мир насилья мы разрушим до основанья», а сами увязали в горах трупов.

Наши отцы, нет, слава о вашем мужестве не досужая выдумка!

...отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм!

Было мужество!

Но для того, чтобы признать — не то, не так, все иначе,— мало одного мужества, нужно и понимание — почему? Не понимали...

Наши мужественные отцы, вы стали бояться смотреть правде в глаза, отворачивались от чудовищных фактов, не хотели их видеть. Не верили даже себе! Но больше себя вы оберегали от убийственной правды нас, своих детей, твердили: самое передовое, самое справедливое, самое свободное, самое гуманное!.. Самое, самое! Кто из вас не лгал нам в малом и большом?!

Лжем и мы сейчас своим детям, только не так, как вы,— не самозабвенно, скучно, по обязанности и по привычке, уже сами не веря в свою ложь.

Максимилиан Иванников поймал отца на лжи. По простоте душевной, по детскому неведению он не догадывался, что ложь стала наркотической потребностью наших отцов.

Ленин едва ли был не последним большевиком, который жестоко заблуждался, но не терпел прямой лжи. Но Ленин умер еще до рождения Максимилиана Иванникова.

XIV

Разбирая опыт Парижской коммуны, Маркс говорит: «Коммуна должна была... стать политической формой даже самой маленькой деревни».

Маркс не сомневался — кооперация может стать зародышем коммунизма. Вот его слова: «А если кооперативное производство не звук пустой и не обман, если оно должно вытеснить капиталистическую систему, если ассоциации организуют национальное производство по общему плану, возьмут его в свое заведование и этим прекратят постоянную анархию и периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве,— не будет ли это, спрашиваем мы вас, милостивые государи, коммунизмом, «возможным» коммунизмом?»

Кооперация в том или ином виде существовала и в царской России. Это было хорошо известно Ленину. В 1905 году он говорит: «Да, отвечают революционеры, мы согласны, что потребительные (кооперативные.— *В. Т.*) общества есть в известном смысле кусочек социализма... Пока власть остается в руках буржуазии...— жалкий кусочек, никаких серьезных перемен не гаран-

тирующий... Навыки, приобретенные рабочими в потребительных обществах, очень полезны, спора нет. Но поприще для серьезного приложения этих навыков может создать лишь переход власти к пролетариату».

И вот переход совершается, Ленин, ревнитель интересов пролетариата, становится общепризнанным главой правительства, казалось бы тут-то и пришло время повернуться ему лицом к кооперации. Но странно, он теперь о ней говорит совсем иные слова.

«Кооперация есть тоже вид государственного капитализма, но менее простой, менее отчетливо-очерченный, более запутанный и потому ставящий перед нашей властью большие трудности».

«Свобода и права кооперации, при данных условиях России, означает свободу и права капитализму».

Не поразительно ли — «кусочек социализма» при власти, которую Ленин искренне считал пролетарской, превращается вдруг в капиталистический ломоть!

И при этом сам Ленин мечтал о коллективном творчестве масс. Казалось бы, раз мечтаешь, то постарайся использовать любую возможность. А совместная деятельность тружеников на общих паях, при общих интересах вполне может стать школой массового, коллективного творчества. На чем еще и учиться людям, как не на практической деятельности? Нет, возражает Ленин: «Кооперативы в большинстве случаев имеют в качестве своих вождей буржуазных специалистов, сплошь и рядом действительных белогвардейцев». Но что за беда, буржуазные спецы ставились тогда и во главе государственных предприятий, Ленин тут не возражал, напротив, призывал привлекать их, заманивая высокими окладами. Если вожди отдельных кооперативов буржуазны, враждебны, то это не означает, что и кооперация, как явление, буржуазна. Борись с вождями, зачем же простых тружеников, объединяющихся для совместной деятельности, ставить на одну доску с частниками концессионерами, с узаконенными спекулянтами — комиссионерами?

Странный поворот? Да нет, закономерный. Ленин, придя к власти, мерил с позиций: «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства». И тут концессионеры-капиталисты, торговцы-комиссионеры, арендаторы, равно как и труженики-кооператоры не являются полностью «государственными людьми»,

сохраняют за собой какую-то автономию. А потому, как бы ни разительно они отличались друг от друга, для главы нового государства Ленина — одного поля ягоды. И он сваливает их всех в одну общую кучу — государственный капитализм!

Ленин противоречит Марксу, он противоречит и самому себе — более раннему Ленину,— и тут невольно приходит в голову крамольный вопрос: можно ли его в данный момент называть коммунистом по стремлениям? Он не хочет, он препятствует проявлению творческой инициативы масс, мешает самостоятельной деятельности народных организаций, тем самым сознательно укрепляет диктаторские позиции государственного чиновника-бюрократа.

Но вот последние усилия больного Ленина, последние мысли диктуются непослушным голосом, вместе с тревогой за косный, страдающий всеми старыми пороками госаппарат, вновь бросок в сторону кооперации. На этот раз Ленин говорит о ней уже совсем иным голосом: «При условии максимального кооперирования населения сам собой достигает цели тот социализм, который ранее вызывал законные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение к себе со стороны людей, справедливо убежденных в необходимости классовой борьбы, борьбы за политическую власть и т. д.» «...Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма».

Кооперация-падчерица возвращается в лоно семьи, снова — «кусочек социализма», даже больше — надежда его. И одновременно суетные меры чисто бюрократического переустройства — увеличение ЦК, законодательность Госплана, усиление Рабкрина. В ряду их — надежды на кооперацию показывают лишь растерянность мечущегося на смертном одре вождя революции.

14

Как всегда, он утром отправился в школу: выгоревшая фуражка с надломленным козырьком, жмущий под мышками пиджачок, штаны с пузырями на коленях, потасканный портфель с учебниками и озабоченное выражение физиономии, которое должно говорить любому

и каждому: вот идет мальчик, у него в голове нет других мыслей, кроме мысли не опоздать сейчас на урок.

Но на самом деле Максимке меньше всего хотелось оказаться в школе, торчать на уроках, терпеть шумные и людные перемены. В школе волей-неволей придется сравнивать себя с другими ребятами: у всех отцы как отцы, никому нет нужды ничего скрывать, ты — не такой. Лучше спрятаться, лучше быть одному. Но делает вид, что спешит, притворяется перед собой и перед прохожими.

Отец вчера лгал. Теперь Максимке нужно лгать всем: отцу, матери, Лешке Корякину, даже незнакомым прохожим на улице. Вот спешит мальчик в школу... Притворяйся, притворяйся, никому — ничего! Прячь проклятую тайну об отце! С этого утра — всю жизнь! Отец лжет. Мать тоже лжет. Вся семья лжива.

У каждого есть друзья, у тебя их не будет. Какие друзья, если ты не сможешь им довериться.

У каждого есть страна, у тебя ее нет. Ты скрываешь от нее преступника.

Каждый мальчишка с легким сердцем ждет: когда вырасту большой... Не смей ждать! Вырастешь, и все равно тебе придется притворяться — такая уж жизнь.

Был недоволен Ленкой — отец дороже. Презирал Гришку Сотникова — лил слезы под фонарным столбом... по отцу. Никому нельзя верить.

Теперь нельзя верить тебе!

Несколько дней назад — всего несколько дней! — он холодел, представляя себе: среди обыкновенных, самых обыкновенных прохожих ходят те, кто прячет внутри тайные мысли. Люди с нормальными телами — не уродливыми — лицами, нормально одетые, могут ласково говорить, мило улыбаться, а внутри ненормальны — выродки!

А сейчас бежит по знакомой улице мальчишка, самый нормальный с виду, с ломаным козырьком на фуражке, с обычным озабоченным лицом. Кому придет в голову, что нормальный мальчишка вовсе не нормален!

Скажи ему вчера: станешь выродком — не поверил бы ни за что! Или умер от горя. А сейчас вот бежит по улице и ничего... не умирает.

И Максимка неожиданно позавидовал Ленке и Гришке. Они счастливее, даже они! Им уже не надо притво-

ряться, все знают, кто их отцы, а ты прячься, холодей от страха — узнают, раскроют!..

Идти в школу — нет, нет! Вернуться домой — нет! Сбежать?.. Куда?.. Станут искать через милицию. И найдут. И спросят: почему убежал?..

Рычали на мостовой тяжелые грузовики, давили асфальт узорными скатами. И Максимка со странным интересом начал к ним приглядываться. Лязгая, шли мимо трамваи, набитые людьми,— как легко сорваться под их колеса!.. А в глубине скверика, помнится, стоит железная будка, на ее дверцах выведен череп и кости: «Опасно! Высокое напряжение!» Внутри будки сидит смерть. Улица заполнена не только живыми людьми... Странные мысли приходят сегодня. Странные, но нисколько не страшные.

Вспомнился почему-то сон, рассказанный недавно отцом: треснувшая, как арбуз, голова водителя автокара, общий смех... Отец! Отец! Можно ли жить так, как живешь ты?! И ни на минуту не переставал любить отца.

Решение созрело столь стремительно, что Максимка почувствовал легкое головокружение. В общем-то старое решение, но с новой силой.

Надо идти к отцу, сейчас, немедля! Надо его спросить: «Отец, ты учил меня любить революцию?» И он ответит: «Учил, сын». «Ненавидеть врагов ты учил?» «Учил, сын». «Тогда скажи, отец, как мне поступить, ведь ты мне солгал...» Это надо было спросить еще вчера. Он, Максимка, просто растерялся. Появилась надежда.

А если все уже неисправимо?..

Тогда пусть лучше убьет.

XV

«А что если б он был жив?»

Бессонными ночами, вслушиваясь в шаги за дверью, в одиночных камерах, в лагерных зонах за колючей проволокой, притаившиеся и обреченные, исступленно верующие и утратившие веру, экзальтированные по натуре и сугубо трезвые, с простодушием и со страстью, с тайным негодованием или усталым стоном — во время репрессий чаще всего люди задавали себе один вопрос: «А что если б?..» Ведь он так рано умер,— ему не

исполнилось и пятидесяти четырех лет! В годы коллективизации Ленину было бы всего шестьдесят, в 1937 году — шестьдесят семь.

Наверняка этот бессильный вопрос задавали себе, ожидая расстрела, повально знаменитые бывшие вожди — зиновьевы, пятаковы, бухарины, рыковы. Наверняка над этим задумывался Федор Теньков, мой отец, неприметный советский служащий, из-за неприметности счастливо избежавший ареста.

Праздный вопрос мечтателей, считающих: «Будь нос Клеопатры покороче,— иным выглядел бы лик земли». Будь здоровье Ленина покрепче...

Но все же попробуем представить: что если б?.. Без прекраснодушных упований и сантиментов: что если б данная историческая личность продолжала жить и действовать, как ее деятельность отразилась бы тогда на ходе истории?

Мысленно продолжим жизнь Ленина, и тогда естественно предположить, что его недовольство сложившимся государственным аппаратом должно было расти. И скорей всего, он, наконец, пришел бы к мысли, что изменить можно лишь ломая весь механизм. Но что пользы в ломке, если не знаешь, чем заменить.

Чем? Каким устройством?

Маркс подсказать не мог. Ленин сам в свое время объявил: «Открывать политические формы этого будущего Маркс не брался». Ленин предложил форму — «по найму у государства», передал этим диктаторскую власть бюрократии. Энергичный и деятельный Ленин в течение всей своей жизни так и не сумел найти ничего лучшего. Можно ли тогда ждать, что на закате дней он вдруг проявил бы несвойственную ему проницательность, открыл нечто принципиально иное, не замеченное Марксом, переворачивающее наизнанку все, что сам творил прежде, отвергающее то, к чему стремился? Маловероятно.

Он думал, что все дело в плохих аппаратчиках, и уже предлагал заменить их новыми. Со временем эти предложения переросли бы в настойчивые требования, в некие действия, энергичные и решительные, как всегда у Ленина.

Но наивно предполагать, что старые аппаратчики стали бы покорно ждать своего отстранения, не вступили бы в противоборство с опасным для них вождем.

Итог этой борьбы мог быть двояким: или аппаратчики побеждают Ленина, добиваются его отставки, не исключено, физически его уничтожают, или Ленин, при поддержке новых претендентов на государственные должности, сметает своих бывших соратников.

Однако сам-то аппарат по устройству остается прежним. Какими бы ни были честными и принципиальными новые его члены, они станут выполнять старые функции, пользоваться старыми методами. От таких дворцовых переворотов народ по стране не станет культурней, правительство теоретически подкованней, средства связи совершенней — истоки для процветания бюрократизма останутся прежними. И рано ли поздно назреет необходимость устранить и этих обюрократившихся аппаратчиков. Не бессмысленна ли песня про белого бычка?

Можно предположить, что дело не дойдет до прямой вражды между Лениным и аппаратчиками. Будет продолжаться то, что уже шло,— суетная борьба мнений, жестокая дискуссионная разноголосица, плодящая оппозиционные группировки.

Вот тут-то Ленин рисковал бы вызвать массовое недовольство низовых бюрократов, тех, кто недавно был оторван от станка и сохи, тех, кто обычно заполнял места в залах съездов, кто тогда большинством голосов еще решал — что принять, кого поддержать. Они, эти рядовые бюрократы, не могли быть довольны разноголосицей в командных верхах. Они ждали простых, ясных, четких приказов — делай так-то, делай то-то,— дискуссионная неразбериха, оппозиционная грызня путает их исполнительскую деятельность, осложняет бюрократическое бытие. Кого слушать, кому подчиняться, чьим указаниям следовать? Рядовому бюрократу нужно единоначалие — непререкаемый авторитет, железный вождь, абсолютизм власти. И чем проще этот вождь, чем понятней его приказы, тем легче жить и действовать добросовестному бюрократу-исполнителю.

Быть простым, не влезать в слишком наболевшие, в слишком очевидные противоречия сложившегося общества мог или уж человек совсем примитивного склада, или полностью беспринципный прохвост, умеющий видеть лишь то, что выгодно. Ленин ни тем, ни другим не был.

Поживи он подольше, наверняка стал бы мало-помалу утрачивать свой высокий авторитет, его имя переста-

ли бы окружать ореолом святости, его прах не положили бы в мавзолей для поклонения. Похоже, что смерть пришла вовремя к этому человеку. Великая драма — драма идей не стала его личной трагедией.

Все это гадания на тему: что если б...

Но незадолго до смерти, когда Ленин лежал в параличе, несколько незначительных, можно сказать микроскопически малых, событий заставляют задуматься: а не терял ли уже тогда он свой авторитет, по крайней мере среди ближайшего окружения?

15

Громадное, шестиэтажное серое здание. В нем несколько подъездов, у каждого подъезда по нескольку скромных вывесок, каждая вывеска — учреждение. За дверями подъездов, как на вокзале, всегда толпится много народу, одни кого-то ждут, другие кому-то дозваниваются по внутренним телефонам, третьи спешат по широким лестницам, четвертые степенно ждут у лифта. Лифт старинный, тесный, с решетками, медными ручками, с зеркалами, от которых всегда кажется, что подымается вдвое больше людей — целая толпа, терпеливо молчащая, посапывающая.

Незнакомый человек легко может заблудиться в коридорах, бесконечно длинных, днем и ночью освещенных тусклыми лампочками. Но Максимка знал нужные ему коридоры, не раз бывал у отца по мелким мальчишечьим делам — чаще попросить денег на кино. Среди одинаково высоких, одинаково обитых коричневым дерматином дверей — нужная дверь. За ней комнатка-приемная с рядом выстроенных стульев вдоль стены, стол с громадной пишущей машинкой, секретарша, добрая, бойкая старушка со странным именем Цецилия — Цецилия Львовна. По одну сторону от нее дверь, ведущая в кабинет отца, по другую — дверь, за которой раньше сидел дядя Ваня, самый старший начальник над всеми кабинетами, расположенными вдоль бесконечно длинного коридора.

— Ты к папе, мальчик? — спросила Цецилия Львовна, кинув взгляд на Максимку через косо сидящие очки.

На стульях вдоль стены неподвижно восседали люди с тяжелыми портфелями на коленях, молчаливо и строго до осуждения, до враждебности — так казалось Мак-

симке — взирали на неуместно явившегося мальчишку.

— Он сейчас очень занят. Совещание.— Цецилия Львовна кивнула на дверь, но не на отцовскую — на дверь кабинета дяди Вани.

Максимка, послушно следуя взглядом за кивком, вдруг увидел на этих дверях табличку «Н. С. Иванников». Отец переселился, отец теперь там, где раньше находился дядя Ваня! У Максимки по всему телу разбежались мурашки...

Хотя что тут такого, он должен бы раньше догадаться: отец всегда замещал дядю Ваню. Раз дяди Вани нет, то старшим вместо него посажен отец. Самым старшим по всему длинному коридору, над всеми кабинетами!

Отец, неожиданно оказавшийся на чужом месте, становился еще более чужим. И молча, пугающе строго разглядывали Максимку незнакомые дяди с тяжелыми портфелями на коленях.

— Пойди погуляй с полчасика, дружок. И не уходи далеко. Будет перерыв, тогда успеешь переговорить с папой.

Максимка выскользнул из приемной, прочь от чинной, важной, замороженной очереди с толстыми портфелями.

Коридор, уносящийся в тусклые сумерки, лампочки под серым, пыльным потолком, одинаковые двери без числа. И почему-то дрожали колени и прыгало сердце.

«Н. С. Иванников» — серебром по черному, табличка на дверях, за которыми всегда сидел дядя Ваня. Отец вместо дяди Вани! Отец теперь тут самый старший, изо всех дверей идут к нему, над всеми командует, все его слушаются. И эта строгая, молчаливая очередь с толстыми портфелями... Дрожь в коленях.

А казалось, так просто встретиться, все сказать: «Отец, ты учил меня?..» «Учил, сын». Просто сказать старому отцу, сидящему на старом месте. На новом месте у отца уже ничего не остается от прежнего — над всем коридором, над всеми дверями!.. И нет уверенности — захочет ли он слушать? Кабинет, однажды прятавший преступного человека, прячет сейчас отца. Озноб в теле, дрожь в коленях.

Через полчаса — только через полчаса! — он освободится. Перерыв на несколько минут, и за эти минуты сказать?.. «Отец, ты учил меня?..» Скорей всего отец будет среди людей, среди тех с толстыми портфелями. Такие разговоры на людях не ведут.

И не ко времени просочилось непрошеное воспоминание: Максимка сидит на отцовских коленях, зарывается лицом в его грудь. Отец обнимает и гладит голову тяжелой, теплой рукой. У отца тоскующий голос: «Придет время, сынок, когда мы будем так сильны, что станем жалеть даже своих врагов». Отец! Отец! Ты не дождался, ты не вытерпел, ты стал жалеть раньше!.. Хочу тебя видеть прежним, не надо иного! Люблю того, кто пел: «На фонари буржуев вздернем!» Непонятного ненавижу! Отец! Отец!

Через полчаса перерыв...

Неожиданно он обратил внимание, что в простенке между дверями висит плакат: «Болтун — находка для шпиона!» Неудивительно, этот плакат не сразу бросился в глаза — такие плакаты примелькались, на них постоянно натыкался на улице, они висели в школе: «Болтун — находка...» А ведь болтун выдает секреты нечаянно, сам того не ведая...

Длинный, тонущий в тусклом сумраке коридор, не знающий дневного света, двери, двери, двери, незнакомые люди сидят за ними. Из всех дверей несут секреты к его отцу... Максимка изнемогал от любви к отцу — к прежнему отцу! Изнемогал от ненависти и страха к отцу переменившемуся. Отец! Отец!

Двери, двери, они открывались, из них выходили люди, куда-то спешили. За закрытыми дверями раздавались телефонные звонки. Со всех концов страны звонят, со всех концов страны стекаются сюда секреты. Сюда — к отцу, в чужой кабинет. Прежний отец толкал Максимку, требовал — спасай, действуй, нельзя медлить, даже болтун — находка...

Дрожь в коленях.

Дверь напротив, похожая в точности на все другие двери. Дверь рядом с плакатом. Максимка, сдерживая дрожь, шагнул к ней, отчаянно дернул за ручку...

Кабинет, светлый, скучно чистый, с неизменным портретом Сталина на стене. За новеньким, желтым письменным столом сидит невзрачный, с невнятным, словно выглаженным, лицом, лысеющий человек. Он уставился на Максимку.

Молчание.

— Тебе чего? — наконец удивленный вопрос.

Максимкина решимость кончилась, он охотно повер-

нул бы обратно, но в упор глаза, озадаченные, обеспокоенные,— бежать невозможно.

Хозяин привстал и с тревогой спросил:

— Что случилось, мальчик?

По щекам Максимки потекли слезы.

— Что с тобой? Кто ты?.. Да садись, садись. Вот сюда.

Максимка послушно опустился в холодное клеенчатое кресло.

У человека за столом бегали глаза, дрожали кончики пальцев. Чтобы скрыть дрожь, он время от времени начинал тихонечко выстукивать по столу: «Чижик-пыжик, где ты был?..» И бегал глазами по кабинету, и не смотрел на Максимку.

Он несколько раз протягивал руку к телефону и опускал. Наконец, решился, поднял трубку, прокашлялся и осипшим голосом назвал номер. Пока соединяли, он выстукивал тихонечко: «Чижик-пыжик...»

— Товарищ Дербенев... Это из сто восьмой. Очень нужно, чтоб зашли сейчас. Особый случай, не тревожил бы.

И поспешно бросил трубку. «Чижик-пыжик, где ты был?.. Чижик-пыжик, где ты был?..»

Появился второй, грузный, страдающий одышкой, сразу же завалился в кресло и после первых же слов стал мрачнеть. Слушал и мрачнел, глубже вдавливался в кресло. Полное лицо его было грозовым, недовольным. Глаза он тоже прятал.

Он задал Максимке только один вопрос:

— Тебе сколько лет?

— Тринадцать...

— Всего?..

После этого хозяин кабинета и гость с минуту глядели друг другу в глаза, у одного лицо было испуганное, затравленное, у другого — угрюмое и недоверчиво подозрительное. Наконец оба опустили головы, отвернулись. Хозяин нервно начал выстукивать: «Чижик-пыжик...»

XVI

Рассказывают, что ставился вопрос о выпуске специальной газеты в единственном экземпляре для больного Ленина, откуда были бы изъяты все сообщения неприятного характера, способные взволновать вождя, а значит,

пагубно отразиться на его пошатнувшемся здоровье. Какая исключительная заботливость, какая нежная предусмотрительность! Я не верю в столь умилительные причины, для меня проявление столь сердобольной опеки легче объяснить другими, отнюдь не сентиментальными мотивами.

Несмотря на болезнь, Ленин продолжал быть деятельным, и эта деятельность кой у кого вызывала беспокойство за свою судьбу. Кой-кому было выгодно изолировать Ленина, подсовывая фальшивую, успокаивающую информацию. Ленин, ложно информированный, невпопад бы и реагировал, а уж тогда его указания можно не принимать в расчет. И не столь важно, что эту, в общем-то нереальную, авантюрную затею не привели в исполнение, важно — такое желание имело место.

Другой факт: Сталин проявляет бестактную грубость к Н. К. Крупской и, по всей вероятности, неоднократно. Больной Ленин ответил на это возмущенной запиской, требуя от Сталина извинений.

Обычно в этом конфликте видят лишь проявление неприглядных личных качеств Сталина, некие черты будущего деспота. Для меня тут знаменательнее другое — Сталин осмелился грубить Крупской, самому близкому для Ленина человеку, считал это не опасным для себя.

Он, Сталин, как никто другой, любил и поощрял впоследствии самые грубые, неприкрыто льстивые, низменные проявления лакейства в свой адрес. Он порой даже не замечал, что неумеренная лесть обретает комический характер, мельчит его фигуру. Зачем, например, тому, кого уже величают светочем человечества, быть еще и лучшим другом советских физкультурников? Ни разу, как бы неумеренны, как бы порочащи грубы ни были лакейские восхваления, Сталина не возмутило, ни разу он не одернул льстецов. Нужно быть в душе самому непритязательным лакеем, чтоб не смущаясь выносить бесстыдный, подчас гротесковый подхалимаж.

Лакейство вылезало у него и раньше, до монаршей власти.

15 января 1918 года на III Всероссийском съезде Советов он делает доклад по национальному вопросу. Прежде чем произнести традиционное «товарищи», он провозглашает: «Да здравствуют вожди мировой революции — Ленин, Троцкий, Зиновьев!» Нам сейчас ка-

жется такое начало доклада весьма заурядным только потому, что мы прошли в свое время сталинскую выучку, но в начале 1918 года, сразу после революции, когда большинство искренне верило в идеи равноправия, когда вожди еще не стали предметом культового поклонения, когда слово «товарищ», заменившее «господин», еще воспринималось во всей благородной первозданности, открывать деловой доклад со здравицы было своеобразным новаторством. Неискушенные делегаты приняли эти слова за очередной революционный лозунг и проаплодировали, но никто из выступавших не повторил номера, да и впоследствии долгое время не находилось подражателей.

Трезвые историки могут не считать столь мелкую деталь достаточным доказательством лакейской натуры Сталина, но они не должны забывать, что искусство, вскрывающее общие закономерности, держится главным образом на таких вот внешне мелких, кажущихся случайными деталях. Несколько пустых, самих по себе незначащих фраз Манилова открывают характерную не только для современников Гоголя, но и для нас с вами человеческую черту — маниловщину. Галоши и зонтик некоего учителя гимназии Беликова помогают увидеть особый, опять же общественно характерный тип, «человека в футляре». И то, что Сталин первый в революции пропел льстивую здравицу, дает мне полное право подозревать — лакейство органически было присуще ему. Грубость и высокомерие, которые он проявлял позже в столь неумеренных размерах, не противоречат этому выводу, наоборот, подтверждают его: лакей, став господином, должен быть груб и нетерпим.

И вот такой человек лакейского склада, пусть не прямо, пусть косвенно, через жену, проявляет пренебрежительную грубость к Ленину. Это может означать только одно — вокруг Ленина уже тогда *сложилась атмосфера пренебрежения*. Для широких масс он все еще великий вождь, непогрешимый гений, для окружения же — парализованный человек, политик, сходящий со сцены. Сходящий, но еще не сошедший, еще достаточно опасный.

И чем-то вызвана была дошедшая до наших дней, в свое время общеизвестная в партийных кругах фраза Крупской, произнесенная в 1927 году: «Живи сегодня Ильич, эти интриганы посадили бы его в тюрьму».

Позднее Крупская таких слов не повторяла, жила под негласным надзором, панически боялась Сталина.

Ленин умер и перестал быть опасным для аппаратчиков, напротив, теперь им выгодно его возвеличить до святости, чтоб прикрываться его высоким авторитетом, выдавая себя за его преемников.

Сам Ленин умер, а ленинизм продолжал жить. Не был ли опасен и он?..

16

Максимка стоял у окна.

Внизу под окном жила с незапамятного детства знакомая улица: приходили и уходили трамваи, появлялись и исчезали грузовики, менялись люди на трамвайной остановке, суетливо бежали прохожие, и поток их не оскудевал и не кончался.

Максимка стоял у окна и ждал — вернется с работы отец или нет? Обычно он в эти часы уже появлялся на трамвайной остановке. Максимка несколько раз ловил себя на том, что выстукивает по подоконнику: «Чижик-пыжик, где ты был?..»

Внизу среди прохожих появилась мать. Впервые Максимка с особым вниманием разглядывал, как она ведет себя среди людей. Пришпиленная к густым волосам беретка, вздернутая голова, даже сверху видно — выделяется средь других, красива, чуточку презирает обыкновенных, не отличающихся друг от друга прохожих. Спешивший по мостовой мужчина дернулся всем телом, уступил ей дорогу, обернулся вслед, а она прошла, не заметив его. Но походка у нее усталая — волочит ноги. Скоро она появится в этой комнате.

Он обещал матери молчать: никому — ничего.

Минут через десять за дверями послышались шаги, царапнул ключ о скважину, щелкнул замок,— мать...

— Ты обедал? — устало спросила она с порога.

Максимка только сейчас вспомнил, что существуют в жизни такие вещи, как обеды.

— Ты чего вдруг — столбом у окна?..

Он взял стул и книгу, стул поставил к окну, книгу положил на подоконник. Мать ушла в кухню, загремела посудой. А он снова стал жадно глядеть в окно, вслушиваться — не дребезжит ли трамвай.

И вдруг он заметил на улице человека... Тот стоял на

трамвайной остановке, но не в куче, а в стороне — полный, плотный мужчина в черной шляпе. Да, похож, очень похож... Лицо его трудно разглядеть из окна четвертого этажа. Но похож на того, который вошел в кабинет после телефонного вызова, мрачно спросил, сколько Максимке лет. Одно ясно: этого человека не было на трамвайной остановке, он появился, пока Максимка разговаривал с матерью.

Прошел трамвай, человек в черной шляпе остался, он даже не пошевелился. И еще один трамвай,— человек стоял и вглядывался в тех, кто выходил. Он кого-то ждал, Максимка заметил, как он несколько раз подносил рукав плаща к лицу, вглядывался в часы.

Издалека задребезжал третий трамвай. Человек в шляпе переминался с ноги на ногу, глядел в сторону приближающегося трамвая.

Трамвай остановился, из него вывалился народ, и человек наконец шагнул вперед. И тут-то Максимка увидел отца — черный плащ, кепка блином, неотличимо похожий на других.

Человек в шляпе остановил отца. Они стояли друг перед другом, о чем-то беседуя, явно негромко и, казалось, вяло, говорил больше тот, отец нехотя покачивал головой, в чем-то сомневался. Так они простояли минуты три-четыре, потом незнакомец притронулся к шляпе и отошел. Отец неторопливой раскачкой двинулся к дому. В это время подошел еще трамвай, и Максимка увидел, как человек в шляпе протискивается к площадке.

За дверью послышались тяжелые шаги отца. Мать их тоже услышала, вышла из кухни, стала накрывать на стол.

Все шло, как вчера, как позавчера, как год и пять лет назад, по заведенному порядку: отец, помыв руки, сел за стол, Максимка тоже занял свое место, мать начала разливать суп. Как вчера, как позавчера, с успокаивающей точностью.

По заведенному порядку отец должен был задать вопрос о школе: «Сколько сегодня нахватал «неудов»?» В школе давно уже не ставили «уды» и «неуды», а «посредственно» и «плохо», но отец все еще продолжал называть отметки по-старому.

Он и сейчас спросил, но не о школе:

— Цецилия Львовна говорила, что ты приходил ко мне?

Мать вздрогнула, бросила затравленный взгляд на Максимку. Максимка спокойно кивнул головой: «Приходил».

— В чем дело? — поинтересовался отец.

Уткнувшись в тарелку, Максимка ответил:

— Славка Борков продает марки... всю коллекцию.

Славка Борков жил этажом ниже, свою знаменитую коллекцию марок он еще продал месяц назад. Никто из ребят и не мечтал ее купить — там одна лишь серия тувинских марок стоила столько, сколько стоит новый фотоаппарат.

— Ну и что же?

— Я раздумал.

И снова молчание до конца обеда.

Отец поднялся из-за стола, сел к окну на стул, на котором недавно сидел Максимка, глядя на улицу, неожиданно сообщил:

— Сейчас у самого дома меня остановил... Дербенев.

Мать, собиравшая посуду со стола, замерла.

— Мне показалось, что он ждал меня.

— Что ему нужно? — едва слышно спросила мать.

— Советовал куда-нибудь поехать... отдохнуть. Даже предлагал быстро оформить отпуск.

Мать медленно бледнела, на известковом лбу вздернуты резкие брови, глаза остановившиеся, темные.

— Может, тебе поехать к брату в Гродно? Он звал...— тихо сказала она.

Отец не ответил.

— Там лес, река... На самом деле, отдохнешь,— приглушенно настаивала мать.

Отвернувшись к окну, отец глухо сказал:

— Где сейчас отдохнешь? В каком месте?.. Только если, как цыгане гадают, в казенном доме.

— Поезжай в Гродно.— С тихим упрямством, просяще.

— Нет! — Отец встал.— Нет, не хочу.

Максимка понял весь разговор. Оказывается, тот толстый Дербенев хотел спасти отца, ждал у трамвайной остановки, чтоб посоветовать — уезжай. Недаром он тогда в кабинете сидел мрачный, должно быть, любит Максимкиного отца. Быть может, он, Дербенев, такой же, как отец, так же думает: «Хотел бы, да не могу...» И странно, сейчас это не ужаснуло Максимку. Он хотел, чтоб отец послушался Дербенева, уехал в Гродно

к брату. Было даже радостно от того, что отца кто-то спасает. Максимка не замечал — он сейчас на стороне отца. Тайком от самого себя.

На кухне мать схватила Максимку за рукав мокрой рукой, приблизила лицо, шепотом спросила:

— Ты никому — ничего?

— Не,— ответил Максимка и выдержал взгляд, не опустил глаза.

Он соврал отцу, почему должен говорить правду матери?

А вечером следующего дня из скупых разговоров отца с матерью Максимка узнал, что толстый Дербенев выступал на собрании против отца, всячески поносил его. Совсем непонятно, путало все. Но Максимка уже устал удивляться.

Отец пока ходил на свободе.

В подчиненном обществе, где опасно проявлять мысль и волю, неизбежно возникает фетишизация лиц, стоящих у власти.

Причем степень фетишизации власть имущих должна возрастать пропорционально высоте занимаемого положения. Председатель колхоза почитается меньше, чем председатель райисполкома или секретарь райкома, секретарь райкома вызывает куда меньшее почтение, чем секретарь обкома, и дальше — больше. Фетишизация достигает предела относительно самой высшей точки государственной пирамиды. Личность, сидящая на самом бюрократическом поднебесье,— источник первичных приказов, собственно, начало начал, то есть бог. Для бездумного исполнителя чужой воли — а такими вольно или невольно становится все население страны — бюрократ над бюрократами должен быть всезнающим, неспособным ошибаться высшим существом, желания которого — непреложный закон жизни.

Такого «совершенства» бюрократическая система достигает не сразу и далеко не мирным путем. Сначала вне бюрократической зависимости оказалось крестьянство, раздробленное на миллионы мелких хозяйств. Им трудно приказывать, потому что невозможно проследить за этими миллионами, как они исполняют приказы. Необходимо собрать раздробленные хозяйства в крупные, тогда контроль за исполнением приказов уже легко осуществить. И бюрократическое государство подымается войной на крестьянство. Жестокая и быстрая победа, не

вызвавшая ни сопротивления, ни даже заметного возмущения, говорит уже о могуществе системы, о ее безотказности. «Революция сверху»,— назвал ее Сталин. Что ж, пожалуй, и в самом деле — переворот в обществе.

Бюрократизм подчинил крестьянство, но опасность таилась и внутри самой системы.

Вместе с ростом бюрократической системы рос и авторитет покойного Ленина. Фетишизация власти не могла обойтись без фетишизации создателя этой власти. Но Ленин был слишком сложной фигурой, не все, что он говорил, подходило для крепнущей бюрократии — недовольство существующим госаппаратом, ненависть к самому бюрократизму как явлению, рассуждения о творческой инициативе масс и пр. и пр. Правда, сами по себе мертвые святые никогда не были большой помехой для переродившихся последователей, если даже и высказывали неприемлемое. Человеколюбивые заповеди Христа не помешали святой инквизиции жечь и пытать во славу этого спасителя рода человеческого. Высказывания Маркса о кооперации не помешали ортодоксальному марксисту Ленину отнести эту кооперацию в разряд капитализма. Обошлись бы надлежащим образом и с самим Лениным, если б не оставалось тех, кто слишком буквально его понимал.

В послереволюционной стране было много революционных романтиков, которые продолжали мечтать о несбыточном — о равенстве, свободе, народовластии. Им не могло нравиться диктаторское бюрократическое насилие с возрождающимся обожествленным монархом. Их несбыточные мечты, их неприязнь к возникающей деспотии находили опору у покойного Ленина, в той части ленинизма, которая неприемлема для бюрократии. Сами по себе идиллические, ирреальные, неприемлемые для практических действий ленинские упования на равноправие и народовластие тем не менее придавали силу и неуязвимость революционным романтикам. Все, что от Ленина, то свято!

Они осложняли бытие рядового бюрократа, вызывая досадные сомнения и путаницу в мозгах исполнителей, нарушая простоту установившихся деловых отношений (приказ — исполнение!), а значит, мешали работе аппарата.

Они, эти революционные романтики, представляли прямую угрозу и для бюрократического бога. Большин-

ство из них помнило Сталина как одного из довольно скромных деятелей партии — пигмеем среди революционных гигантов. Они не могли не презирать его за узость кругозора, за ординарность мышления. Наконец, в их руках имелось такое опасное оружие, как высказывание Ленина о Сталине в «Завещании». Богу неспокойно, бог не мог терпеть их рядом.

И все это осложнялось еще и тем, что революционные романтики, недовольные бюрократическими порядками, как правило, сами были бюрократами, ставленными на власть в ленинские времена. Бюрократическая система несла в себе чужеродную гниль.

Только что прошла грандиозная и жестокая операция с крестьянством, где бюрократическая машина доказала свою безотказность. И это придало решительности, совершается нечто совсем невероятное — бюрократический бог отдает бюрократической системе приказ: пожирай... бюрократов! Нет, не только тронутых гнилью, не одних лишь революционных романтиков — кто их разберет, кто с гнильцой, а кто нет,— на всякий случай, заметай всех подряд!

Казалось бы, приказ просто дикий, система-то состоит из живых людей, эти люди могут не подчиняться из одного лишь животного инстинкта самосохранения. Но вот вам наглядное доказательство, что история вовсе не слагается из действий и желаний отдельных личностей.

Личность в истории, как правило, подчинена системе. Та или иная общественная система развивается так не потому, что большинству людей, ее представляющих, это выгодно, а потому, что эти люди соединены в такую конструкцию, которая может действовать лишь определенным образом. И никакой могущественный властитель не может заставить систему совершать то, что ей не свойственно.

Удивляются жестокости Сталина, решившегося на массовые репрессии, но, мне кажется, достойна большего удивления бюрократическая система, для которой дикий по жестокости сигнал — пожирай своих членов! — не был противоестественен. Напротив. Сигнал был брошен, и система заработала со свойственным для бюрократизма усердием.

Однако здесь есть уже готовые возражения. «Но сегодня создается новый миф,— пишет, как всегда с гневом и непререкаемостью Солженицын.— Всякий печат-

ный рассказ, всякое печатное упоминание о 37-м годе — это непременно рассказ о трагедии коммунистов-руководителей. И вот уже нас уверили, и мы невольно поддаемся, что 37-й — 38-й тюремный год состоял в посадке именно крупных коммунистов — и как будто больше никого. Но от миллионов, взятых тогда, никак не могли составить видные партийные и государственные чины более 10 процентов. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц».

То есть сталинская бюрократическая система была просто стихийно кровожадна, садила и уничтожала не целенаправленно, доставалось больше тем, кто был чужероден системе.

Я не беру на себя смелость назвать более точный процент потерпевших государственных и партийных деятелей, готов даже согласиться с той малой цифрой, которую называет Солженицын. Но не всегда-то арифметическое число определяет существо дела. При добывании граммов золота приходится перерабатывать многие тонны породы. Обмолоченного зерна бывает меньше соломы, прошедшей через ту же молотилку.

Когда дело касалось рабочих, рядовых служащих, ученых, деятелей искусств, молотящая кампания 37-го года не отличалась строгой последовательностью — хватали и сажали по подозрению, по случайным доносам, просто по оказии, особо не ограничиваясь, не жалея и не церемонясь. И только в отношении коммунистов-руководителей явная жестокая тенденция. Буквально в каждой области, в каждом районе было арестовано и расстреляно по два, по три, а то и по четыре раза основное руководство. Хватали одних — ставили других, хватали этих — ставили новых, и так по нескольку раз. Хватали не потому, что это были плохие, непослушные или ненадежно мыслящие бюрократы, просто потому, что они занимали достаточно видное место в бюрократической системе. Причина уничтожения — причастность к бюрократизму!

Видных бюрократов могло быть и не столь много в общей численности потерпевших в стране, но почти все они попали под расправу, уцелели лишь считанные единицы. Цель, собственно, была определенная — уничтожить старореволюционные веяния, опасный для бюрократизма ленинизм, но делалось это способом

сплошной дезинфекции, лучше уничтожить всех подряд, чтоб быть уверенным в полной стерильности. Бюрократизм не изобретателен.

И после того, как по всей стране, во всех бюрократических инстанциях провели дважды, трижды такую кровавую дезинфекцию, сама система стала качественно иной. Новые бюрократы, наконец утвердившиеся на старых местах, уже не походили на прежних. Им совершенно чужды были какие-либо свободолюбивые мечтания, демократические симпатии. Каждый бюрократ превратился в четко сформированного двуликого януса — деспота и раба одновременно. Безжалостного деспота по отношению к нижестоящему, униженно преданного раба по отношению к вышестоящему. И никаких колебаний, никаких сомнений, никаких человеческих побуждений — только исполнительность, слепая, бездушная, не считающаяся ни с очевидными фактами, ни с самой жизнью. Новый бюрократ прекрасно знал, что такое система, в которой он находится, с ней шутки плохи.

Вот тут-то можно сказать, что революция сверху кончилась, стабилизовав на неопределенное время наше общество. Воистину Великая Бюрократическая революция! Она прямое продолжение Великой Октябрьской, ее чудовищное детище. Она в какой-то мере завершила ту будущую драму — драму идей, порожденных благородными свободолюбивыми стремлениями. В какой-то мере на какое-то время, потому что вообще-то драма идей кончится лишь вместе с мятущимся человечеством.

Ну, а в моем хаотическом повествовании две истории, шагавшие каждая по себе, здесь сходятся — величественная история бунтарских идей с историей мальчишки, моего сверстника.

17

Он проснулся от негромкого голоса, произнесшего романтически неправдоподобную фразу, какую до сих пор Максимка слышал только в кино:

— Оружие есть?

Горел свет, и в комнате было много народу — двое в плащах и кепках, двое военных, затянутых ремнями. Полуодетая мать жалась к стене, держалась за горло, волосы растрепались по плечам. А чужие люди вели себя тихо, держались даже с какой-то неловкостью, слов-

но рабочие из мебельного магазина,— собираются вынести из комнаты тяжелый шкаф и стесняются, что попали в незнакомую квартиру, что их так много, потому и говорят приглушенными голосами.

— Оружие есть?

Отец сидел у окна на стуле, прямой, неподвижный, положивший большие, перевитые венами руки на колени — массивный мужчина в позе примерного мальчика. Запавшие глазницы до краев залиты тенью. А мать жалась к стене, держалась за горло обеими руками, остановившимися глазами глядела на нешумливых, стеснительных гостей.

— В нашем ящике комода, в левом углу — браунинг,— так же тихо и внятно ответил отец от окна.

У отца был старый браунинг, принесенный с войны, на него имелось удостоверение, Максимка это знал, но так как ему не давали держать его в руках, как саблю дяди Вани, то он не видел этого браунинга в глаза по многу лет и забывал о его существовании.

— Есть ли еще какое-нибудь оружие?

— Нет.

— Приступайте к обыску.

Началось деловитое движение.

И тут Максимка увидел, что у порога сидит еще один человек — дворничиха Фатима. Она, как и отец, послушно сложила руки на коленях, у нее блестят щеки. Максимка понял: она плачет.

Но сам он не заплакал, лежал, натянув на подбородок одеяло, смотрел и слушал. Упала книга на пол, скрипел паркет под сапогами, шуршали плащи...

Один из военных согнутым пальцем отстукивал стены. Тук-тук... Пауза. Тук-тук-тук... Как ленивый дятел в лесу. Его товарищи рылись на полке с книгами, а Максимка из-под одеяла и мать от стены следили за рукой военного. Тук-тук! Тук-тук-тук... Стучал и прислушивался, передвигался вдоль стены. Максимка завороженно следил. Рука военного дошла до портрета Сталина. Тук!.. И оборвалось. Сталин поверх плеча военного смотрел на Максимку, с улыбочкой, доброжелательно. Военный не притронулся к портрету, почтительно пропустил, застучал дальше: тук-тук... тук-тук-тук...

Он подошел к Максимкиной кровати, они встретились взглядами. С молодого лица, не выражавшего ни враждебности, ни участия,— глаза уличного прохожего.

— Попрошу,— сказал он.

Максимка не понял и сильнее натянул на себя одеяло.

— Попрошу,— повторил он терпеливо.

— Максимилиан! Встань! — сорвавшимся голосом крикнула мать.

И Максимка торопливо вылез из-под одеяла, встал босыми ногами на холодный пол. Перед одетым, затянутым в ремни человеком он, Максимка, в трусах и майке, чувствовал острый стыд. А военный деловито начал ощупывать его постель. Должно быть, это очень неприятно — шарить руками по нагретой постели, да еще когда на тебя смотрят со стороны. Движения военного, сначала деловитые, постепенно становились какими-то натянутыми, неловкими — так гладят бездомную собаку, боясь запачкаться, подцепить заразу. Он помял подушку, откинул одеяло и матрац, заглянул под него, ничего не увидел, кроме пружин кровати, небрежно бросил все на прежнее место, проворчал:

— Попрошу.

Верно, он предлагал Максимке ложиться обратно, но постель была разворочена, Максимка продолжал стоять босыми ногами на полу, у него дрожали колени.

Если б военный еще раз сказал свое «попрошу», Максимка, наверное, лег бы в развороченную постель... от страха. Но военный не повторил, отошел.

Шла работа: шелестела бумага, шуршали плащи, падали на пол книги, выбрасывались из ящиков комода мамины платья. Шла работа, и комната преображалась — без шума, без крика в ней нарастал разгром. А за окном — притихшая улица, а ночь со всех сторон обнимала большой, плотно населенный, крепко спящий дом. И никому не было дела до нешумного, деловитого ночного разгрома. И гости выглядели буднично озабоченными, скупо перебрасывались между собой вполголоса, почему-то дружно оглядывались, когда падала на пол толстая книга или нечаянно сбитая локтем со стола пепельница.

В разгроме не участвовал лишь один гость в сером, в елочку пальто. Он сидел в мамином кресле, скучающе разглядывал ногти, позевывал.

А у порога тихо плакала Фатима.

— Встать!

Отец с усилием поднялся, навесив над коленями руки.

— Можете взять с собой смену белья, полотенце и прочие предметы туалета.

Мать с усилием оторвала себя от стены, побрела, пошатываясь, среди разбросанных вещей. А отец стоял и глядел в пол. И вот он у дверей, одет в пальто, почему-то в зимнюю шапку, держит в руках узелок. Отец отвел рукой военного, шагнул к матери:

— Ну...

Мать боязливо подалась навстречу ему. Отец обнял, поцеловал, еще раз сказал:

— Ну...

Максимка стоял босыми ногами на холодном полу и дрожал.

Отец повернулся к нему, и Максимка кинулся:

— Па-п-па!

От его выкрика ночные гости угрожающе сдвинулись.

— Па-па! Папа!

Шершавая щека отца прижалась к его щеке. Они так стояли несколько секунд, может, четверть минуты. И эти секунды были такими покойными, было так хорошо в объятиях отца, что Максимка забыл об озабоченных людях, смотрящих в упор с расстояния двух шагов. Отец рядом, больше ничего, ничего не надо.

Отец резко разогнулся:

— Максимка, будь всегда честным человеком.

Темное лицо, под зимней шапкой в провалах влажное мерцание, еще раз с трудом выдавленные, тяжелые слова:

— Будь честным.

— Па-а!

Спина в ремнях отгородила его от отца.

Из раскрытой двери повеяло холодом по босым ногам.

— Па-а!..

Дверь захлопнулась, сквозняк прекратился.

Не было даже Фатимы,— у порога стоял лишь пустой стул.

Пол усеян бумагами, некуда ступить — всюду книги, белье, платья матери. Мать сидела на полу среди разбросанных вещей, запустив пальцы в распущенные волосы, легонько покачивалась.

А Максимка стоял босиком на холодном паркете, глядел в захлопнувшуюся дверь и дрожал.

Шум шагов по коридору давно заглох. Мать продолжала раскачиваться. За окном, внизу, на спящей улице взревел мотор машины.

Тишина.

XVIII

Двое в комнате:
Я
и Ленин...

Наша беседа кончилась, Владимир Ильич.

После того, что я услышал от Вас, может показаться, что я должен проникнуться к Вам недоброжелательством, если не лютой ненавистью — такое, мол, натворить в истории! Но тогда я должен считать, что от Вас зависел ход истории. А я на протяжении всей беседы пытался доказать обратное: не Вы поворачивали течение жизни, а жизнь сама тащила Вас, занося в омуты. Вы — яркий пример человеческой самонадеянности и человеческого бессилия. Пробежав за несколько тысячелетий от первобытного костра до двигателя внутреннего сгорания, человек уже возомнил, что может управлять собственными судьбами. Не так-то просто, оказывается. И на непомерные претензии — издевка: выдвинут вождь народов, у которого буквально все благие намерения оборачивались тягчайшим злом.

Не будь Вас, был бы кто-то другой, похожий. И Ваше место в истории не могла занять фигура типа Эйнштейна от социологии. Нет, тот, другой непременно оказался бы столь же незатейливо прост, категоричен, фанатичен, резок до агрессивности, чтоб неискушенный народ мог понять его, выразить через него свою ненависть, скопившуюся от безысходной нищеты, забитости и угнетения. Не будь Вас, пошли бы за Львом Троцким — вполне подходил. Так можно ли винить Вас, Владимир Ильич, что Вы оказались именно таким, какой нужен народу?

Винить народ — тоже глупо. Яблоко не виновато, что оно зелено.

Вы и Ваша деятельность, Владимир Ильич,— частное проявление человеческого развития, некой исторической неспелости.

Вы — сын своего времени, я — своего. За те полвека, которые нас разделяют, произошло так много наглядно больного, уродливого, что не понять заблуждений про-

шлого мог только законсервированный идиот. То, о чем я здесь говорил, никак не великие откровения. Это теперь если не осознает, то чувствует уже каждый. Нынче даже школьник скептически относится к официальному славословию по Вашему адресу, а я и в двадцать с лишним лет еще молился на Вас с восторгом.

Если б я сейчас проникся к Вам ненавистью, это доказывало бы лишь одно: я разуверился в прежнем божестве, считаю себя обманутым — не получил спасительного средства. Значит, я не рассчитываю сам понять, сам открыть, надеюсь на благодать свыше. Значит, я каким был верующим, таким и остался, готов сменить лишь идола.

Нет, хватит! Хочу мыслить, а не верить в чьи-то готовые догматы! Хочу искать и понимать, не считаясь с обожествленными авторитетами!

Двое в комнате.
Я
и Ленин...

Прощайте.

18

Ночь уходила из города, и город не просыпался. Временами начинало казаться, что на этот раз день не наступит. Свет был потушен, Максимке и матери хотелось спрятаться друг от друга в темноте.

Максимка лежал и напряженно ждал, что снова раздадутся по коридору шаги, дверь откроется, появится отец, сорвет с головы зимнюю шапку:

— Черт те что! Глупое недоразумение.

Максимка хорошо понимал, что этого быть не может, но ждал, ждал каждой клеточкой натянутого тела.

— Глупое недоразумение...

А потом наступит утро, и тогда забудется ночь. Ночь для того и создана, чтобы наводить на людей кошмары. Днем такого не могло бы произойти, не представляется.

Но ночь не кончалась, свет уличного фонаря тихонько поеживался на потолке. Максимка лежал в оцепенении, мысленно представлял по-ночному тускло освещенный коридор и ждал... Ждал шагов. И понимал — глупо.

Сколько бы раз он потом ни вспоминал эту ночь, всегда удивлялся одному — тогда не чувствовал себя преступником, мучался за отца и не мучался угрызениями совести. Он даже забыл о том, что считал отца ви-

новным. Он просто самозабвенно, страдальчески жалел и ничего больше чувствовать был не в состоянии. Вытянувшись в постели, окаменев, он ждал, ждал шагов, ждал, что откроется дверь, ждал отцовского голоса: «Глупое недоразумение». Ждал вопреки рассудку, понимал, что не случится, не думая о вине отца, ни о своем собственном поступке, перестав связывать события друг с другом.

Возможно, это было мальчишеским самосохранением. В ту ночь отдать себя на суд совести — самоубийство. А в тринадцать лет еще трудно отказаться от жизни.

Темнота напирала из углов, только на потолке зыбкий свет. Он глядел в потолок, вслушивался... И постепенно выполз наружу человек с выглаженным лицом, выстукивающий дрожащими пальцами «чижик-пыжик». Он не хотел, чтоб ему рассказывали, не хотел слышать о вине отца, но не оборвал, не прогнал Максимку, не позвал отца. Этот с выглаженным лицом кого-то боялся...

Но, конечно же, не того, второго, не толстого Дербенева. Дербенев тоже не хотел зла отцу, сидел хмурый, а потом ждал отца на трамвайной остановке... Толстый Дербенев тоже кого-то сильно боялся.

Темнота напирала из углов, угарная, удушливая темнота, прячущая мать.

И даже военный, что согнал Максимку с кровати — «попрошу»,— наверное, не очень-то радовался отцовскому аресту. Он был какой-то равнодушный, ему все равно, его заставили, вот он и приехал, согнал Максимку с кровати, разворошил без удовольствия постель. Кто-то заставил, кому-то нужно.

Кто-то! Кого все боятся. Кто-то без лица, без имени. Он не человек, он всюду, он невидимка, прячется сейчас здесь. Он, может, даже залез внутрь Максимки, давно в нем устроился...

Отравляющая застойная темнота, Максимка лежал и коченел от страха и жалости, а коридор за дверью молчал — люди спят, шагов не слышно. В такую ночь способен ходить только Кто-то, без тела, без лица, без имени — Вездесущий. Его шаги не уловишь, не надейся.

Наконец свет на потолке стал бледнеть, воздух в комнате тоскливо посерел, и сперва вкрадчиво, потом назойливо поползли в глаза разбросанные на полу бумаги, смятое белье, старые отцовские башмаки...

Загремел первый трамвай, и мать со сдавленным стоном поднялась. Поднялся и Максимка, стал торопливо одеваться.

Не говоря друг другу ни слова, они принялись прибирать. Наступал день, к его приходу хоть как-то надо замести следы кошмарной ночи.

Утром мать, как всегда умытая, причесанная, одетая в свой черный костюм, но с бледным и помятым лицом — на известковом лбу яркие брови, под глазами тени — отправилась на работу.

Раз мать уходила на работу, он должен идти в школу — так заведено. Максимка сейчас хотел прежнего порядка.

Он собрался и вышел следом за матерью.

По коридору выступал Борис Моисеевич Шольцман — виолончелист из оркестра, тот, что жил в самом конце коридора — последняя дверь с правой стороны. Он всегда первый кивал Максимке причесанной до глянца головой.

Максимка поздоровался с ним и сейчас, но Борис Моисеевич промаршировал мимо, замороженно прямой, с ярким шелковым кашне под подбородком, со своим громоздким инструментом, упрятанным в матерчатый чехол. Прошел мимо, холодно глядя прямо перед собой, мягко ступая начищенными туфлями.

Максимка двинулся вслед за ним, и виолончелист заторопился, неприязненно передергивая плечиками.

На третьем этаже на Максимку выскочил Славка Борков, собиратель марок. Он двинулся было к Максимке боком, осторожно, с лицом, полным ожидания, но из глубины коридора раздался голос его матери:

— Славочка! Вернись!

И, не сводя с Максимки глаз, Славка попятился задом.

Внизу, в парадном, стояла Фатима, подпирая толстыми руками тяжелые груди, встречающие глаза с широкого лица, как у больной собаки.

— Здравствуй, тетя Фатима,— сказал робко Максимка.

И она торопливо сунула ему что-то в руку, сердито закричала:

— Иди! Иди!

Сжимая в руке бумажный сверток, он вышел на улицу, прошел с десяток шагов, остановился, отвернулся к стене. Хоронясь от прохожих, он развернул сверток.

В нем оказались леденцы, какие Фатима приносила ему в детстве.

И тут он впервые за все эти дни заплакал.

XIX

При раскопках библиотеки Ашшурбанапала была найдена глиняная табличка со стихотворением. Автор его неизвестен, у историков он условно называется «Вавилонский Экклезиаст».

Что же плачу я, о боги? Ничему не учатся люди...

Увы, с тех пор и до сего дня.

1964—1973 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Ф. Тендряков

Т 33 Охота. Повести, рассказы. /Сост. Н. Г. Асмоловой-Тендряковой.— М.: Правда, 1991.— 448 с.

ISBN 5—253—00228—6

Предлагаемый сборник составлен в основном из произведений, увидевших свет уже после смерти автора, в наши дни. В книгу вошли повесть «Чистые воды Китежа», рассказы «Охота», «На блаженном острове коммунизма», «Донна Анна» и другие произведения, оказавшиеся необычайно созвучными тем трудным процессам осмысления действительности, которыми сегодня живет наше общество.

Т $\frac{4702010200-2322}{080(02)-91}$ 2322—91 **84 Р 7**

Литературно-художественное издание

ТЕНДРЯКОВ Владимир Федорович

ОХОТА

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ

Составитель
Асмолова-Тендрякова Наталья Григорьевна

Редактор «Библиотеки»
В. Ф. Кравченко

Оформление художника
С. И. Мухина

Художественный редактор
В. В. Масленников

Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 2322

Сдано в набор 06.09.90. Подписано к печати 20.02.91.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,94. Уч.-изд. л. 24,15.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 250001—500 000). Заказ № 207. Цена 2 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва,
А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь»,
630048, г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-Данченко, 104.

В 1990—1991 годах в издательстве «Правда» в серии «Библиотека журнала «Знамя» вышли следующие книги советских писателей:

1990

И. Бабель. КОНАРМИЯ. *Рассказы, очерки, воспоминания.*

О. Берггольц. ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД. ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ. *Автобиографические повести.*

Ю. Гончаров. ТЕПЕРЬ — БЕЗЫМЯННЫЕ... *Повести, рассказы.*

А. Крон. КАПИТАН ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ. Ю. Пээгель. Я УБИТ В ПЕРВОЕ ВОЕННОЕ ЛЕТО. *Роман, рассказы.*

В. Курочкин. НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ. *Повести, рассказы.*

Б. Пильняк. ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ. *Повести, рассказы.*

А. Приставкин. НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ. *Повести.*

В. Селюнин. ИСТОКИ. Н. Шмелев. АВАНСЫ И ДОЛГИ. *Публицистика.*

К. Симонов. ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Книга воспоминаний.*

Б. Слуцкий. Я ИСТОРИЮ ИЗЛАГАЮ... *Стихотворения.*

1991

А. Ананьев. ТАНКИ ИДУТ РОМБОМ. *Повести, рассказы.*

Г. Березко. НОЧЬ ПОЛКОВОДЦА. Б. Васильев. А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ. *Повести, рассказы.*

Г. Глазов. РАСШИФРОВАНО ВРЕМЕНЕМ. *Повести, рассказы.*

Ю. Домбровский. ОБЕЗЬЯНА ПРИХОДИТ ЗА СВОИМ ЧЕРЕПОМ. *Роман, рассказы, стихотворения.*

Е. Замятин. МЫ. *Роман, рассказы, очерки.*

Ф. Искандер. СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА. *Повести, рассказы.*

НЕДОЛГОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В КАМЕРЕ ПЫТОК. *Повести, рассказы.* (По страницам журнала «Знамя»)

КРЕЩЕНИЕ. *Повести и рассказы молодых писателей об армии.*

В. Тендряков. ОХОТА. *Повесть, рассказы.*

ВКУС. *Сборник повестей и рассказов.*

2 р. 50 к.



Владимир Тендряков (1923—1984) родился в деревне Макаровка Вологодской области. После окончания средней школы ушел добровольцем на фронт, где встретил свое 18-летие. В качестве связиста полка прошел трудными дорогами войны, в 1943 году в бою за Харьков был тяжело ранен, после чего демобилизован. Работал учителем сельской школы, секретарем райкома комсомола. В 1951 году окончил Литературный институт им. А. Горького. Автор многих широко известных романов и повестей, всегда оказывающихся в центре общественного внимания. Предлагаемый сборник составлен в основном из произведений, увидевших свет уже после смерти автора и оказавшихся необычайно созвучными тем трудным процессам осмысления действительности, которыми сегодня живет наше общество.


Владимир Тендряков
Охота
Библиотека журнала
ЗНАМЯ